

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2020

№ 66

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Индексируется в БД Scopus
и Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index

**Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»**

**Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»**

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) –
зам. главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) –
зам. главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) –
отв. секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

**Editorial Board
of the Tomsk State University
Journal of Philology**

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) –
Editor-in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) –
Deputy Editor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) –
Deputy Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) –
Executive Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) –
Deputy Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

**Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»**

Дж.Ф. Бейлин (Стони-Брук, США)
Е.Л. Березович (Екатеринбург, Россия)
Е.Л. Вартanova (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)
М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
А.Н. Соболев (Санкт-Петербург, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)

**Editorial Council
of the Tomsk State University
Journal of Philology**

J.F. Bailyn (Stony Brook, US)
E.L. Berezovich (Yekaterinburg, Russia)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, UK)
M.N. Lipovetsky (Boulder, US)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
A.N. Sobolev (Saint Petersburg, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, US)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Завьялов В.Н. Семантико-синтаксические свойства русских разделительных союзов в аспекте их этимологии и структуры	5
Иванцова Е.В. Речевое поведение диалектной языковой личности в конфликтных ситуациях	26
Калиткина Г.В. Растительные образы в книжѣ <i>Чаломстїй</i> : путь от аллегории к терминальной метафоре	45
Карабыков А.В. Язык Адама, европейский национализм и подъём ренессансной компаративистики	65
Крючкова О.Ю., Крючкова Н.В. Ассоциативное восприятие производных слов: факторы вариативности и динамики	87
Мишианкина Н.А., Черныш О.А. Лексика делового протокола в аспекте «прерывности» дискурсивных формаций (на материале протоколов 1917–1933 гг.)	107
Мызникова Я.В. Влияние гендера на речевое поведение диалектнососителей	132
Норманская Ю.В. Как менялась диалектная принадлежность селькупского говора с. Иванкино Колпашевского района в XX в.	144
Сикимич Б., Соболев А.Н. Процессы дивергенции в разделенном государственной границей западноюжнославянском диалекте (на материале современной диалектной речи Восточной Сербии и Западной Болгарии)	158

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Агратин А.Е. Интермедиальные параметры чеховских сюжетов: литература перед лицом кризиса знаково-символической деятельности (на материале ранней прозы)	177
Андреева С.Л., Бедрикова М.Л. Концепты «Мессианство» и «Избранность» в романе-фантасмагории В. Аксёнова «Вольтерьянцы и вольтерьянки»: историко-культурный контекст	193
Бокарев А.С. Синкетическая образность в поэзии Владимира Строчкича и Александра Левина	225
Мельникова С.В., Жданова Е.В. Поэтические опыты восточносибирского православного духовенства XVIII – начала XX в. (по материалам епархиальной печати)	241
Sargsyan M.S., Zimina E.V. Scots in Contemporary Prose and Poetry: Issues and Controversies	261
Шастина Т.П. «Гений местности» – Г.Н. Потанин об усадьбе художника Г.И. Гуркина на Алтае	276
Шатин Ю.В., Силантьев И.В. Драма Г. Чулкова «Тайга»: рецепция сибирского текста в контексте русского символизма	298

ЖУРНАЛИСТИКА

Мазуров А.Е., Жилякова Н.В. «Картина местного настроения»: обстоятельства запрещения и содержание первого фельетона «Сибирской газеты» (1881)	308
Сидоров В.А. Коммуникативные агрессии и негативные концепты пропаганды	318
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	332

CONTENTS

LINGUISTICS

Zavialov V.N. Semantic-Syntactic Properties of Russian Disjunctive Conjunctions in Terms of Their Etymology and Structure	5
Ivantsova E.V. The Speech Behaviour of a Dialect Language Personality in Conflict Situations	26
Kalitkina G.V. Plant Images in the <i>Book of Psalms</i> : From Allegory to Terminal Metaphor	45
Karabykov A.V. The Adamic Language, European Nationalism, and the Rise of the Renaissance Comparativism	65
Kryuchkova O.Yu., Kryuchkova N.V. Associative Perception of Derivative Words: Variation and Dynamics Factors	87
Mishankina N.A., Chernysh O.A. Vocabulary of Official Records in the Aspect of Discursive Formation “Discontinuity” (Based on the Materials of Records Dated by 1917–1933)	107
Myznikova Ya.V. The Influence of Gender on Dialect Speakers’ Speech Behaviour	132
Normanskaja Ju.V. How the Dialect Affiliation of the Selkup Dialect of Ivankino Village, Kolpashevo District, Changed in the 20th Century	144
Sikimić B., Sobolev A.N. Divergence Processes in the West South Slavic Dialect Divided by the State Border (Based on the Modern Dialect Speech of Eastern Serbia and Western Bulgaria)	158

LITERATURE STUDIES

Agratin A.E. Intermedial Parameters of Chekhov’s Plots: Literature in the Face of the Crisis of Sign-Symbolic Activity (On the Material of Chekhov’s Early Prose)	177
Andreeva S.L., Bedrikova M.L. Concepts “Messianism” and “Chosenness” in Vasily Aksyonov’s phantasmagoria novel <i>Voltairian Men and Women</i> : A Historical and Cultural Context	193
Bokarev A.S. Syncretic Imagery in the Poetry by Vladimir Strochkov and Aleksandr Levin	225
Melnikova S.V., Zhdanova E.V. Poetic Experiments of East Siberian Orthodox Clergy in the 18th – Early 20th Centuries (Based on the Materials of the Eparchial Press)	241
Sargsyan M.S., Zimina E.V. Scots in Contemporary Prose and Poetry: Issues and Controversies	261
Shastina T.P. The “Genius Loci”: Grigory Potanin on Artist Grigory Gurkin’s Manor in Altai	276
Shatin Yu.V., Silantev I.V. Georgy Chulkov’s Play <i>The Taiga</i> : Reception of the Siberian Text in the Context of Russian Symbolism	298

JOURNALISM

Mazurov A.E., Zhilyakova N.V. “The Picture of the Local Sentiment”: The Circumstances of the Ban and the Content of the First Feuilleton of <i>Sibirskaya Gazeta</i> (1881)	308
Sidorov V.A. Communicative Aggressions and Negative Concepts of Propaganda	318

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS IN RUSSIAN	332
--	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 81'376.634
DOI: 10.17223/19986645/66/1

В.Н. Завьялов

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РУССКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ В АСПЕКТЕ ИХ ЭТИМОЛОГИИ И СТРУКТУРЫ

Рассматриваются семантико-синтаксические свойства русских разделительных союзов ли... ли..., или, либо, то... то..., то ли... то ли..., не то... не то... на основе их происхождения и современного строения. Анализируется этимология каждого из них с учетом особенностей составляющих их лексем-партикул. Устанавливается связь между значениями данных лексем и той ролью, которую они играют в структуре современных союзов. Выявлено, что семантико-синтаксические свойства современных разделительных союзов по-прежнему тесно связаны с исходными значениями их структурных элементов.

Ключевые слова: *партикулы, частицы, союзы, этимология, структура, семантика, pragматика, синтаксис.*

1. Говоря о составных союзах, В.В. Виноградов отмечал, что в структуре многих из них присутствуют «следы и живые формы разных других частей речи (ср., напр.: *после того как, прежде чем, лишь только* и др.). Этимологическая подкладка таких союзов как бы виднеется из-под их современного употребления» [1. С. 579]. И хотя само терминологическое сочетание слов «этимологическая подкладка» не прижилось в русистике, вопросы, поставленные В.В. Виноградовым, в той или иной мере привлекали и привлекают внимание исследователей.

1.1. Одной из первых системно исследовала данную проблему Г.Ф. Себрянная, которая, рассмотрев формирование сложных сочинительных союзов на базе непроизводных, разграничила их на основе синсемантичности и автосемантичности структурных элементов [2]. В свою очередь, Р.Д. Кузнецова проанализировала строение подчинительных союзов с учетом сохранившихся внутренних предложно-падежных отношений между элементами [3]. Ее подход оказался актуальным не только для описания союзов, возникших в результате предикативной номинализации, но и для их «исходного материала» – отыденных релятивов, а также для исследования строения составных средств связи в целом [4–8]. Следует отметить дискуссию о союзе *если* и его дериватах (*если... то, если не... то, если и... то, если бы* и др.), затрагивающую, в частности, вопросы их структурно-семантических особенностей (см.: [9–11] и др.).

Особый интерес представляет подход к поставленной В.В. Виноградовым проблеме с точки зрения так называемой непарадигматической линг-

вистики, объектом которой являются партикулы – первичные, нетаксономические образования, функционирующие в языковой системе со времени ее возникновения (*не, ли, и, а, то, же, да*, и др.). Согласно ей существует «скрытая память» языка, которая «может служить одним из способов реконструкции “партикулярной” диахронии» [12. С. 8], ибо, «становясь союзами, частицами, артиклями, партикулы никогда не оставляют всей своей былой семантики хотя бы в виде некоторого шлейфа “скрытой памяти”» [Там же. С. 116]. Именно она помогает говорящему и слушающему разграничивать варианты языковых единиц, различия между которыми с трудом поддаются описанию посредством традиционного толкования, но понимаются обоими на основе их глубинных смыслов, зачастую тянувшихся к древнейшим пластам языковой системы в целом.

Идеи и методы непарадигматической лингвистики в сфере средств синтаксической связи активно применяются на практике специалистами, занимающимися историей русского языка и диалектологией. Применительно к конкретным исследовательским целям и задачам они находят применение в работах, посвященных композициальному анализу семантики союзов, их структурным типам, а также представлению в системе корпусных данных (см.: [13–18] и др.). Уделяют им внимание и зарубежные лингвисты (см.: [19–21] и др.).

1.2. Объектами описания в настоящей статье являются базовые русские разделительные союзы *ли… ли…, или, то… то…, не то… не то…, то ли… то ли…*, а также *либо*. Очевидно, что пять из них сконструированы из лексем- particул и, ли, не, то, активно функционирующих в современном русском языке в различных категориальных статусах и сегодня. Уточнение требуется лишь для строения союза *либо*, так как вопрос о его происхождении является дискуссионным. Тем не менее, несмотря на различные точки зрения на этот счет, партикулярные элементы *ли* и *бо*, по-видимому, также оставили свой след если не в структуре *либо* как таковой, то, по крайней мере, в его внешнем облике.

В какой мере указанные лексемы связаны с этимологией данных союзов и их современными семантико-сintаксическими и pragmatическими свойствами? Ответ на этот вопрос будет способствовать уточнению индивидуальных характеристик каждого из них, что актуально как для теоретических, так и для прикладных аспектов их описания, а также даст более глубокое представление о природе и особенностях русских разделительных средств связи в целом.

Иллюстративный материал для статьи извлечен из «Национального корпуса русского языка» (НКРЯ) [22], поэтому она имеет еще и корпусный характер. Однако общая методика его исследования является прежде всего описательной, с опорой на пропозициональное содержание высказывания. Для нас представляется необходимым выявить самые концептуальные и наглядные аспекты поставленной проблемы, на основе чего потом можно будет осуществлять ее дальнейшую, более точечную разработку.

2. Разделительные союзы *ли… ли…, или, либо, то… то…, не то… не то…, то ли… то ли… то ли…* могут связывать как непредикативные, так и преди-

кативные ряды словоформ, выражающие отношения дизъюнкции между их членами на общем, т.е. онтологическом, фоне соединительности-перечисли-тельности. Партикулы входят в структуру данных союзов на правах элементов и субэлементов. Элемент – минимальная значимая часть структуры союза. Субэлемент – часть составного, разложимого элемента (напр., *и + ли). Основные признаки субэлементов и элементов заключаются в морфологической соотнесенности с другими языковыми единицами (частицами, местоимениями, союзами, предлогами и др.) как в синхронном, так и диахронном аспектах. Компонент – обобщенный структурный образ того или иного союза, включающий в себя элементы и субэлементы и занимающий одно синтаксическое место в синтаксической структуре высказывания [23].

2.1. Союз *ли… ли…*, который, судя по всему, является первым специализированным разделительным союзом русского языка, образовался на базе вопросительной частицы *ли* [24. С. 451]. Факты его употребления (как одиночного, так и повторяющегося, а также во взаимодействии с или) фиксируются еще в древнерусских памятниках. При этом первоначально его компоненты располагались непосредственно перед сочиненными членами:

Кую похвалу створимъ достоину твоего блаженства, ли кому уподоблю сего праведника (Сл. Кир. Тур); *Богъ того не даи, аче кого притча приемет, ли лодья уразится, ли русьская, ли немецкая* (Дог. Смолян с Ригою, 1229 г.); *Аще ли от нея возметъ кто что, ли человека поработить, или убеть, да будет повиненъ закону руску и гречьску* (Пов. Вр. Лет, 37) [25. С. 191].

Впоследствии произошло смещение компонентов союза в постпозицию, хотя отдельные употребления с *ли* в препозиции фиксируются вплоть до ХХ в.:

– *Хучь бы тебе выгода какая, ли лагерь взяли – провизии, ли город – серебра, золота* (Г. Данилевский. Потемкин на Дунае); – *Тащит и сама не придумает: ли задавить, ли живьем закопать?* (А. Ремизов. Верность); «*Егор – под иконами на лавке, к стенке прислонен, ли стоит, ли сидит – уж как это по-вашему пишется, не знаю*» (Е. Замятин. Слово предоставляется товарищу Чурьгину).

Н.Д. Арутюнова квалифицирует вопросительную частицу *ли* как «знак неразрешенного вопроса», когда «модус незнания оставляет невыбранной пропозицию с тем или иным истинностным значением» [26. С. 126], напр.:

– *Много ли наловил налимов?* (Ю. Коваль. Листобой); – *Нет ли у тебя какой музыки?* (В. Шукшин. Калина красная); «*А не сын ли вы Филата Петровича?*» (И. Грекова. Фазан).

Говорящий не определился с критериями истинности того, о чем спрашивает, отчего и сам ответ также может быть вероятностным. Маркером такой ситуации и является частица *ли*.

В свою очередь, союз *ли… ли…* выражает синтаксические отношения, связанные с перечислением реальных или предположительных альтернатив, но четкой семантической границы между ними не проводит, так как является носителем «семантики неопределенной разделительности» [27. С. 176], в си-

лу чего степень достоверности представленных им альтернатив не может быть определена с абсолютной точностью:

И я к нему потянулся тоже по сердцу ли, по одиночеству ли, но потянулся (Б. Окуджава. Искусство кройки и житья); *Запугивая ли, задабривая ли* рублем молодых, они лишний раз производят эффект ровно противоположный ожидаемому (Завтра, 2003.08.13); *Лежишь ли, пьешь ли* рыбий жир, измеряешь ли температуру – сообщай в каждом письме! (А. Морозов. Прежние слова).

Таким образом, союз *ли... ли...* отчасти также является знаком «неразрешенного вопроса». По этим причинам его зачастую квалифицируют как вопросительную частицу в союзной функции при повторе, как, например, В.М. Хегай в диссертационном исследовании о разделительных отношениях и средствах их выражения, осуществленном под руководством В.А. Белошапковой [28. С. 149]. Однако союзные свойства *ли... ли...*, заключающиеся в способности организовывать ряд сочиненных словоформ, все же являются превалирующими над модальными, и именно это отличает его от частицы и прочих омонимичных явлений, напр.:

Можем ли мы, имеем ли право подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего стихического труда? (А. Алексин. Раздел имущества); А глаза по-прежнему спрашивают каждого: так ли живешь, верно ли живешь? (И. Грекова. Под фонарем).

В этих высказываниях присутствуют пропозиции с повторами собственно вопросительной частицы *ли* и союзной, вводящей косвенный вопрос при однородном соподчинении. Неопределенной разделительности здесь нет, и каждая пропозиция может быть представлена автономно. Ср.:

Можем ли мы подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего стихического труда? А глаза по-прежнему спрашивают каждого: так ли живешь?

В семантике конструкции, организуемой *ли... ли...*, существует прагматический оттенок безразличия к выбору какой-либо из альтернатив. Он может присутствовать в имплицитной форме (см. примеры выше) и быть вербализованным специальными лексическими средствами (*не важно, все равно, безразлично* и под.):

– Полюбил я тебя на всю жизнь, тяжело ли мне, легко ли, это – честное слово – не важно (А.Н. Толстой. Хождение по мукам); Дождь ли сеялся, туман ли вымил, промозглый ли ветер гремел железом на крышах – Жека все равно караулил (Э. Шим. Ребята с нашего двора); В том, что она [ихуна] не пройдет Северным морским путем в одну ли, в две ли, в три ли навигации, безразлично – не сомневался никто (В. Каверин. Два капитана).

В связи с этим сочиненные *ли... ли...* пропозиции не парцелируются, так как для поддержания указанной прагматики требуется представление их в виде единого и неразрывного целого. В обратном случае произойдет преобразование компонентов *ли... ли...* в вопросительные частицы с утратой прагматической семантики высказывания, так как альтернативы станут акцентированными:

Демон напоминания, в образе ли забытом, любимом; в надежде ли, протянувшей белую руку свою из черных пустынь грядущего; в поразившем ли мысль остром резце чужой мысли, садится, смежив крылья, у твоих ног и целует глаза (А. Грин. Блистающий мир).

Ср.: *В образе забытом ли? В надежде ли? В поразившем ли мысль остром резце?*

Тем не менее это свидетельствует о сохраняющейся глубинной связи союза *ли... ли...* с категорией вопросительности (и соответствующей частицей), которая, не найдя выхода в прямой постановке, в конечном итоге реализуется в виде указанного безразличия говорящего к представленным альтернативам.

2.2. Союз *или* образовался в результате сращения союза *и* с частицей *ли* [29. С. 127]. Будучи стилистически нейтральным, он «широко употреблялся в древнерусских (и старорусских) памятниках разных жанров» [25. С. 190]:

И реша татарове: «Дайте намъ число, или бежимъ проче» (Новг. лет., 82); Или кончина веку прииде, или бог слово плотию стражет (Авв., 66); Взыщет боярин на боярыне, или монастырь на монастыре, или боярин на монастыре, ино судите на 3 годы (Суд. 1589 г.) [Там же. С. 190–191].

Специалисты давно обращали внимание на структуру этого союза, увязывая с ней особенности его семантики. А.В. Добиаш отмечал, что в «или» слово «и» указывает на двучлен вообще, а «ли» остается вопросительным словом. Оборот *или пан, или пропал* значит: может быть и то, и другое: первое ли выйдет, второе ли – не знаю» [30. С. 461]). Подобный подход находит отражение и в современных формулировках. Ср.: «В предложении с *или* каждый из компонентов возможен, но не обязательен» [31. С. 193].

В силу своей опоры на соединительность союз *или* в равной мере употребляется «как в контексте предиката знать (и других предикатов знания), так и в контексте его отрицания не знать (и вообще предикатов незнания)» [32. С. 438]:

Торговцы, парни и девицы, сидели или стояли, разговаривали друг с другом или молчали, пили пиво или читали (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп); Еще пять или шесть лет назад мы с дочкой во дворе гордились таким соседом (С. Есин. Стоящая в дверях); /– Не пьет с коллективом новенький наш!../ Или брезгует, или сторонится, или... Уж и не знаю чего! (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но...).

В связи с реальным представлением говорящего о положении дел в первом примере актуализирован соединительный аспект *или*: *сидели и стояли, разговаривали и молчали, пили и читали*. Во втором и третьем (по противоположным причинам) – предположительный: *пять ли? шесть ли? // брезгует ли? сторонится ли?*

В субэлементе *и*, как и собственно в союзе *и*, заложена семантика поэтапного «развития повествования» [33. С. 284–290]. Она способствует свободному сочинению союзом *или* (в отличие от *ли... ли...*) вопросительных пропозиций – как в структуре целого сочинительного ряда, так и парцеллированного, так как субэлемент *ли* опирается на своего коллегу слева:

– Вы сказали, что ваш отец убеждал вас уехать. Вместе с ним **или** же без него? (А. Беляев. Продавец воздуха); Было не совсем ясно: это крестьяне, что гнут спину на полях?.. **или** оптовики-перекупщики?.. **или** розничные торговцы, фасовщики по чекам и пакетам?.. (Михаил Гиголашвили. Чертово колесо); Боже, подумал он, – и она? **Или** она осторегается его, отца, **или** сама уже там, у них на крючке в свои девятнадцать лет? (В. Быков. Бедные люди).

При употреблении **или** в качестве замыкающего компонента ряда с **ли...** **ли...** соединительность субэлемента *и* разбивает ряд на два противопоставленных плана выражения:

Чем-то – нервной **ли** худобой лица, офицерскими **ли** усиками **или** этим знаменитым по всем снимкам плащом-крылаткой со львами – он разительно напоминает лейтенанта Шмидта (Ю. Домбровский. Хранитель древностей).

Соединительность, обусловленная структурой **или**, реализуется также в pragматическом компоненте «и то и другое» («все вместе», «одновременно» и под.), который при необходимости вербализуется говорящим:

Лесочевский отвечает что-то невнятное. Что-то вроде: «Это не от меня зависит», **или**: «Нет бумаги», **или** и то и другое вместе (Л. Чуковская. Процесс исключения); Замазка оказывается твердой, как цемент, очевидно, такой ее сделали дожди, **или** морозы, **или** все стихии вместе (Э. Лимонов. Подросток Савенко); Если раньше на вопрос, что ей большие нравится – секс, курение **или** водка, Кейт отвечала: «Все и одновременно», то теперь она с собой бы не согласилась (Домовой, 2002.12.04).

Соединительность может быть эксплицирована и непосредственно союзом *и*, включенным во внутрирядные отношения между пропозициями:

– Есть две извинительные причины – выпивка **и** женщины **или** и то и другое одновременно (В. Кожевников. Щит и меч): Сперва порыбачить, а потом побачить. **Или одновременно** – бачить Галку **и** рыбачить (Ф. Искандер. Антип уехал в Казантип).

Если же свободный выбор альтернатив ситуативно не оправдан, то говорящий с помощью лексических средств «дилемма», «два варианта», «на выбор» и под. может подчеркнуть необходимость определиться с какой-нибудь одной из них:

Передо мной встала дилемма: **или** отменять картину и заняться собственным здоровьем, **или** же все-таки попробовать сделать ленту (Э. Рязанов. Подведеные итоги); Сенаторам придется делать выбор: **или** поддержать мнение своих регионов, **или** согласиться с либеральными реформаторами (Советская Россия, 2003.07.10); Два варианта: **или** помощник не осмелится ехать против бригадира, **или**, наоборот, бригадир пропустит помощника (А. Гладилин. Большой беговой день).

Говорящий также готов сделать прямое указание на отсутствие в описываемой ситуации промежуточного решения:

Или счастье без свободы – **или** свобода без счастья, третьего не дано (Е. Замятин. Мы).

Продолжением подобной речевой экспрессии является фразеологизация структуры *или*, основанная на эллипсисе сочиненных пропозиций, который в данном случае является актуализатором структурно-семантической доминанты *или*, что связано с общими тенденциями синтаксической фразеологизации, тяготеющей к построениям на основе регулярных синтаксических моделей (см.: [34. С. 129–133; 35. С. 42–47] и др.):

— Нужно решать. — Что решать? — Что-нибудь одно. *Или – или...* (В. Катаев. Время, вперед!); — План действительно прост: *или – или, а третьего не дано* (Д. Биленкин. Десант на Меркурий); *И вот тут-то Тася поняла и сказала себе в первый раз: «Или – или: или том, или другой»* (С. Залыгин. Соленая Падь).

В свою очередь, слушающий способен парировать такую детерминированность ситуации фразеологизацией соединительного аспекта:

Почему обязательно надо «или – или», а почему нельзя «и – и»? (Л. Утесов. Спасибо, сердце!).

Все это наглядно демонстрирует борьбу соединения и разделения наряду с предположительностью в семантике и прагматике союза *или*. Вершиной же этих коллизий является употребление *или* в пояснительном значении, когда одновременно представлены как равнозначность всех сочиненных им пропозиций, так и возможность предпочтения какой-нибудь одной из них:

*Дело писателя состоит в том, чтобы передать *или*, как говорится, донести свои ассоциации до читателя* (К. Паустовский. Золотая роза); — *Не знать ничего и даже не слышать об острове Рана-Нуи, или Вайгу, или Пасхи! Это чудовищно!* (Г. Адамов. Тайна двух океанов); *Это был Никитин менеджер, или артдиректор, или, как это там называется...* (В. Белоусова. По субботам не стреляю).

Ср.: *передать или донести? & и передать и донести / Рана-Нуи, или Вайгу, или Пасхи? & и Рана-Нуи, и Вайгу, и Пасхи / менеджер или артдиректор? & и менеджер, и артдиректор.*

Говорящий и слушающий сами выбирают устраивающую их альтернативу исходя из условий коммуникации.

2.3. Относительно этимологии союза *либо*, как мы уже отмечали, в русистике нет единой точки зрения. Наличие, по мнению ряда исследователей, в его структуре субэлемента *ли* указывает на то, что он мог образоваться в результате слияния частицы *ли* и древнерусского союза *бо* (по образцу союза *ибо*) [36. С. 167].

Однако в семантике *либо* отсутствуют «морфологические следы» частицы *ли*. Семантика его предельно конкретная, без «знака нерешенного вопроса» и прагматики безразличия. Он обычно употребляется в контексте предикатов знания:

Здесь можно стоять полчаса и ждать либо лезть напролом (Автопилот. 2002.02.15); *Не ладилось дело, потому что либо «голубятня торчит, но гумна не видно», либо «гумно видно, а голубятни нет»* (Ю. Герман. Дорогой мой человек); *Обычно Слава либо дирижирует, либо играет на виолончели* (Культура. 2002.03.25).

Союз *либо* тяготеет к отображению определенности, даже если ситуация подается говорящим как предположительная или вопросительная:

По городу проезжали, — все она в окна кареты глядит, точно прощается либо знакомых увидеть хочет (В. Короленко. Чудная); *Что с часами? Либо час, либо полвторого* (А. Битов. Рассеянный свет); — *От чего ягода? От головы, живота либо от зубов?* (Ю. Буйда. Степа Марат).

В связи с этим мы ориентируемся на другую точку зрения о происхождении *либо*, согласно которой он образовался из древнерусского союза *любо*, восходящего к соответствующему краткому прилагательному среднего рода [25. С. 191]. Как и древнерусские *ли с или*, союз *либо* не имел определенной стилистической окраски и нередко употреблялся рядом с ними «в одних и тех же памятниках», а также в сочетании с союзом *а*:

А в княже борти 3 гривне, любо пожгутъ, любо изуродутъ (Русская Правда); *Потнетъ ли на смырть, то вира, или пыхнетъ муж мужа, любо к себе, любо отъ себе, любо по лицу ударить, или жердью ударить* (Русская Правда); *Хощу главу свою положити, а любо испити шеломомъ Дону* (Слово о полу Игореве) [Там же. С. 191–192].

Союз *любо* имел широкое распространение в древнерусском языке, но «в старорусских памятниках его употребление значительно сокращается. Он был вытеснен союзом *либо*» <...> (по-видимому, под влиянием союза *ли* произошло изменение корневого гласного *любо* → *либо*)» [Там же]. При таком подходе к этимологии *либо* поддается объяснению главная особенность его семантики: наличие в ней оттенка желательности, мотивированного исходной словоформой *любо*. Так, высказывание «*А в княже борти 3 гривне, любо пожгутъ, любо изуродутъ*» можно понимать и как «*Захотят (пожелаю) – пожгут, захотят (пожелаю) – изуродуют*».

Даже в акцентированных контекстах совмещения альтернатив или ультимативного выбора (см. примеры выше) союз *либо* сохраняет семантику предпочтительности одной из них, поэтому использование лексем, подчеркивающих ее, представляется, по сравнению с аналогичным употреблением их при *или*, несколько избыточным. Ср.:

— *Они все были в свои незабвенные шестидесятые либо диссидентами, либо распутниками... Либо и то и другое...* (Л. Улицкая. Лялин дом); *Одно из двух: либо храбрец до безрассудства, — так гнуть против Друзьева, Дороднова и прочих, — либо же что-то знает* (Ю. Трифонов. Дом на набережной); *Либо социалист, либо юродивый — третьего не дано, как в задачках говорится* (Б. Васильев. Были и небыли).

Еще категоричнее семантика обязательного выбора проявляется при фразеологизации *либо*:

— *Ничего не поделаешь, таковы правила игры. Либо – либо...* (Д. Гринин. Иду на грозу); «*В общем: либо – либо! Кто не с нами, тот против нас!* (С. Довлатов. Марш одиноких); *Бродский, Аксенов, если уживаются, а если нет, то либо – либо* (А. Битов. Последовательность текстов).

В подобных ситуациях даже общая вопросительность высказывания зачастую оказываетсянейтрализованной:

Итак – либо-либо? Ваша честь в ваших собственных руках (Н. Брешко-Брешковский. Дикая дивизия).

По причине данной семантической особенности союз *либо*, в отличие от *или*, не может сочинять пропозиции со значением абсолютного тождества.

Ср.: *Остров Рана-Нуи, или Вайгу, или Пасхи & Остров Рана-Нуи, либо Вайгу, либо Пасхи*.

Высказывание с *либо* может иметь смысл лишь при ультимативном требовании определиться с одним из вариантов ответа и при условии, что говорящий и слушающий хорошо осведомлены о предмете речи. Но пояснительность как таковая здесь отсутствует, так как данный союз не допускает равнозначного понимания сочиненных им альтернатив.

Различия между семантикой *либо* и *или* наглядно проявляются в контекстах, в которых они соседствуют:

Это был *или* миндаль, *или* арахис, причем жарили их *либо* с солью, *либо* с сахаром (А. Козлов. Козел на саксе); Компьютер, обычный *или* портативный, относится к числу вещей, которые наши герой *или* героиня *или* сразу оба *либо* имеют, *либо* намерены приобрести (Д. Петров. Яппи по-русски); Как мне не хватает Юрия Станиславовича! «Лотковые лавины, – говорил он, стоя у этого окна, – это орудия, направленные на долину. *Либо* ты их, *либо* они тебя». В лавинном деле он был великанином, с его уходом образовался вакуум, который некем заполнить. Его ученики – *или* теоретики, *или* практики, Оболенский же был и тем, и другим (В. Санин. Белое проклятие).

Пропозиции, сочиненные *или*, воспринимаются в этих высказываниях нейтрально по отношению друг к другу, тогда как союз *либо* нарушает имеющееся статус-кво.

Показательно также сравнение *либо* и *или* в вариантах поговорки, обра зованной на их основе (*или пан, или пропал / либо пан, либо пропал*):

– Тут на прорыв надо ориентироваться, – решительно заявил Миша, – тут – *или* пан, *или* пропал... (Ю. Герман. Дорогой мой человек); В «поиске», когда захватывающая группа в пять–шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей – тут уж *либо* пан, *либо* пропал (В. Распутин. Живи и помни).

Если в высказывании с *или* присутствует уже известное нам безразличие говорящего к тому или иному исходу событий, о котором писал А.В. Добиаш, то в высказывании с *либо* оба результата воспринимаются как форс-мажорные.

2.4. Союз *то... то...* относится к числу «сравнительно новых» в истории русского литературного языка средств синтаксической связи [37. С. 118]. Первые факты его употребления отмечаются в старорусских памятниках:

А Меликтучаръ седить на 20 тмахъ; а бьется с кафары 20 летъ есть, то его побиютъ, то он побиваетъ их многажды (Хожд. Аф. Ник.) [Там же].

Тем не менее к XIX в., т. е. периоду окончательного становления русского литературного языка, это было уже достаточно частотное синтакси-

ческое средство с полностью сформировавшимися категориальными свойствами. Ср.:

Погода по ветру, то слякоть, то вёдро (А. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву); *Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечаала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону* (Н. Карамзин. Бедная Лиза); *[Цыфиркин.] Не всякому открыл господь науку: так, кто сам не смыслит, меня нанимает то счетец поверить, то итоги подвести* (Д. Фонвизин. Недоросль).

Семантика *то... то...* неразрывно связана с идеей чередования (поочередной мены) событий во времени. Данный союз «не передает ни значения взаимной обусловленности чередующихся явлений, ни их взаимного отрицания-исключения; в отличие от всех других видов разделительной связи эта связь не гипотетическая, а фактическая» [27. С. 180]. При этом «по “качеству” соединительной семантики *то... то...* из всех союзов ближе всего к *и... и...*: оба вводят утверждения о соответствии действительности каждой из ситуаций» [38. С. 78]. Об этом свидетельствуют, в частности, факты контактного взаимодействия *то... то...* с не менее конкретным по семантике *либо*, зафиксированные в сибирских говорах, напр.:

«*То либо тут чё не хватает, то либо тут чё-нить неладно*» [39. С. 57].

И действительно, сам по себе союз *то... то...* не организует конструкций с гипотетической связью. Она может выражаться с его участием лишь при определенном модусно-диктумном наполнении контекста:

«*Как живет дитя, а? И не разберешь – моложе она или старше своих годов? То будто моложе, то – старше...*» (М. Горький. Жизнь Матвея Кожемякина).

Эта особенность союза обусловлена глубинной семантикой его строевого элемента – дейктического *то*, который не только сообщает о чередующихся событиях, но и указывает на них как на реальные факты действительности, что отчетливо проявляется при передаче союзом альтернативно-локальных отношений:

В траве то там, то тут принимались звенеть кузнецы и сразу же затихали, словно боясь нарушить тишину (В. Белов. За tremя волоками); *Река была то слева, то справа от поезда* (К. Симонов. Япония); *Целый день мы кружили по руслу реки так, что солнце было у нас то впереди, то сзади, то с одного бока, то с другого* (В. Арсеньев. Сквозь тайгу).

Ср.: *Тó – там. Тó – тут. / Тó – слева. Тó – справа. / Тó – впереди. Тó – сзади. Тó – с одного бока. Тó – с другого.*

В других контекстах указательность *то... то...* не так очевидна на первый взгляд, но все же прочитывается, если понимать его как темпоральный «суперпредикат» [40. С. 296] с дейктической спецификой, действующий в связке с базовыми предикатами, напр.:

Десятки лет община где-то ютилась – то в посольском доме, то в мастерских и переговорных пунктах (А. Данилова. Местность любви); *Михаил Владимирович все это время то отсутствовал, то был занят* (Ю. Башмет. Вокзал мечты); */Да, да, это было то самое, что уже несколь-*

ко раз попадало ему в руки./ То шофер привез откуда-то, то буфетчица пожертвовала (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).

Ср.: ютилась то в посольском доме, то в мастерских; то отсутствовал, то был занят; то шофер привез, то буфетчица пожертвовала.

Указательность – неотъемлемая составляющая денотата *то... то...*. Так, союз *или* при определенном лексическом составе высказывания тоже может передавать отношения чередования, но без указательности, ибо в его денотате данное свойство не прописано. Ср.:

Он ездил то в город, то за город на своем желтом автомобиле, бывал каждый вечер в театре, или в ресторане, или в кабаре (Г. Газданов. Вечер у Клэр).

Однако при подстановке вместо *или* союза *то... то...* чередование с сопутствующей ему указательностью выходит на первый план:

Бывал каждый вечер то в театре, то в ресторане, то в кабаре.

Ср. также с исчезнением указательности при подстановке союза *или* в ряды с альтернативно-локальным чередованием: *то там, то тут & или там, или тут; то слева, то справа & или слева, или справа; то впереди, то сзади & или впереди, или сзади.*

Как языковая категория указательность тесно связана с сопоставительностью. Такое взаимодействие в русском языке представлено, в частности, в союзе *a то (и)*, состоящем из сопоставительного и указательного элементов. С союзом *то... то...* данное средство связи взаимодействует в виде замыкающего компонента:

То басит, то срывается на визг, а то говорит голосом мультишного персонажа (Известия, 2002.10.13); Рядом с усадьбой было поле, его то засевали кукурузой, то распахивали под пар, а то и просто так оставляли, на растерзание жестокому чертополоху с малиновыми гроздьями колючек (Г. Садулаев. Одна ласточка еще не делает весны).

Сопоставительный элемент *a*, как и союз *a*, связан с идеей «поворота повествования» [33. С. 253–260]. Этот поворот присутствует и в семантике *то... то...*, так как он не просто сигнализирует о чередовании событий, но еще и является их регистром-переключателем с одного пространственно-временного плана на другой. С учетом этого фактора можно объяснить наличие у союза *то... то...* pragматической семантики «нечто негативное» [41. С. 50–74], которая актуализируется в контекстах, связанных с субъективной оценкой описываемых событий, напр.:

– Собор за собором! – жаловался Гауденций какому-то вельможе. – *To в Сирии, то в Сардинии, то в Антиохии, то в Константинополе* (Д. Мережковский. Гибель богов); *A ремонт... Квартира огромная. То заняться некому, то деньги куда-то уплывают* (В. Розов. С вечера до полудня); *To банки у нее пропали, то навоз. Брошу и буду спокойно жить* (Б. Екимов. Память лета).

Подстановка замыкающего *a то (и)* еще более подчеркивает эту семантику:

Собор то в Сирии, а то в Сардинии. To в Антиохии, а то в Константинополе / То заняться некому, а то деньги куда-то уплывают / To банки у нее пропали, а то навоз.

Сема «нечто негативное» является своего рода реакцией сочиненных союзом *то... то...* пропозиций на их разделительное сопоставление в контекстах сигнификативного плана, в результате чего создается спорадический эффект их восприятия, который и формирует сниженную эмоциональную оценку перечисляемых альтернатив.

2.5. Союзы *то ли... то ли...* и *не то... не то...* очень близки по структуре и семантико-сintаксическим свойствам, поэтому мы рассмотрим их вместе. Оба появились в литературном языке, как показывают исследования, а также данные НКРЯ, совсем недавно. Союз *то ли... то ли...* проник в него из северновеликорусских говоров на рубеже XIX–XX вв. и поначалу осознавался как «просторечный, а потом разговорный» [42. С. 20]. Сформировался, по-видимому, на основе перечисления альтернатив с предположительной частицей *то ли*, которая и сегодня широко распространена в различных говорах, в том числе сибирских:

Вот эти то ли матрёшки самые – свино-то ухо; И ни слыху, ни дыху. То ли уж перемёрзла совсем, хворат; ...Баношницы, говорят, нету то-перь, то ли уехала куда [39. С. 39].

Происхождение союза *не то... не то...* не совсем ясное. В первой половине XIX в. имеют место лишь единичные случаи его употребления и, как правило, в сопровождении сопоставительно-противительных лексико-сintаксических средств с семантикой «нечто среднее»:

Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь, Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку (А. Пушкин. Сказка о царе Салтане); *День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета* (Н. Гоголь. Мертвые души).

Похожая семантика у нынешнего союза *не то чтобы... но/а (и)*, следы формирования которого также присутствуют в текстах того периода. Он мог употребляться как с сопоставительно-противительной частью, так и без нее:

/Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича./ Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен (М. Лермонтов. Герой нашего времени); *На петергофский праздник срядили меня, туда и назад, какие-то, не то чтоб господа, не то чтоб мастеровые... а какие-то подъячие, что ли...* (Ф. Булгарин. Извозчик-ночник).

Исходя из этого образования *не то... не то...* шло, скорее всего, по линии сокращения структуры, которая закрепилась в итоге с соответствующей семантикой за союзом *не то что бы... но/а (и)*, тогда как *не то... не то...* стал выражать более абстрагированные отношения. Об этом говорит, в частности, возможность взаимозамены данных союзов. Ср.:

День был не то чтобы ясный, не то чтобы мрачный, а какого-то светло-серого цвета & Не то господа, не то мастеровые... а какие-то подъячие, что ли.

Вместе с тем не исключено влияние на образование *не то... не то...* и альтернативно-мотивировочных союзов *а не то, не то, а то*, образован-

ных, в свою очередь, в результате компрессии условно-уступительных высказываний с союзом *если* при отрицании с *не* и корреляте *то* [43. С. 85–117], напр.:

На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться (Н. Лесков. Очарованный странник).

Ср.: *На троицу, а если не на троицу, то на духов день* → *На троицу, а не то (а то) на духов день* → *На троицу, не то на духов день & На духов день, не то на троицу* → *Не то на троицу, не то на духов день*.

Как современный, т.е. без поддержки сопоставительно-противительными средствами, союз *не то... не то...* начал утверждаться в литературном языке ближе к середине XIX в.:

Ей помогали трое нечесанных от колыбели лакеев, одетых в полуфраки из какой-то серой не то байки, не то сукна (А. Герцен. Кто виноват?); *Не то дождь, не то туман облекали мертвую окрестность влажною пеленой*. (В. Соллогуб. Тарантас); *Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожиданье, не то на воспоминание счаствия* (И. Тургенев. Три встречи).

Особенности союзов *то ли... то ли...* и *не то... не то...* определяются их компонентно-элементным составом: вопросительным *ли* и отрицательным *не* соответственно. По причине включенности категориальных свойств данных элементов в поле ирреальной модальности оба союза выражают гипотетические отношения в контексте «предикатов незнания», вербализуя одну денотативную ситуацию посредством двух и более пропозиций [44. С. 78–93]:

Издали не сразу и поймешь, кто кого несет, – то ли Вася лукошко, то ли лукошко Васю (Ф. Абрамов. Братья и сестры); *Данилов не знал вовсе, кто он. То ли демон, то ли человек, то ли неведома зверушка, то ли вообще черт знает кто* (В. Орлов. Альтист Данилов); «*Больно накладны эти дрова. Не знаешь, на чем и ехать – не то на колесах, не то на копыльях*» (Ф. Абрамов. Две зимы и три лета); *Невозможно разобрать было ни одного слова: не то про решета, не то про стекла идет речь* (В. Солоухин. Капля росы).

Со своей стороны, дейктический *то* добавляет к сочиненным пропозициям известную семантику указательности, но только без темпоральности, и при этом способствует взаимодействию обоих союзов с сопоставительным *а* и замыкающим компонентом *а то (и)*:

Тут выясняется, что никто путем не знает, куда ушли косцы, то ли на Попов луг, то ли в Капустный овраг, а то ли решили начинать с Подувалья (В. Солоухин. Капля росы); *Не то шмели над головой гудят, не то веретено жужжит, а то и на собак будто похоже* (И. Новиков. Петух); *А раньше, бывало, в день приезда почему-то всегда путал этажи; то ли пятый, то ли шестой, а то и седьмой* (Ф. Искандер. Сандро из Чегема).

Различия между *то ли... то ли...* и *не то... не то...* также основываются на категориальных особенностях элементов *ли* и *не*, но уже на отличительных. И.Н. Кручинина характеризует *то ли... то ли...* как союз, «в котором преобладает значение предположения-сомнения ('то ли?')» [27. С. 179]:

*На подвесных «оковах» вьется и гнется **то ли** средневековый рыцарь, **то ли** современный терминатор* (Известия, 2003.02.14).

Говорящий как бы спрашивает: *Средневековый рыцарь ли **то**? Современный терминатор ли **то**?*

Элемент *ли* вкупе с *то* обуславливает и употребление *то ли... то ли...* в вопросительных высказываниях практически в любых синтаксических условиях:

*Тень метнулась у окошка, И взмахнули два крыла. **То ли** птица, **то ли** кошка, **То ли** женщина была?..* (А. Кирилин. Нулевой километр); *Как-то я пришла домой из школы (**то ли** в девятом классе была, **то ли** в десятом?), а мама моет окна и поет* (И. Грекова. Перелом); – *Игорек, а ты в курсе, что Лурье с пятой койки **то ли** родственница, **то ли** близкая знакомая Елисея нашего?* (А. Моторов. Преступление доктора Паровозов).

В свою очередь, союз *не то... не то...* выражает «предположение-отрицание (‘не то?’)» [27. С. 179]:

*Вдали темнела зубчатая полоса, напоминающая **не то** прильнувшие к земле тяжелые облака, **не то** далекие горы, **не то** более близкие леса...* (Л. Улицкая Казус Кукоцкого).

Ср.: ***To не** облака. **To не** горы. **To не** леса.*

Благодаря элементу *не* семантика *не то... не то...* связана с контрастным отрицанием, т.е. отрицанием с неисключенным третьим, которое в русском языке «усматривается в основном в словах с *не*-приставкой или в антонимических парах (типа *счастливый – несчастный*)» [45. С. 195]. Однако наличие отрицаемых пропозиций в конструкции с *не то... не то...* создает искомую антонимию (*не то, а это / не это, а то*), которая тянется «шлейфом исторической памяти» еще со времен формирования данного союза (см. примеры из произведений А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя выше). Данная особенность *не то... не то...* может обыгрываться авторами:

*Аэлита отвернулась. Задрожал острый колпачок на ее голове. **Не то** она смеялась, – нет, **не то** заплакала, – нет* (А. Толстой. Аэлита).

Оба решения проблемы отвергнуты говорящим (*не смеялась и не заплакала*), который обозначил тем самым некое третье, т.е. промежуточное ее решение. Все это позволяет говорить о наличии в *не то... не то...* потенциального семантического компонента «что-то среднее» [46. С. 293], который может быть эксплицирован в случае необходимости:

*Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой о стену, он издал звук **не то** «и», **не то** «е» – вроде «иэээ»! (М. Булгаков. Собачье сердце); *И вот он [Желдаков] **не то** инженер, **не то** железнодорожник, **не то** топограф, а скорее всего, все это вместе и всего понемножку* (П. Халов. Каждое мгновение).*

Семантика отрицания обуславливает и то, что *не то... не то...*, в отличие от своего визави *то ли... то ли...*, практически не употребляется в вопросительных высказываниях. На это также обращали внимание исследователи, отмечая, что «в предложениях с союзом *то ли... то ли...*, содержащих в себе вопросительный элемент *ли*, оттенок вопроса выражен в боль-

шей степени, в предложениях с союзом *не то... не то...* в меньшей (если он вообще имеет здесь место)» [47. С. 75]. Ср.:

Весна прошла в сомнениях – то ли дом купить, то ли снять, не то заниматься домом, не то писать роман (А. Варламов. Пришвин, или Гений жизни); *Помещение, как всегда во сне, было неопределенным, не то зал, не то подвал, то ли много раз мною посещенное, то ли я оказался там впервые* (А. Битов. Записки из-за угла); *О моем приглашении сниматься у Ченека Дуба то ли чехи сообщили в Комитет по кинематографии в Москву, то ли со студии Горького, но почему-то из Москвы пришла мне телеграмма: «Вопрос о ваших съемках на «Баррандов-студии» в Праге отпал», – и подпись: не то Попов, не то Козлов, не помню уже сейчас* (В. Даудов. Театр моей мечты)

Если пропозиции, сочиненные союзом *не то... не то...*, в определенной мере нейтрально сообщают о какой-то общей гипотетической ситуации, то пропозиции с *то ли... то ли...* явственно содержат в своей глубинной структуре вопросительную семантику, требующую определенной реакции слушающего на нее.

3. Мы продемонстрировали на основе фактов естественного языка семантико-синтаксическую связь между строевыми элементами современных русских разделительных союзов и их исходными лексемами-партикулами. Так, элемент (субэлемент) *ли* обусловливает наличие в семантике и pragматике союзов *ли... ли..., или, то ли... то ли...* различных оттенков неопределенности и вопросительности. Элемент *не* также связан с семантикой неопределенности, но строящейся уже без вопросительности, на контрапности и противопоставлении сочиненных пропозиций. Субэлемент *и* в *или* привносит в отношения между пропозициями семантику единения, перечисления и развития повествования. Элемент *то* выполняет дейктическую функцию, связанную как с идеей темпорального поворота повествования в союзе *то... то...*, так и с чистой указательностью в союзах *то ли... то ли..., не то... не то...*, которая коррелируется с их семантикой неопределенности.

Особняком в этом ряду стоит союз *либо*, так как, если учитывать особенности его семантики, образовался, скорее всего, от словоформы *любо*, а внешняя «партикулярность» его облика (**ли* + *бо*) связана, вероятно, со своего рода межсоюзным сингармонизмом – фонетическим подравниванием под союзы *ли... ли...* и *или*, с которыми он часто употреблялся в общих контекстах. Правда, существует и промежуточный способ решения проблемы. Не исключено, что сама частица *ли* является производной по отношению к словоформе *любо*, соотносясь с общеславянским корнем **ljub*, и ее «можно рассматривать как следствие расщепления, вызванного влиянием таких слов, как общеславянские **ibo*, **bo*» [48. С. 479]. В таком случае обе точки зрения на этимологию союза *либо* максимально сближаются в диахроническом плане, но тем не менее основу **ljub-* с большей долей уверенности можно считать определяющей для этимологии и современного употребления союза *либо*.

Если же говорить в целом, то благодаря такому качественному и количественному разнообразию структурных элементов русские разделительные союзы *ли... ли..., или, либо, то... то..., то ли... то ли..., не то... не то...* выражают предельно дифференцированные и тонкие семантико-сintаксические смыслы в рамках своего категориального вида связи. И это является первостепенной заслугой их строительного материала – древнейших лексем-партикул.

Литература

1. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. 4-е изд. М. : Рус. яз., 2001. 720 с.
2. Серебряная Ф.И. К вопросу о формировании сложных сочинительных союзов на базе непроизводных // Исследования по современному русскому языку. М., 1970. С. 227–240.
3. Кузнецова Р.Д. Отражение путей и способов образования союзов в их строении и функционально-семантических свойствах // Неполнозначные слова: история, семантика, функционирование. Тверь, 1997. С. 7–13.
4. Глушенко Т.Н. Образование союзных скреп на базе предлогов в результате предикативной номинализации : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1997. 18 с.
5. Виноградова Е.Н., Всеволодова М.В. Средства связи, участвующие в выражении причинно-следственных отношений, в рамках функционально-коммуникативного описания языка (корпус средств и актуальное членение) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2001. № 6. С. 69–100.
6. Завьялов В.Н. Описание синтагматических скреп на структурно-семантической основе // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2015. № 4. С. 29–33.
7. Шереметьева Е.С. Отмыенные релятивы современного русского языка : дис. ... д-ра филол. наук. Владивосток, 2011. 407 с.
8. Колосова Т.А., Черемисина М.И. Очерки по теории сложного предложения. 2-е изд., испр. и доп. М. : URSS. 2010. 226 с.
9. Прияткина А.Ф. Союз ЕСЛИ в простом предложении // Русский синтаксис в грамматическом аспекте (синтаксические связи и конструкции). Избранные труды. Владивосток, 2007. С. 257–269.
10. Семенова И.В. Дериваты союза *если* (на материале служебных новообразований, возникших на базе *если*). Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. ун-та, 2015. 130 с.
11. Шмелева Т.В. Скрепы с конструктивной основой ЕСЛИ НЕ // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 51. С. 69–83.
12. Николаева Т.М. Непарадигматическая лингвистика: (История «блуждающих частиц»). М. : Языки славянских культур, 2008. 376 с.
13. Гусева Е.Р. Партикулярные союзы в севернорусских говорах (комплекс с L-, N- particулами, инициаль И-) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. : Общественные и гуманитарные науки. 2015. № 3 (148), т. 2. С. 52–55.
14. Окуловская С.В. Служебная лексика в поуженских говорах (на материале произведений И.М. Касаткина) // Вестник Костромского государственного университета. 2017. № 1. С. 166–169.
15. Урысон Е.В. Союзы А ТО и А НЕ ТО: возможности композиционального семантического анализа // Вопросы языкоznания. 2010. № 1. С. 61–73.
16. Пекелис О.Е. Двухместные сочинительные союзы: опыт системного анализа (на основе корпусных данных) // Вопросы языкоznания. 2012. № 2. С. 10–44.

17. Завьялов В.Н. Морфологические и синтаксические аспекты описания структуры русских союзов. Хабаровск : ДВГГУ, 2008. 242 с.
18. Инькова О.Ю., Кружков М.Г. Метод описания структуры неоднословных коннекторов в надкорпусных базах данных // Системы и средства информатики. 2018. Т. 28, вып. 4. С. 168–181.
19. Eroms K W. De l'erosion des connecteurs et de la precession des ligateurs // Etudes germaniques. 1996. 51 ann. № 2.
20. Favart M., Passerault J.-M. Aspects textuels du fonctionnement et du development des connexteurs approche en production // Annee psychologique. 1999. № 99.
21. Schmidt K. H. Pre-Indo-European grammar // General linguistics. 2004. Vol. 42.
22. Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru
23. Завьялов В.Н. О содержательных составляющих понятия «структура русских союзов» // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9. Филология. С. 85–90.
24. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка : учебник для высших учебных заведений. СПб. : СПбГУ, 2010. 512 с.
25. Стеценко А.Н. Исторический синтаксис русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М. : Вышш. шк., 1977. 352 с.
26. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М. : Наука, 1988. 341 с.
27. Кручинина И.Н. Структура и функции сочинительной связи в русском языке. М. : USSR, 2009. 216 с.
28. Хегай В.М. Разделительные отношения и средства их выражения в современном русском языке: дис. ... канд. филол. наук. М., 1981. 184 с.
29. Фасмер А. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М. : Прогресс, 1986. Т. II. 673 с.
30. Добиаш А.В. Опыт симасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка. Прага, 1897. 544 с.
31. Санников В.З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом аспекте. М. : Языки русской культуры, 2008. 640 с.
32. Урысон Е.В. Словарная статья союза ИЛИ (...ИЛИ) // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. Москва ; Вена : Языки славянской культуры : Венский славистический альманах, 2004. С. 437–440.
33. Урысон Е.В. Опыт описания семантики союзов. М. : Языки славянских культур, 2011. 336 с.
34. Садченко В.Т. Вторичный семиозис в художественном тексте. Хабаровск : ДВГГУ, 2009. 243 с.
35. Сигал К.Я. Проблемы теории синтаксиса. М. : Ключ-С, 2012. 164 с.
36. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. М. : Прозерпина, 1994. 398 с.
37. Георгиева В.Л. История синтаксических явлений русского языка. М. : Просвещение, 1968. 168 с.
38. Пекелис О.Е. «Частичное согласование» в конструкции с повторяющимся союзом: корпусное исследование основных закономерностей // Вопросы языкознания. 2013. № 4. 55–86.
39. Петрунина С.Н. Грамматика говорящего и слушающего в сибирских говорах (на материале парных конструкций). Новокузнецк : РИО КузГПА, 2008. 262 с.
40. Степанов Ю.С. Язык и метод: К современной философии языка. М. : Языки русской культуры, 1998. 784 с.
41. Дьячкова Н.А. Полипредикативные разделительные конструкции с союзом «ТО–ТО» в современном русском языке и их функционирование: дис. ... канд. филол. наук. Л., 1989. 209 с.
42. Перетрухин В.Н. То ли или Не то? // Русская речь. 1973. № 1. С. 91–93.

43. Колосова Т.А. Русские сложные предложения асимметричной структуры. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск : НГУ, 2008. 211 с.
44. Шувалова С.А. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их выражения. М. : Изд-во МГУ, 1990. 160 с.
45. Падучева Е.В. Отрицание // Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики (<http://rusgram.ru>). На правах рукописи. М., 2011. С. 192–235.
46. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. 3-е изд. М. : Просвещение, 1965. 408 с.
47. Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке. Смоленск : СГПИ, 1975. Ч. 2. 88 с.
48. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. М. : Рус. яз., 1994. Т. 1. 624 с.

Semantic-Syntactic Properties of Russian Disjunctive Conjunctions in Terms of Their Etymology and Structure

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 5–25. DOI: 10.17223/19986645/66/1

Viktor N. Zavialov, Pacific National University (Khabarovsk, Russian Federation). E-mail: victorhoff@list.ru

Keywords: particles, conjunctions, etymology, structure, semantics, pragmatics, syntax.

The article deals with the semantic and syntactic properties of Russian disjunctive conjunctions *li . . . li . . . ili*, *libo*, *to . . . to . . . ne to . . . ne to . . .*, *to li . . . to li . . .* based on the peculiarities of their structure. The etymology of each conjunction is established on the basis of particles in their structure. The relationship between their initial meanings and the role they play in the structure of conjunctions is investigated. This approach is based on the principles of nonparadigmatic linguistics, the object of which are particles—primary nontaxonomic lexemes, which function in the linguistic system from the time of its formation. The original semantics of such particles is preserved in the structure of modern lexemes formed with their participation. This is the so-called hidden memory of the language. It helps the speaker and hearer to distinguish between the variants of the lexemes and synonyms; the differences between them are not easily described by means of the traditional interpretation. As a result of the study, the following results are obtained. The element *li* determines the presence of different shades of uncertainty and questioning in the semantics and pragmatics of the conjunctions *li . . . li . . . ili*. The element *ne* in *ne to . . . ne to . . .* is also connected with the semantics of uncertainty, but this semantics is built on the basis of contrast and opposition of the coordinating propositions. The sub-element *i* in the conjunction *ili* adds the semantics of connection, enumeration and development of narration to the relations between propositions. The element *to* in *to . . . to . . .* and *to li . . . to li . . .* performs a deictic function related both to the idea of a shift in the narrative and to the general pointing to something, which is correlated with the semantics of temporality (*to . . . to . . .*) or uncertainty (*ne to . . . ne to . . . , to li . . . to li . . .*). The conjunction *libo* derived from the ancient conjunction *lyubo*, which, in turn, derived from the short form of the corresponding adjective. The adjective *lyubo* bears the semantics of desire, which passed on to the conjunction *lyubo*. Subsequently, the conjunction *lyubo* phonetically changed under the influence of the conjunctions with the element *li* (*li . . . li . . . ili*). The semantics of desire remained with it at a deep syntax level. In this regard, the conjunction *libo* has the meaning of the preferred choice of one of the proposed alternatives. Generally, the meanings and syntactic features of Russian disjunctive conjunctions are still inextricably linked with the semantics and categorical properties of their initial structural elements, on which their modern distinctive features are based. Due to this, Russian disjunctive conjunctions express very subtle and differentiated shades of disjunctive relations.

References

1. Vinogradov, V.V. (2001) *Russkiy jazyk: Grammatischeskoe uchenie o slove* [Russian Language: Grammar teaching about the word]. 4th ed. Moscow: Russkiy jazyk.
2. Serebryanaya, F.I. (1970) K voprosu o formirovaniı slozhnykh sochinitel'nykh soyuzov na baze neproizvodnykh [On the question of the formation of complex compositional unions on the basis of non-derivative ones]. In: Kamynina, A.A. & Lomtev, T.P. (eds) *Issledovaniya po sovremennomu russkomu jazyku* [Research on the Modern Russian Language]. Moscow: Moscow State University, pp. 227–240.
3. Kuznetsova, R.D. (1997) Otrazhenie putey i sposobov obrazovaniya soyuzov v ikh stroenii i funktsional'no-semanticheskikh svoystvakh [Reflection of the ways and means of formation of conjunctions in their structure and functional and semantic properties]. In: *Nepolnoznachnye slova: istoriya, semantika, funktsionirovanie* [Functional Words: History, Semantics, Functioning]. Tver: Tver State University, pp. 7–13.
4. Glushchenko, T.N. (1997) *Obrazovanie soyuznykh skrep na baze predlogov v rezul'tate predikativnoy nominalizatsii* [Formation of Connectors Based on Prepositions as a Result of Predicative Nominalisation]. Abstract of Philology Cand. Diss. Voronezh.
5. Vinogradova, E.N. & Vsevolodova, M.V. (2001) Sredstva svyazi, uchastvuyushchie v vyrazhenii prichinno-sledstvennykh otnosheniy, v ramkakh funktsional'no-kommunikativnogo opisaniya jazyka (korpus sredstv i aktual'noe chlenenie) [Communication means participating in the expression of cause-and-effect relations within the framework of the functional and communicative description of the language (the corpus of means and actual division)]. *Vestnik MGU. Seriya 9. Filologiya – Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology*. 6, pp. 69–100.
6. Zav'yalov, V.N. (2015) Opisanie sintagmaticheskikh skrep na strukturno-semanticeskoy osnove [Description of syntagmatic ties on a structural and semantic basis]. *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta – Pyatigorsk State Linguistic University Bulletin*. 4, pp. 29–33.
7. Sheremet'eva, E.S. (2011) *Otymennye relyativy sovremennoj russkoj jazyka* [Denominative Relatives of the Modern Russian Language]. Philology Dr. Diss. Vladivostok.
8. Kolosova, T.A. & Cheremisina, M.I. (2010) *Ocherki po teorii slozhnogo predlozheniya* [Essays on the Theory of Complex Sentences]. 2nd ed. Moscow: URSS.
9. Priyatkina, A.F. (2007) *Russkiy sintaksis v grammaticeskem aspekte (sintaksicheskie svyazi i konstruktsii). Izbrannye Trudy* [Russian Syntax in Grammatical Aspect (Syntactic Links and Constructions). Selected Works]. Vladivostok: Far Eastern National University, pp. 257–269.
10. Semenova, I.V. (2015) *Derivaty soyuza esli (na materiale sluzhebnykh novoobrazovaniy, voznikshikh na baze esli)* [Derivatives of the Conjunction Esli (on the material of new service formations arising on the basis of ‘esli’)]. Khabarovsk: Pacific National University.
11. Shmeleva, T.V. (2018) Linking words on the structural basis esli ne. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. – Tomsk State University Journal of Philology*. 51, pp. 69–83. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/51/7
12. Nikolaeva, T.M. (2008) *Neparadigmatische linguistik (Istoriya “bluzhdayushchikh chastits”)* [Non-Paradigmatic Linguistics (History of “wandering particles”)]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
13. Guseva, E.R. (2015) Particle conjunctions in Northern Russian dialects (complex with L-, N-particles, initials I-) *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta – Proceedings of Petrozavodsk State University*. 3–2 (148), pp. 52–55. (In Russian).
14. Okulovskaya, S.V. (2017) Function words in the Unzha patois lexis (in terms of Ivan Kasatkin’s pieces). *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta – Vestnik of Kostroma State University*. 1, pp. 166–169. (In Russian).

15. Uryson, E.V. (2010) The compound conjunctions A TO and A NE TO: insights provided by the semantic compositionality approach. *Voprosy jazykoznanija*. 1. pp. 61–73. (In Russian).
16. Pekelis, O.E. (2012) Twoplace coordinative conjunctions: A corpus-based study. *Voprosy jazykoznanija*. 2. pp. 10–44. (In Russian).
17. Zav'yalov, V.N. (2008) *Morfologicheskie i sintaksicheskie aspekty opisaniya struktury russkikh soyuzov* [Morphological and Syntactic Aspects of the Description of the Structure of Russian Unions]. Khabarovsk: Far Eastern State University of Humanities.
18. In'kova, O.Yu. & Krushkov, M.G. (2018) Method for description of multiword connectives in Supracorpora databases. *Sistemy i sredstva informatiki*. 4 (28). pp. 168–181. (In Russian). DOI: 10.14357/08696527180416
19. Eroms, H.-W. (1996) De l'érosion des connecteurs et de la précession des ligateurs. *Études Germaniques*. 2 (51). pp. 329–378.
20. Favart, M. & Passerault, J.-M. (1999) Aspects textuels du fonctionnement et du développement des connecteurs: approche en production. *L'Année psychologique*. 99–1. pp. 149–173.
21. Schmidt, K.H. (2004) Pre-Indo-European grammar. *General linguistics*. 42.
22. Russian National Corpus. [Online]. Available from: www.ruscorpora.ru. (In Russian).
23. Zav'yalov, V.N. (2015) On substantial parts of the concept ‘structure of Russian conjunctions’. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Iстория, филология – Novosibirsk State University Bulletin. Series: History and Philology*. 9 (14). pp. 85–90. (In Russian).
24. Kolesov, V.V. (2010) *Istoricheskaya grammatika russkogo jazyka* [Historical Grammar of the Russian Language]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University.
25. Stetsenko, A.N. (1977) *Istoricheskiy sintaksis russkogo jazyka* [Historical Syntax of the Russian Language]. 2nd ed. Moscow: Vysshaya shkola.
26. Arutyunova, N.D. (1988) *Tipy jazykovykh znachenij: Otsenka. Sobytie. Fakt* [Types of Language Meanings: Evaluation. Event. Fact]. Moscow: Nauka.
27. Kruchinina, I.N. (2009) *Struktura i funktsii sochinitel'noy svyazi v russkom jazyke* [The Structure and Functions of the Compositional Communication in the Russian Language]. Moscow: USSR.
28. Khegay, V.M. (1981) *Razdelitel'nye otnosheniya i sredstva ikh vyrazheniya v sovremenном russkom jazyke* [Separation Relations and Means of Their Expression in Modern Russian Language]. Philology Cand. Diss. Moscow.
29. Vasmer, M. (1986) *Etimologicheskiy slovar' russkogo jazyka* [Etymological Dictionary of the Russian Language]. Vol. 2. Moscow: Progress.
30. Dobiash, A.V. (1897) *Opyt simasiologii chastej rechi i ikh form na pochve grecheskogo jazyka* [An Experience of Simasiology of Parts of Speech and Their Forms on the Basis of the Greek Language]. Prague: Tipografiya. dr. E. Gregra.
31. Sannikov, V.Z. (2008) *Russkiy sintaksis v semantiko-pragmatischeskom aspekte* [Russian Syntax in the Semantic and Pragmatic Aspect]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
32. Uryson, E.V. (2004) Slovarnaya stat'ya soyuza ILI (... ILI) [Dictionary entry of the conjunction ILI (... ILI)]. In: Apresyan, Yu.D. (ed.) *Novyy ob'yasnitel'nyy slovar' sinonimov russkogo jazyka* [New Explanatory Dictionary of Synonyms of the Russian Language]. 2nd ed. Moscow; Vienna: Yazyki slavyanskoy kul'tury: Venskiy slavisticheskiy al'manakh. pp. 437–440.
33. Uryson, E.V. (2011) *Opyt opisaniya semantiki soyuzov* [Experience in Describing the Semantics of Unions]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
34. Sadchenko, V.T. (2009) *Vtorichnyy semiozis v khudozhestvennom tekste* [Secondary Semiosis in Literary Text]. Khabarovsk: Far Eastern State University of Humanities.
35. Sigal, K.Ya. (2012) *Problemy teorii sintaksisa* [Syntax Theory Problems]. Moscow: Klyuch-S.

36. Shanskiy, N.M. & Bobrova, T.A. (1994) *Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Etymological Dictionary of the Russian Language]. Moscow: Prozepina.
37. Georgieva, V.L. (1968) *Istoriya sintaksicheskikh yavleniy russkogo yazyka* [History of Syntactic Phenomena of the Russian Language]. Moscow: Prosveshchenie.
38. Pekelis, O.E. (2013) Partial agreement with subjects linked by a correlative conjunction: A corpus-based study of main regularities. *Voprosy yazykoznaniya*. 4. pp. 55–86. (In Russian).
39. Petrunina, S.N. (2008) *Grammatika govoryashchego i slushayushchego v sibirskikh govorakh (na materiale parnykh konstruktsiy)* [Grammar of the Speaker and Listener in Siberian Dialects (Based on paired structures)]. Novokuznetsk: RIO KuzGPA.
40. Stepanov, Yu.S. (1998) *Yazyk i metod: K sovremennoy filosofii yazyka* [Language and Method: Towards Modern Philosophy of Language]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
41. D'yachkova, N.A. (1989) *Polipredikativnye razdelitel'nye konstruktsii s soyuzom "TO-TO" v sovremenном russkom yazyke i ikh funktsionirovanie* [Polypredicative Dividing Structures with the Union “TO-TO” in Modern Russian and Their Functioning]. Philology Cand. Diss. Leningrad.
42. Peretrubkin, V.N. (1973) To li ili Ne to? [To li or Ne to?]. *Russkaya rech'*. 1. pp. 91–93.
43. Kolosova, T.A. (2008) *Russkie slozhnye predlozheniya asimmetrichnoy strukturny* [Russian Complex Sentences of Asymmetric Structure]. 2nd ed. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
44. Shuvalova, S.A. (1990) *Smyslovye otnosheniya v slozhnom predlozhenii i sposoby ikh vyrazheniya* [Semantic Relations in a Complex Sentence and Ways of Expressing Them]. Moscow: Moscow State University.
45. Paducheva, E.V. (2011) Otritsanie [Negation]. *Materialy dlya proekta korpusnogo opisaniya russkoy grammatiki (<http://rusgram.ru>)* [Materials for the Project of the Corpus Description of Russian Grammar (<http://rusgram.ru>)]. Moscow: [s.n.]. Manuscript. pp. 192–235.
46. Gvozdev, A.N. (1965) *Ocherki po stilistike russkogo yazyka* [Essays on the Stylistics of the Russian Language]. 3rd ed. Moscow: Prosveshchenie.
47. Kholodov, N.N. (1975) *Slozhnosochinennye predlozheniya v sovremenном russkom yazyke* [Compound Sentences in Modern Russian]. Pt. 2. Smolensk: Smolensk State Pedagogical Institute.
48. Chernykh, P.Ya. (1994) *Istoriko-etimologicheskiy slovar' sovremennoy russkogo yazyka* [Historical and Etymological Dictionary of the Modern Russian Language]. Vol. I. Moscow: Russkiy yazyk.

УДК 808.56

DOI: 10.17223/19986645/66/2

Е.В. Иванцова

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ¹

Статья посвящена коммуникации диалектоносителя в сфере конфликтного взаимодействия. Исследование опирается на материалы идиолектного дискурса сибирской крестьянки. Выявлены виды конфликтов, отмеченные в речевой практике информанта, и особенности этапов развития конфликтного взаимодействия коммуникантов. На основе анализа используемых индивидом тактик и соответствующих им вербальных и невербальных средств реконструируется стратегия поведения языковой личности в конфликтных ситуациях.

Ключевые слова: диалектная языковая личность, конфликтная ситуация, речевой конфликт, стратегии речевого поведения, тактики речевого поведения, кооперативная языковая личность.

Введение

Исследование речевого общения и речевого поведения носителей языка входит в круг активно изучаемых проблем современного языкоznания. Лингвисты обращаются к выявлению принципов и правил речевого поведения, их национального своеобразия, стратегий и тактик в речи коммуникантов, системы речевых жанров и многих смежных с названными вопросов.

Одним из аспектов изучения речевого поведения является анализ общения носителей языка в конфликтных ситуациях. Актуальность работ в этой области на стыке интересов прагмалингвистики, коммуникативной конфликтологии, эколингвистики обусловлена их междисциплинарностью и значимостью развития навыков эффективной речевой коммуникации в современном социуме.

Речевое поведение участников коммуникации в конфликте все чаще привлекает внимание ученых ([1–6] и др.). В связи со сложностями сбора таких данных в спонтанной речи лингвисты опираются главным образом на фрагменты диалогических текстов персонажей из беллетристики и кинофильмов, рассматривая их в качестве художественного аналога естественной речи; в редких случаях используются экспериментальные данные ([7] и полученные методом скрытой фиксации записи разговорных дискурсивных практик [8]). Важной задачей можно считать сбор и анализ матери-

¹ Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 0721-2020-0042. This research was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Project No 0721-2020-0042.

алов реального общения представителей различных страт социума в ситуации речевого конфликта.

В статье эта задача решается с опорой на материалы авторского архива идиолектного дискурса сибирской крестьянки В.П. (1909 г. рождения, русской, малограмотной), собранные методом включения в языковое существование говорящего. В живой устной речи информанта зафиксированы как его непосредственная коммуникация с широким кругом односельчан и родственников, так и отражение этого общения в воспоминаниях индивида. Общий объем дешифрованных аудиозаписей составляет около 10 000 страниц печатного текста.

Под конфликтной ситуацией вслед за И.И. Гулаковой понимается ситуация, «в которой происходит коммуникативный конфликт – столкновение двух сторон (участников конфликта) по поводу несоответствия целей, интересов, взглядов, в результате которого одна из сторон сознательно, либо бессознательно, действует в ущерб другой (вербально или невербально), а вторая сторона, осознавая, что указанные действия направлены против ее интересов / целей, предпринимает ответные действия» [3. С. 3–4].

Типы конфликтов в идиолектном дискурсе

Конфликтологи в зависимости от характера субъекта / субъектов коммуникации выделяют такие разновидности конфликтов, как межличностные, внутриличностные и групповые [9]. Анализ дискурса рассматриваемой языковой личности (далее также ЯЛ) свидетельствует о том, что в нем представлены только межличностные конфликты. Их участниками являются обычно родственники или односельчане; в отдельных эпизодах зафиксирована также коммуникация ЯЛ с посторонними или неизвестными людьми. Обратим внимание на то, что в речевой практике информанта отсутствует конфликтное взаимодействие с должностными лицами.

Отсутствие конфликтов внутриличностного и группового характера, очевидно, можно объяснить спецификой традиционного сельского социума, в котором целостность внутреннего мира входящих в него членов и относительная однородность сообщества определялись силой традиций, единством ценностных установок, во многом сохраняющихся и в наши дни.

Возникновение конфликтов в среде диалектоносителей обусловлено разнообразными причинами, среди которых можно выделить имущественные, поведенческие и мировоззренческие.

Имущественные конфликты связаны с ущемлением имущественных прав индивида. В дискурсивной практике крестьянки отражены такие побудители для возникновения конфликта, как раздел земельных участков между пользователями, присвоение чужого имущества или чужого труда, самовольное распоряжение чужой собственностью. Интересен тот факт, что этот вид конфликтов между сельчанами, как правило, касается не денег, а природных ресурсов (земля) либо собственноручно сделанного или выраженного в своем хозяйстве (дом, скот, овощи и цветы со своего огорода, продукты питания).

Поведенческие конфликты возникают в связи с нарушением принятых в социуме этических норм, осознаваемых в качестве значимых для личности. Они проявляются вследствие супружеской измены, пьянства, ненормативных отношений между родственниками, соседями и друзьями при несоблюдении законов добропорядочности, взаимоуважения, гостеприимства и др. Отметим, что конфликтогенным фактором могут быть как аморальные поступки, так и речевые действия (неудачная шутка, обидное замечание, бранное слово и т.п.); во многих случаях имеет место и то и другое.

Мировоззренческие конфликты отражают различие взглядов коммуникантов и их отставание в процессе общения. Примером такой конфликтной ситуации можно считать речевое взаимодействие двух диалектоносительниц близкого возраста с разногласиями по поводу религиозных убеждений.

Следует заметить, что границы между обозначенными типами не всегда являются четкими: некоторые конфликтные ситуации можно интерпретировать как синтез двух, а иногда и трех разновидностей конфликтов. Так, в эпизоде конфликта, вызванного подменой при продаже качественной вещи на некачественную, нарушение имущественных прав завуалировано обманом как несоблюдением этической нормы. Этическое и мировоззренческое начало сочетаются в конфликте информанта с молодой приезжей соседкой, устраивающей скандал из-за того, что В.П. печет к Пасхе кулич для бывшей жены ее сожителя. Нарушение норм этики проявляется в неуважительном, агрессивном речевом поведении младшего из коммуникантов по отношению к старшему; мировоззренческий компонент отражает несовпадающие взгляды участников конфликта на их право вести себя так или иначе в определенных ситуациях.

Среди выявленных разновидностей конфликта основная доля в идиолектном дискурсе приходится на поведенческие. Имущественные конфликты занимают второе место, а мировоззренческие единичны. Последние, вероятно, редко вербализуются при непосредственном общении рядовых носителей языка. Преобладание конфликтных эпизодов первого типа можно считать закономерным: нормы этики являются базовыми в функционировании любого социума; еще более значимы они в старожильческих селах с высокой плотностью личных контактов и ориентацией ядра таких коллективов на веками поддерживавшиеся традиции.

Речевое поведение языковой личности на этапах конфликтной коммуникации

Исследователи рассматривают конфликт как коммуникативное событие динамического характера, подразумевающее выделение этапов конфликтной коммуникации ([2, 3, 8, 10, 11] и др.). Они выделяются с разной степенью детализации, однако внимание ученых сосредоточивается в первую очередь на этапе межличностного взаимодействия с момента начальных проявлений противодействия сторон до окончания конфликта. Перифе-

рийные «околоконфликтные» явления обычно не рассматриваются. В центре такого анализа – стратегии и тактики поведения коммуникантов.

В теории конфликтологии стратегии понимаются как личностные «установки на определенные формы поведения в ситуации конфликта»; как средство реализации стратегий выделяются тактики – «совокупности приемов воздействия на оппонента» [10. С. 238]. Исследователи говорят о разном наборе таких ментальных установок и соотносимых с ними приемов речевого поведения в ситуации конфликта, используя для их обозначения вариативные номинации, но при этом наиболее общим можно считать противопоставление кооперативных и конфронтационных стратегий и тактик. В первом случае участник коммуникации стремится к гармонизации отношений с учетом интересов партнера, во втором – любыми средствами добивается реализации только собственных интересов, что не приводит к восстановлению нормативного общения.

Представляется, что в рамках когнитивно-дискурсивного подхода при исследовании ЯЛ в коммуникативном аспекте

а) наряду с собственно конфликтным взаимодействием коммуникантов должны учитываться предконфликтный и постконфликтный этапы речевого общения;

б) при анализе речевого поведения индивида значима квалификация выявленных в дискурсе индивида тактик, ориентированных на кооперативное / конфронтационное взаимодействие с оппонентом;

в) стратегии говорящего как явление ментального порядка могут быть реконструированы исследователем с учетом преобладания применяемых ЯЛ тактик.

Рассмотрим выявленные эпизоды идиолектного дискурса с учетом этих установок.

1. В дискурсивной практике диалектоносителя можно отметить распространенность ситуаций предотвращения конфликта на **предконфликтном этапе**, до начала собственно конфликтного взаимодействия коммуникантов.

В одном из эпизодов ЯЛ воздерживается от планируемого поступка, который, по ее предположению, может спровоцировать конфликт. Крестьянка не решается унести на кладбище для обивки столика подаренную по другой kleenку – та может подумать, что подарок не понравился, и обидится: *У меня есть kleёнки, много, подарила мне Татьяна Алексеевна но'чче бо'ле двух метров, на Восьмое марта принесла. А я хотела её взять – думаю, неудобно: скажет, «Вере не погляну'лась, она на кладбишие сташишила». Я не понесла.* Профилактика конфликта, как можно видеть, заключается в тактике **отказа от намерения**, которая не содержит вербальной составляющей и отражается при передаче субъектом его внутренней речи.

Отмечено несколько случаев, в которых исследуемая личность применяет тактику **отказа от уже осуществляемого действия**, оценив его как потенциально конфликтогенное. Оба эпизода связаны с денежными вопросами. В одном из них женщина некоторое время помогает не умеющему

считать односельчанину пополнять вклад в сберкассе, но потом прекращает оказывать эту помощь: *Он же не понима'т мале'нько. Он шиэту' [«счёта»] не знат.* <...> *Он всё на книжку деньги класть как он ко мне приносил. А поцьта рядом была. «Поло'жь мне деньги на книжку!» Ну я думаю: пойду да поло'жу. Потом думаю: како'-нибудь недоразуменье ешо может быть. Он виши, не понимает. И она [его жена] така' же, не понима'т, дурочка.* Аналогичным образом она перестает давать в долг деньги соседке, которая однажды возвращает ей меньшую сумму, чем заняла: *Она приходит ко мне: «Ты мне дай, Вера, пятнадцать рублей». Я ей дала пятнадцать рублей. А она говорит, это... Приходит, деньги получила, приходит: «Я у тебя десять брала?» Я говорю: «Знаешь чё? Я тебе большие деньги давать не буду». Я говорю: «Ты вот виши чё, взяла пятнадцать, а говоришь «десять». Я говорю: «А люди вправду подумают, что как вроде может... да и ты сама поду'машь, что я тебя обманула».* Я говорю: *«Никого, раз памяти нет, и не даю больше».* Она не была, счас ходит занима'т, у меня не берёт. Сообщение об отказе в дружеской услуге (очевидно, оно имело место и в коммуникации с односельчанином) сопровождается говорящим объяснением причин прекращения помощи – возможным недоразумением.

Выделяется также ряд ситуаций, в которых ЯЛ дистанцируется от конфликта между известными ей лицами, используя тактику **невмешательства**. Крестьянка следует своим принципам поведения, руководствуясь пословицей *не наш конь, не наш воз, не нам везти* «не следует вмешиваться в чужие дела» из ее цитатного фонда.

Информант не вмешивается, например, в разгорающийся имущественный конфликт односельчан. В отличие от соседки, начавшей принимать активное участие в обсуждении подозреваемых в краже овцы, В.П. отстает от обсуждения этой темы, считая обвинение бездоказательным: *Овечек гнали, а к Владимиру Прокофьевичу забежала чужса' овечка.* <...> *А он его, видно, приэкономил ли чё ли.* <...> *А Нюра-то сказала, что он заколол, эта хозяйка барака-то. «Заколол Владимир, гыт, закололи».* *А е'той-то [соседке] кра'ино надо, она ши'бко така', ей кра'ино надо сказать. Ну я услыхала, а мне-то како' дело? Меня же не задевает, заколол он – не заколол. Не пойманный – не вор.* В другом случае, оказавшись невольным свидетелем враждебного отношения мачехи к маленькому мальчику, крестьянка не заступается за племянника, хотя глубоко сочувствует ребенку: *А я легла на это, как её? На скамейку, на лавку-то. Лежу. А пирог с рыбой испекла, с горбушей, эта Вера.* [Изображает в лицах услышанный диалог, меняя просительную, жалобную интонацию на враждебный тон:] *«Мама, дай! Мама, дай!» – «Поди ты к чёрту от меня! Поди ты к чёрту, худой, навязался на меня, чёрт!» – она. Она ду'мат, я сплю лежу, да чё я хоть... пропа'шиша [«мёртвая»] ли чё ли? Ага. Он: «Ма-ама, дай!»* Ну чё, ребёнок дак ребёнок и есь. *А он в школу пошёл, ему, наверно, семь лет было.* <...> *«Ма-ама, дай! Ма-ама, дай!»* Я думаю: *господи!* Ну отре'зала [бы], ну кусочек, они [дети брата] каки'-то ись-то не жа'дны...

<...> «*Ма-ама, дай! Ма-ама, дай!*» – ну как от за' душу тянет. *А я лежу да прямо плачу помале'ньку так, про себя.* Такое поведение объясняется ею невозможностью изменить ситуацию и убежденностью в том, что вмешательство в жизнь чужой семьи только ухудшит положение сироты: *Пана [односельчанка] гыт: «Надо чё-то делать, говорить ей [мачехе] чё ли надо, чё?» Ну, а чё говорить? Наругает тебя, да и всё, вся и разговор.*

Типичным для диалектной ЯЛ является также поведение в ситуациях, когда при диалогическом взаимодействии с собеседником говорящий предпочитает умолчать о возникшей у него отрицательной эмоциональной реакции. Такая реакция (недовольство, раздражение, чаще всего – обида) не озвучивается оппоненту «в глаза» даже в мягкой, тактичной форме; субъектом используется тактика **умолчания о негативной эмоции**. Переожитое эмоциональное состояние отражается в речи информанта только в доверительном общении с близкими, когда контакт с участником диалога уже остается в прошлом.

Показателен пример рассказа о близкой подруге, высказавшей сожаление об участии в чаепитии, поскольку, по ее мнению, оно требует ответного почтевания: *Ко мне не стала ходить она, не ходит. Я позвала чай пить раз, она попила пришла, а потом мне говорит: как вроде почтевать ей меня надо – как у меня чай попила, почтевать надо. Так я разве за этим её звала, чтоб обязательно пойти чай пить? А она говорит: «Ой, я так каюсь-каюсь, что к тебе пошла».* *А мне не погляну'лось. Так рассердилась на неё. Ну, не ругалась, ничё, так в уме-то думаю: господи, чай попила да кается.* Заключительный фрагмент повествования детально обозначает мысли и чувства субъекта (*не погляну'лось, рассердилась на неё, в уме-то думаю: господи...), не высказанные собеседнице вслух, и воздержание от проявления агрессии, грубых слов (ну, не ругалась, ничё...).* Обратим внимание на маркер *думаю*, часто встречающийся и в других конфликтных эпизодах при передаче внутренней речи.

Аналогичным образом описывается встреча с другой подругой, которая долго не приходила попрощаться больную: *Вот Раи у меня не была, это Аксиньина дочка, всё лето, всё лето не была, – а я обиделась на её. <...> Ну я думаю: не идёт – не надо, чё, не идёт так... Я как болела, ши'бко нога-то у меня, думаю: господи, не идёт ко мне. А теперь она заявля'tся. Мне получше стало, я уж ходить стала. <...> Ну, она заявилась, арбузик принесла мне маленький, и два яблока. А мне неохота их брать, а как не возьмёшь?* В этом случае сохранить с односельчанкой дружеские отношения, наряду с умолчанием об обиде, позволяет акциональная тактика **принятия гостинцев** как знака дружеского внимания (*неохота их брать, а как не возьмёшь?*).

К умолчанию женщины прибегает и в случае, когда продавщицы сельского магазина утгаивают от ветеранов положенный им продуктовый паек: *А я обиделась так вроде, ничё не сказала хоть, а... Физа приходит ко мне, а нам же дают, как ветеранам войны-то это... это, таким, старым-то. А Физа говорит: «А вам там паёк дают». <...> Завтра Коля пошёл – они*

*колбасы' прода'ли <...> а это, мяса уже, гыт, нету. И Таня продавец говорит: «Мясо нехоро'ше было, уже припахивает, и жирно ши'бко». <...> А я говорю: «Врёт она. Никого! Себе взяли, да и всё». По сравнению с предыдущими эпизодами комментарий говорящего более грубый (*врёт; себе взяли, да и всё*), В.П. вполне определенно обвиняет работников магазина в обмане и присвоении продуктов. Тем не менее она не жалуется в официальные инстанции, следуя привычной тактике поведения (*А я обиделась так вроде, ничё не сказала хоть, а...*).*

В дискурсивных материалах отражена также тактика **отказа от возражений**, при реализации которой несогласие ЯЛ с собеседником переходит в сферу внутренней речи. Реплики, выражающие несогласие, отстаивание своей позиции, как и при переживании обиды, воспроизводятся субъектом постфактум, в разговоре с близкими. Реконструкция того, что не было высказано вслух, также маркируется глаголом *думаю*: ...Шура Викторова: «Я бы давно...» – вот эта юбочонка така' ху'денька Еленина [у меня] была, она гыт: «Я бы давно её выкинула, по'д берег ли куды' либо сожгла ли бы, я всё там приеду, дак... к Гале [дочери], да всё жгу, всё жгу...» Я думаю: «Тебе чё надо-то?» Ничё не со'dит, и никого не де'лат и... и сама ничё. <...> ...приходила ко мне, давно уж: «Ты, Вера, купи от этот, пла'tельный... шифонер купи, пла'tельный шкаф купи, купи стол ку'хольный...» А я думаю: «Ты-то пошто' не покупа'ши? Ты же дочь моя [по возрасту], пошто' не покупа'ши-то ничё?».

Как можно видеть, ЯЛ последовательно избегает и поступков и высказываний, которые могли бы запустить механизм конфликтного взаимодействия. К ним относятся такие тактики, как отказ от потенциально конфликтогенных намерений и действий, невмешательство в конфликты между другими лицами, умолчание говорящего о негативной эмоции в диалоге с собеседником, отказ от речевого противодействия в случае несогласия с ним, принятие подарков в подтверждение дружеских отношений. На этом этапе речевого взаимодействия выявленные тактики редко подкреплены вербальными средствами: среди всех перечисленных лишь решение об отказе от ранее осуществлявшейся услуги (дача взаймы небольших сумм, помочь в перечислении денег в сберкассе) озвучивается информантом; редки и тактики, подкрепляемые акционально (принятие гостинцев). В остальных случаях только с опорой на рассказ о прошедшем событии можно реконструировать потенциально возможный деструктивный характер реплик и/или поступков индивида (отраженный при передаче внутренней речи) и сопоставить его с выбором ЯЛ иного, кооперативного способа взаимодействия с оппонентом в реальной коммуникации. Конфронтационной среди выявленных тактик можно считать только частный случай отказа от осуществляемого действия – прекращение дружеской услуги, поскольку такое действие ущемляет интересы партнера. Однако отметим, что отказ смягчается объяснением причин прекращения помощи.

2. В дискурсе исследуемой ЯЛ также представлены эпизоды, отражающие ее непосредственное речевое взаимодействие с коммуникантами на этапе **открытого конфликта**.

Д.В. Иванова отмечает: «Как правило, в конфликтных ситуациях задействованы два участника, один из которых ведет себя более агрессивно, нападает, а второй пытается сгладить ситуацию, погасить агрессию собеседника, выйти из ссоры, стараясь при этом, чтобы его собственные речевые действия не были агрессивны» [12. С. 226]. В.П. крайне редко является инициатором конфликта; обычно она вступает в диалог с его зачинщиком, используя богатый спектр смягчающих агрессию **кооперативных тактик**.

В отличие от предконфликтного этапа коммуникации, на котором тактики слабо вербализуются, на этапе открытого конфликта (по В.Д. Третьяковой, в коммуникативной фазе его развития [2]) они регулярно поддерживаются вербальными и невербальными средствами.

Широко применяет информант тактику **объяснения**. По мнению Д.В. Ивановой, «спокойные доброжелательные ответы, подробное объяснение своей позиции и своего взгляда на ситуацию способствуют эффективному общению, а в конфликтных ситуациях помогают донести до собеседника свою точку зрения и улучшить коммуникативную тональность общения» [4. С. 12]. Исследование фрагментов речевой практики сибирской крестьянки показывает, что в составе приводимых аргументов ЯЛ не только называет факты, дающие собеседнику информацию о мотивах своих поступков в той или иной ситуации, но и в некоторых случаях отстаивает право поступать в соответствии со своими взглядами и убеждениями. Так, накануне Пасхи крестьянка стряпает куличи и хочет *кра'дучи* передать гостинец своей бывшей соседке, которая после развода с мужем переехала в другое село. Однако тайну сохранить не удается, и новая сожительница соседа устраивает скандал, с грубой бранью обвиняя пожилую женщину в угодничестве: *Она пришла, как давай материться! <...>* «Лёша меня [ругал], что ты па'sки стря'паши там да... она продавцом рабо'tат, дак вы ей жопу лижете» – вот так вот давай на меня. В.П. отражает нападки, объясня, что посылка кулича – знак благодарности женщине, которая поддерживала с ней добрососедские отношения: «Для меня Таня хоро'ша, я её век не забуду. <...> Бежит: «Чё у тебя, тётя Вера, есть огурчи'шки ма'ле'нько, давай!» <...> увезёт продас. И деньги ташишт. <...> Ну, выручала она меня». Она говорит также о том, что межличностные негативные отношения не повод их распространения на других людей (*Я говорю: «Вот у меня Степан [муж] ушёл, и ходили они там [к нему], хо'dют, дак я чё, буду сердиться на всех, что «вы не принимайте Степана там, вы Маньку не принимайте та'mо-ка»? Я, говорю, при чём?»*), и подчеркивает, что посторонние не имеют права диктовать, как ей поступать (*Я говорю: «Зря я не спросила вас [ирон.], надо было потти' вас спросить, можно ли нет состряпать па'sку?»*).

Более редки иные тактики. В ситуации, когда В.П. прячет в своем доме соседку с детьми от угрожающего оружием пьяного мужа, на грубое требование открыть дверь (*А у меня ворота'-то на зало'mке ужс, а он сту'кат в окошко: «Сука!» – на меня*), она прибегает к **лести** (выдавая желаемое за действительное), а также использует **просьбу** и **уговаривание**, подчерки-

вая свой возрастной статус, требующий уважительного отношения: *Я говорю: «Не открою я тебе, Лёня», – а его уговариваю, говорю. – Ты хороший сосед, ну, говорю, ты меня не беспокои, ты чё меня беспокоишь, ста'reньюку, говорю, таку'?»* – ему.

Как можно видеть, в рассмотренных примерах информант как бы не замечает речевой агрессии другой стороны конфликтного взаимодействия. Вместо зеркального отражения чужих провокационных тактик и языковых средств (угрозы, обвинения и требования, брань и крики) ЯЛ опирается на кооперативные тактики объяснения, лести, просьбы, уговоров. Противодействие зачинщику конфликта осуществляется информантом в спокойном тоне, при воздействии на собеседника он может прибегнуть к просительной интонации. При выборе лексических средств говорящий отдает предпочтение безоценочной апеллятивной лексике, в тактике лести отмечен маркер позитивной оценки собеседника (*ты хороший сосед*). Для обращения к оппонентам используются полные или нейтральные неполные имена (*Лексе'й, Аксинья, Лёня*).

Конфронтационные тактики также используются ЯЛ при конфликтном взаимодействии. Преобладающей среди них можно считать **упрек**. Он относится к конфронтационным приемам воздействия: целью говорящего в этом случае является «выражение неудовольствия, неодобрения, обвинение» [13. С. 836], которые могут быть восприняты в качестве конфликтогенов. Упрекая, носитель традиционной народно-речевой культуры делает акцент на необходимости следования моральным нормам, нарушенным участниками конфликта.

Чаще всего при генерировании упрека диалектоносительница опирается на базовые для обыденной морали понятия внутренних регуляторов поведения в соответствии с системой ценностей социума, выработанной в течение многих столетий. Одно из таких понятий – стыд. Нередко упрек вербализуется в клишированном высказывании *как тебе не стыдно*. Оно звучит в ответ на грязную брань молодого мужчины в ее адрес («*Б***ю'га, открывай, проститутка!*» – на меня. *Я говорю: «И не стыдно тебе, Лексе'й?* – говорю, – *как тебе не стыдно, ты чё говоришь-то?*»); аналогичным образом информант реагирует на слова родственника, который хочет выпить спиртного (*Кружечку надо выпить, да идти. – Как не стыдно, ей-богу!*), неподобающий внешний вид односельчанина (*Я говорю: «Не ходи, как тебе не стыдно в таком... с такими рваными штанами, по улице-то идти, надо же?*») и т.д. В дискурсе встречается, кроме того, единичное упоминание такой нормы отношений между людьми, как милосердие: *Ермаков, выкопал у меня два ряда' [картошки]. Две сотки, о'бщэм. А я говорю: «От дак милосердие, – говорю. – Старым людя'm все говорят помогать да всё, а вы, – говорю, – после'dне у меня итобра'ли*.

Упрек в отсутствии совести воспринимается говорящим, очевидно, как наиболее жесткий коммуникативный ход и редко озвучивается при личном контакте. Показательно при этом использование приемов смягчения осудительной коннотации лексемы *бессовестный*. Так, в присутствии конкретного человека информант может выразить негативную оценку его по-

ступка обобщенно, как бы в адрес неопределенного множества лиц (прием генерализации): *Галька-пьянячужска [вырвала в огороде В.П. тюльпаны. Далее передает диалог с ней:] «А хочешь, я тебе скажу, кто у тебя вырвал?» Я говорю: «О-ой! Неужели нет? Хочу!» – «Я» – гыт. <...> Я говорю: «Бесс'вестны-то каки'», – говорю. Ага. «Ну не ругайся, не ругайся».* В качестве другого приема используется эвфемизация. В рассказе о залезших в огород воришках можно видеть, как изначально предполагавшаяся реплика В.П. *с* осуждающей оценкой меняется на высказывание с предположением: *А этот залазит в огород. <...> А я-то лежу на этой, на раскладушке, а он-то [сын] тут на койке. «Мама, гыт, идут! Идут, гыт». А я тапочки не могу найти, – я бы хыть это, постыдила бы так, вышила, скажу: «Куды' вы лезете, бесс'вестны?»* Думаю, схожу – тапочки не могу найти. *<...> «Вы заблудились, наверно, куды' зашли?»* – я не заругалась, ничё, так это: *«Заблудились, гыт? Вы куды' залезли, гыт?»* Они побежали. *И вот это, с тех пор не лазили.* Кроме замены грубого лезете на заблудились, позволяющее ворам «сохранить лицо», опускается и прилагательное бессовестные.

Эллиптизация названия действия или признака коммуниканта, вызвавшего недовольство говорящего, встречается при смягчении упрека и во многих других случаях: *А теперь знаешь каки' детки, Катя? Не дай бог же! От у их тут койка стоит, а тут это, стол. А он [мальчик] на стол заскочил и, гляжу, на кровать. А ему было – ну, лет восемь, девять ли, уже такой. Я ему: «О'споди, Дима, ты чё де'лашь?» Я говорю: «Ты пошто' так, койка заправлена – ну скака'т туды' прямо безо всяких!* Систематически привлекается с этой же целью и генерализация: *[пьяному мужчине:] Ты куды' идёшь-то? Пошто' таки'-то?* Для сглаживания упрека может использоваться также шутливая интонация: *А я говорю [почтальону, которая, не застав хозяйку дома, велела ей самой прийти за пенсией на почту]: «Дак а вот у вас если денег не бува'т, если вы не прино'сите пенсию <...> дак вам ничё это, та'мо-ка можно, а нам нельзя?»* – вроде шуткой, а сама в обиду говорю.

Уступают упреку по распространенности другие конфронтационные тактики, используемые информантом в тех случаях, когда кооперативные тактики не дают должного эффекта. **Угрозы и приказ** отмечены, например, в конфликтном взаимодействии с непослушным мальчиком, оставленным на попечение женщины родственниками: *Я пошла и звала-звала, звала-звала его, он ни за что не идёт. Я говорю: «Я тебя на замок закрою и оставлю сейчас».* *<...> «Ты пойдём, – говорю, – а то папа приедет, я нажалуюсь папе и маме расскажу всё, что ты меня ниско'ль не слушашь».* *<...> Потом я на него как крикнула!* Я говорю: *«Что ты де'лашь? Айда!»* За руку взяла. А он: *«Я сам наемся и пойду к тёте Ане на работу».* Я грю: *«Спаси Бог!»*. Когда речевое воздействие не приводит к желаемому результату, В.П. подкрепляет тактику приказа (*Айда!*) акционально (за руку взяла) и меняет интонацию увещевания на повышенный тон (как крикнула!). Показательно, что использование приказа отмечено по

отношению к ребенку: в адрес взрослых эта тактика обычно заменяется просьбой (что совпадает с выводами О.А. Казаковой [14. С. 65]).

Разновидностью угрозы можно считать тактику **апелляции к властным структурам**, которая встречается в конфликтах с односельчанами. Так, при краже ведер из ее усадьбы крестьянка делает попытку вернуть свое имущество у воровки, угрожая, что иначе заявит о ее поступке в сельсовет: «*Принесу, принесу в понедельник*. От понедельник прошёл, авто'рник – и опе'ть понедельник. Я взяла да это... записку пишу: «Галя! Без греха отдай вёдра. Я пока'mесь в сельсовет не обратилась, никуды', – говорю. – Я ши'бко никому не говорю... – а сама всё равно всем говорю. – Я, – говорю, – никому не разглашаю ши'бко, ничё – ну тут без сельсовета, говорю, не обойдётся, я должна пойти в сельсовет». Я говорю: «Принеси без греха!».

В конфликтном диалоге у диалектоносительницы отмечено и **декларативное отрицание** тезиса оппонента. Данная тактика используется, когда положение дел для ЯЛ настолько очевидно, что, по ее мнению, не требует объяснений и доказательств. Отрицание такого рода встречается, например, в эпизоде конфликта с односельчанкой во время работы на поле: *A тут одна старуха была <...> A вязали-то со спона. A там за спон... фи'га получишь. <...> Овёс-то коро-отенький тут остался!* на вя'зки [«жгуты из соломы для связывания спонов»] делать. Она: «Это ты, Вера, у меня вязки украла!» Я говорю: «Да ты чё? Я пошто' буду у тебя брать?» Ну, молчу, чё она... Она така' ругательница была – я молчу. *<...> A потом, кода' стала: «Ой, Вера, ты меня прости. Это они тут от валились под споном, а я не видала».* Я говорю: «Ну дак ты пошто' на меня-то говоришь? Неужели пойду вязки у тебя брать?» Не считая нужным оправдываться, В.П. реагирует на обвинение только риторическими вопросами: *Я пошто' буду у тебя брать?; Неужели пойду вязки у тебя брать?* За этими репликами стоит и отсутствие для крестьянки необходимости в вещи, которую она способна сделать за секунды сама, и усвоенная с детства заповедь «не брать чужого».

Аналогичным является ее речевое поведение в эпизоде мировоззренческого конфликта: *Вот у Поли сестра четырнадцатого году, ну она сильно регио'зна, в це'ркву ходит чуть не ка'жныи день, у ей забота одна – в це'ркву притти', – она себя шишита't святой. Я картошки копала, она говорит: «Ну чё, я, как вроде, свята'». Я говорю: «Ну кака' же ты свята'-то?». Батюшка [о священнике] – «Бог» она называ't. Я говорю: «Ну батюшка – не Бог же!» <...> Ну если она в це'ркву ходит, молится – ну не свята' же она? Кака' она свята'? Я говорю: «Ну! Это неправда, говорю. Какой батюшка Бог?» Ой, она как вскочила на меня, По'лина сестра <...>. [Так это вы с ней поссорились?] Нет, не поссорились, в общем, перебросились словами. Не признавая религиозную участницу спора святой, а священника Богом, информант так же, как в ситуации с ложным обвинением, ограничивается лаконичным отрицанием (это неправда) и риторическими вопросами (*Ну батюшка – какой Бог? Ну какой Бог батюшка? Ну если она в це'ркву ходит, молится – ну не свята' же она? Кака' она свята'?*).*

Оба эпизода, кроме риторических вопросов, объединяют также категоричность интонаций говорящего, отсутствие аргументов и приемов смягчения конфронтации.

Близкой к тактике декларативного отрицания по использованию языковых средств является тактика **категорического отказа**. Кроме риторической фигуры утверждения в форме вопроса, ее маркерами являются лексемы *нет / нету, ничё, никого* (в значении «ничего»), часто повторяющиеся многократно: «*Мне надо выпить, хоть гущиу давай каку'-нибудь*». Я говорю: «*Вот нет у меня!*» – «*Ну это... хоть деколо'н давай!*» Я говорю: «*А я де возьму-то его? <...>* Я говорю: «*Никого у меня нету. Ничё нету*».

Материал, таким образом, показывает, что в составе конфронтационных тактик ЯЛ встречается в первую очередь упрек, значительно реже – угроза (в том числе – через апелляцию к власти), приказ, декларативное отрижение при несогласии с оппонентом, категорический отказ. При их реализации говорящим используются неодобрительный, раздраженный тон, отрывистость произношения, иногда ироническая интонация, отдельные клишированные конструкции (*как тебе не стыдно, пошто' таки*), увеличивается доля императивов, сокращается объем высказываний. Вместе с тем обращает на себя внимание частое смягчение средств, которые могут восприниматься собеседником как конфликтогенные, посредством эвфемизмов, эллипсиса негативных номинаций, шутки, замены прямой критики собеседника на косвенную через деперсонализированные, обобщенные критические суждения.

В развернутых конфликтных диалогах для исследуемой ЯЛ при речевом взаимодействии характерно **сочетание различных тактик**.

Показателен в этом отношении диалог В.П. с родственником средних лет, который настойчиво просит у нее взаймы денег на спиртное. Начало конфликта отражает открытое противоборство субъектов. Конфликтогеном выступает требование мужчины (*Вы дайте!*). Собеседница не одобряет его пристрастия к алкоголю и использует все возможные средства, чтобы коммуникант отказался от своего намерения. Ее речевая партия в диалоге включает многократный **категорический отказ** в просьбе (*Не дам, никого не дам, у меня никого нет. Никого не дам*). Используется нетипичная для информанта резкая **негативная оценка** поведения собеседника при очном общении (*Совсем... совсем сдуруели; Чё, с ума сошёл наготово, ли чё ли?*). Женщина широко привлекает разнообразные виды **упреков**. Она укоряет племянника в том, что он мало занимается хозяйством (*Ну и правда: ты подумай сам, ни черта' не де'лате, абсолютно ничё не де'лате! С домом никого не де'лате, ни с баней, ничё!* Взял бы баню да склал бы!), не жалеет жену (*тебе ничё не жалко, и не жарко, и не холодно*) и наносит ущерб семейному бюджету (*Ешо деньги на вино просит! А каки' деньги, кода' на хлеб нету денег? Ты ись-то всё равно ешь*). Заметим, что обвинения в безделье и больших расходах на еду в пылу полемики сильно преувеличиваются: в других ситуациях она характеризует родственника иначе. В качестве наиболее «сильной» тактики звучит ультиматив-

ная угроза разрыва семейных отношений: и без вас обойдусь и проживу как-нибудь и... не ходите большие ко мне, вот так.

ЯЛ при этом опирается на конфликтогенные средства всех ярусов языковой системы. Не сдерживая эмоций, она ведет диалог раздраженным тоном; реплики отрывисты, используются иронические эхо-повторы слов собеседника, который пытается шутить: *Н. Видишь, жарко, [в]он споте'л. – В.П. «Споте'л!» <...> Никого не дам. – Н. Я же вечером отдам. – В.П. «Отдам!» Да был отдам, да по'мер. – Н. Ну пошто' по'мер-то? Я не буду помира'ть. – В.П. «Не буду помира'ть». Помрёте!* В речи присутствует пейоративная лексика и фразеология (*сдуруел; с ума сошёл; тебе... не жарко и не холодно*), в том числе бранные фразеологизмы (*Да ну тебя!; Да ну вас к чёрту! К чёрту тебя*), употребляемые крестьянкой только в ситуациях крайнего раздражения, а также паремия *был отдам, да по'мер* со значением отказа на просьбу дать что-либо взаймы.

Привлекает она и конструктивные тактики речевого взаимодействия. В первую очередь это разнообразные приемы воздействия, в которых переплетаются **убеждение** (где говорящий опирается прежде всего на логические доводы) и **уговаривание** (с воздействием преимущественно на эмоции адресата) [15]. В их числе – аргумент, подразумевающий личную заинтересованность оппонента в сохранении своего здоровья и жизни (*Да вы же погиба'те [от пьянства]*), подчеркивание снижения социального статуса пьющего человека (*Как Саша Пега'сыев, ешо хуже будете!*), взвывание к чувствам – попытка вызвать жалость к состоянию больной жены (*и её жалко – быть она человек! То больна' ешо!*) и к ее собственному состоянию как близкой родственнице (*Хыть бы меня пожалел уж, ты её [жену] не слушаши. Я же тебе как мать родна', я же вас – сколько я вам помогала... <...> Уж и глаза не глядят, и руки не движутся, тянет руки все...*). Изначальная резкость отказа смягчается вымышенными причинами (*А у меня отку'довна деньги? Ты сам видел, что я Поле отдала' все деньги*), в том числе – для большей убедительности – ссылкой на свидетелей (*Не дам никого, у меня нету, я вот Лёньке отдала' – вот свидетель, Катя. И Илья взял бутылку, Рае*). Звучит **призыв** к преодолению пагубной привычки, также смягчаемый модальным словом *поди*: *Ну, поди, можно бросить-то это дело?*

При реализации кооперативных тактик, которые в первой половине диалога чередуются с конфронтационными, а к его концу начинают преобладать, информант опирается на безоценочные лексические единицы; эмоциональность синтаксиса сохраняется, но речь становится более плавной, появляются сравнительные конструкции, исчезают эхо-повторы, интонации иронии и раздражения. Отметим также используемый на протяжении всей ссоры прием смягчения негативных оценок в адрес виновника конфликта через генерализацию с заменой личного местоимения *ты* на обобщенное *вы* и глаголов единственного числа на множественное (*да вы же погиба'те; совсем сдуруели; ни черта' не де'лате*).

Речевой конфликт разрешается благодаря акциональной **уступке**, к которой прибегает В.П. Она не дает просителю требуемых денег, но позволяя-

ет ему выпить домашней браги. Уступка сопровождается определенными «воспитательными» условиями: *Вон, бражсо'нку выпей мале'нько, ешо в бутылке, и всё. <...> Если не будешь вино покупать – дам брагу, а будешь – ничё не дам. <...> [наливают стакан] Пей, и больше не пей! И не проси у меня никаки' деньги, никого не проси.* Набор тактик и принципы их комбинирования во многом сходны с выделенными А.В. Масловой при анализе подробного рассказа этого информанта о другом конфликтном эпизоде по поводу кражи ведер [16].

Как уже говорилось выше, для исследуемой ЯЛ нетипична роль инициатора речевого конфликта. Тем не менее конфликтные ситуации, в которых она выступает как зачинщик, тоже имеют место в дискурсе индивида.

Один из таких эпизодов отражает ссору диалектоносительницы с по-другой. Она наряду с другими гостями пригласила на именины односельчанку, с которой дружила много лет, подготовила ее любимые кушанья (*А я для её старалась всё, я ши'бко старалась, ей-боуу, от ей-боуу!* Думаю, всё получше иставля'ла всё, чё она любит, вку'снецько, све'же всё), а та пришла только на следующий день. Огорчение хозяйки в связи с тем, что почевать было уже почти нечем, спонтанно вербализовалось в упреке с беззлобным, полущутливым использованием бранного слова (*«Ну, н***а же Поля ты, – говорю, – ты! Не могла прийти-то вчара?» От так от взяла да и сказала*). Обида подруги (*«Ы! Ой! О!» – от э'дак она как заплачет, заревёт, бежать...*) вызвала мгновенное извинение (*Я за ей: «Да Поля, да ты чё? Ну прости меня, ну чё, вырвалось у меня так да всё... прости»*), тем не менее общение между ними надолго прекратилось.

Данный конфликт можно рассматривать как коммуникативную неудачу. Сложно однозначно сказать, что именно так сильно задело Полю – упрек в том, что не пришла вовремя, или сниженность формы выражения этого упрека. Реакция хорошо знакомой гостьи оказалась для хозяйки неожиданной и долго подвергалась рефлексии: *Ну, это бы не вхо'жи были, сроду перво ба, ну, на вас бы [обращаясь к диалектологам] я могла сказать [и вызвать обиду]. Ну, чё-нибудь, ну, тут-то?.. Ну, я прям не подумала.* Она не считала свою вину значительной, поскольку обсценная лексема была употреблена *не со зла*, однако дружеские отношения восстановились более полугода.

Рассмотренный эпизод коммуникативной неудачи можно считать нехарактерным для данной ЯЛ, которой свойственны тактичность общения, следование нормам речевого этикета и хорошее знание психологических особенностей людей из ее близкого окружения. Однако в дискурсивной практике крестьянки выявлена своеобразная серия конфликтных эпизодов, где она выступает инициатором конфронтационного взаимодействия вполне осознанно.

Эти эпизоды связаны с ситуацией изменения и ухода из семьи любимого мужа. По этическим причинам воспоминания информанта о них приводятся предельно кратко. Отметим лишь, что оскорблённой женщиной использовались как акциональные, так и вербальные деструктивные тактики по-

ведения – от тайной **мести** изменнику (*А он уж стал ходить, бегать к этой, к Маньке-то. Я украла у него ве'лик-то. Уташила, да к Сергею Прокофьевичу на вышку [«чердак»] запихала. <...> И он меня добивался, добивался, я так ему и не сказала [где велосипед] и «разборок» с соперницей (К которой Степан-то ушёл – я с ей драилась даже. Дрались мы. Ага. Я подошла да палочку таку' взяла небольшу', таку' то'лсту. <...> И пришла да окошко выбила. И стою. <...> Она выскочила, и нечего ей схватить-то – она палку таку' то-олсту, дрова лежали, она поймала да за мной. Ну этой палкой разе можно ударить? Её надо поднять да всё, она здорово была – ну как я же, обо'е одина'ковы. Ну она моложе меня намного. А я-то этой палочкой: раз-раз-раз-раз!) до ее **оскорблений** (Мы поехали со Степаном, а куды' поехали – не знаю. А она идёт, а мы её догнали. <...> А он уж с ей таскался. А я это... догнали её, мале'нько стали обгонять-то... <...> А я: «Куть-куть-куть-куть-куть!¹ на её. – Сучка, сучка!» И он ничё мне не сказал) и **декларации разрыва отношений** с мужем (Он придёт но'чу там-ка, налюбуется да придёт, а я: «Уходи к чёрту совсем туды', иди!» Я говорю: «Кусок в пепел помочу, да может, слаще мёду съем, на чёрта мне своё от это всё?»).*

Хотя формально в эпизодах этой тематики информант выступает инициатором агрессивного взаимодействия, истоки конфликта восходят к поступкам других лиц. Поведение В.П. по отношению к супругу и сопернице оправданно в ее представлении: истинные виновники конфликта разрушают семейные связи – одну из главных общечеловеческих ценностей, имеющих особую значимость в традиционной культуре. Оправданно такое поведение и в коллективном моральном кодексе сельчан: в числе прочих конфронтационных действий рассказчицей упомянута распространенная в сельском социуме практика разбивания оконных стекол в доме любовницы мужа. Битье окон, очевидно, не только преследует цель нанесения ущерба из ревности, но и выполняет символическую функцию разрушения преступной связи. Эти эпизоды занимают особое место в дискурсивной практике ЯЛ, являясь исключением из характерных для крестьянки правил речевого общения.

3. Этап постконфликтного взаимодействия довольно слабо представлен в речевых свидетельствах информанта. Тем не менее материалы показывают, что в ситуациях, где причиной конфликта было агрессивное поведение (в том числе речевое) односельчан и родственников, после его завершения коммуниканты возвращаются к нормативному повседневному общению. Приведем примеры из нескольких эпизодов. Хотя «за глаза» В.П. квалифицирует действия ломившегося в дом пьяного мужчины с оружием как *фулюга'нство* и считает, что хулиган должен был попросить прощения за свое поведение, на следующий день они здоровятся как обычно. При этом она не напоминает соседу о вчерашнем произшествии и воздерживается от упрека: *Дак не извинился! От какой! Наза'вtre шёл,*

¹ Диалектное междометие, используемое для подзываания собаки.

едет: «Здравствуйте!» Я говорю: «Здравствуй». В другом эпизоде его сожительница, устроившая скандал из-за состряпанного В.П. кулича, вскоре приходит к ней с просьбой, и та по-соседски ей не отказывает: *И она тут наревела-накриче'ла [на меня], гляжу – она идёт ко мне опе'ть.* «Уж ты меня извини, баба Вера, ты меня извини, я это, пришла бутылочку [спиртного] у тебя попросить». А я ей дала бутылку. Диалектноносительница не порывает отношений ни с девушкой, без спроса сорвавшей у нее в огороде тюльпаны, ни с женщиной, укравшей с ее двора вёдра. После примирения с подругой, обидевшейся на упрек с грубым словом, между ними было восстановлено прежнее дружеское общение. Выделить на этом этапе специфические тактики речевого поведения не представляется возможным: остаточные явления недавнего конфликта в межличностном взаимодействии не наблюдаются. Только конфликт с мужем и «разлучницей», к которой он ушел из семьи, не завершается прощением и примирением; эти люди исключаются языковой личностью из круга коммуникации навсегда.

Выводы

Материалы идиолектного дискурса позволяют сделать предварительные выводы о речевом поведении диалектной ЯЛ в конфликтных ситуациях. Установлено, что у информанта зафиксированы только межличностные конфликты в бытовой сфере. Наиболее частотны поведенческие конфликты или конфликты с поведенческой составляющей, что свидетельствует об ориентации на этические нормы как мотивационной доминантой личности.

В дискурсивной практике индивида отмечены эпизоды разного порядка – с кооперативной и конфронтационной линией коммуникации и соответствующими им тактиками. Однако кооперативное начало в общении диалектноносительницы явно преобладает. В предконфликтных ситуациях, которые несут в себе опасность перерастания в открытое противоборство, а также на этапе собственно коммуникативного конфликта в ее поведении доминирует кооперативная стратегия, направленная на предотвращение конфронтации с собеседниками, ее сглаживание и примирение сторон. Инициирование конфликта и агрессивное противодействие коммуниканту наблюдается только в ограниченной группе эпизодов, связанных с распадом семьи по вине мужа. Согласно классификации Е.А. Ничипорович [17] исследуемый индивид является представителем ЯЛ кооперативного типа.

Можно предполагать, что выявленные особенности речевого поведения крестьянки базируются на установках традиционной народной культуры. Анализируя бытование традиционных сообществ, в том числе сельских, историки и антропологи указывают на то, что конфликтные ситуации ставят под угрозу социальные связи и сохранность структуры социума [18]. Вследствие этого и община в целом, и ее члены заинтересованы в примирении противоборствующих сторон конфликта [19. С. 170]. Кооперативная речевая стратегия способствует поддержанию дружелюбных отношений, значимых для обеспечения безопасного и комфортного существования в

деревенском сообществе. Ориентация на данную стратегию поддерживается и индивидуальными качествами исследуемой языковой личности, которой присущи доброжелательность, толерантность, сдержанность в проявлении эмоций, следование базовым нормам этики и этикета.

Литература

1. *Муравьева Н.В.* Речевые механизмы коммуникативных конфликтов: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2002. 50 с.
2. *Третьякова В.С.* Речевой конфликт и гармонизация общения: дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2003. 301 с.
3. *Гулакова И.И.* Коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения в конфликтной ситуации общения: автореф. дис. канд. филол. наук. Орел, 2004. 19 с.
4. *Иванова Д.В.* Речевые способы преодоления конфликта (на материале русского и английского языков): автореф. дис. канд. филол. наук. Саратов, 2010. 21 с.
5. *Еришова В.Е.* Речевое взаимодействие в условиях конфликта: ситуационный подход (на материале ток-шоу и теледебатов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2013. 18 с.
6. *Белова Е.В.* Речевые маркеры бытового конфликта // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 2. С. 157–161.
7. *Комалова Л.Р.* Реконструкция образа предконфликтной ситуации на основе речевой продукции коммуникантов // Этнопсихолингвистика. 2018. № 1. С. 126–140.
8. *Черных З.В.* Композиционные элементы конфликтных эпизодов в студенческой коммуникации // Сибирский филологический журнал. 2016. № 2. С. 177–187.
9. *Шейнов В.П.* Управление конфликтами. URL: https://bookap.info/book/sheynov_upravlenie_konfliktami/gl55.shtml (дата обращения: 11.03.2020).
10. *Анциупов А.Я., Шипилов А.И.* Конфликтология: учеб. для вузов. М. : ЮНИТИ, 2000. 551 с. URL: <http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M11/file/1.pdf>_(дата_обращения: 25.02.2020).
11. *Кашапов М.М.* Теория и практика решения конфликтных ситуаций: учеб. пособие. Москва ; Ярославль : Ремдер, 2003. 183 с.
12. *Иванова Д.В.* Прием объяснения в ситуации преодоления конфликта: эколингвистический аспект // Экология языка и коммуникативная практика. 2015. № 1. С. 225–231.
13. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М. : ИНФОТЕХ, 2009. 944 с.
14. *Казакова О.А.* Диалектная языковая личность диалектносителя в жанровом аспекте. Томск : Изд-во ТПУ, 2007. 200 с.
15. *Горюкова К.Ю.* Речевые жанры аргументативного дискурса: убеждение и уговаривание // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2018. № 5 (128). С. 108–116.
16. *Маслова А.В.* Реализация установки на гармоничное общение в речи диалектной языковой личности // Экология языка и коммуникативная практика. 2014. № 1. С. 143–149.
17. *Ничипорович Е.А.* Кооперативная языковая личность в открытом коммуникативном эпизоде : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1998. 22 с.
18. *Кушкова А.Н.* Крестьянская ссора: опыт изучения деревенской повседневности: по материалам европейской части России второй половины XIX – начала XX века. СПб. : Изд-во Европейского ун-та, 2016. 318 с. (*Studia Ethnologica*; вып. 13).
19. *Рулан Н.* Юридическая антропология : учеб. для вузов / ред. В.С. Нерсесянц. М. : Норма, 2000. 312 с.

The Speech Behaviour of a Dialect Language Personality in Conflict Situations

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 26–44. DOI: 10.17223/19986645/66/2

Ekaterina V. Ivantsova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ekivancova@yandex.ru

Keywords: dialect language personality, conflict situation, speech conflict, strategies of speech behaviour, tactics of speech behaviour, cooperative language personality.

This research was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Project No 0721-2020-0042.

The article examines the speech communication of a dialect speaker in the field of conflict interaction. The analysis is based on the materials of the discourse of a Siberian peasant woman. She is Russian, semi-literate, born in 1909. The study showed that her speech practice contains interpersonal conflicts in the absence of intrapersonal and group conflicts. Behavioural, property, and ideological conflicts are identified with the predominance of behavioural ones. The stages of conflict communication and the tactics the speaker used are considered. The tactics mainly focus on cooperative/confrontational interaction with the opponent. At the pre-conflict stage, the speaker consistently avoids actions and statements that may cause conflict. For this purpose, she uses the tactics of refusing from potentially conflicting intentions and actions, non-interfering in conflicts between other persons, keeping silent about negative emotions in dialogues with interlocutors, refusing from verbal countering in case of disagreement with interlocutors, accepting gifts in confirmation of friendly relations; most of the tactics are cooperative. At this stage, the tactics are rarely supported by words. At the stage of open conflict, when direct speech interaction with interlocutors takes place, the speaker is extremely rarely the initiator (the exception is a series of episodes related to the situation of her husband's betrayal and his leaving the family). When communicating with the aggressor, she relies on both cooperative and confrontational tactics, which are regularly supported by verbal and non-verbal means. As part of cooperative tactics, explanations are frequent; flattery, plea, and persuasion are also observed. When counteracting the opponent, the speaker uses a calm tone, a pleading intonation, non-judgmental proper and common nouns. Among confrontational tactics, reproach is often observed; threats (including appeals to the authorities), orders, declarative denials in case of disagreement, and categorical refusals are less frequent. Their usage is accompanied by an irritated tone, abrupt pronunciation, irony, clichéd constructions (shame on you), imperatives, and a reduction in the volume of statements. At the same time, conflict-generating markers are often mitigated through euphemisms, ellipsis of negative nominations, jokes, replacement of direct criticism of interlocutors with indirect one. At the stage of post-conflict interaction, the communicants return to standard everyday communication without reproaching each other or breaking off relations (breaking off communication with the speaker's ex-spouse and the "marriage wrecker" is an exception). Taking into account the prevalence of cooperative tactics in the informant's discourse, it was concluded that cooperative strategy dominates in her speech behaviour as aiming to prevent confrontation with her interlocutors, to smooth it out, and to reconcile the parties. The identified features of the speaker's speech behaviour are based on the dominants of traditional folk culture (maintaining friendly relations is important for ensuring safe and comfortable coexistence in the village community) and are supported by the individual qualities of the language personality of a cooperative type, characterised by benevolence, tolerance, restraint in the manifestation of emotions, adherence to basic moral norms and etiquette.

References

1. Murav'eva, N.V. (2002) *Rechevye mehanizmy kommunikativnykh konfliktov* [Speech Mechanisms of Communicative Conflicts]. Abstract of Philology Dr. Diss. Moscow.

2. Tret'yakova, V.S. (2003) *Rechevoy konflikt i garmonizatsiya obshcheniya* [Speech Conflict and Harmonisation of Communication]. Philology Dr. Diss. Yekaterinburg.
3. Gulakova, I.I. (2004) *Kommunikativnye strategii i taktiki rechevogo povedeniya v konfliktnoy situatsii obshcheniya* [Communicative Strategies and Tactics of Speech Behavior in a Conflict Communicative Situation]. Abstract of Philology Cand. Diss. Orel.
4. Ivanova, D.V. (2010) *Rechevyе sposoby preodoleniya konflikta (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov)* [Speech Methods of Overcoming the Conflict (On the Material of the Russian and English Languages)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Saratov.
5. Ershova, V.E. (2013) *Rechevoe vzaimodeystvie v usloviyah konflikta: situatsionnyy podkhod (na materiale tok-shou i teledebatov)* [Speech Interaction in Conflict Conditions: A Situational Approach (Based on Talk Shows and Television Debates)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Tomsk.
6. Belova, E.V. (2017) Verbal markers of conflict. *Vestnik TvGU. Seriya "Filologiya"*. 2. pp. 157–161. (In Rusian).
7. Komalova, L.R. (2018) Pre-conflict situation reconstruction on the basis of speech communication. *Etnopsikholingvistika – Ethnopsycholinguistics*. 1. pp. 126–140. (In Russian).
8. Chernykh, Z.V. (2016) Compositional elements of conflict episodes in student communication. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 2. pp. 177–187. (In Russian). DOI: 10.17223/18137083/55/19
9. Sheynov, V.P. (2014) *Upravlenie konfliktami* [Conflict Management]. Saint Petersburg: Izdatel'stvo "Piter". [Online] Available from: https://bookap.info/book/sheynov_upravlenie_konfliktami/. (Accessed: 11.03.2020).
10. Antsupov, A.Ya. & Shipilov, A.I. (2000) *Konfliktologiya* [Conflictology]. Moscow: YUNITI. [Online]. Available from: <http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M11/file/1.pdf>. (Accessed: 25.02.2020).
11. Kashapov, M.M. (2003) *Teoriya i praktika resheniya konfliktnykh situatsiy* [Theory and Practice of Solving Conflict Situations]. Moscow; Yaroslavl: Remder.
12. Ivanova, D.V. (2015) Explanation method in the situation of conflict reconciliation: ecologuistic approach. *Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika – Ecology of Language and Communicative Practice*. 1. pp. 225–231. (In Russian).
13. Ozhegov, S.I. & Shvedova, N.Yu. (2009) *Tolkovyj slovar' russkogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Russian language]. 4th ed. Moscow: INFOTEKH.
14. Kazakova, O.A. (2007) *Dialektnaya yazykovaya lichnost' dialektositolisty* v zhanrovom aspekte [The Dialectal Linguistic Personality of the Dialect Speaker in the Genre Aspect]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University.
15. Gorshkova, K.Yu. (2018) Speech genres of reasoned discourse: convincing and persuasion. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Izvestia of the Volgograd State Pedagogical University*. 5 (128). pp. 108–116.
16. Maslova, A.V. (2014) Realization of harmonious mood of communication in speech of dialect language personality. *Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika – Ecology of Language and Communicative Practice*. 1. pp. 143–149. (In Russian).
17. Nichiporovich, E.A. (1998) *Kooperativnaya yazykovaya lichnost' v otkrytom kommunikativnom epizode* [Cooperative Linguistic Personality in an Open Communicative Episode]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
18. Kushkova, A.N. (2016) *Krest'yanskaya ssora: opyt izuchenija derevenskoy povsednevnosti: po materialam evropeyskoy chasti Rossii vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka* [Peasant Quarrel: An Experience of Studying Rural Everyday Life: Based on Materials from the European Part of Russia in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries]. Saint Petersburg: European University at Saint Petersburg.
19. Rulan, N. (2000) *Yuridicheskaya antropologiya* [Legal Anthropology]. Moscow: Norma.

УДК 811.16:81'371
DOI: 10.17223/19986645/66/3

Г.В. Калиткина

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В книзѣ *ψαλομστѣй*: ПУТЬ ОТ АЛЛЕГОРИИ К ТЕРМИНАЛЬНОЙ МЕТАФОРЕ

Рассматривается семантическая эволюция ряда номинаций объектов и процессов растительной сферы, обусловленная их аллегорическим употреблением в Псалтири, и развитие у них темпоральных сем. По материалам диахронических словарей прослежено вхождение растительных терминальных метафор с устойчивыми фазовыми коннотациями в семантическую систему русского языка. Выявлена неравномерность оязыковления полюсов «начало» и «конец» русскими и церковнославянскими метафорическими единицами.

Ключевые слова: псалмы, аллегория, метафора, терминальные семы, русская лингвокультура, высокий дискурс.

Книга Хвалений (Гимнов) царя и пророка Давида, созданная, как полагают современные исследователи, в период X–II вв. до н.э. и названная александрийскими переводчиками Книгой Псалмов, является частью Ветхозаветного текста Библии.

Помимо греческого и латыни, уже во второй половине IX в. псалмы были переведены на церковнославянский язык. Протографом данного перевода¹ книги *ψαλομστѣй*, который освящен авторитетом свв. Солунских братьев, стал текст Септуагинты. Уже «с эпохи Средневековья Псалтирь была наиболее популярной книгой Ветхого Завета в христианском мире², ее часто присоединяли в рукописях и печатных изданиях к Новому Завету» [2. С. 17]. И в самом новозаветном тексте Псалтирь (наряду с книгой пророка Исаии) цитируется чаще остальных книг Танаха. Православная церковь использует Псалтирь в течение всего года на каждом утреннем и вечернем богослужении. В Российской империи практически до конца XIX столетия чтением Книги Псалмов на церковнославянском языке и завершалось образование большинства детей из низших сословий³.

¹ «Начиная с самых первых переводов старославянский лексический инвентарь не только питался лексикой народной славянской речи, но обогащался книжной лексикой, по большей части являвшейся результатом словотворчества славянских книжников. <...> Свв. Кирилл и Мефодий стремились к созданию лексического инвентаря именно литературного языка, создавали для перевода книжные слова даже в тех случаях, когда в их распоряжении имелись слова народной речи с подходящим значением» [1. С. 5–6].

² Собственный полный перевод Псалтири оставили в числе прочих выдающиеся личности, как М. Лютер, М. Грек, Ф. Скорина, С. Полоцкий, А. Фирсов, И.-Г. Гердер, А.Н. Муравьев.

³ См. программы начальных училищ Министерства народного просвещения (1897) и церковноприходских школ, принадлежащих ведомству Св. Синода (1894) [3. С. 31–32].

К экзегезе псалмов церковь обратилась с первых веков христианства. Среди ранних версий наиболее известны и значимы толкования, созданные в IV–V столетиях – золотом периоде святоотеческой письменности – представителями как восточной ветви христианства (Афанасием Великим, Василием Великим, Иоанном Златоустом, Феодоритом Кирским), так и западной его ветви (Иларием Пиктавийским, Амвросием Медиоланским, Блаженным Августином). Позднее над этим трудились многие другие авторы, придерживавшиеся несовпадающих подходов к толкованию.

Вне сферы своего культового назначения Библия вполне очевидно «предопределила не только духовный строй европейской культуры, ее этический патос (в этом, конечно же, ее важнейшее значение), но во многом и ее художественную парадигму» [2. С. 4]. При этом собственно Книга Псалмов «оказала огромное влияние на мировую религиозную и светскую поэтическую традицию» [Там же. С. 15], а сама Псалтирь, по мнению С.С. Аверинцева [4], усвоила древнейшую поэтику ближневосточных литератур.

Поэтический язык Книги Псалмов содержит многочисленные примеры тропов и фигур речи. Постижению сути доктрины способствовало обращение псалмопевцев к хорошо знакомым и понятным для их современников образам объектов и явлений окружающего мира [5, 6], которые они переносили в другую семантическую зону, изменяли их референцию, формируя смысловую глубину текста. Вместе с тем еще основатель библейской филологии Ориген в начале III в. учил, что «священный текст сознательно окутывает себя мраком, чтобы воспитать в толкователе скрупулезность и чтобы избежать того, что его содержание, будучи легко достижимым, окажется недооцененным» [6. С. 223]. Образный строй языка Псалтири, сотканный переплетением буквальных и глубинных смыслов, прочно вошел в литературную традицию христианского мира и развивающиеся в его пределах национальные языки. Некоторые образы, аллегории, символы и мотивы за истекшие тысячелетия стали настолько привычными, что уже не связываются со Св. Писанием.

К наиболее усвоенным христианскими культурами относятся и растительные образы¹ псalmических текстов. Ядро лексического множества, ставшего планом их выражения, манифестирано номинациями объектов флоры и их частей (фитонимами и фитоморфонимами), периферийные слои – обозначениями вегетативных процессов и деятельности человека, связанной с возделыванием растений.

Хотя число растительных образов в Псалтири не слишком велико, весьма показательным становится их присутствие уже в 1-м псалме, который, по единодушному мнению исследователей, служит своеобразным камертоном ко всей *книзи ѡваломстїј*. Описывая путь добра и зла, он «задает тон последующим нравственным и философским размышлениям,

¹ Словесный образ понимается здесь как «способ конкретно-чувственного воспроизведения действительности в соответствии с избранным эстетическим идеалом» [7. С. 124].

утверждает идею свободы выбора и сопряженной с ней ответственности, определяет ее эталоном праведного бытия» [2. С. 8]. В 3-й стих 1-го псалма введены образы дерева, листьев и плодов: *И будетъ (праведный. – Г.К.) яко древо на сажденное при исходищихъ водахъ, еже плодъ свой дасть во время свое, и листъ его не отпадетъ: и вся елика аще творить, оуспнеть.*

Теологические и этические смыслы, извлекаемые из этой развернутой аллегории¹, раскрываются в бесчисленных толкованиях, созданных уже средневековыми авторами. На уровне эстетически нагруженного отражения мира данный принцип иносказания, по мнению А.Ф. Лосева, заключен в том, что «мы получаем “образ” как иллюстрацию, как более или менее случайное, отнюдь не необходимое пояснение к идеи, пояснение, существенно не связанное с самой идеей» [8. С. 64]. Аллегории в течение столетий воплощались в бесчисленных образцах живописи, скульптуры, архитектуры и т.д., создавая некую художественную картину и передавая через чувственный конкретный образ отвлеченное понятие. Значительную роль они играют и в словесном творчестве. В любых случаях мы имеем дело с разницей между планом выражения и планом содержания. Вместе с тем аллегория зачастую неоднозначна, многоуровнева, и поэтому ее интерпретации могут различаться своей глубиной и точностью, завися от обосновывающей их системы восприятия, – достаточно указать на две версии, одновременно формулируемые на рубеже XI–XII вв. византийским богословом Евфимием Зигабеном при толковании приведенного выше стиха².

А.А. Потебня в свое время полагал аллегорию (наряду с басней и притчей) «сложной», «развитой» метафорой [10]. Такая точка зрения существует и по сей день: «Аллегория так же относится к идее, как метафора к отдельному слову. Отношение аллегории к метафоре количественное; аллегория есть метафора, поддерживаемая на протяжении целого предложения (и за его пределами), то есть контекстная метафора» [11. С. 38] (см. также работы Б.В. Томашевского). Как лингвистический феномен аллегорию могут воплощать не только тексты, предложения, словосочетания, но и, подобно метафоре, универсы.

Попытка систематизировать толкования аллегорических употреблений слов в Псалтири сделана в вышедшем в свет в 2012 г. словаре Л.П. Клименко [12]. Издание раскрывает читателю не прямое номинативное значение единицы (оно вообще не включено в словарную статью), а

¹ При разведении понятий «аллегория», «эмблема», «символ» и «знак» философы, литературоведы, семиотики, экзегеты нередко придерживаются прямо противоположных взглядов (см. работы С.С. Аверинцева, А.С. Десницкого, В.И. Карасика, Б.В. Томашевского, А. Шопенгауэра, Б. Кроче, Х.Л. Борхеса и др.).

² «Так ведущий себя <...> приносит плод – добродетели в надлежащее время и не сбрасывает листьев, то есть смиренномудрия, которое прикрывает и сохраняет добродетели. Или под плодом должно разуметь от трудов собираемое духовное богатство, а под листьями согревающую надежду спасения, которой никогда не теряют и которая облегчает чувство скорбей» [9. С. 16].

значение контекстуальное, при этом автор не ставит перед собой задачи установить для полисемантов иерархию подобных значений, которая должна была бы опираться на целостную лексико-семантическую систему языка.

Тем не менее часть таких непрямых смыслов со временем получила закрепление и в семантической системе многих языков, расширив их словарь. Применительно к русской лингвокультуре, взятой как монолитное соединение элитарной и народной традиции, этому в диахроническом плане послужили греческий (III–I в. до н.э.), церковнославянский (IX в.), русский (синодальный текст 1876 г.) переводы Псалтири.

Если взглянуть под указанным углом на растительные образы 1-го псалма, то в русском языке менее всего «посчастливились» листьям: данное существительное, став многозначным, вообще не развило сколько-нибудь весомых «культуроемких» значений, хотя его аллегорический потенциал по-прежнему способен реализоваться в конкретном тексте (см. примеры ниже). Этим фактом подтверждается наблюдение С.М. Толстой, отметившей в 1996 г. феномен известной самостоятельности, отдельности таких знаковых систем, как культура и язык. Они соотносятся по-разному – от «почти полного совпадения языкового и культурного образа (то есть выделяемых и обозначаемых языком и культурой свойств объектов, их иерархии и оценки) до их значительного или даже полного расхождения» [13. С. 126].

У существительного *дерево* МАС не фиксирует переносных значений¹. Однако образ дерева как прототипического растения скрепляет, удерживает, связывает в единое целое части сложной аллегории, которая спустя несколько веков после создания Псалтири – давней, вероятно, сильный импульс к использованию этого иносказания, – многократно разворачивалась на страницах Нового Завета (укажем, например, на послание ап. Павла к римлянам (11, 16–24)). С разной степенью детализации в течение столетий аллегория дерева воспроизводилась отечественными авторами в «высоких» дискурсах – совокупности тех текстов, которые служат языковым коррелятом надындивидуальной идеологической и социокультурной практики. Например, написавший в 1847 г. предисловие к Словарю II отделения Академии Российской А.Х. Востоков, обрисовывая «пределы и объем издания», мотивирует включение в него наряду с русскими словами церковнославянской лексики следующим рассуждением: *Отречемся ли мы от того языка, которым предки наши в святых храмах славили Предвечного, на котором вылилась первая летопись о древней Руси, на котором выражалось в народных песнях первое чувство радости и скорби? Нет, не станем отторгать ветви от питающих их корней* [14. С. XI–XII]. Акцентам этого пассажа абсолютно созвучны аллегорические растительные образы, возникшие под пером публицистов в начале XX в.: *В глубоких и органиче-*

¹ Славянизм входит в ряд фразеологических выражений, актуальных для Ветхого Завета: *древо животыне* (*жизвата*), *жизньне* (*жизни*); *древо вѣђени* (*вѣђьне*); *древо размыно* (*размићни*).

ских проявлениях искусства всегда можно рассмотреть канонический *ствол растения и свободное цветение индивидуального творчества на его ветвях* (М. Волошин, 1914). И через столетие, уже в XXI в., вновь можно встретить примеры иносказания, передающие знакомые смыслы: Судебная реформа 1864 г. в России опиралась на концепцию, хотя и признающую разделение властей, но полагавшую, что все они, как *ветви дерева, имеют основанием могучий ствол – самодержавие* (И. Петрухин, 2003); Культура XIX столетия с ее завершенным и совершенным строем для культуры XX века – *корень и ствол. Остальное – ветки, а то даже и листья, имеющие обыкновение опадать* (С. Рассадин, 2004).

В приведенных контекстах целостный аллегорический образ дерева¹ предстает разделившимся на составные части, которые в течение двух минувших тысячелетий сформировали несколько семиотических оппозиций. Так, имена *дерево* и *ствол* vs *ветви* и *листья* выступают как оппозиты, обозначающие главное, целостное vs второстепенное, дробное. Хотя наглядный растительный образ улавливается без труда, ЛСВ *ветвь₂* ‘отклоняющаяся от основного, главного направления линия’, *ветвь₃* ‘линия родства в родословной’, *ветка₂* ‘отдельная линия, отклоняющаяся в сторону’ в синхронном МАС не имеют пометы «переносное». В данном случае (равно и у имен *ствол_{2,3,4,5,6}* и *лист_{2,3,4}*) семантическая «подвижка» завершилась: аллегория породила растительную метафору, которая вошла в ткань семантической системы языка настолько плотно, что уже не вычленяется как таковая. Как видим, эволюция семантики единиц растительной сферы постепенно формировала иерархические коннотации, осложненные, впрочем, угадываемыми отсветами, «рефлексами» пространственных смыслов.

При этом ряд наименований частей растений, этапов вегетации и культивирования семантический дрейф превратил в **терминальные метафры** – один из способов передачи абстрактных смыслов ‘начало’ и ‘конец’ при помощи соответствующих компонентов в семантической структуре или привычных коннотаций и ассоциаций², которые сопровождают предметное лексическое значение. Добавим, что терминальная семантика может иметь пространственное / темпоральное преломление.

С данной точки зрения, самой счастливой в русской лингвокультуре оказалась судьба *плода*. (Значимость этого образа для псалмической поэзии косвенно подтверждается тем фактом, что из четырех прилагательных, манифестирующих растительную аллегорию в книзѣ үаломстѣй, три связаны деривационными отношениями с существительным *плод – плодонос-*

¹ К нему отечественные авторы обращаются реже: *Никогда Россия, по传说ению летописца, не изъявляла искреннейшего веселія: казалось, что Небо, раздраженное преступлением Годунова, но смягченное тайными слезами добрых ее сынов, примирилось с ней, и на могиле Дмитриевой насаждает новое царственное дерево, которое своими ветвями обнимет грядущие веки России* (Н. Карамзин, 1821–1823).

² О соотношении терминов фазовые «коннотации» и «свободные ассоциации» см. в работе [15].

ный, плодовитый, неплодный.) Слово нагружено хорошо осознаваемыми в настоящее время компонентами с семантикой финала, из которых развилось переносное значение ‘результат, порождение чего-л.’ (подаваемое МАС под цифрой 3 в сопровождении пушкинских строк *плоды моих мечтаний и гармонических затей*), и фазовой коннотацией ‘награда’¹.

По мнению О.Ю. Богуславской и И.Б. Левонтиной, внутренняя форма этой растительной метафоры обусловливает ее использование «для описания деятельности или процессов, которые развиваются закономерно, так что результат как бы постепенно вырастает и созревает, часто через какое-то время после завершения деятельности. <...> При этом, даже когда речь идет о деятельности, *плод* указывает на то, что итоговое положение дел не полностью контролируется субъектом, а отчасти зависит от общих закономерностей» [16. С. 45]. Авторы констатируют, что ныне для экзистенциальных контекстов (особенно при отрицании) *плод* не характерен, хотя еще в пушкинскую эпоху в русском семантическом поле результата данная единица была наиболее частотной. Следует, очевидно, полагать, что изменение ее места и роли в русской лингвокультуре продолжается.

Формирование у многозначных единиц растительной сферы терминальных смыслов зачастую сопровождалось исчезновением ряда других значений, и изменение их семантического объема можно проследить по трем фундаментальным диахроническим лексиконам русского языка, которые созданы² на материалах памятников письменности, неразрывно связанных с христианской традицией, при сравнении их с синхронным МАС.

Первым по времени появления – и объективно отражающим уровень лексикографической практики своей эпохи – является словарь древнерусского языка, построенный на материалах акад. И.И. Срезневского (1893–1912) [17], который был задуман им как словарь «книжного» и «народного» языка³. Помимо предметного лексического значения ‘fructus, плод’, издание выделяет еще несколько: (2) племя, отродье; (3) произведение; (3) польза; (4) приплод; (5) доход; (6) рост, лихва, – при отсутствии лексемы со значением ‘результат’ почти все ЛСВ сопровождаются фазовыми ассоциациями. В словаре нет разграничения прямых и переносных значений, хотя помещенные контексты актуализации лексем, с позиции современного словаростроения, убедительно показывают его необходимость. Например, ЛСВ₁ проиллюстрирован вполне образным фрагментом из тво-

¹ Ее хорошо иллюстрирует стих: *И речеть человѣкъ: аще оубо есть плодъ првнику, оубо есть Бгъ судя имъ на земли* (Пс, 57, 12). Для его перевода Е.Н. и И.Н. Бируковы использовали лексему *награда*, а в синодальном переводе оставлено слово *плод*.

² Два издания еще не завершены.

³ Предисловие, открывающее этот словарь, составленный уже после смерти самого И.И. Срезневского, сообщает, что «древнерусский язык» академик, «надо думать, понимал не только в смысле возможно полного запаса слов и речений живого, народного языка древней Руси, но вместе с тем в совокупности всех слов и выражений языка церковнославянского, усвоенных и распространенных среди образованного класса древней Руси, среди русских книжных людей X–XV вв.» [17. С. V].

рения Даниила Заточника: *Азъ бо есмь яко она смоковница проклятая, не имѣя плода покаянію*¹.

Словарь русского языка XI–XVII вв. (СРЯ, 1975–2008) [18] сокращает количество ЛСВ имени **плодъ** до 4 и перераспределяет оттенки значений (употребления). Так, помимо прямого значения **плодъ₁** (из прасл. **płodъ-/pledъ-*) и его оттенка, чья семантизация повторяет версию МАС, – ‘орган растения, развивающийся из завязи цветка и содержащий семена || сочная съедобная часть некоторых растений’, здесь лексикографирован **плодъ₂** ‘потомство; ребенок, детеныш’, его оттенок ‘отродье, семя’ (*Не имаши прѣбытии вѣкы, плоде лукавыи (стѣрца)* (Ис, 14, 20)) и уже совершенно исчезнувший оттенок ‘род, вид’ (*Песня муhi – великия муhi различного плоду* (Азбук. 1654)). При этом авторы полагают полностью сформировавшимся метафорическое значение **плод₃** (с пометой «переносное») – ‘результат, продукт какой-л. деятельности, развития’, иллюстрируя его в том числе контекстом из Изборника Святослава 1076 г.: *плодъ добрыихъ дѣль обронивъши*.

Наиболее полным по охвату исторического материала является Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. (СДЯ, 1988–2016) [19]. Хотя каноническая церковная литература оказалась вне круга его источников, однако в Палео-, житиях, проповедях и литургических произведениях, которые расписывались для его картотеки полностью, имеются цитаты и пересказы текстов Ветхого и Нового Заветов. Лексикографируемые слова представлены значительно большим количеством случаев их употребления и более разветвленной системой значений. Имя **плодъ** выступает здесь как полисемичная единица с 5 значениями, у которых есть образные и переносные употребления (авторы, впрочем, не дают разъяснений, на каком основании они были дифференцированы). Свободен от них лишь исчезнувший к нашему времени **плодъ₄**. Выборочно приведем контексты актуализации:

1) Плод. | Образн. *Сице и лѣпьше прѣспѣть манастырь тако процвѣтеть, тако плоды красыныи изнесеть.* К XII. || Перен.: Да.. възможете умладити дша ваша и принести нѣкии плодъ блг(д)тью X(c)вою. ФС XIV–XV.

2) Все то, что производит земля; продукты земледелия. | Образн. *Сѣите бо вѣща себе в правду и пожнете пло(д) правды.* ГБ к. XIV.

3) Потомство, приплод. | Образн. *Ныне рѣкы апл(c)кы наводняются и язычныя рыбы плодъ пущають и рыбари... полну црквную мрежю ловитвы обрѣтают.* КТур. XII.

4) Доход, прибыль. *Онъ же ре(ч), се плодове моя.* Пр. 1383.

5) Произведение, продукт, результат какой-л. деятельности. | Образн. *Плода дѣль твоихъ насытиться земля.* Сб. Яр. XIII. || Перен. *И есть члвкъ мудръ своеи дши и плодъ разума его въ устѣхъ вѣрънъ.* Изб. 1076.

¹ Кроме легко читающейся аллюзии на новозаветную притчу о бесплодной смоковнице,ср. с текстом, который произносится после чтения 2-й кафизмы: *Азъ сый древо неплодное, Гди, оумиленія плода не ношу.* Обе аллегории с разной степенью полноты воспроизвелись в светской литературе и далее.

Анализ всех приводимых в словарной статье иллюстраций показывает, что наиболее тесно с образными и переносными употреблениями, «сгущающими» фазовые смыслы конца, связаны *плодъ₁* и *плод₅*. Иллюстрации к ЛСВ₁ отличаются активной и разносторонней проработкой поля растительной метафоры в целом: *процветет, прозябша, нива, древо сухо, семя, корень*. Терминалный ЛСВ₅ «работает» на абстрактном уровне, что вскрывается его сочетаемостью. В контекстах актуализации это конструкции *плоды трудов, дел, покаяния, смирения, страннолюбия, разума*. Как видим, лексема обозначает итоги не столько целенаправленной деятельности человека, сколько поведения – характера его действий, поступков в целом.

В институциональных дискурсивных практиках до сих пор видны следы того, что даже после выхода нашей страны из теократической языковой ситуации церковнославянский язык не сразу утратил роль многовекового фундамента книжной культуры [20]. Поэтому закономерен вопрос о месте *плода* в семантической системе церковнославянского языка. Самым обстоятельным в трактовке этого слова оказался словарь П.А. Алексеева [21], чье первое издание вышло в свет в 1775 г. Этую книгу нельзя считать двуязычным словарем в строгом смысле: она совмещает цели переводного, энциклопедического и лингвокультурологического лексикона, задуманного П.А. Алексеевым для объяснения воспитанникам Московского университета, готовящимся к катехизации, темных мест в текстах Св. Писания. Изначально перед автором стояла цель, в каком-то смысле сходная с задачами экзегезы. Подавляющее большинство включенных в словарь единиц вполне предсказуемо составили церковнославянские слова и выражения. Четвертое издание 1817–1819 гг., вышедшее Санкт-Петербурге и весьма основательно дополненное по сравнению с вариантами, созданными в последней трети XVIII столетия в Москве, неожиданно представляет *плодъ* как формальный моносемант¹ с лексическим значением ‘самое дело человеческое доброе или худое’, добавляя, что «иногда под сим именем разумеются земные благословения, данные нечестивым» (при этом явление многозначности как таковое П.А. Алексеев отражает регулярно: например, близкое по алфавитному порядку существительное *плоть* подано как полисемант с шестью значениями).

Более продуктивным для нас оказывается внимание автора к идиоматике с компонентом *плодъ – плодъ устенъ, плодъ чрева, плоды покаяния*. Чрезвычайно интересна его трактовка выражения *плодъ миренъ* – ‘счастливый, угодный, приятный Богу и человекам’. Здесь рассуждение П.А. Алексеева опирается на тот же 1-й псалом, разворачивая широкую аллегорическую картину за счет ряда живописных деталей и компаративных тропов: «*Послѣди же плодъ миренъ наученымъ тѣмъ воздастъ прав-*

¹ Созданный через столетие церковнославянский словарь Г.М. Дьяченко [22] все же расширяет семантический объем *плода*: вначале выделено прямономинативное значение, за ним воспроизведена семантизация П.А. Алексеева, далее подано значение ‘мзда, награждение’.

ды, то есть сперва наказание всякому кажется горестно, но после производит в наученных людях приятные плоды. Обыкновенно, что корень добродетелей и учения есть горек, но плод их сладок. Так бывает и с благочестивыми людьми, кои яко древа насажденные при исходицахъ водъ приносятъ плоды во время свое, то есть плоды покаяния и благочестия, а послед пользуются плодами радости и утешения (Пс, 1, 3). Искусный садовник деревья оскаливает, чистит, обрезывает лишние или сухие сучья, иногда обрывает коренья, убавляет жирной земли не с тем, чтобы засушить деревья, но чтобы учинить оные многоплоднейшими; так Отец небесный наказует нас временно, чтобы вечно помиловать; для того терпеливо несущий наказание Господне мир имеет к Богу (Рим, 5, 1), Миръ совѣсти, чувствуя себя сыном Божиим, которому вся поспешествуют во благое (Рим, 8, 28). В такой же силе у Иоанна (16, 20), Пс. 33, 20 и проч.».

Как видим, П.А. Алексеев, разрабатывая и уточняя аллегорию, заложенную в тексте псалма, считает нужным прямо и развернуто эксплицировать для своих читателей еще одну устойчивую семиотическую оппозицию, созданную фрагментацией образа дерева, – «плод ↔ корень». Хотя в Книге Псалмов непосредственно аллегорический образ корня встречается лишь единожды (*Виноградъ изъ Египта принесль еси: изгнанъ еси языки, и насадиль еси и: путесотвориль еси предъ нимъ, и насадиль еси коренія его, и исполни землю* (79, 9–10)) и имеет, на наш взгляд, слабую фазовую ассоциацию, впоследствии церковнославянская лингвокультура закрепила терминальные семы за именами обоих полюсов. У правого оппозита они нашли воплощение в переносном ЛСВ₃ с его значением начала, исхода. Например, в упоминавшейся выше аллегории (*Аще ли начатокъ стъ, то и примѣщеніе: и аще корень стъ, то и вѣтви* (Рим, 11, 16)) ап. Павел уравнивает функции корня и начатка. П.А. Алексеев при трактовке лексического значения имени *корень* на первое место ставит семантический компонент ‘вина’¹, затем ‘начало или произведение какой вещи’. Впрочем, семантическим дрейфом было увлечено и русское слово *корень*: в наши дни яркие фазовые коннотации несколько стерты и отодвинуты на периферию его семантической структуры причинными смыслами ‘источник, основание’. Иначе говоря, с течением времени семантический компонент ‘первопричина’ сузился до ‘причины’, что подняло уровень абстракции: *Пастернак выговаривается дотла, стараясь <...> найти корень безволия* (В. Абашев, 2009); *Тот логически вынужден прийти к признанию основного убеждения религиозного сознания о наличии высших и разумных корней бытия* (С. Франк, 1929).

Все же МАС эксплицирует темпоральный компонент в дефиниции ЛСВ *корень*₃ в его «устаревшем и разговорном» оттенке ‘род, семья; начало по-

¹ Семантику причинности (всегда осложненную коннотациями начала) словарь П.А. Алексеева иллюстрирует устойчивыми выражениями *корень бессмертия* ‘истинное богопознание и богочестие, т.е. набожность’, *корень горести* ‘соблазнительная жизнь и учение вредное’ и *корень злым* ‘сребролюбие’.

коления', трактуя его как терминальную метафору. Не она ли, будучи совершенно ясно опознаваемой в большинстве случаев (например: *Все премьеры Израиля имеют корни в России – если, конечно, считать в границах российской империи, в которой многие из них еще и родились. Но вот ни один выходец из СССР или России этого поста пока не занимал* (Огонек, 2013)), возникает в спектре коннотаций существительного в столь неоднозначном контексте актуализации, как этот: *Как каждый северный человек, я люблю суп. И они же, наши северные корни, недополучившие весны, заставляют меня выделять из этого гастрономического семейства ярко-зеленые супы* (Г. Делеринс, 2014)?

Помимо названного противопоставления, анализируемый растительный образ сформировал и конкурирующую «обращенную» оппозицию «плод ↔ семя». Если корень и плод разнесены и во времени, и в пространстве¹ (иными словами, это «универсальные» терминальные точки), то противопоставление плода и семени выстраивается на темпоральном разнесении оппозитов. Подобно любому овнешнению спекулятивного времени, данная модель более сложна, так как цикличная суть времени допускает бесконечное развертывание спирали «семя → плод → семя...», чего не могут предложить терминальные оппозиты, которые выработаны для символизации пространства.

МАС, трактуя переносный ЛСВ₃ ‘зародыш, начало, источник чего-л.’ (судя по материалам Национального корпуса русского языка, он является более частотным), подтверждает сложную тройственную оппозицию «корень – плод – семя», где крайние члены оказываются синонимичными благодаря темпоральному компоненту ‘начало’. Различие между ними кроется в направлении взгляда наблюдателя. Семя идентифицирует проспективную точку зрения, отсылая к феномену, который обусловит еще не наступившие события и пока не сложившееся («не созревшее» – если оставаться в поле «растительных» иносказаний) положение дел. Корни же маркируют ретроспекцию, взгляд на ситуацию из сегодняшнего дня, пронзающий толщу минувшего времени, подобно пластам почвы. Ср.: *В действительности же они сеют семена розни, неверия в силы русской науки, неуважения к ее славному прошлому и великим именам* (В. Гроссман, 1960); *Много лет Сервет разносил повсюду семена арианства, злого материализма и, как говорят, даже атеизма.* (С. Логинов, 2008); *Год жизни в Америке и знакомство с русской эмиграцией – в Бостоне еще живы были те, кто уходил из Крыма с Врангелем – заронили мне в душу первые семена любви к моей покинутой родине* (Иеромонах Макарий (Маркиш), 2010) vs *Здесь самая истина повелевает мне речь свою оживотворить воспоминанием славных имен, ВЕЛИКАГО ПЕТРА, ВЕЛИКИЯ ЕКАТЕРИНЫ, и Дражайших Высоких Родителей. Ибо Сии суть Благословенные Корени, от Коих*

¹ Более строгая пространственная оппозиция «корень – вершина (крона, ветви)» вводит иерархические смыслы: *Не хвалися на вѣтви: аще ли же хвалишися, не ты корень носишь, но корень тебе* (Рим, 11, 18).

ныне произрос Сладчайший и Знаменитейший Плод (наследник Александр I. – Г.К.) (Архиепископ Платон (Левшин), 1777); *Корни* этой традиции начального музыкального образования идут от церкви (И. Архипова, 1996); И зачастую то, что сейчас считается супермодным в Европе, оказывается, уходит корнями в далекое прошлое (Народное творчество, 2004); Бывший панк и пионер электронной музыки <...> делает слушателя заложником любопытства. Его *корни* – в фантастическом успехе его предыдущей пластинки (А. Крижевский, 2002). Очевидно, что русское семя¹ в прототипическом случае ближе к абсолюту начала по сравнению с остальными растительными метафорами за счет того, что и сам наблюдатель-интерпретатор полагает себя находящимся ближе к этой терминальной точке.

Парадоксальным образом при основной трактовке семени как потенции, а плода как результата существительное *семя* оказывается энантиосемантом. Правда, и здесь приходится говорить о смысловой эволюции. В самой книжной фаломости аллегорические «начала», воплощенные этим растительным образом², не встречаются. Однако словарь Г.М. Дьяченко формулирует 13 (!) значений, развившихся в церковнославянском языке, с указанием конкретных ветхозаветных и новозаветных фрагментов их актуализации: семя (сперма); начало плода, семя, из которого рождаются (а) растения, (б) животные и (в) люди; самые растения, например овощи; животные, исчадия; потомство, потомки; дети и внуки; сын; в отношении к Спасителю, потомок; конец, остаток (образ взят с того семени, которое оставляют для посева); сеятель; посевное; начало духовной жизни; (σπόρος) посев, – энантиосемия многих ЛСВ не вызывает сомнений.

Для древнерусской лингвокультуры двойственность *сѣмени*, видимо, тоже была живой. Так, в СДЯ на фоне *сѣмѧ*₂ ‘начало, исток; источник зарождения чего-л.’ (*Сидоръ же... бѣжѧ къ Риму, отнюдь же злаго ерети-чества сѣмѧ принесль*. Львов. лет. XVI в.) выделены *сѣмѧ*₄ ‘род, племя’³,

¹ Два века назад в русской лингвокультуре развился метафорический аналог *семени*, который представляет маргинальную зону физиологии, *зародыш* ‘зачаток, начало’: *Во всем вышезложенном виден зародыш возможного будущего благосостояния провинций Закавказских, и сами собою уже явствуют государственные выгоды, от того проискающие* (А. Грибоедов, 1828); *Мой рапортаж 1963 г. <...> стал заро-дышем замысла создать психологический портрет зарубежного народа* (В. Овчинников, 2012). В материалах Национального корпуса русского языка первый контекст его актуализации помечен 1822 г.

² Во всех псалмах *сѣмѧ* актуализует значения ‘потомки’ или ‘род’: *Плодъ ихъ от земли погубили, и сѣмѧ ихъ от сыновъ человѣческихъ* (20, 11); *Юнѣйший быхъ, ибо состарѣхся, и не видѣхъ првника оставленъ, никакъ сѣмени его просыща хлѣбы* (36, 25–26); *Яко Гдѣ любить судъ и не оставить прпбныхъ своихъ: во вѣкъ сохранятся: беззаконнцы же изженоутся, и сѣмѧ нечестивыхъ потребится* (36, 28).

³ Примечательно, что в переводе стихов *И возведи же руку свою на ня, низложиши я в пустыни. И низложиши сѣмѧ ихъ во языцехъ, и расточиши я въ страны* (Пс, 105, 26–27) Е.Н. и И.Н. Бируковы используют лексему *племя*, в то время как в синодальном переводе оставлено *семя*.

сѣмѧ́ ‘потомство, потомки’; *сѣмѧ́* ‘последователи, сторонники, продолжатели чего-л.’ (6-е значение иллюстрируется ярким отзывом Петра I о стрельцах, который датирован 1698 г.: *Пишишь... что сѣмѧ Ивана Михайловича [Милославского] ростетъ, въ чем прошу быть васъ кърѣпъкихъ, а кроме сего ничемъ сей огнь угасить не мочьно*). И.И. Срезневский также противопоставляет ЛСВ₃ и ЛСВ₄, ЛСВ₅ древнерусского существительного. Но уже Словарь II отделения Академии наук, изданный в 1847 г. и призванный отразить современное ему положение дел, значение ‘потомки’ помечает как «церковное», подавая в качестве общерусского только метафорическое обозначение другого терминального полюса – начала или отдаленной причины какого-либо нравственного действия или состояния. МАС под номером 3 помещает ЛСВ ‘зародыш, начало, источник’ без каких-либо помет и только затем *семѧ́* ‘потомство, род’, считая его книжным и устаревшим (!!), а его оттенок ‘нисходящее поколение, отродье’ – разговорным и пренебрежительным. Как видим, сравнительный анализ словарей вскрывает постепенное усиление в семантической структуре этого имени терминального компонента ‘начало’.

В целом у оппозиции «растительных» терминальных оппозитов в псалмической поэзии более востребованным и проработанным предстает именно темпоральное, а не пространственное измерение, и конкретно – лексическое поле финала. Вместе с тем вербализация аллегорий со смыслами ‘финал, конец’ в церковнославянском и русском переводах Псалтири совпадает лишь частично. Обе лингвокультуры, формируя этот понятийный уровень, прибегают к собственным лексическим средствам.

Так, в широко известных 5–6-м стихах 125-го псалма разворачивается аллегорическая картина течения времени, выстраиваемая образами сменяющих друг друга работ на ниве: *Сѣющіі слезами, радостію пожнуть. Ходяціі хождаху и плакахуся, метающе сѣмена своя: грядуще же приидутъ радостію, вземлюще рукояти свои*. Если в синодальном переводе (1876) и переводах Российского (Русского) библейского общества (2000, 2011) выделенной конструкции соответствует *неся снопы свои*; ряд православных порталов в анонимном и недатированном переводе предлагают конструкцию *поднимая снопы свои*; то в переводе Е.Н. и И.Н. Бируковых (1975–1985) использовано словосочетание *пожнут урожай*; и близки к нему переводы, сделанные Международной библейской лигой (2014), – *будут собирать урожай; понесет свой урожай*. В семантической системе современного русского языка у *снопов* и *урожая* нет метафорических значений, однако последнее существительное обладает хорошо осознаваемыми фазовыми коннотациями финала: *Именно осенью природа вознаграждает человека за его труд своими плодами. На этот раз, образно говоря, собрать урожай на ратной ниве и отведать зрелость плодов доверили личному составу зенитного ракетного полка, которым командует гвардии полковник Александр Шапарский* (О. Фаличев, 2002).

В приведенном фрагменте 125-го псалма растительные образы воплощены прежде всего предикатной лексикой с процессуальными значениями.

Псалтирь формирует два оппозитивных подмножества таких глаголов, различающихся субъектами действия. В прямом значении они обозначают: (а) процессы возделывания человеком тех или иных объектов флоры: *сеть, насаждать vs жать, восторгать, попалять*; (б) процессы вегетации: *прозябать, процвести vs отцвести, иссохнуть, ожестеть*. В наиболее ярком виде «снятие» противостояния терминальных оппозитов совершает знаменитый евангельский фрагмент, безусловно отсылающий к анализируемому псалму: *и сѣѧй вѣупѣ радуется, и жнѧй: о семь бо слово есть истинное, яко инъ есть сѣѧй, и инъ есть жнѧй* (Ин, 4, 36–37). С течением времени данная аллегория вошла в ткань испытывавшей влияние иноязычных образцов книжной культуры средневековой Руси, чьи памятники емко охарактеризованы в предисловии к словарю И.И. Срезневского: «Одни суть переводы с греческого, другие – русские произведения, которые написаны по примеру греческих. Так, даже в числе памятников чисто церковной литературы мы встречаем такие подражания, которые суть подражания и по языку, и по мысли. <...> И даже, может быть, в самих наших летописях найдутся такие же подражания» [17. С. VI]. И они, бесспорно, находятся. Упомянем, например, список 1377 г. Лаврентьевской летописи (Владимирского летописного свода 1305 г.): *Іако бо се нѣкто землю разорить. Другыи же насѣть. Ини же пожинаютъ. И іадѣть пищю бескудну. <...> Съ же насѣѧ книжными словесы ср(од)ца вѣрны(x) людии. А мы по- жинаемъ ученье приемлюще книжное.*

В приведенных выше аллегориях глагольное темпоральное «начало» осложнено псалмопевцами чаще из проекции человеческой воли, целенаправленных действий субъекта-человека, культивирующего растительный объект. Обозначающие же вегетацию предикаты *прозябати, цвѣсти, изсхнуги в книжѣ ұаломстѣй* не раз рисуют аллегорические картины [кратко]временности бытия как оппозита вечности: *Внегда прозябоша грѣшицы яко трава <...> яко да потребятся въ вѣкъ вѣка. Ты же вышиній во вѣкъ, Господи* (Пс, 91, 8–9); *Оуничиженія ихъ лѣта будуть: оутро яко трава мимо идетъ, оутро процвѣтеть и прейдетъ* (Пс, 89, 6); *Дніе мои яко сѣнь оуклонишася, и азъ яко сѣно изсхохъ* (Пс, 101, 12), – тогда как в современном русском языке предикаты вегетации *всходить, прорастать, проклевыватьсь, пробиваться* приобрели яркие коннотации начальной фазы процесса.

Казалось бы, полюс начала в равной мере должны манифестировать и глаголы *насадить, насаждать*, но на синхронном уровне они отличаются и своим семантическим объемом, и яркостью фазовой коннотации. В трактовке МАС у них не совпадает порядок LCB_1 *насадить* ‘посадить (растения, деревья) в каком-либо (обычно большом) количестве’, LCB_2 ‘сов. к *насаждать*₁’ *насаждать* LCB_1 ‘внедрять, укоренять’ LCB_2 ‘несов. к *насадить*₁’. Иными словами, «растительные семы» оказываются ядерными только у одного из глаголов. Возможно, именно «церковнославянская родословная» предиката *насаждать* обусловила развитие оценочности и постепенное вхождение метафорической семы в ядро, что видно по датировке контекстов актуализации в Национальном корпусе русского языка.

Хронологически первой среди его материалов оказывается выдержка из сделанного в 1745 г. В.К. Тредиаковским перевода с французского: *Прикрасы нетакъ какъ цвѣты, которые тамъ насаждають, гдѣ хотятъ.* Это же значение многоократно актуализовано в речах архиепископа Платона (Левшина), сочиненных в сер. 1770-х гг. по поводу дня тезоименитства наследника, где цитируется ап. Павел: *Кто насаждаетъ виноградъ, и от плода его не ясть? (1 Кор, 9, 7).* В текстах конца XIX в. оно востребовано уже намного реже: *Лютер метко охарактеризовал свою роль и роль своего главного сподвижника в деле реформы: «Мне самому приходится выдергивать пни и колоды, обрывать шипы, осушать трясины; я – грубый дровосек, прокладывающий дорогу, но мейстер Филипп работает чистенько и тихонько, обрабатывает и насаждает, сеет и орошает, ибо Бог щедро одарил его»* (Б. Порозовская, 1895). Последний по времени пример употребления глагола в прямом значении, взятый из журнала «Наука и жизнь» за 1950 г., уже воспринимается как архаизм: *Работники лесного хозяйства с помощью ученых успешно насаждают карельскую березу.* Метафорическое значение *у насаждать* начинает преобладать в материалах Корпуса с 1870-х гг.

Заключение об оценочности в современном русском языке этой метафоры, осложненной фазовой коннотацией начала, можно сделать с учетом своеобразия объектов действия при предикате *насаждать*: в их роли выступают лексемы с семантическими компонентами ‘неэтичное’, ‘вредное’, ‘опасное’. Тем необычнее и показательнее выглядит контекст актуализации, пронизанный иронией по поводу общепринятых ценностей, в котором неожиданный выбор глагола автор подчеркивает и закрепляет выделительной частицей: *Валера насаждал и насаждает в доме русский. Именно насаждает. Потому как, видите ли, отпрывск был доставлен в Соединенные Штаты в животе матери и мог лишиться величайшего культурного наследия* (Т. Соломатина, 2010).

В отличие от описанного положения дел имени объектов действия для метафорического *сеять*, осложненного фазовыми коннотациями, в контекстах Национального корпуса русского языка разбиваются уже на два противопоставленных подмножества: *отчуждение, рознь, смута, зло, горе, паника, недоверие, сомнение, пессимизм, соблазн, бесстыдство, болезнь, смерть vs любовь, вера, раскаяние, добродетель, ученость, знания, даже диалог.* Публицисты и беллетристы щедро предоставляют читателям оценочные контексты актуализации от *не видит ничего, кроме недостатков, копается в грязи, сеет нездоровые настроения* (Ю. Домбровский, 1978) до классического некрасовского *сейте разумное, добре, вечное.* Численное преобладание элементов подмножества отрицательной оценки не влияет на принципиальную амбивалентность потенциальной оценки, поскольку преимущественная вербализация негативной семантики считается языковой универсалией.

Терминалный смысл ‘конец’ в псалмических аллегориях, описывающих целеполагающую деятельность человека, представлен тремя общесла-

вянскими предикатами – *восторгать, попалять, жать*. В русской лингвокультуре судьбы этих глаголов, а также их видовых форм оказалась несходными. Первый после присоединения постфикса претерпел кардинальную перестройку семантики, второй, устарев, переместился на периферию лексического фонда. Предикаты *жать, сжать* да сих пор функционируют в прямом значении ‘убирать хлебные злаки серпами, косами или жатвенными машинами’, но участь глаголов *пожать, пожинать* сложнее. Прямононимативный ЛСВ *пожать₁* расценивается ныне как устаревший и просторечный, что исключает его из ядра общенационального словаря, а лексема *пожать₂* в МАС имеет пометы «высокое, переносное». У глагола *пожинать* помет нет, однако в словарной статье приводится устойчивое выражение *пожинать лавры* и (не выделенное формально) *пожинать плоды*¹. Оба словосочетания несут не только терминальные смыслы итога, но и справедливого воздаяния за предшествующую деятельность, которое может обернуться как вознаграждением, так и возмездием. Конструкция стала матричной со свободно заполняемой валентностью объекта действия, предполагающей ныне не только фитонимы и прежде всего не фитонимы. В данном случае вновь сформировались два подмножества абстрактных номинаций с полярной оценочностью: *горе, разочарование* vs *успех, хвала, симпатия* и т.д. Лингвокультура хорошо усвоила мысль ветхозаветного пророка Осии (8, 7): *Яко вѣтромъ истлѣно всѣша, и разрушение ихъ прииметъ я²*, которая с течением времени превратилась в общезвестную максиму «кто сеет (посеет)... тот пожинает (пожнет)...» и в паремию *что посеешь, то и пожнешь*. С разной степенью редукции их воспроизводит и религиозный дискурс, и вполне светский: *Что мы посеяли, то и должны пожинать. Всем неравнодушным к правде людям очень темно и тяжело, ибо, сравнивая настоящее с прошлым, давно прошедшем, видим, что живем в каком-то ином мире* (К. Победоносцев, 1881–1889). Она была глуха к добрым советам, и вот она пожинает, что посеяла (Ф. Сологуб, 1909); *Сея ветер свободных от нравственности идей, мы пожинаем бурю саморазрушения* (Журнал Московской патриархии, 2004). Интересно, что редукция чувствительна к смыслам ‘начало’ и ‘конец’: она касается начальной фазы: *Кто хочет пожинать сладость, да любит прежде горесть* (Г. Сковорода, 1760–1775); *Мы пожинаем горькие плоды гостеприимства, видим плачевые результаты труда горе-строителей, врачей-рвачей, чернорабочих, не говоря уже о дико растущей уголовщине, связанной с этническими преступными группировками* (Солдат удачи, 2004). Вероятно, это объясняется невозможностью завершения без начала, тогда как незаверенное, незаконченное, недоделанное встречается нередко.

¹ Плоды, как и результаты, в этой конструкции способны нести амбивалентную оценку. Ее положительный знак часто имплицирован, но отрицательный всегда выражен эксплицитно при помощи определения – *горькие плоды, плачевые результаты*, хотя МАС не вводит эти словосочетания в состав идиоматики.

² Более известен синодальный перевод на русский язык: *так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю*.

Итак, ежегодный вегетативный цикл, столь краткий на фоне человеческого века и столь непреложно возобновляющийся, еще в период глубокой архаики фокусировал на себе внимание человека. Вещные, наблюдаемые объекты мира флоры и процессы, которые с ними связаны, дали толчок к формированию и проработке самих способов обозначения ненаблюдаемых высоких эмпирий и трансцендентной области духа, столь важных для человеческой сущности, и это афористично постулировал Х.Л. Борхес: «Пахарь дает жизнь слову *культура*» [23].

Древнейшие «растительные» иносказания, созданные как полупроизвольные иллюстрации к философским и этическим идеям, изложенным в рамках вероучения, разгадывались, постигались и присваивались в течение тысячелетий в пределах христианской Ойкумены и ее церковнославянско-русской части. Аллегории стали благодатной почвой и инструментом для стереотипизации окружающего жизненного мира, в том числе и терминальных смыслов, зачастую осложненных оценкой. Одни части многозначных аллегорических картин могли затемняться, другие становились выпуклее, резче и притягивали интерес лингвокультуры, превращаясь в метафоры.

Если в псалмических текстах более значимым оказывается терминальный полюс финала, поскольку он как манифестация конца времени и тварного мира противопоставлен бесконечности, вечности божественного бытия, то в семантической системе современного русского языка значения начала и конца своеобразно мультилицируют свои средства выражения, в чем можно увидеть перекличку с общим отходом от пассеистского типа культуры. Разумеется, нельзя утверждать, что семантический дрейф не-прямых значений растительной лексики во всех случаях завершен. Иногда в конкретном контексте метафора, казалось бы давно вошедшая в язык, иррадиирует свои парадигматические связи, при этом ее фазовые коннотации читаются однозначно: *Про корни. Я выросла в кино. Такой была среда, которая меня окружала. В нашем доме на Полянке жил весь советский кинематограф – Райзман, Ромм, Птушко, Дзиган, Пырьев. Для всех это были великие режиссеры и артисты, а для меня – дяди и тети, которые дергали за косичку или по попке хлопали в лифте. В эвакуации к ним прибывали еще Пудовкин, Чирков, Жаров с Целиковской. Эйзенштейн сажал нас на колени и рисовал нам что-то. Шестилетние дурочки, что мы понимали.* (Г. Волчек, 2013).

Возникшая модель переноса значения «растительный объект, процесс → ‘начало’ или ‘конец’», конечно, сформирована не только последовательными переводами Псалтири. Однако представляется, что ее утверждению способствовали и регулярное чтение псалмов, и многовековая востребованность в институциональных дискурсах собранных в них идей и образов. Это вполне предсказуемо обусловило дальнейшее развитие в русском языке и тех терминальных метафор, а также фазовых коннотаций, ассоциаций, рефлексов, которые уже не имеют аллегорических прототипов в книжной *шаломстѣї*. Вместе с тем потенциал семантического развития, за-

ложенный в аллегорических растительных образах, реализовали далеко не все слова.

Давшее исходный импульс такому серьезному изменению семантики собственно аллегорическое использование растительной лексики, практически не встречаясь в бытовой дискурсивной практике, как эстетический прием и ныне не чуждо высоким образцам культуры, где оно зародилось. Более того, растительная аллегория по-прежнему способна разрастись до живописного полотна нарратива, содержащего новую аллюзию на текст двухтысячелетней давности и бичующего все те же человеческие пороки и слабости: *Сознание, данное нам для постижения, мы пустили в ход как инструмент. Мы сеем и не пожинаем, не дожидаясь урожая, перекапывая даже собственные посевы. Какой урок еще может остановить человека на пути самоистребления?* (А. Битов, 1990).

Литература

1. Ефимова В.С., Желязкова В. К изучению лексики древнейших славянских рукописей Ветхого Завета в сопоставлении с лексикой Нового Завета и других рукописей «Старославянского канона» // Славяноведение. 2014. № 4. С. 3–14.
2. Синило Г.В. Псалтирь (Книга Хвалений) в контексте мировой культуры // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № S4. С. 4–17.
3. Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX–XX в.). М., 2001. 400 с.
4. Аверинцев С.С. Древнееврейская литература // История всемирной литературы : в 9 т. М., 1983. Т. 1. С. 271–302.
5. Клименко Л.П. К проблеме аутентичности церковнославянского и русского переводов Псалтири царя Давида // Труды Нижегородской духовной семинарии. Н. Новгород, 2008. С. 85–109.
6. Сальтамаккия Д.Б. Ориген – толкователь псалмов: предложения в свете открытия Codex monacensis graecus 314 // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки : материалы VIII Международной научно-богословской конференции, посвящ. 70-летию возрождения Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 2017. С. 211–224.
7. Валгина Н.С. Теория текста. М. : Логос, 2004. 208 с.
8. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1990 (1930). 134 с.
9. Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена. Киев, 1882. 944 с.
10. Потебня А.А. Из записок по теории словесности (1905) // Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 132–314.
11. Ненарокова М.Р. Аллегорические образы растений в средневековой латинской гимнографии // Современные тенденции в развитии науки и технологий. 2015. № 5-3. С. 37–50.
12. Клименко Л.П. Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. Н. Новгород, 2012. 560 с.
13. Толстая С.М. Стереотип в этнолингвистике // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. М., 1996. С. 124–127.
14. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии наук : в 4 т. СПб., 1847.
15. Семенова С.Ю. К типологии фазовых компонентов, коннотаций и ассоциаций русских лексем // Логический анализ языка: Семантика начала и конца. М., 2002. С. 155–168.

16. Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б. Подведение итогов в русском языке // Логический анализ языка: Семантика начала и конца. М., 2002. С. 36–49.
17. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам : в 4 т. СПб., 1893–1912.
18. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–2008. Вып. 1–28.
19. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) : в 10 т. / гл. ред. Р.И. Аванесов. М., 1988–2016.
20. Шанский Н.М. Роль старославянского языка в развитии русского языка // Русский язык в школе. 1994. № 4. С. 40–45.
21. Алексеев П. Церковный словарь или истолкование словенских, также маловразумительных древних и иноязычных речений, положенных без перевода в Священном Писании и содержащихся в других церковных и духовных книгах, с присовокуплением некоторых церковных ирмосов, в российском переводе изъясненных и в стихи преложенных, и степенных первого гласа. 4-е изд., вновь пересмотренное, исправленное и противу прежних трех изданий весьма знатным количеством слов и речений приумноженное : в 5 ч. СПб., 1817–1819.
22. Дьяченко Г.М. Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений). М., 1993 (репринт издания 1899 г.). 1120 с.
23. Борхес Х.Л. Истории о всадниках. Из книги «Эваристо Каррьего», 1930 // Хорхе Луис Борхес. URL: <http://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?dirname=borges&filename=jlb07003.phtml&mode=10> (дата обращения: 17.12.2019).

Plant Images in the *Book of Psalms*: From Allegory to Terminal Metaphor

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 45–64. DOI: 10.17223/19986645/66/3

Galina V. Kalitkina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: dasty2@yandex.ru

Keywords: psalms, allegory, metaphor, terminal semes, Russian linguaculture, high discourse.

The article discusses the metaphorical objectification of terminal semantics in Russian linguaculture. The object of the study is plant allegories used in the *Book of Psalms* (10th–2nd centuries BC) to present the essence of the doctrine. As one of the varieties of changing the reference of a verbal sign and a fragment of extra-linguistic reality, allegory is a more or less random verbal illustration that is not significantly related to the conveyed idea. Allegory often has several aspects, and its interpretations can differ in depth and accuracy, depending on the underlying system of perception. As a linguistic phenomenon, allegory is expressed not only in texts, sentences, phrases, but also in univerbs, and for the latter grammatical differences are not relevant. The material of the study is the layer of nominal and predicate vocabulary of the plant sphere, actualised in psalm texts translated into Church Slavonic by Cyril and Methodius and in their main Russian translations of the 19th–21st centuries. Examples of the functioning of these lexical units in institutional and artistic discursive practices of the 18th–21st centuries were selected from the materials of the Russian National Corpus. The aim of the study is to trace the formation of stable terminal meanings, which have entered the semantic system of Russian mainly in temporal interpretation, in some phytomorphonyms and “plant” predicates. The analysis of the definitions, labels, and illustrative material of three fundamental diachronic dictionaries of the Russian language, the modern *Small Academic Dictionary of Russian* (MAS), and Church Slavonic lexicons made it possible to describe the semantic “drift” of some nominal and predicate nominations of the plant sphere, that is, how they developed full-fledged temporal semes and formed of habitual phase connotations and free associations. The metaphorical model, formed in the semantic system of Russian, allowed the development of terminal meanings for the phytomorphonyms and “plant predicates” that are not found in the *Book of Psalms*, which indicates its productivity. The consequence of the

considered semantic evolution was the entry of units *beginning* and *end* with their “limiting” semes into constant semiotic oppositions. The poles of these oppositions are relevant and unequally elaborated in the Church Slavonic and Russian linguacultures. The analysis of the material once again confirmed the independence of culture and language as sign systems.

References

1. Efimova, V.S. & Zhelyazkova, V. (2014) Towards a study of the vocabulary of the oldest Slavonic Old Testament manuscripts in comparison with the vocabulary of the New Testament manuscripts and other manuscripts of the “Old Slavonic canon”. *Slavyanovedenie*. 4. pp. 3–14. (In Russian).
2. Sinilo, G.V. (2009) Psaltir' (Kniga Khvaleniy) v kontekste mirovoy kul'tury [Psalter (Book of Psalms) in the Context of World Culture]. *Gosudarstvo, religiya, Tserkov' v Rossii i za rubezhom – State, Religion and Church*. S4. pp. 4–17.
3. Kravetskiy, A.G. & Pletneva, A.A. (2001) *Istoriya tserkovnoslavjanskogo jazyka v Rossii (konets XIX–XX v.)* [History of the Church Slavonic Language in Russia (Late 19th–20th Centuries)]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
4. Averintsev, S.S. (1983) Drevneevreyskaya literatura [Ancient Hebrew literature]. In: Braginskiy, I.S. et al. (eds) *Istoriya vsemirnoy literatury* [History of World Literature]. Vol. 1. Moscow: Nauka. pp. 271–302.
5. Klimenko, L.P. (2008) K probleme autentichnosti tserkovnoslavjanskogo i russkogo perevodov Psaltiri tsarya Davida [On the problem of authenticity of Church Slavonic and Russian translations of the Psalms of David]. *Trudy Nizhegorodskoy duchovnoy seminarii*. 6. pp. 85–109.
6. Sal'talamakkiya, D.B. (2017) [Origen, the interpreter of the psalms: Proposals in relation to the discovery of Codex monacensis graecus 314]. *Aktual'nye voprosy sovremennoj bogosloviya i tserkovnoj nauki* [Topical Problems of Modern Theology and Church Science]. Proceedings of the VIII International Conference, dedicated to the 70th anniversary of the revival of the Saint Petersburg Theological Academy. Saint Petersburg, 16–17 November 2016. Saint Petersburg: Saint Petersburg Theological Academy. pp. 211–224. (In Russian).
7. Valgina, N.S. (2004) *Teoriya teksta* [Theory of Text]. Moscow: Logos.
8. Losev, A.F. (1990) *Dialektika mifa* [Dialectics of Myth]. Moscow.
9. Zigabenus, E. (1882) *Tolkovaya Psaltir'* [Explanatory Psalter]. Translated from ancient Greek. Kiev: [s.n.].
10. Potebnya, A.A. (1990) *Teoreticheskaya poetika* [Theoretical Poetics]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 132–314.
11. Nenarokova, M.R. (2015) Allegoricheskie obrazy rastenij v srednevekovoy latinskoy gimnografii [Allegorical images of plants in Medieval Latin hymnography]. *Sovremennye tendentsii v razvitiu nauki i tekhnologiy*. 5–3. pp. 37–50.
12. Klimenko, L.P. (2012) *Slovar' perenosnykh, obraznykh i simvolicheskikh upotreblennykh slov v Psaltiri* [Dictionary of Figurative, Metaphoric and Symbolic Uses of Words in the Psalter]. Nizhniy Novgorod: Izd-vo “Khristianskaya biblioteka”.
13. Tolstaya, S.M. (1996) Stereotip v etnolingvistike [Stereotype in ethnolinguistics]. In: *Rechevyje i mental'nye stereotipy v sinkhronii i diakhronii* [Speech and Mental Stereotypes in Synchronicity and Diachrony]. Moscow: Institute of Slavic Studies of RAS. pp. 124–127.
14. The Imperial Academy of Sciences. (1847) *Slovar' tserkovnoslavjanskogo i russkogo jazyka, sostavленный вторым отделением Императорской Академии наук* [Dictionary of Church Slavonic and Russian Languages, Compiled by the Second Department of The Imperial Academy of Sciences]. Vols 1–4. Saint Petersburg: Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk.
15. Semenova, S.Yu. (2002) K tipologii fazovykh komponentov, konnotatsiy i assotsiatsiy russkikh leksem [On the typology of phase components, connotations and associations of Russian lemmas].

- Russian lexemes]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Semantika nachala i kontsa* [Logical Analysis of Language. Semantics of the Beginning and the End]. Moscow: Indrik, pp. 155–168.
16. Boguslavskaya, O.Yu. & Levontina, I.B. (2002) *Podvedenie itogov v russkom yazyke* [Summarising in Russian]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Semantika nachala i kontsa* [Logical Analysis of Language. Semantics of the Beginning and the End]. Moscow: Indrik, pp. 36–49.
17. Sreznevskiy, I.I. (1893–1912) *Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis'mennym pamyatnikam* [Materials for a Dictionary of the Old Russian Language Based on Written Monuments]. Saint Petersburg: Otdelenie russkogo yazyka i slovesnosti.
18. Barkhudarov, S.G. et al. (eds) (1975–2008) *Slovar' russkogo yazyka XI–XVII vv.* [Dictionary of the Russian Language of the 11th–17th Centuries]. Vols 1–28. Moscow: Nauka.
19. Avanesov, R.I. (ed.) (1988–2016) *Slovar' drevnerusskogo yazyka (XI–XIV vv.)* [Dictionary of the Old Russian Language (11th – 14th Centuries)]. Moscow: Russkiy yazyk.
20. Shanskiy, N.M. (1994) *Rol' staroslavjanskogo yazyka v razvitiu russkogo yazyka* [The role of the Old Church Slavonic language in the development of the Russian language]. *Russkiy yazyk v shkole – Russian Language at School*. 4. pp. 40–45.
21. Alekseev, P. (1817–1819) *Tserkovnyy slovar' ili istolkovanie slovenskikh, takzhe malovrazumitel'nykh drevnikh i inoyazychnykh recheniy, polozhennykh bez perevoda v Svyashchennom Pisani i soderzhachchikhsya v drugikh tserkovnykh i dukhovnykh knigakh, s prisovokupleniem nekotorykh tserkovnykh irmosov, v rossiyском perevode iz "yasnennykh i v stiki prelozhennykh, i stepennykh pervogo glasa* [Ecclesiastical Dictionary or Interpretation of Slavonic and Obscure Ancient and Foreign Language Utterances, Given in the Holy Scriptures without Translation and Contained in Other Church and Spiritual Books, With the Addition of Some Church Irmoses, Translated in Russian, Explained and Put into Verse, and Anabathmoi for the First Voice]. 4th ed. Saint Petersburg: tipografiya Ivana Glazunova.
22. D'yachenko, G.M. (1993) *Polnyy tserkovnoslavjanskiy slovar'* (s vneseniem v nego vazhneyshikh drevnerusskikh slov i vyrazheniy) [A Complete Church Slavonic Dictionary (With the Introduction of The Most Important Old Russian Words and Expressions)]. Moscow: Izdatel'skiy otdel Moskovskogo Patriarkhata. Reprint of 1899.
23. Borges, J.L. (1930) *Istorii o vsadnikakh* [Stories of Horsemen]. Translated from Spanish by I. Dubin. [Online] Available from: <http://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?dirname=borges&filename=jlb07003.phtml&mode=10>. (Accessed: 17.12.2019).

УДК 81-112

DOI: 10.17223/19986645/66/4

А.В. Карабыков

ЯЗЫК АДАМА, ЕВРОПЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И ПОДЪЁМ РЕНЕССАНСНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ¹

Рассматривается одно из направлений адамического проекта, развитого в ренессансной культуре и нацеленного на то, чтобы воссоздать первозданный язык человечества. Сторонники этого направления стремились исследовать Ursprache через нахождение егоrudиментов в известных исторических языках. Доказывается, что способы обоснования прав того или иного языка считаться адамическим или, чаще, близким его дериватом были в целом универсальными.

Ключевые слова: история лингвистической мысли, теории лингвогенеза, этимология, кратилизм, Книга Бытия, гебраизм, Городище Бекан, Ричард Верстеган.

Введение

Обратившись к адамическому проекту – умственному движению XV–XVII вв., вдохновлённому мечтой о реставрации первозданного языка человечества, начнём с краткого определения его объекта и самой общей схемы развития. Первозданным назывался язык, которым владели люди в Раю, в состоянии изначального совершенства. Не являясь – по крайней мере, всецело – искусственной системой произвольно и условно установленных знаков, этот прайзык (*Ursprache*), на взгляд многих в ту эпоху, был непосредственно причастен к структуре мироздания, так как имел своё основание в природе самих вещей и/или отличался эпистемологическим совершенством, позволявшим схватывать и выражать их сущность наиболее полным и точным образом. По этой причине, как думали многие эзотерики, данный язык обладал способностью к прямому воздействию на бытие и мог служить первостепенным орудием магии.

Схему развития адамического проекта можно представить так: начавшись с доказательства первичности определённого языка (стратегия I «обосновать»), он прошёл через поиск знаковой системы Адама (стратегия II «найти») и завершился разделением на мистическом (стратегия III «принять» в качестве дара свыше) и рационалистском (стратегия IV «создать» искусственную замену) путях. Оба последних направления строились на представлении о том, что первозданный язык всецело потерян и не может быть восстановлен, по крайней мере усилиями человека [1].

¹ Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 18-011-00601 ««Книга Природы» в контексте герменевтических стратегий Возрождения и раннего Нового времени».

В этой статье речь пойдёт о поисках первозданного языка, составивших содержание стратегии II («найти»). Дав её сжатый очерк, я сконцентрируюсь на одном из двух её векторов. Он был связан с историко-сопоставительным исследованием языков, главную роль в котором играла традиционная этимология. Рассматриваемые в ретроспективе, этот тип исследований и соответствующая стадия в истории науки о языке именуются предкомпаративизмом (precomparativism). Будут рассмотрены основные формы осуществления этой прекомпаративной линии: гебраистская, националистские и мистическая – с учётом их внутренней вариативности, позволяющей различать в двух первых «сильную» и «слабую» версии, а в их рамках более частные разновидности.

Обращаясь к истории вопроса, считаю нужным различить в ней два взаимосвязанных аспекта. Один касается исследования предкомпаративизма XVI–XVII вв. – этапа в истории лингвистики, который до недавнего времени почти не привлекал внимание учёных, исходивших из линейно-прогрессистской модели развития науки и потому считавших его лишённым научной значимости. Изменения начались в последней трети XX в., когда за новаторскими работами Дж. Меткалфа последовали труды Дж. Эроса, Дж. Феллмана, Д. Драйкса, М.-Л. Демоне и т.д. Все они были нацелены на реконструкцию теоретико-методологических принципов, которыми руководствовались предкомпаративисты Ренессанса¹. Этим трудам недоставало широты социокультурного контекста, который позволил понять причины радикальной странности языковедческого мышления той эпохи. Стремлением заполнить этот пробел вдохновлены исследования позднейших, в особенности современных, авторов: Л. Формигари, Дж. Консидайна, Д. Дел Белло, М. Травони, У. Пула, Т. Ван Хала, и т.д. Многие из них выходят за рамки собственно лингвистической историографии в междисциплинарную сферу интеллектуальной истории. Второй аспект причастен к изучению адамического проекта XV–XVII вв., опыт которого ещё более свеж и скромен, чем анализ ренессансной лингвистики. Ключевыми в этой области являются работы А. Кудэрт, У. Эко, Дж. Бено, О. Помпо, М. Олендер и немногих других учёных. Будучи по преимуществу историко-философскими и культурологическими штудиями, они, как правило, отличаются недостаточной проработанностью теоретико-лингвистической стороны адамических поисков того времени. В этой статье я предлагаю рассмотреть наследие ренессансных языковедов в свете рефлексии над сущностью и участью первоязыка человечества, которая прослеживается в этом наследии, позволяя вписать его в одно из направлений адамического проекта. Такой подход обещает способствовать лучшему пониманию ренессансного “стиля” мышления о языке, а также созданию оригинальной классификации многообразных концепций, объединённых понятием предкомпаративизма.

¹ Обзор работ в сфере историографии прекомпаративной лингвистики XVI–XVIII вв. см.: [2. Р. 5 (п. 5)].

Предметом исследования служат воззрения западноевропейских филологов XVI–XVII вв. на историю языка в разнообразии его национальных форм, факторы и презумпции, обусловившие специфику этих взглядов, а также способы обоснования тождества или сугубой генетической близости одной из данных форм первоязыку человечества. Основным материалом анализа стали историко-филологические трактаты К. Гесснера, Т. Библиандера, А. Кирхера, Г. Бекана, Р. Верстегана, Г. Штирнхильма и других учёных.

Обзор исследуемой стратегии

В зависимости от того, где полагали обрести ключи к языку Адама, стратегия II «найти» делилась на два направления. В согласии с первым (IIa) полем в поиске праязыка должны помочь доступные языки и тексты, где, как считали его приверженцы, «рассыпаны осколки» Ursprache, из которых – при наличии верных метода и теории – можно воссоздать целое. В свете второго извода (IIb) путь к первозданному языку, казалось, лежал через исследование знаков (сигнатур), начертанных от века Творцом в вещах и стихиях природы. Предполагалось, что, будучи познанными, сигнатуры могут быть неким образом переведены в единицы языка, отличного от всех известных наречий тем, насколько точно и полно он отражает природу творений. Сторонники этого взгляда считали, что именно так действовал сам Адам, когда давал имена животным (Быт. 2:19–20), и что есть возможность повторить его ономатопоэтический путь. Вместе с тем преобладавшая тенденция состояла в том, чтобы сближать, а не противопоставлять эти линии. Не так уж редко их поддерживали одни и те же интеллектуалы, отдавая приоритет одному варианту, но не теряя из виду другой.

Помимо внутренней сложности, анализ стратегии II («найти») затрудняется тем, что на практике она обычно дополнялась иными адамистическими элементами. Так, каждое из её направлений имело характерное дополнение. Те, кто чаял подойти к первоязыку через существующие наречия (IIa), как правило, привлекали элементы стратегии I, образуя комплекс «найти, чтобы обосновать». Дело в том, что сторонники этой линии – к ним относились пионеры сравнительно-исторической лингвистики, чуждые мистицизма, – руководствовались определённой мифоисторической схемой. В соответствии с ней им был известен часто не первозданный язык, а некий ближайший его отприск, генеалогически связывавший с ним все позднейшие наречия. И главной заботой этих учёных был поиск позитивных лингвистических данных, которые бы подтверждали правильность этой схемы. Тем, что нужно было доказать прежде всего, являлось наличие у «ближайшего отприска» уникальных черт, которые сближали его с Ursprache и отличали от всех остальных наречий. В свою очередь адвокаты пути Адама, ведшего от природных вещей и знаков к именам первоязыка (IIb), были лишены такого мифоисторического «комpassа». Они стояли перед вопросами, которые грозили оказаться неразрешимыми: как именно

можно распознать и объяснить сигнатуры совершенным образом и как затем перевести извлечённое из них знание в систему имён по примеру Адама? Это нередко побуждало их привлекать стратегию III. Создавая комплекс «принять, чтобы найти», они возлагали надежды на сверхъестественное озарение, которое только и могло помочь разрешить эти загадочные вопросы.

Возвращаясь к первой линии стратегии II, мы оказываемся перед вопросом: если главной формой работы в ней был комплекс «найти, чтобы обосновать», то почему он должен быть рассмотрен здесь, а не в русле исходной стратегии I «обосновать»? Это тем больше нуждается в прояснении, что в обоих случаях речь могла идти об одном и том же языке-претенденте. Им был иврит. Из всего спектра форм осуществления этого комплекса гебраизм являлся самой влиятельной, и он же доминировал над всеми вариантами стратегии I. Так в чём состояло различие двух разновидностей гебраизма и, если брать шире, стратегий IIa и I? Прежде всего оно касалось способов обоснования. По убеждению каббалистов, этих главных адвокатов гебраистской формы стратегии I, идея адамичности иврита подтверждается метафизикой и мифоисторией, представленными в их доктрине [3]. Единственным, что оставалось сделать, чтобы понудить тех, кто не считался с Каббалой, принять эту идею, являлась активизация эпистемического и магического потенциала иврита. Что же касается историко-лингвистического изучения данного языка, то, как стало ясным во второй половине XVI в., когда академическая гебраистика сделала шаг вперёд, оно нанесло урон столь дорогим для каббалистов представлениям о радикальной инаковости иврита [Там же. С. 191–192]. Напротив, приверженцы гебраизма по линии стратегии IIa придавали решающее значение именно языковым свидетельствам. Авторитетный для них топос западной патристики ничего не говорил о природе иврита, признавая его священным в силу причастности этого языка к библейской истории: ставший «телом» Ветхого Завета, он считался родным для Адама, патриархов, пророков и, наконец, Спасителя [4. С. 792]. При этом в известном стихе Вульгаты: *Appellavitque Adam nominibus suis* (выделено мною. – A.K.) *cincta animantia...* (*И нарек Адам всех животных их [собственными] именами*) (Gen 2:20) – можно было усмотреть намёк на онтэпистемическое совершенство прайзыка. Но из-за скучного знакомства с ивритом на средневековом Западе это указание, похоже, не удостаивалось серьёзной рефлексии. Зато теперь оно приобрело важнейшее значение для всех сторонников анализируемого комплекса «найти, чтобы обосновать» вне зависимости от того, какую – гебраистскую или одну из националистских форм – они развивали.

Что именно они стремились найти? Во-первых, следы Ursprache в остальных наречиях, чтобы тем самым доказать его историческое первенство. Во-вторых, факты, подтверждающие его эксклюзивное онтэпистемическое качество, о котором, как верили многие, свидетельствовал стих Вульгаты и которое бы обнаруживало себя в фундаментальной мотивированно-

сти значений его слов. Большинство филологов XVI–XVII вв. считало, что «изначальные корни слов [первоязыка] были образованы не по воле случая, а на основании Природы и разума»¹ [5]. В-третьих, часть исследователей стремилась подтвердить идею исконной односложности этих корней, являющей замечательную простоту формального устройства Ursprache. Теперь ответим на вопрос: что именно они стремились доказать таким, позитивно-наглядным, образом, сопровождавшимся опорой на известный мифоисторический нарратив? Ответ, казалось бы, очевиден: адамический статус своего кандидата. Но в отличие от ситуации, характерной для стратегии I, понятие адамичности было менее чётким в работах, реализовывавших комплекс «найти, чтобы обосновать». Гебраистская и националистские концепции по линии Па содержали весьма разные трактовки этого понятия. Несколько упрощая картину, мы можем свести их к двум – «сильной» и «слабой» – версиям, каждая из которых строилась на своём собственном наборе идей и презумпций. В согласии с «сильной» версией иврит или язык одной из европейских наций в его современной или, чаще, древней форме считался адамическим в строгом смысле – как язык Рая, не повреждённый ни грехопадением, ни Вавилонским смешением, ни какой-либо другой катастрофой или естественной мутацией. В «слабых» же версиях этой стратегии любой кандидат мог рассчитывать не на роль первозданного (как таковой Ursprache утрачен и неизвестен), а на статус его ближайшего прямого «потомка», сохранившего максимум адамических свойств. Повторяя отношение стратегии I к Па, «сильный» вариант последней нуждался в поддержке со стороны определённой культурной традиции и её метарассказов больше, чем «слабый». Ибо как бы ни были весомы лингвистические данные, приводимые в доказательство адамичности того или иного наречия, их в принципе не могло быть достаточно для решения этой задачи. Поскольку цель «слабых» версий была скромнее, то и значимость идеологической составляющей в них была не такой высокой.

Проблема адамичности иврита в гебраизме

Войдя в детали гебраистской формы стратегии Па, мы обнаружим, что приверженцы её «сильной» версии расходились в том, какой именно иврит считать адамическим, не говоря уже о точном значении этого предиката. С одной стороны, были те, кто считал первозданным иврит вообще. Они верили, что этот язык сохранялся не затронутым Вавилонским смешением в роду пр правнука Сима Евера, передаваясь «Аврааму, Моисею, Судьям, великой синагоге раввинов, ко Христу и вплоть до настоящего времени»² [6. Р. 194]. Это воззрение объединяло таких несходных деятелей, как иезуит Афа-

¹ «...Patet Primigenias Vocum Radices non fortuito, sed ex Naturae & rationis fundo enatas». Здесь и далее, где в ссылках при цитатах нет номера страницы, в данной части оригинального текста (как правило, это предисловие) отсутствует pagination. Перевод всех цитат выполнен мною. В сносках к ним приводится оригинал.

² «[Illa... integra tamen in domo Heber] usque ad Abraham, Moysen, Judices &c. in synagoga magna Rabbinorum usque ad Christum».

насий Кирхер, протестантские учёные Иоганн Буксторф и Николас Фуллер, часть идеологов радикальных сект в Англии. Широтой своего гебраизма они были обязаны разным причинам: сектанты – поверхностному знакомству с ивритом и до некоторой степени симпатии к Каббале, Кирхер – той же симпатии, но, главное, согласию с мнением латинских Отцов, которое разделяли и упомянутые протестантские интеллектуалы. С другой стороны, были те, кто признавал адамическим язык Ветхого Завета, считая, что эта Книга единственно написана на чистом иврите. «Прочие же тексты, созданные посредством той же графики, либо являются халдейскими, либо содержат примеси других диалектов и [инородных] слов»¹ [7. Р. 47]. Приверженцы этой позиции – к ним относились протестантские филологи Теодор Библиандер, Георг Филипп Харсдорфер, Брайан Уальтон и т.д. – считали, что, подобно всем прочим наречиям, иврит терял со временем свою исходную форму, однако эти изменения начались в нём после создания Ветхого Завета. В силу этого язык Писания был также языком Рая и первых поколений людей до Вавилонской катастрофы. И он, по словам цюрихского эрудита Библиандера (1505–1564), будет вновь дарован всем спасённым в Царствии Бога [8. Р. 37–38].

Создатели «слабой» версии гебраизма находили иврит исторически первым, но не адамическим языком в строгом смысле. С их точки зрения, Ursprache стал изменяться с начала земной истории, произведённого грехопадением. По этой причине к моменту Вавилонских событий он был единственным, но не первозданным языком человечества. Об этом, в частности, писал Клод Дюре, французский лингвист и ботаник (ок. 1570–1611), в своей monumentalной *Сокровищнице истории языков этого мира* (*Thrésor de l'histoire des langues de cet univers*) (1613). К такому же мнению склонялся Конрад Гесснер, автор лингвистической энциклопедии *Mithridat* (*Mithridates*) (1555). В этом труде Гесснер обходится почти без ссылок на мифоисторию, введённую в оборот Августином и Иеронимом. При этом сам иврит он характеризует как «первый», «древнейший», «чистый» от заимствований и «священный» в том смысле, что это язык Писания [7. Р. 2–3, 47]. Названные атрибуты ничего не говорят о его неизменяемости на этапе между началом истории и созданием библейских текстов.

Пути обоснования прав иврита в обеих версиях имели больше сходств, чем различий. Помимо обязательной опоры на известный мифоисторический нарратив, «сильный» вариант гебраизма обычно отличался характерным акцентом на структурной простоте этого языка. Так, Кирхер указывает на трёхбуквенный состав первоначальных корней иврита, что не свойственно прочим наречиям [6. Р. 148–149]. К иным (общим для обеих версий) доводам относилось указание на сугубо еврейский характер имён, упоминаемых в Бытии, этой древнейшей книге Библии: Адам, Ева, Каин, Ламех, Ной и т.д. [*Ibid.* Р. 194; 8. Р. 37]. Здесь же доказывалось то, что в

¹ «...Caeteri iisdem characterib. Scripti vel Chaldaici sunt, vel alias dialectos & glossas admixtas habent».

каждом существующем языке можно найти древнееврейские элементы, ибо «нет ни одного [наречия], которое бы не происходило из иврита и не содержало бы в себе егоискажённых слов»¹ [7. Р. 2] (см. также: [8. Р. 37; 6. Р. 194]). Кроме того, апологеты гебраизма, особенно его «сильной» версии, часто подчёркивали онтоэпистемическое совершенство этого языка, объясняя его в эзотерическом или позитивистском духе. Если Кирхер, учивший о «наполненности» иврита «сокровенными тайнами» (*mysteriis confertissima*), отсылает за разгадками к Каббале, то гебраисты в большинстве своём подтверждали эту идею с помощью данных этимологии. Отложив на время разговор о сущности ренессансной этимологии, ограничимся одной иллюстрацией. В «Сокровищнице» Дюре древнееврейское название орла *nesher* возводится к глаголам *shor* (смотреть) и *iashar* (быть прямым), в чём якобы скрыт удивительный факт орнитологии: эту гордую птицу отличает от прочих пернатых прямota зrenia [9. Р. 39–40]. Эта и подобные ей этимологические находки, которыми пестрят работы гебраистов и сторонников националистских форм, проясняют то, почему уверенность в фундаментальной мотивированности Ursprache или первого его отпрыска удобно сочеталась с представлением об односложности их исконных слов. Разложение на формально-семантические атомы позволяло «подбирать» мотивировку, казавшуюся удачной в той мере, которая оправдывала смысл библейского стиха: «И нарек Адам всех животных их именами».

Образ построения националистских теорий

Подъём националистских форм, в которых осуществлялась стратегия Па, и в частности комплекс «найти, чтобы обосновать», был обусловлен рядом факторов. К ним относился кризис гебраизма, вызванный прогрессом историко-филологических штудий в этой области, и рост национального самосознания у западных интеллектуалов. Они питали живой интерес к прошлому своих народов, стремясь доказать их древность, благородство и особую важность их исторических судеб. Благодаря усилиям этих учёных стал переосмыляться культурно-исторический статус европейских языков. Обретавшие литературную форму, подвергавшиеся первым опытам нормализации, они становились объектом, достойным научного исследования и художественной культivации. Арсенал средств, созданный гуманизмом в сфере классической филологии, теперь переносился в эту новую область. Такая работа была тем более актуальной, что возрождение классической, заведомо мёртвой латыни делало этот язык всё менее пригодным для коммуникации, что повышало ценность народных наречий.

Среди многообразных националистских форм самыми востребованными были скифская, тевтонская и кельтская. При этом часто кельтская обь-

¹ «...Nulla enim est quae non a Hebraica deriuata quaedam & corrupta uocabula habeat».

единялась с одной из двух первых, образуя скифо-кельтскую и кельто-германскую формы [10. Р. 895; 11. Р. 52–53]. Как в случае с гебраизмом, они тяготели к разделению на «сильные» и «слабые» версии. В зависимости от этого находилась степень важности для них тех мифоисторических нарративов, которые их фундировали, и – чего не было в гебраизме – содержание этих метарассказов. Поскольку последние являлись идеологическим «новоделом» (никогда прежде никому бы и на ум не пришло обосновывать адамичность народных наречий), их потенциал – особенно в «сильных» версиях – был слишком мал для того, чтобы стяжать широкое признание. Поэтому в националистских формах поиск лингвистических доказательств играл гораздо большую роль, чем в гебраизме. И прежде чем разбирать аргумент от языка, окинем взором эти обосновывающие нарративы.

Повествования, служившие опорой ключевых националистских форм, имели общее ядро. Его составляла история ветхозаветных патриархов (Быт. 4–11), дополненная сведениями из «Иудейских Древностей» Иосифа Флавия, фрагментов трактата Псевдо-Берозия, сфабрикованного Аннием из Витербо (ок. 1432–1502)¹, «Германии» Тацита и иных источников. Согласно легенде, созданной творцами скифской формы (Беканом, Клювером, Штирнхильмом и т.д.), когда окончился Потоп, Ной с домочадцами и прочим содергимым его Ковчега высадился на берегах Скифии, занимавшей районы Северного и Восточного Причерноморья. Спустя некоторое время отпрыски библейского патриарха стали рассеиваться по свету, мигрируя преимущественно в южном направлении. Сойдясь в земле Сенаар, они задумали воздвигнуть Вавилонскую башню (Быт. 11). В то же время семья Гомера, происходившего от Иафета, старшего сына Ноя, устремилась на север Европы, что помешало ей принять участие в легендарной стройке. Благодаря этому она не испытала на себе трагических последствий Вавилонской катастрофы. Тогда как наречия других родов изменились до неузнаваемости, повергнув человечество в неудобное положение языкового многообразия, язык гомерийцев (они же кимвры и киммерийцы) единственно сохранил допотопную, первозданную форму [12. Р. 204, 213, 534; 13. Р. 25, 204]. В силу продолжительной изолированности североевропейских народов в их языках она осталась относительно неповреждённой [14. Р. 36–37; 15. Р. 108–109, 306–309]. Далее приверженцы скифской и скифо-кельтской линий дискутировали о том, в каком современном языке: бельгийском, шведском, нидерландском и т.д. – эта киммерийская форма сохранилась в наиболее чистом виде.

Адвокаты тевтонской и кельто-германской линий начинали повествование с той же цепи библейских патриархов, но, не останавливаясь на Гомере, шли к сыну его Аскеназу, которого делали отцом Туиско – героя, отсутствующего в Писании. Этот мифический персонаж был заимствован

¹ *Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium*. Roma, 1498. Характеристику труда Анния см.: [11. Р. 49–54].

из указанных трудов Псевдо-Берозия и Тацита [16. С. 354; 17. Р. 9]. Именно он, Туиско, стал «отцом германцев и сарматов» (Псевдо-Берозий), приведшим эти народы в земли их настоящего жительства. Впрочем, некоторые утверждали на эту роль Аскеназа, избегая возвышения языческого героя [10. Р. 892]. Согласно «слабой» версии адамизма, доминировавшей во всех националистских формах, сей прародитель, кого бы им ни признавали в действительности, вывел германцев из Азии, где наряду с другими народами они стали жертвами Вавилонской катастрофы. По «сильной» же версии, намеченной у баварского историка АVENTINA (1477–1534), Туиско повёл своих соплеменников непосредственно из Армении, где, на взгляд многих, обитали первые послепотопные поколения [17. Р. 9]. Впоследствии этот вождь был воспринят германцами в роли их родового бога, и в честь него они стали называть себя тевтонами – «Teutsch» или «Deutsch» [16. С. 354; 18. Р. 7–8].

Эти мифоисторические схемы варьировались в деталях, отдельные из которых будут затронуты далее. Переходя к анализу ренессансной этимологии – главному методу построения лингвистических доказательств в рамках стратегии II, отмечу, что независимо от того, в каких формах и версиях этой стратегии она применялась, её принцип действия был единым. В отношении языка-претендента он состоял в нахождении «истинной» мотивировки его лексических значений, призванной подтвердить фундаментальное соответствие адамических слов природе вещей. Относительно прочих, «позднейших», наречий он сводился к отысканию в них адамических элементов. Когда эти процедуры соединялись, их общей целью становился поиск в существующих языках таких слов, чья семантика, будучи истолкованной в терминах языка-претендента, являла бы неким достаточно ясным образом свою мотивированность, а та – их солидный эпистемический потенциал. Обратимся за примером к Горопию Бекану (1519–1572), нидерландскому учёному, ставшему притчей во языцах из-за своей теории, по которой Ursprache вполне сохранился в брабантских диалектах фламандского языка. Желая доказать исконно фламандский характер слова «*Адам*», якобы унаследованного ивритом, Бекан разделяет имя праотца на два этимона: *hat* и *dam*. В его родном наречии они означали *ненависть* и *дамбу* соответственно. Прочитывая их вместе как *дамба* для *потоков ненависти*, наш этимолог усматривал в сей фразе полное глубокого смысла знамение, о котором вовсе не подозревали иудеи: «Это было наилучшее увещание для Адама, [заключённое в самом] его имени, чтобы он твёрдо противостоял ненависти змия, подобно дамбе, о которую сокрушаются волны океана»¹ [12. Р. 539].

Оставив недолго Бекана, коснёмся системы презумпций, лежавшей в основании столь странного, на сегодняшний взгляд, этимологического анализа. Её главными элементами являлись кратилизм и вера в превосход-

¹ «Optima haec fuit Adamo de nomine suo admonitio, quo fortiter inuidiae serpentis resisteret, non aliter, quam agget Oceani fluctibus perpetuo verberandus...».

ство «древней мудрости» (*prisca sapientia*). Под кратилизмом подразумевается убеждение, что между словом и означаемым существует исконная органическая связь. Чаще всего она теряется в процессе изменения языка, однако может быть воссоздана с помощью этимологии [19. Р. 97]. Предельная цель последней заключалась в том, чтобы путём подчищающих подтасовок, основанных на произвольных ассоциациях звуков, идей и понятий, отыскать в каждой лексеме её изначальную форму – «колыбель» слова (*cunabulum verbī*), по образному выражению стоиков. Отличительная черта этой формы – её звуковое соответствие означаемой вещи. Благодаря ему искомая форма должна быть настолько очевидной для разума, что всякий наделённый живым умом мог без всяких разысканий постигать через неё значение слова, прямо указывающее на его референт. Были известны два типа акустического иконизма: подражательный и символический. Согласно первому в звуковом образе слова воспроизводилось реальное звучание вещи, а согласно второму, этот образ служил акустическим отражением общего психологического действия, производимого вещью на человека (ср. латинское *mel*, означающее мёд, или *crux* – крест) [20. С. 77–78]. Оба этих типа и связанные с ними эвристические приёмы, входившие в состав этимологического метода, сохраняли силу до тех пор, пока оставался актуальным адамический проект.

Вместе с тем *raison d'être* этого метода не сводился к обнаружению акустического согласия между словом и вещью. Как заметил ещё Августин, критикуя стоическую этимологию, нахождение правдоподобной «колыбели» случается очень редко [Там же. С. 78]. В большинстве случаев, вопреки надежде и усилиям толкователей, звуковой образ слова оставался слишком тёмен для того, чтобы сквозь него могла пропустить сущность именуемой вещи. Кроме того, этот подход мог применяться лишь к первообразным единицам, тогда как основной массив любой лексики характеризуется производностью. В таких случаях тоже можно было апеллировать к этимологии – но не с целью поиска исходного звучания слова, а ради выявления присущей ему внутренней формы. Ибо считалось, что между морфолого-семантическим устройством слова и структурой свойств предмета может существовать изоморфизм (опять же буквальный или символический), позволяющий через анализ имени раскрыть существо именуемого. Богатая объяснительными возможностями, эта грань этимологических спекуляций была более всего востребована теми, кто действовал внутри комплекса «найти, чтобы обосновать». Примером нахождения буквального изоморфизма может стать уже известный нам анализ древнееврейского названия орла, предложенный Клодом Дюре, а иллюстрацией символического изоморфизма – разбор слова *Adam* у Горопия Бекана.

Что касается второго звена системы презумпций, фундировавшей ренессансную этимологию, – убеждения в превосходстве «древней мудрости», – эта вера была неотделимой от коренной установки гуманизма, звучавшей в призывае *ad fontes!* (к истокам). Она вызвала к жизни воззрение, по которому чем более древним и, соответственно, близким к Ursprache

является то или иное наречие, тем более глубокие истины в нём скрыты. Так что каждый, кто стремился обосновать исключительный статус своего языка-кандидата, ориентировался не просто на то, чтобы найти в лексиконе его конкурентов элементы защищаемого наречия, а в них внутреннюю форму, удобно “прочитываемую” в его терминах. В идеале ученый должен был показать, что хотя бы часть этих элементов содержит в себе фундаментальные положения религиозно-метафизического (ср. Беканову трактовку имени праотца) или естественно-научного порядка (ср. орнитологический тезис Дюре).

Завершая очерк этимологического метода, отмечу, что до конца XVII в. он не претерпел существенной трансформации. Его базовые принципы оставались теми же, как они были сформулированы в Античности: в «Кратиле» Платона, у стоиков и в концепции претерпеванияalexандрийских грамматиков [21. Р. 47–94]. Изменением, ознаменовавшим начало Модерна, стал рост недоверия к этимологии как методу миропознания. Иными словами, интеллектуалы постепенно разочаровывались в системе презумпций, утверждавшей наличие органичной связи между знаком и означаемым, а также таинственной метафизики и науки, зашифрованных в перво словах [19. Р. 97]. В отношении самой техники и приёмов этимологии остаётся верным замечание Ханса Аарслеффа: на протяжении XVII в. было обычным делом применять эту технику не для поиска новых знаний, но чтобы подвести под некий априорный постулат лингвистическое основание [22. Р. 91]. Это обстоятельство проливает дополнительный свет на причины той могучей притягательности, которой обладала этимология в умах всех adeptов стратегии IIa. Оно же объясняет существенное различие между ренессансной и современной, собственно научной, версиями этимологии. В отличие от последней, гуманистический анализ происхождения слов строился без учёта законов фонетических изменений, представлявшихся алогичными, морфологических закономерностей и многих проявлений грамматической системности. По этой причине его творцы во многом полагались на свою интуицию, сближая этимологию с искусством. Отсутствие строгих методологических правил минимизировало возможность «отсеивать» случайные сходства между словами и открывало простор для псевдообъективных утверждений и тенденциозных выводов.

«Сильная» версия национализма: Горопий Бекан

В своём большинстве националистские теории адамизма относились к «слабому» типу. Их авторы искали такие свидетельства, которые подтверждали бы максимальную генеалогическую близость своего кандидата к Ursprache. Всерьёз утверждавших, что их претендент – это в точности язык Рая и самых первых человеческих поколений, не могло быть много в период усиления скептико-критического духа, который сопровождал подъём новоевропейского рационализма. К числу этих немногих относились среди прочих Марк Цуэрий Ван Боксхорн, Иоганн Магнус и не раз упоминав-

шийся Горопий Бекан. Взяв за образец «сильной» версии теорию Бекана, рассмотрим этимологические построения этого гуманиста, в которых он создал свой многосторонний аргумент от языка¹.

Когда филологи-адамисты всевозможных националистских толков желали найти повсеместные следы своего кандидата, они незамедлительно обращались к языкам-конкурентам и прежде всего к ивриту. Эти учёные считали (и в условиях господства моногенетического принципа правильность данного допущения чаще всего не подвергалась сомнению), что, победив конкурентов, они тем самым доказывали наличие таких следов во всех языках человечества. Так поступал и Бекан. Существенная часть этимологических выкладок, представленных в его главном труде *Антверпенские древности* (*Origines antwerpianae*) (1569), направлена на то, чтобы реконструировать «исконные» – киммерийские – основы в латинском, древнегреческом и, главное, древнееврейском языках [12. Р. 32–33, 847–848]. Вступив в борьбу с гебраистами на лингвистическом поле, он пытался выхватить из их рук и обратить против соперников их же оружие. Гебраисты и в особенности знатоки Каббалы апеллировали к уникальной древности Моисеева Пятикнижия. Бекан, со своей стороны, доказывал, что Тора древнее, чем те думают, и Моисей был не автором её, а транслятором, принявшим этот текст переведённым на иврит с «первозданного» языка киммерийцев [*Ibid.* Р. 537].

Когда гебраисты указывали на библейские имена и названия, не поддающиеся переводу и имеющие древнееврейское происхождение, Бекан парировал: эти имена действительно изначальны и, как все адамические слова, глубоко мотивированы, но они имеют лишь видимость древнееврейских. Дело в том, что потомки Ноя сберегали их в своих поставилонах наречиях, удерживая в памяти их начальные смыслы. Так, возможно, по цепи языков-посредников эти слова вошли в иврит, запечатлённые в древнееврейском тексте Пятикнижия. Однако впоследствии их исконные значения забылись, а их место заняли толкования, привнесённые раввинами, ибо в отличие от Моисея они уже не имели доступа к «древней мудрости» и хранившему её языку [13. Р. 11]². Так, например, имя предка Ноя Мафусаила (*Methuselah*) прочитывается Беканом как нидерландское *maek thi salich*, что переводится как «делающий себя благословенным» и в отношении этого патриарха указывает на причину его долгожительства [12. Р. 548]. Имя самого Ноя разлагается на первоатомы *noot* (нужда) и *acht* (уделять внимание), указывавшие вместе на великую предусмотрительность этого патриарха [*Ibid.* Р. 549]. А «Вавилон» (*Babel*) наш лингвист возводит к *babelen*, превращая название рокового места в памятник презрения к тем, кто отпал там от первозданного языка и, на слух его сохра-

¹ Детальный анализ этимологических техник Бекана см. [23].

² Сходную мысль формулирует один из творцов «слабой» кельто-германской версии Филипп Клюверий (1580–1622), уча, что если ветхозаветные имена действительно древнееврейские, то либо они сохранились в иврите как следы утраченного Ursprache, либо евреи перевели их с более древнего языка [24. Р. 74].

нивших, стал «бормотать, говорить бессмыслицу» [Ibid. Р. 572; 13. Р. 218].

Будучи чрезвычайно изобретательным этимологом, наделённым богатым воображением, Бекан не всегда довольствовался одним значением препарируемого слова. Когда выпадал подходящий случай, он охотно пускался в хитроумные герменевтические спекуляции, артистически играя прихотливыми смысловыми ассоциациями. Так что нередко фундаментальная мотивированность слов киммерийского языка, над воссозданием которого он трудился, под его пером достигала семантической многослойности. И это было не просто следствием живой страсти Бекана к аллегорическому этимологизированию, ещё не скованному методологическими правилами, необходимость которых стала осознаваться филологами в следующем столетии [14. Р. 44]. Уникальная глубина означаемого постулировалась им в качестве характерной черты Ursprache. Она отличала его от позднейших наречий и обеспечивалась изначальной односложностью киммерийского языка, чьи слова превосходно объединялись в сложные лексические единицы [13. Р. 25]. Продолжая творить язык, Адам создавал многие имена таким образом, что они представляли собой своеобразную тайнопись, скрывавшую «тайны древней Теологии» [12]. Тайны эти были столь велики и обильны, что «в целом мире [земных] наук до сих пор не нашлось ничего сопоставимого с ними» [Ibid. Р. 539].

Заключая анализ адамических спекуляций Горопия Бекана, отмечу, что возможность, которую он воплотил, отставая перед лицом «республики учёных» раздутое величие своего языка, оказалась предельной в отношении вмешавшей её системы презумпций. По этой причине отдельные постулаты нидерландского гуманиста находились на грани абсурда. Не желая того, Бекан «нащупал» пределы этой системы и приблизил этим час её демонтажа, пробивший в середине XVII столетия. Положив начало националистическому течению внутри адамического проекта, он открыл врата другим претендентам на роль первозданного или ближайшего к нему языка [25. Р. 21, 69]. Сделалось ясно, что примерно с тем же успехом, который снискал Бекан, теперь можно было обосновать первозданность любого наречия. Так была дискредитирована идея, что Ursprache мог сохраниться после Вавилонского и дальнейших, естественных, трансформаций исторических языков. Это обстоятельство повышало популярность «слабых» националистских версий, к обсуждению которых мы переходим.

Система «слабых» националистских форм

В основе «слабых» версий всех националистских форм лежало убеждение в том, что как таковой язык Адама невозвратимо утрачен и неизвестен. При этом мера его неизвестности различствовала в пределах между условным ивритом, генетически родственным, но не тождественным языку Писания, и полным неведением. Забвение Ursprache объяснялось одним из двух способов, имевших подтверждение в Библии. Прибегавшие к перво-

му – сам этот способ можно назвать естественным, а его сторонников эволюционистами – апеллировали к десятой главе Бытия, предшествующей той, где идёт речь о Вавилонском столпотворении. В ней излагается по-слепотопное «родословие сынов Ноевых… по племенам их, по языкам их, в землях их» (Х). Отсутствие указаний на какие бы то ни было чудесные события внушает мысль о естественном характере происходившей дифференциации, что как будто противоречит сюжету о злополучной Башне, идущему вслед за этим родословием (XI:1–9). История о Вавилонском смешении была отправной точкой для тех, кто объяснял возникновение многоязычья вторым – катастрофическим – способом.

Позиция эволюционистов не была монолитной. Одна их часть развивала мысль об изменении первозданного языка, *параллельно* протекавшем несколькими путями. На их взгляд, первоязык изменился сразу в две или более исторические формы, связанные между собой единством историка. Как правило, в качестве таких форм постулировались иврит и материнский язык учёного, превозносившего его древность. Другое крыло эволюционистов защищало представление о *последовательной* мутации Ursprache, в силу которой тот сначала изменился в их кандидата (если для националиста это был чаще всего родной язык, то для приверженца «слабой» версии гебраизма – исторический иврит). Затем от ближайшего отпрыска отделилось следующее и шаг за шагом все позднейшие наречия. В этом плане показателен образ лингвоистического мышления выдающегося шведского учёного Георга Штирнхильма (1598–1672). В своих ранних трудах он утверждал идею параллельной трансформации, считая первыми наследниками Ursprache иврит и готский, он же скифский, язык, в наиболее чистом виде сохранившийся в шведском. Однако позднее этот лингвист стал на позицию последовательного изменения, поставив иврит, наряду с другими наречиями, в зависимость от готского [15. Р. 307–308; 26. Р. 164].

В течение XVII в. влияние эволюционизма росло, стимулируемое тем, что сравнительно-историческое изучение языков становилось самоценной научной областью, независимой от теологии. К числу виднейших эволюционистов принадлежали Адриан ван Шклик, Абраам Милий, Жан де Лайет, Андреас Йегер и др. Вместе с тем на протяжении интересующей нас эпохи традиционная теория катастрофизма, похоже, казалась убедительной большинству учёных. Считая смешение в Вавилоне причиной возникновения всех исторических языков, катастрофисты вели споры о том, как в точности возникли те 72 (или около того) языка, которыми, по шедшей из Средневековья традиции, исчерпывалось лингвистическое многообразие мира. На взгляд одних, по-своему принимавших эволюционистский принцип, все языки возникли из нескольких диалектов (matrices), в которых Бог «растворил» Ursprache. Другие верили в их обоюдно независимое появление, постепенное и различное по темпу или мгновенное и, стало быть, од-

новременное¹. Интересно, что защитники симультанного сценария часто полностью меняли тональность Вавилонской катастрофы, толкуя её в су-губо позитивном ключе, гармонировавшем с духом национализма. В этом новом позитивном свете она осмыслилась следующим образом: создав множество языков, Бог не столько покарал человечество неудобным для него разноречием, сколько одарил его богатством наречий, которые – в силу их божественного установления – тоже обладали атрибутами совершенства, пусть и в меньшей степени, чем первоязык, бледные подобия которого они представляли [11. Р. 45, 58]. Вместе с тем, в целом исторический процесс языковых изменений казался катастрофистам, равно как и всем апологетам стратегии Па, по преимуществу деструктивным. Они видели в нём деградацию, уводившую языки от состояния начального совершенства [18. Р. 152; 14. Р. 24]. Её главными механизмами считались диверсификация, происходившая за счёт разудаления племён, чей язык был един вначале, и смешение наречий в результате чрезмерных заимствований. Причины заимствований, называемые в то время, до сих пор представляются состоятельными. В качестве основных считали политические (геноцид, утрата суверенитета и т.д.) и миграционные (слияния народов в эпохи великих переселений и т.п.) факторы [6. Р. 130–131; 7. Р. 2–3]. К ним добавляли появление в обиходе новых вещей, перенятых вместе с названиями, а также усвоение иноземных искусств и ремёсел с присущим им багажом профессионализмов [7. Р. 3].

Итак, каким бы – естественным или чудесным – ни было возникновение разноязычья, оно дало ход последующей мутации, естественный характер которой признавали все филологи XVI–XVII вв. Вместе с тем эти учёные считали, что темп и сила исторических изменений различались в отношении конкретных семей языков и отдельных наречий. Помещённые в ретроспективу, существующие языки представлялись им по-разному удалёнными от адамического или, в случае катастрофистов, вавилонского первоистока. Говоря более точно, все работавшие в рамках комплекса «найти, чтобы обосновать» проводили различие между одной (и реже двумя или несколькими) языковой семьей или языком и остальными наречиями. Эта привилегированная группа или язык составляли исключение из правила универсальной мутации. Суть их особенности известна нам из мифоисторических нарративов, созданных для её подтверждения. Она состояла в том, что из-за долгой, беспримерно долгой территориальной и культурной изоляции, которой неким случайному или промыслительному образом подвергся данный народ, его языку посчастливилось сохранить в наиболее чистом виде свою первозданную форму, будь то эдемский (в «сильных» версиях) или один из вавилонских прайзыков (в «слабых» версиях ката-

¹ Ср. утверждение Клюверия: «Никто не мог бы с лёгкостью опровергнуть то, что все языки произошли одновременно из одного источника и одного и того же корня» (Ab una origine, unaque et eadem stirpe omnes pariter in universum promanasse orbem terrarum linguis, nemo facile negaverit) [24. Р. 38].

строфистов). Интеллектуальный спрос на такие концепции длительной автономии был весьма высок в ренессансной Европе, и мы знаем его мотивы. Нам также известно, как выстраивалась лингвистическая грань этих концепций в трудах гебраистов и адвокатов «сильных» националистских вариантов. Пришло время рассмотреть нюансы этимологической работы в «слабых» формах национализма, наиболее специфичными из которых были концепции симультанного катастрофизма, развитые Полем Пезроном, Филиппом Клюверием, Ричардом Верстеганом и др. Обратимся для этого к построениям Верстегана, посвящённым доказательству сугубой древности английского языка.

Концепция Ричарда Верстегана

Британский историк, писатель, гравер и издатель Ричард Верстеган (ок. 1550–1640) был в первую очередь стойким католическим апологетом. По этой причине его opus magnum *Восстановление разрушенного разумения древностей* (*A Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities*) (1605) вместе с видимостью сугубо академического трактата имел идеологическую цель. Она состояла в том, чтобы развенчать миф об извечной культурно-религиозной независимости Британии, избегая прямой полемики с его творцами – протестантскими пропагандистами времён Тюдоров. Вдохновляемый этим замыслом, Верстеган стремился продемонстрировать с как можно большей убедительностью общегерманскую, или тевтонскую, основу английского языка и культуры, всё ещё явственно в них прослеживавшуюся, и, соответственно, их древнюю связь с католичеством. Надо заметить, это стремление хорошо сочеталось с его взглядом на адамическую проблему. Автор «Восстановления» относился к тем представителям катастрофизма, для которых «смешение» в Вавилоне означало появление новых наречий, не лишённых – коль скоро они созданы Богом¹ – значительной степени совершенства. К числу сих первых (после эдемского) языков принадлежал тевтонский. Общий для всех германцев, он обладал достоинствами, сближавшими его с Ursprache. Разделяя участь всех наречий, этот язык дробился и изменялся по мере того, как говорившие на нём племена всё сильнее отмежёвывались друг от друга и вступали в контакт с иноземцами. Только саксонцы, удалившись из Германии на Британские острова, где пребывали в относительной изоляции, долгое время хранили Teutonick tongue в наиболее чистом виде [18]. Поэтому, несмотря на позднейшие вливания извне и возникшую порчу, он – при должном этимологическом мастерстве исследователя – до сих пор предлагает удобный доступ к своему вавилонскому корню.

Техника лингвистического доказательства, заметная в «Восстановлении», мало отличается от той, которой пользовались прочие творцы стра-

¹ Верстеган именует Бога «их Автором и Основателем» (the Author and Founder thereof) [18. P. 192].

тегии Па, и в частности «сильных» националистских форм. В этом плане Верстеган шёл по пути Бекана и его последователей – с оговоркой, что культурная относительность, вытекавшая из симультанного катастрофизма, не позволяла нашему англичанину заходить так же далеко в его выводах. В противоположность Бекану, он не покушался на то, чтобы перераспределить старшинство между древнееврейским и тевтонским языками, признавая, что на стороне иврита стоит древняя церковная традиция. Не подвергая её явному сомнению, Верстеган концентрировался на сравнении адамических свойств тевтонского и его конкурентов. Согласно его наблюдениям язык древних германцев ничуть не уступает ивриту и пре-восходит некоторые из классических языков [Ibid. P. 150, 192]. Чтобы дать обоснование своему тезису, он ненадолго предаётся компаративистскому состязанию, излюбленному нидерландским предшественником. Так, он показывает, что библейские имена, уже изрядно затащенные этимологами, обнаруживают самую уместную и многозначительную внутреннюю форму, когда прочитываются именно по-германски, а не по-еврейски или по-скифски. Например, выясняется, что «*Адам* на этом языке означает живое дыхание», и это в точности соответствует библейскому пассажу о сотворении человека (Быт. 2:7), что *Ева* (*Eve*) образовано от *равный, одинаковый по достоинству* (*even*), а *Кайн* (*Kain*) происходит от *гневный и жестокий* (*quain*), что проявилось в обращении с братом» и т.д. [Ibid. P. 149].

Эта тяжба с гебраистами и защитниками прочих националистских форм не была столь увлекательной для Верстегана, чтобы часто отвлекать его от собственно германского материала. Как лингвист он был занят в основном этимологией тевтонских слов, без оглядки на языки-конкуренты. Исходя из известных нам принципов кратилизма и примата «древней мудрости», Верстеган утверждал, что фундаментальная мотивированность служит «превосходным знаком величайшей древности» германского языка. На его взгляд, именно это свойство лучшим образом сближало язык тевтонцев с Ursprache, который – из-за уникального его соответствия миру – автор «Восстановления» именует «природным» [Ibid. P. 4]. Впрочем, порой, когда появлялась удобная возможность, Верстеган предлагал читателям сравнить удачно мотивированное англо-тевтонское слово с очевидно произвольным эквивалентом из латыни или иного классического языка (ср.: *God* (*Бог*) от *good* (*благой*) в английском против не связанных друг с другом *Deus* и *bonus* в латыни; *woman* (*женщина*) из слияния *womb-man* (*человек с маткой*) против латинского *homo*, никак не выражавшего половое различие людей) [Ibid. P. 150–151]. Подобно некоторым филологам-националистам: Бекану, Штевину, Клюверию и проч., – Верстеган видел ещё один признак совершенства тевтонского в постулируемой им начальной односложности этого языка. С его точки зрения, эта черта свидетельствовала не только о первичной простоте древнегерманских слов, но и об их totalной мотивированности. Каждое такое слово имело своё, органически соответствующее ему значение, которое усваивалось восприемниками этого языка «силой божественного и природного инстинкта», в чём чувствуется

отзвук стойческой идеи звукового символизма [18. Р. 148]. Эта исходная односложность позволила германцам в дальнейшем создавать композитные единицы, благодаря чему язык их был богат, пластичен и, главное, многозначителен, поскольку в своём большинстве его слова отличались двухуровневой – звуковой и морфологической – мотивированностью.

Уважительно относясь к Горопиоу Бекану, чьи этимологические приёмы он использовал, Верстеган критиковал его и других сторонников «сильного» национализма по двум причинам. Английского учёного не устраивала чрезмерная категоричность их ключевых утверждений, которой не соответствовала сила их лингвистических доказательств, тщетно компенсировавшаяся мифоисторическим нарративом [Ibid. Р. 149]. Он также порицал их работы за узость эмпирической базы, которая, на его взгляд, не позволяла судить ни за ни *против* исторического первенства, тем паче адамичности их языков-претендентов. Увлёкшись конкуренцией с гебраистами, Бекан пренебрёг необходимым в таких случаях систематическим сравнением своего претендента с кругом родственных ему языков. Сам Верстеган подчёркивал важность сопоставительного изучения лексиконов всех германских наречий, чтобы выделить общие, исконно тевтонские элементы [Ibid. Р. 154]. И в научном плане это был шаг вперёд по сравнению с тем, что делал его нидерландский предшественник, предпочитавший медитировать над метафизическими «безднами» материнского языка.

Заключение

Завершая исследование, приведём в систему то обилие форм, в которых осуществлялся комплекс «*найти, чтобы обосновать*» и, в его составе, рассмотренная линия второй адамической стратегии. В согласии с этой линией путь, который обещал приблизить к тайне Ursprache, шёл от известных, живых и классических, языков. Считалось, что в них таятся следы первозданного языка, скрытые под покровом исторических изменений. Они могут быть распознаны, так как, к счастью для смертных, сохранилось такое наречие, адвокаты которого видели в нём ближайший отпрыск Ursprache («слабая» версия) и, реже, собственно первоязык («сильная» версия стратегии IIa). В силу того, что ни уникальность его природы, ни место среди других языков не были очевидны, сторонники этого претендента включали его в сравнительно-историческое состязание с другими наречиями, имевшее идеологическую подоплёку. Смотря по тому, какой язык (или языковая группа) избирался на роль претендента, все формы обеих версий делились на гебраистскую и ряд националистских вариантов, самыми востребованными из которых были скифский, тевтонский и кельтский, причём кельтский чаще всего соединялся с первым или вторым. Кроме того, все «слабые» националистские формы дифференцировались на том основании, какой сценарий возникновения и развития многоязычия в них подразумевался. С одной стороны, имелось крыло эволюционизма, включавшего параллельный и последовательный подвиды, с другой – кры-

ло катастрофизма, тоже имевшего параллельную (как правило, симультанную) и последовательно-параллельную разновидности.

Выяснилось, что в каждой из этих форм реализация данного комплекса имела свою специфику. Говоря общо, в одних преобладал акцент на «найти» в других – на «обосновать». Но ключевые принципы нахождения / обоснования были всегда едины. К ним относилась апелляция к авторитету того или иного мифоисторического нарратива, который часто создавался *ad hoc*, чтобы особым образом дополнить и истолковать известные сюжеты Библии, как-то: грехопадение, Потоп и Вавилонское смешение. Причём относительно роли такой апелляции в общей структуре обоснования была замечена следующая градация: наиболее значимой опорой на мифоисторический нарратив являлась в «сильной» гебраистской теории. Затем шли «слабая» гебраистская и «сильные» националистские формы, а завершали ряд концепции «слабого» национализма. В свою очередь, роль аргумента от языка была обратно пропорциональна важности этой опоры, возрастаая на пути от «сильного» гебраизма к «слабому» национализму.

На протяжении XVII в. европейская компаративистика медленно освобождалась от обусловленности теологией и всей «системой координат» ренессансного мышления. Приобретали влиятельность концепции, которые, говоря в терминах адамического проекта, являлись всё более «слабыми». Вместе с тем в истории языкознания роль библейского нарратива не была негативной. Открывая простор для множества толкований, сюжеты Бытия питали лингвистическую мысль эпохи и ускоряли появление новых гипотез, многие из которых прокладывали путь индоевропейской теории. То, что действительно мешало прогрессу компаративистики, – это мода на концепции долгой культурной автономии, исключавшие отдельные языки из потока истории, а главное, отсутствие универсальных правил, регламентирующих исследования. Хотя рефлексия над правилами росла, между теоретическими принципами и практикой компаративистов оставался заметный зазор [14. Р. 44]. Уже был понят общий механизм языковой эволюции и осознана потребность в аналитическом охвате как можно большей части лексиконов предположительно родственных языков. Однако подлинный расцвет сравнительно-исторического метода смог произойти тогда, когда объектом изучения стали системы грамматических форм и была выявлена логика фонетических измерений, казавшихся прежде случайными.

Литература

1. Карабыков А.В. «И нарек человек имена...»: стратегии воссоздания адамического языка в культуре Ренессанса // Человек 2014. № 5. С. 114–131.
2. Van Hal T., Van Rooy R. Editors' introduction // Metcalf G.J. On Language Diversity and Relationship from Bibliander to Adelung. Amsterdam : John Benjamins, 2013. Р. 1–10.
3. Карабыков А.В. Трансформация метафизики первозданного языка в ренессансном каббализме // Вопросы философии 2016. № 3. С. 186–197.
4. Августин Блаженный. О граде Божьем. Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2000. 1296 с.

5. *Georg Stiernhielm.* Babel destructa seu runa Sueistica Babel destructa, seu runa Sueistica. Stockholm, 1669. 429 p.
6. *Athanasius Kircher.* Turris Babel, sive Archontologia. Amsterdam : Janssonio Waesbergiana, 1679. 219 p.
7. *Conradus Gesnerus.* Mithridates. De differentiis linguarum tum veterum tum quae hodie apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt. Tiguri : Froschowerus, 1555. 78 p.
8. *Theodorus Bibliander.* De ratione communi omnium linguarum et literarum commentaries. Tiguri : Froschowerus, 1548. 235 p.
9. *Claude Duret.* Thésor de l'histoire des langues de cest univers, contenant les origines, beautés... décadences, mutations... et ruines des langues hébraïque, chanaéenne... etc., les langues des animaux et oiseaux. Yverdon : Pyramus de Candolle, 1619. 1030 p.
10. *Van Hal T.* One continent, one language? Europa Celtica and its language in Philippus Cluverius' Germania antiqua (1616) and beyond // European Review of History: Revue européenne d'histoire. 2014. № 21 (6). P. 889–907.
11. *Travoni M.* Western Europe // History of Linguistics. Vol. 3: Renaissance and Early Modern Linguistics. London ; New York : Routledge, 2014. P. 2–108.
12. *Goropius Becanus.* Origines antwerpianae, sive Cimmeriorum becceselana novem libros complexa. Antwerp : Plantinus, 1569. 1058 p.
13. *Goropius Becanus.* Hermathena // Opera Ioan. Goropii Becani, hactenus in luce non edita. Antwerp : Plantinus, 1580. 237 p.
14. *Metcalf G.J.* On Language Diversity and Relationship from Bibliander to Adelung. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins, 2013. 181 p.
15. *Considine J.* Dictionaries in Early Modern Europe: Lexicography and the Making of Heritage. Cambridge et al. : Cambridge University Press, 2008. 393 p.
16. *Тацум.* О происхождении германцев и местоположении Германии // Сочинения : в 2 т. Т. 1: Анналы. Малые произведения. Л. : Наука, 1969. С. 353–373.
17. *Jones W.J.* Images of language: six essays on German attitudes to European languages from 1500 to 1800. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing Co, 1999. 297 p.
18. *Richard Verstegan.* A Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities. Concerning the Most Noble and Renowned English Nation. London : Newcomb, 1655. 264 p.
19. *Anderson J.H.* Words that matter: Linguistic perception in the English Renaissance. Stanford : Stanford University Press, 1996. 340 p.
20. *Античные теории языка и стиля / под ред. О.М. Фрейденберг.* СПб. : Алетейя, 1996. 362 с.
21. *Del Bello D.* Forgotten Paths: Etymology and the Allegorical Mindset. Washington, D.C. : Catholic University of America Press, 2007. 187 p.
22. *Aarsleff H.* From Locke to Saussure. Essays on the Study of Language and Intellectual History. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1982. 422 p.
23. *Naborn R.A.* Becanus' Etymological Methods // Voortgang. 1995. № 15. P. 79–86.
24. *Philippus Cluverius Germaniae antiquae libri tres.* Lugduni Batavorum : Elzevirius, 1616. 400 p.
25. *Burke P.* Languages and Communities in Early Modern Europe. Cambridge et al. : Cambridge University Press, 2004. 210 p.
26. *Simone R.* The Early Modern Period // History of Linguistics. Vol. 3 Renaissance and Early Modern Linguistics. London ; New York : Routledge, 2014. P. 149–236.

The Adamic Language, European Nationalism, and the Rise of the Renaissance Comparativism

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 65–87. DOI: 10.17223/19986645/66/4

Anton V. Karabykov, V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russian Federation). E-mail: meavox@mail.ru

Keywords: history of linguistic thought, theories of language origin, etymology, Cratylism, Book of Genesis, Hebraism, Goropius Becanus, Richard Verstegan.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR), Project No. 18-011-00601 “The ‘Book of Nature’ in the Renaissance and Early Modern Hermeneutic Strategies”.

The analysis is focused on one of the directions of the Adamic project developed in the Renaissance culture and aimed to reconstruct the primordial, or Adamic, language (*Ursprache*). Adamic was the primordial language belonging to the forefathers (while at least they remained in the condition of the initial perfection). The project presented a complex of ideas and views together with hermeneutic strategies they determined and was based on a specific set of beliefs, presumptions, and attitudes. The set included a humanistic aspiration for “the origins” (*ad fontes*), deep reverence for “the ancient wisdom” (*prisca sapientia*) the first people had possessed and expressed in the *Ursprache*, which had helped it survive in history, and faith for biblical and heathen narratives. It also included Cratylism, according to which lexical meanings (in their pristine form) sprang from the very essence of things due to the predetermined harmony between the structures of language and of the reality. The mentioned elements of the Renaissance thought formed a sort of a system of coordinates; supporters of the analysed strategy worked within it. The system directed them to study the *Ursprache* via finding its rudiments in known historical tongues (provided that there is a language that has preserved the maximum of the primordial properties). The article argues that, despite the rich variety of forms the strategy was implemented in, means of justification of some tongue’s rights to be taken as the Adamic one or, more often, as its closest derivative were universal at large. They included recourse to a spectrum of mytho-historical narratives current in the Renaissance culture; using them, many Adamicists built new original constructs matching their ideological goals. Besides, the means supposed employment of a vast arsenal of tools of humanistic exegesis and etymology. Particular attention is paid to the Renaissance scholars’ etymological practice, which was to provide them with the properly linguistic evidence of the “Adamic” rights of the languages those humanists promoted. The etymological analysis was typically reduced to searches for elements of Adamic in words of later historical languages and to demonstrations of a non-conventional, organically motivated link conjoining original words with their referents in the world. In order to make this double task easier, some etymologists resorted to fragmentation of words into phonosemantic “atoms” considering monosyllabism to be an essential feature of the primordial language.

References

1. Karabykov, A.V. (2014) “So the Man Gave Names”: The Strategies of Reconstruction of the Adamic Language in Renaissance Culture. *Chelovek*. 5. pp. 114–131. (In Russian).
2. Van Hal, T. & Van Rooy R. (2013) Editors’ introduction. In: Metcalf, G.J. *On Language Diversity and Relationship from Bibliander to Adelung*. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. pp. 1–10.
3. Karabykov, A.V. (2016) The Transformation of the Primordial Language Metaphysics in the Renaissance Cabalism. *Voprosy filosofii – Problems of Philosophy*. 3. pp. 186–197. (In Russian).
4. Augustine of Hippo. (2000) *O grade Bozh’em* [The City of God]. Translated from Latin. Minsk: Kharvest, Moscow: AST.
5. Stiernhielm, G. (1669) *Babel destructa seu runa Suethica Babel destructa, seu runa Suethica*. Stockholm: [s.n.].
6. Kircher, A. (1679) *Turris Babel, sive Archontologia*. Amsterdam: Janssonio Waesbergiana.

7. Gesnerus, C. (1555) *Mithridates. De differentiis linguarum tum veterum tum quae hodie apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt.* Tiguri: Froschoverus.
8. Bibliander, T. (1548) *De ratione communi omnium linguarum et literarum commentaries.* Tiguri: Froschoverus.
9. Duret, C. (1619) *Thrésor de l'histoire des langues de cest univers, contenant les origines, beautés... décadences, mutations... et ruines des langues hébraïque, chananéenne... etc., les langues des animaux et oiseaux.* Yverdon: Pyramus dé Candolle.
10. Van Hal, T. (2014) One continent, one language? *Europa Celtica* and its language in Philippus Cluverius' *Germania antiqua* (1616) and beyond. *European Review of History: Revue européenne d'histoire.* 21(6). pp. 889–907.
11. Travoni, M. (2014) Western Europe. In: Lepschy G. (ed.) *History of Linguistics.* Volume III. London, New York: Routledge. pp. 2–108.
12. Becanus, G. (1569) *Origines antwerpianae, sive Cimmeriorum becceselana novem libros complexa.* Antwerp: Plantinus.
13. Becanus, G. (1580) *Hermathena.* In: *Opera Ioan. Goropii Becani, hactenus in luce non edita.* Antwerp: Plantinus.
14. Metcalf, G.J. (2013) *On Language Diversity and Relationship from Bibliander to Adelung.* Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
15. Considine, J. (2008) *Dictionaries in Early Modern Europe: Lexicography and the Making of Heritage.* Cambridge et al.: Cambridge University Press.
16. Tacitus. (1969) *Sochineniya v 2-kh tomakh* [Works in 2 Vols]. Vol. 1. Leningrad: Nauka. pp. 353–373.
17. Jones, W.J. (1999) *Images of language: six essays on German attitudes to European languages from 1500 to 1800.* Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.
18. Verstegan, R. (1655) *A Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities. Concerning the Most Noble and Renowned English Nation.* London: Newcomb.
19. Anderson, J.H. (1996) *Words that Matter: Linguistic Perception in the English Renaissance.* Stanford: Stanford University Press.
20. Freydenberg, O.M. (ed.) (1996) *Antichnye teorii yazyka i stilya* [Ancient Theories of Language and Style]. Saint Petersburg: Aleteyya.
21. Del Bello, D. (2007) *Forgotten Paths: Etymology and the Allegorical Mindset.* Washington, D.C.: Catholic University of America Press.
22. Aarsleff, H. (1982) *From Locke to Saussure. Essays on the Study of Language and Intellectual History.* Minneapolis: University of Minnesota Press.
23. Naborn, R.A. (1995) Becanus' Etymological Methods. *Voortgang.* 15. pp. 79–86.
24. Cluverius, Ph. (1616) *Germaniae antiquae libri tres.* Leiden: Lugduni Batavorum; Elzevirius.
25. Burke, P. (2004) *Languages and Communities in Early Modern Europe.* Cambridge et al.: Cambridge University Press.
26. Simone, R. (2014) The Early Modern Period. In: Lepschy G. (ed.) *History of Linguistics.* Vol. 3. London, New York: Routledge. pp. 149–236.

УДК 81'23

DOI: 10.17223/19986645/66/5

О.Ю. Крючкова, Н.В. Крючкова

АССОЦИАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ: ФАКТОРЫ ВАРИАТИВНОСТИ И ДИНАМИКИ

На материале производных имен существительных исследованы проявления деривационной стратегии осознания слова в ассоциативно-вербальных реакциях носителей русского языка: ассоциирование по линии корня-основы, по линии структуры и семантики словообразующего средства. Показаны взаимодействие деривационных и тематических ассоциаций в процессах восприятия слова, вариантный и динамический характер деривационных связей производных слов в ассоциативно-верbalной сети носителей языка.

Ключевые слова: производное слово, вербальные ассоциации, деривационные связи слов, языковое сознание.

Введение

Исследователями словообразования неоднократно отмечалась специфика производных слов, обусловленная многообразием и разносторонностью их структурных и семантических связей, их явно выраженной двойной референцией – к миру действительному (мыслимому) и миру языка. Принято считать, что производное слово в отличие от слова непроизводного в большей мере обращено к внутриязыковым структурам, в большей степени подвержено внутрисистемным влияниям. Внутрисистемные связи производных слов хорошо показаны в структурно-семантических описаниях словообразовательной системы русского языка, моделирующих алгоритмы словообразовательной деятельности в виде словообразовательных моделей, выделяющих способы организации лексических единиц в виде крупных их объединений – макроединиц (разносторонняя структурно-семантическая характеристика системы русского словообразования представлена в работе [1. С. 131–450]).

Достижения отечественной словообразовательной дериватологии не ограничиваются фундаментальными структурно-семантическими построениями, базирующимися на масштабном лексическом материале русского языка. Интерес к реальному протеканию словообразовательной деятельности носителей языка, ее мотивам и механизмам, оформился в такие направления дериватологии, как «словообразование и текст», «когнитивное словообразование» (см., например, работы Е.Л. Гинзбурга, Н.Д. Голева, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, Б.Ю. Нормана, Л.В. Сахарного, Т.И. Вендиной, Л.А. Араевой, О.Ю. Крючковой, Е.В. Король, М.Г. Шкурапецкой, А.М. Кыртепе, И.В. Евсеевой). Морфемная семантика перестает быть «вещью в себе», традиционной лингвистикой для лингвистов, какой она оставалась еще 20 лет назад, по замечанию М.А. Кронгауза [2. С. 204].

Изучение актуализированных в речи (в разных типах текстов, в том числе в метатекстах – естественных и полученных экспериментально) мотивационных отношений слов, масштабно развернутое под руководством О.И. Блиновой представителями томской лингвистической школы с середины 70-х гг. ХХ в. и сформировавшее особое направление деривационной лингвистики – мотивологию ([3–7] и др.), выяснило многообразные аспекты осознания говорящими (прежде всего диалектоносителями) феномена мотивированности слова, особенности восприятия и коммуникативного использования ими взаимообусловленной связи формы и значения мотивированного языкового знака.

Проблема психологического осознания производных слов изучалась в 1970–1990-е гг. Л.В. Сахарным. Данные, полученные в ходе проведенных им направленных психолингвистических экспериментов, свидетельствовали о влиянии коммуникативных факторов (коммуникативной ситуации, коммуникативной компетенции говорящих) на характер восприятия производных слов (их структуры и семантики) и способы конструирования (напр., [8–10]).

Экспериментальные текстоориентированные исследования деривационных (мотивационных) представлений (знаний) и непроизвольных ассоциаций говорящих активно осуществляются в 1990–2000-е гг. Н.Д. Головым и его учениками (напр., [11–14]), представителями кемеровской дериватологической школы ([15–18]). Собранный в ходе массовых деривационных ассоциативных экспериментов материал (концепция и методика ДАЭ предложена Н.Д. Головым, см. [19, 20]) позволил сформировать концепцию деривационно-ассоциативного словаря, отражающего лексико-деривационную языковую способность носителей русского языка и особенности речевой реализации деривационных отношений [21. С. 20].

Появление новых источников языкового материала – ассоциативных тезаурусов – становится стимулом для дальнейшего развития науки о русском словообразовании в направлении изучения актуальной словопорождающей деятельности говорящих. На материале двух ассоциативных словарей («Словаря ассоциативных норм русского языка» под ред. А.А. Леонтьева (М., 1977) и «Ассоциативного тезауруса современного русского языка», создававшегося в 1980–1990-е гг. под руководством Ю.Н. Карапулова в Машинном фонде русского языка) Ю.Н. Карапуловым были описаны представленные в их ассоциативных статьях словообразовательные структуры – объединения слов-реакций по типу словообразовательных гнезд (однокорневые реакции), по общности способа словообразования и типового строения производных слов (словообразовательного типа) [22].

Ю.Н. Карапулов отмечает «значительную распространенность словообразовательных отношений» в ассоциативно-вербальной сети в целом, что само по себе указывает на актуальность их разностороннего изучения, в том числе с учетом дифференциации ассоциативно-вербальных связей слов производных и непроизводных. По мнению ученого, обращение к данным, полученным в ходе массовых психолингвистических (ассоциа-

тивных) экспериментов, служит тем инструментом, который дает возможность ответить на вопрос, «как человек владеет словообразовательной системой», «насколько лингвистические описания закономерностей и правил словообразования соответствуют реальным деривационным механизмам и алгоритмам построения слов в процессах речепорождения», – вопрос, который, по выражению Ю.Н. Кацуалова, «созимерим по своей фундаментальности с ответом на вопрос о том, что есть знание языка» [22. С. 139].

Внимание Ю.Н. Кацуалова было обращено прежде всего к совокупной ассоциативно-вербальной сети (ABC) носителей русского языка, выявлению способа существования всей грамматики в ABC. В соответствии с этой задачей автор прибегает к методу «кроссанализа» словообразовательных отношений, устанавливая их «на всем массиве фрагмента сети», представленного ассоциативными статьями изучаемых источников (например, «отыскивая члены словообразовательного гнезда и его корень, или «мотивон», невзирая на границы между статьями») [Там же. С. 141].

Представленные Ю.Н. Кацуаловым общие контуры словообразовательных связей, существующих в ABC носителей русского языка, несомненно нуждаются в дальнейшем изучении и конкретизации. Актуальным, в частности, являются исследование факторов вариантности и динамики словообразовательных отношений в ABC, выяснение лингвистических и экстралингвистических условий (стимулов) актуализации разных типов деривационных отношений, анализ характера взаимодействия деривационных и понятийных / тематических связей производных слов в ABC носителей языка.

Задачи исследования:

1. Выявить характер влияния деривационных свойств производных слов на процессы вербального ассоциирования по линии корня-основы (отыскочной части производного слова), по линии словообразующего средства (формантной части производного слова).

2. Проследить взаимодействие деривационных и понятийных / тематических связей производных слов в ABC носителей языка (в том числе с учетом возраста респондентов).

3. Сделать предварительные выводы об актуальных механизмах осознания говорящими структурно-семантических компонентов производного слова (предварительность выводов обусловлена количественной и частично ограниченностью исследованной выборки, см. ниже).

4. Показать значимость изучения деривационной стратегии вербального ассоциирования для моделирования «деривационных» фрагментов ABC (организованных на основе деривационных связей слов) и реальных (осуществляемых в речевой деятельности говорящих) процессов словопорождения.

Характеристика выборки. На материале двух крупных ассоциативных словарей (Русского ассоциативного словаря: ассоциативные реакции школьников I–XI классов (РАСШ) [23] и Русского ассоциативного словаря (РАС) в бумажной [24] и электронной [25] версиях) мы проследили характер деривационных связей в тех ассоциативных статьях, где стимулами (заголовочными единицами статей) выступали производные имена суще-

ствительные. Среди них слова разной словообразовательной структуры, разных типов словообразовательной семантики. Единицы исследуемой выборки репрезентируют также некоторые виды парадигматических отношений. Отобранные для исследования стимулы (их ассоциативные статьи) представлены в абсолютном большинстве случаев в обоих названных ассоциативных словарях. Это:

- слова-стимулы с разной производящей базой: отглагольные (*впечатление, голосование, предложение, молчание, сражение, передача, выборы, дружба, выставка, вешалка, воин*), отадъективные (*простота, старец, волшебник*), отсубстантивные (*птенчик, матушка, госпожа, кубики, бандит*) производные слова;
- слова-стимулы с разными типами словообразовательной семантики: с мутационным, транспозиционным, модификационным словообразовательными значениями (ср. соответственно: *выставка, волшебник* и др.; *голосование, молчание, простота* и др.; *птенчик, матушка*);
- слова-стимулы, соотносимые со словообразовательными моделями разной продуктивности и характеризующиеся неодинаковой прозрачностью своей морфемной структуры (ср.: *голосование, простота и передача, госпожа*);
- слова-стимулы, объединенные принадлежностью к одной деривационной макроструктуре – одному словообразовательному типу (*впечатление, голосование, предложение, молчание*) или одной словообразовательной категории¹ (ср.: *птенчик, матушка*).

Для верификации данных о характере корреляции деривационных и понятийно-тематических ассоциативных связей производных имен существительных дополнительно на материале РАС были исследованы прямые и обратные ассоциации в группе производных слов, объединенных общностью словообразовательного типа / словообразовательной категории и находящихся в отношениях лексической синонимии (*учитель, преподаватель, наставник; учительница, преподавательница, наставница*).

Деривационная разнородность единиц выборки позволяет принять во внимание значительный спектр факторов, влияющих на специфику процессов верbalного ассоциирования.

Общий объем исследованного ассоциативного материала составил 26 767 ассоциативных реакций².

¹ В работе принят широкий взгляд на границы словообразовательной категории, согласно которому в ее состав включаются производные слова с общим словообразовательным значением (напр., лицо-агенс, мелиоративное значение) независимо от частечной принадлежности производящих слов. Такие объединения производной лексики могут быть охарактеризованы как семантико-словообразовательные категории (см. использование этого понятия и соответствующего подхода в кандидатской диссертации Т.В. Кузнецовой [26]).

² Несмотря на отмеченную выше ограниченность исследовательской выборки, ее можно признать репрезентативной для квалификации наблюдаемых отношений в качестве закономерных. Ср. мнение Ю.Н. Карапурова: «500–700 реакций-ответов являются

Результаты исследования

I. *Ассоциирование по линии корня-основы (словообразовательные гнезда в ABC)*. Стратегия ассоциативного реагирования на слова-стимулы однокоренными словами была подробно охарактеризована нами в статье, посвященной явлению гнездования в ассоциативных полях производных имен существительных (см. [27]). Здесь кратко резюмируем полученные ранее результаты.

1. Наши наблюдения показали, что ассоциирование по линии корня-основы (гнездование) – явление регулярное. Реакции с тем же корнем, что и стимул (гнезда стимула), отмечены во всех проанализированных ассоциативных статьях¹. Однако доля гнездовых реакций в целом относительно невелика, реакции однокоренными словами составляют в большинстве ассоциативных статей (в 21 из 25 рассмотренных) менее 15% от общего числа реакций (хотя объем гнездового реагирования на разные стимулы колеблется в диапазоне от 0 до 35%).

2. Активизация гнездовой стратегии реагирования наблюдается в следующих случаях:

а) стимул имеет прозрачную словообразовательную и морфемную структуру;

б) характеризуется хорошей выделимостью корня (производящей основы);

в) входит в состав достаточно разветвленных языковых словообразовательных гнезд, включающих широкоупотребительные лексические единицы.

Например, наиболее высокий процент гнездовых реакций (более 20% от общего числа ассоциативных реакций) зафиксирован у существительных *дружба, матушка, старец, птенчик*, отвечающих перечисленным признакам, тогда как наименьшее число реакций по линии корня-основы (не более 5% в составе ассоциативного поля) представлено в ассоциативных статьях стимулов *впечатление, предложение, сражение, передача, выборы, выставка, госпожа, кубики, бандит*, не удовлетворяющих хотя бы одному из поощряющих гнездование признаков.

3. Среди гнездовых реакций выделяются некоторые наиболее устойчивые их разновидности. К ним относятся следующие типы ассоциирования:

А) Реакции непосредственно и опосредованно мотивирующими словами. Данный тип реагирования возникает независимо от характера производящей базы слова-стимула, ступени его производности, типа словообразовательной семантики. Ср. в материалах РАСШ²: S *вешалка* – R¹ *вешать*

тем «достаточным» числом, которое позволяет делать надежные выводы по всем параметрам семантической и грамматической структуры» [22. С. 141].

¹ Ср. аналогичное наблюдение Ю.Н. Карапурова: практически во всех ассоциативных статьях стимулов (Словаря ассоциативных норм и Ассоциативного тезауруса) обнаружаются гнездовые объединения слов [Там же. С. 139].

² Далее используются следующие условные обозначения: S – слово-стимул, R – слово-реакция.

40²; S голосование – R голос 88, голосовать 25; S птенчик – R птица 253, птенец 21.

При этом, как показывают приведенные примеры, в случаях несовпадения непосредственно мотивирующего и исходного (вершинного) слова соответствующего словообразовательного гнезда (рассматриваемого в качестве системно-языкового конструкта) психологическая связь с вершиной гнезда оказывается преобладающей (см. реакции на стимулы *голосование, птенчик*), т.е. наблюдается неполное совпадение моделируемых в лингвистических описаниях структурно-семантических отношений и психологически актуальных деривационных корреляций.

Б) Регулярные семантико-деривационные корреляции ассоциатов, которые по критерию их повторяемости при лексически различных стимулах могут быть отнесены к числу психологически активных разновидностей деривационных связей:

- наименования лиц мужского пола – их феминные корреляции: *господин – госпожа, учитель – учительница, волшебник – волшебница;*
- нейтральные номинации – производные с субъективно-оценочным значением: *мать – матушка, птенец – птенчик, птица – птаха, пташка;*
- признак, выраженный именем прилагательным, – субстантивированный (опредмеченный) признак: *старый – старость, волшебный – волшебство, простой – простота;*
- действия / состояния, выраженные глаголом, – субстантивированные (опредмеченные) действия / состояния: *впечатлять / впечатлить – впечатление, голосовать – голосование, предложить / предлагать – предложение, сражаться – сражение, молчать – молчание;*
- производные имена лиц – мотивирующие их единицы: *банда – бандит, воевать – воин, волшебный – волшебник, старый – старец.*

В) Типовые семантические блоки ассоциативного словообразовательного гнезда (АСГ)³, повторяющиеся у разных групп испытуемых. Типовые фраг-

¹ Реакции здесь приводятся с учетом лемматизации и с обобщением данных по возрастным группам испытуемых, выделенным в РАСШ. Более подробный материал см. в [27].

² Здесь и далее цифра обозначает количество соответствующих реакций.

³ Под ассоциативным словообразовательным гнездом понимаем совокупность всех однокоренных слов, представленных в ассоциативном поле слова-стимула. В отличие от языкового словообразовательного гнезда – научного конструкта, представляющего систему отношений производности между словами с тождественным корнем на данном синхронном срезе развития языка, АСГ является «строевой единицей АВС, отличаясь от системного гнезда прежде всего неполнотой и разрывностью» [22. С. 171]. АСГ проявляется «в диссипативных структурах, т.е. концентрациях дериватов, только намечающих возможности создания гнезд вокруг некоторых корней в составе реакций» [28. С. 88]; «в ассоциативно-вербальной сети мы имеем дело не с целыми гнездами, а с тем, что можно назвать их следами» [22. С. 139]. АСГ эксплицирует психологически значимые (наиболее осознаваемые говорящими) связи однокоренных слов (ср. наблюдение Ю.Н. Карапурова о том, что привлечение к исследованию обратного ассоциативного материала (статей обратных ассоциативных словарей) не расширяет состава гнездовых ассоциаций (и не увеличивает количества самих АСГ) [28. С. 88]). Структура ассоциа-

менты АСГ маркируют основные элементы осознаваемого говорящими содержания слова-стимула, нередко выделяют наиболее значимые концептуальные компоненты соответствующего понятия. Например, в типовом фрагменте АСГ на *S выборы* (*R выбрать, выбирать, выбор, избрать, избирать, избиратель*) представлены основные слоты фрейма события, обозначенного стимулом, – цель мероприятия и участник, определяющий его результат. Наличие типовых семантических блоков, выявляемых в составе АСГ, подчеркивает тесную связь деривационно-гнездовых связей со связями понятийно-тематическими, свидетельствует о концептуальной значимости словообразовательных гнезд, о том, что объединения однокоренных слов существуют в сознании носителей языка как комплексные репрезентанты соответствующих концептов.

Таким образом, анализ ассоциаций гнездового типа, во-первых, указывает на реальность словообразовательного гнезда как единицы языкового сознания (здесь наше заключение согласуется с выводом Б.Ю. Нормана, основанным на изучении текстовых корреляций однокоренных слов: «...объединение лексем по типу словообразовательных гнезд является психологической реальностью» [29. С. 46]), во-вторых, свидетельствует о том, что компоненты языковых словообразовательных гнезд неоднородны с точки зрения их психологической значимости, в их составе могут быть выделены фрагменты, составляющие основу коммуникативной компетенции носителей языка, находящиеся в центральной зоне их предречевой готовности.

II. *Ассоциирование по линии словообразующего средства (словообразовательные типы и категории в ABC)*. Ассоциирование, опирающееся на осознание словообразовательных структур и словообразовательных значений, также регулярно обнаруживается в ассоциативном реагировании на стимулы производных имен существительных.

Одномодельные производные и/или производные, связанные со стимулом общностью словообразовательной семантики, отмечены во всех проанализированных ассоциативных статьях, хотя в целом количество таких реакций незначительно и не превышает в составе большинства ассоциативных полей 15% – так же, как и число гнездовых реакций.

Ср., например, названные типы реакций в ассоциативной статье стимула *впечатление* во всех возрастных группах респондентов в РАСШ:

1–4 кл.¹: удивление 12, внимание 1, возмущение 1, воспоминания 1, восхищение 1, запоминания 1, изумление 1, мнение 1, настроение 1, пение 1, посе-

тивного словообразовательного гнезда базируется не на отношениях упорядоченности мотивационных связей его членов (как это имеет место в языковом словообразовательном гнезде), а имеет ядерно-периферийный (полевой) характер. Ядро и периферия ассоциативного гнезда выделяются на основе критерия частотности реакций. Состав и структура ассоциативного словообразовательного гнезда принципиально вариативны (в пределах указанной выше стабильности), они определяются такими переменными, как структурно-семантические особенности слова-стимула, социальные характеристики испытуемых, от которых получен ассоциативный материал.

¹ Здесь и далее в 1-й строке приведены ассоциативные реакции, соотносимые со структурно-семантической моделью словообразовательного типа слова-стимула, во

щение 1 (22 реакции данного типа, что составляет 6,6% от общего числа реакций (333 R) в ассоциативной статье стимула); *задумка 1* (1 реакция, 0,3%).

5–6 кл.: *удивление 13, воспоминание 2, воспоминания 2, возмущение 1, изумление 1, ощущение сильное 1, представление 1* (21 реакция, 7,1% от 295 R в ассоциативной статье); *дума 2, предчувствие 1, раздумье 1* (4 реакции, 1,3%).

7–8 кл.: *удивление 8, воспоминания 1, восхищение 1, знание 1, обаяние 1, обсуждение кого-то 1, предположение 1, разочарование 1, увлечение 1* (16 реакций, 5,4% от 297 R в ассоциативной статье); *раздумье 3, выигрыши 1, захват 1, игра 1, происшествие 1, смех 1* (8 реакций, 2,7%).

9–11 кл.: *удивление 14, восхищение 2, мнение 2, увлечение 2, воодушевление 1, воспоминание 1, знания 1, ощущение 1, представление 1, удивления 1* (26 реакций, 8% от 322 R в ассоциативной статье); *восприятие 12, завись 1, задумка 1, испуг 1* (15 реакций, 4,6%).

Выделяются некоторые условия, влияющие на активизацию одной из стратегий ассоциирования по линии словообразующего средства – стратегии одномодельного (типового) или стратегии общекатегориального (семантического) реагирования.

Активизации структурно ориентированной линии восприятия производного слова (реагированию одномодельными производными словами) способствуют следующие условия:

- прозрачность словообразовательной и морфемной структуры слова-стимула;
- продуктивность словообразовательной модели, обеспечивающая легкость ассоциирования с одноструктурными единицами;
- характер словообразовательного значения слова-стимула (см. смешанный – мутационно-модификационный – тип словообразовательного значения у стимулов *кубики, матушка*).

Ср., кроме приведенного выше примера на стимул *впечатление* с преобладанием структурно ориентированной линии реагирования среди реакций деривационного типа, также фрагменты ассоциативных статей других стимулов в РАСШ, в которых доля одномодельных реакций относительно высока (значительно выше, чем в ассоциативных статьях других стимулов, см. ниже примеры на стимулы *воин, дружба, бандит*, ассоциативные статьи которых не содержат реакций этого типа)¹:

– Реакции на стимул *простота*:

1–4 кл.: *доброта 3, долгота 3, красота 2, быстрота 1, пустота 1, чистота 1* (11 структурно ориентированных реакций, 36,7% от всех узальных реакций (30 R) по линии словообразующего средства в ассоциативной статье стимула);

2-й строке – реакции, объединенные со словом-стимулом только общностью словообразовательной семантики (принадлежностью одной словообразовательной категории).

¹ Здесь учтены только примеры реагирования узальными словами; окказиональные реакции будут рассмотрены ниже.

5–6 кл.: *доброта 8, красота 1* (9 реакций, 23,7% от 38 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье);

7–8 кл.: *доброта 8, беднота 4, пустота 2, красота 1, нищета 1, чистота 1, щедрота 1* (18 реакций, 32,1% от 56 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье);

9–11 кл.: *доброта 16, красота 5, беднота 2, духота 2, пустота 1, чистота 1* (27 реакций, 24,5% от 110 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье).

– Реакции на стимул кубики:

1–4 кл.: *рубики 8, домик 3, квадратики 2, кирпичики 2, шарики 2, мячики 1, рублики 1, шарик 1* (20 реакций, 58,8% от 34 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье);

5–6 кл.: *рубики 19, квадратики 5, домик 3, квадратик 2, шарики 2, колесики 1, ромбик 1, ромбики 1, шарик 1* (35 реакций, 77,8% от 45 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье);

7–8 кл.: *рубики 38, квадратики 4, домик 3, квадратик 2, шарики 2, квадратики цветные 1, мячик 1, ромбики 1, шарик 1* (52 реакции, 89,6% от 58 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье);

9–11 кл.: *рубики 49, квадратики 8, шарики 4, ромбики 3, домик 2, кирпичики 1, мультики 1, мячик 1, мячики 1, пакетики 1, садик 1* (72 реакции, 93,5% от 77 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье).

– Реакции на стимул матушка:

1–4 кл.: *бабушка 19, дядюшка 1, лапушка 1* (21 реакция, 70% от 30 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье);

5–6 кл.: *бабушка 4, батюшка 2, девушки 1* (7 реакций, 58,3% от 12 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье);

7–8 кл.: *бабушка 3, батюшка 3, дедушка 2* (8 реакций, 88,9% от 9 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье);

9–11 кл.: *батюшка 5, бабушка 2, дедушка 1* (8 реакций, 47% от 17 R по линии словообразующего средства в ассоциативной статье).

Активизация стратегии реагирования по линии словообразовательного значения слова-стимула (семантическая стратегия) наблюдается в случаях непродуктивности словообразовательной модели слова-стимула, а также во всех «чистых» разновидностях словообразовательной семантики стимула. Ср. в РАСШ:

– Реакции на стимул бандит (в ассоциативной статье стимула во всех возрастных группах респондентов 100% реакций, относящихся к группе ассоциаций по линии словообразующего средства, являются семантически ориентированными, откликающимися на значение словообразующего форманта):

1–4 кл.: *убийца 15, преступник 4, разбойник 2, мошенник 1*.

5–6 кл.: *убийца 18, грабитель 11, преступник 7, мошенник 3, разбойник 3, наемник 1, террорист 1, убийцы 1, человек-разбойник 1*.

7–8 кл.: *убийца 17, преступник 6, разбойник 5, грабитель 3, мошенник 1, насильник 1*.

9–11 кл.: убийца 8, преступник 6, грабитель 4, разбойник 4, драчун 1, мошенник 1, наемник 1, рецидивист 1.

– Реакции на стимул *войн* (во всех возрастных группах респондентов 100% семантически ориентированных деривационных реакций):

1–4 кл.: боец 7, защитник 2, охотник 2.

5–6 кл.: защитник 11, боец 3, борец 1, разбойник 1.

7–8 кл.: защитник 9, боец 8, защитник родины 1, пахарь 1, победитель 1.

9–11 кл.: защитник 9, боец 5, стрелок 2, крестоносец 1, спаситель 1, убийца 1.

– Реакции на стимул *дружба* (в возрастных группах 1–4 кл., 5–6 кл., 7–8 кл. 100% семантически ориентированных деривационных реакций):

1–4 кл.: игра 7, ссора 5, любовь 3, разлука 3, помочь 2.

5–6 кл.: любовь 15, ссора 7, разлука 2, игра 1, лад 1, отношение 1, победа 1.

7–8 кл.: любовь 7, доверие 3, игра 1, общение 1, помочь 1.

9–11 кл.: любовь 11, понимание 2, взаимоотношения 1, взаимопомощь 1, доверие 1, отношение 1, совмещение 1, согласие 1, уважение 1 (90,9% семантически ориентированных деривационных реакций¹).

В случаях реализации семантической стратегии деривационного ассоциирования (т.е. реагирования по линии словообразовательного значения слова-стимула), конечно же, проявляются и тематические связи слова-стимула, однако очевидно, что деривационная семантика слова-стимула тоже осознается респондентами – все примеры, иллюстрирующие семантико-деривационную ассоциативную стратегию, повторяют общекатегориальное словообразовательное значение слова-стимула, принадлежат той же семантико-словообразовательной категории (см. выше), что и слово-стимул.

По всей видимости, вербальные ассоциации, эксплицирующие словообразовательную семантику слова-стимула, находятся на пересечении ассоциирования собственно тематического и собственно деривационного (последнее опирается на конкретную структурно-семантическую схему строения производного слова-стимула).

III. Взаимодействие деривационных и тематических связей слов в ассоциативно-верbalных реакциях.

Тесное взаимодействие деривационных и тематических связей слов в АВС говорящих особенно наглядно выявляется на материале группы слов, включающей производные слова, которые объединены двумя типами связей – общностью словообразовательного типа / словообразовательной категории и общностью референциального значения (находящиеся в отношениях лексической синонимии): учитель, учительница, преподаватель, преподавательница, наставник, наставница. Анализ данной группы слов проводился на материале электронной версии РАС с учетом не только

¹ В группе реакций по линии словообразующего средства в данной возрастной группе респондентов имеется одна структурно ориентированная реакция – служба 1.

прямых, но и обратных ассоциативных связей, т.е. во внимание принимались не только те ассоциативные поля, в которых названные производные слова выступают в качестве стимулов, но также и те, в которых эти слова являются реакциями на другие стимулы (прежде всего однокоренные со словами анализируемой группы слов).

Исследование показало, что в процессах восприятия изучаемых имен лиц задействованы как их формально-семантические связи с производящими словами, так и связи ономасиологические, понятийные.

Формально-семантические мотивации по линии корня/основы, а также по линии общности словообразовательного средства фиксируются в ассоциативных парах *S ученик – R учитель 8, учителя 1; S соученик – R учитель 5, учителя 1, учителя моего 1; S учить – R учитель 4, учителя 1; S учитель – R мучитель 3, преподаватель 2, ученик 2; S учительница – R учитель 7, наставница 1; S научить – учитель 2; S учащийся – учитель 1; S учительская – учитель 2; S наставник – R наставляет 1; S преподаватель – R учитель 8, мучитель 1, слушатель 1; S руководитель – R учитель 1*. Безусловно, и в этом ряду ассоциаций, объединенных морфемной общностью (общностью корня или словообразовательного аффикса), очевидны также и связи ситуативно-тематические (учитель – ученик, учащийся, учительская; преподаватель – слушатель). Однако еще более отчетливы тематические связи в ассоциатах, не имеющих формальной общности.

Взаимодействие семантико-деривационной стратегии ассоциирования (по линии категориального словообразовательного значения) и понятийно-тематических мотивов вербальных ассоциаций проявляется в ассоциативных связях типа *S учитель – R наставник 1; S преподаватель – R наставник 1; S наставник – учитель 35, преподаватель 1; S учительница – R преподаватель 8, наставник 2*. В подобных случаях ассоциативной связью скреплены производные слова с тождественной ономасиологической структурой, т.е. включенные в один понятийный класс как по линии ономасиологического базиса (отнесенность к категории «деятель» выражена суффиксально), так и по линии ономасиологического признака (выраженного производящей основой), характеризующего род деятельности. При этом общность референции рассматриваемых имен лиц (отношения лексической синонимии) обуславливает нейтрализацию различий (дифференциальных компонентов) в зоне ономасиологического признака, что приводит к вариативности его лексических заполнителей. В процессе ассоциирования роль признаковых, мотивационных единиц для каждого из анализируемых имен лиц с равной вероятностью могут выполнять глаголы *учить, преподавать, наставлять*. Ср.: *S учить – R преподаватель 2; S преподаватель – R учить 1, учит 1; S обучение – преподаватель 2; S преподавать – R учительница 1*.

Нейтрализация, укрупнение дифференциальных семантических признаков охватывает и ономасиологический базис, нивелируя различия между отдельными частными подкатегориями семантико-словообразовательной категории, ср., например, нейтрализацию семантики феминности (в каче-

стве дифференциального признака в составе категории агенса) в ассоциациях на *S учительница – R преподаватель, наставник*. Редукция семантики феминности в ассоциативных связях феминативов отражает также производный характер данного семантического компонента, его когнитивно-коммуникативную вторичность, факультативность по отношению к семантике маскулинности.

Пересечение разнокорневых производных на основе их тематической общности отражают также такие ассоциаты, как *S учительская – R преподаватель I; S соученик – R преподавателя I*.

Сила формально-семантических и понятийно-тематических связей неодинакова в сознании носителей русского языка для каждого из анализируемых имен лиц. Как показывают приведенные выше примеры, наиболее значимы формально-семантические словообразовательные связи для имени *учитель*, слабее связи этого типа у слов *учительница, преподаватель*, слабо выражены они у существительных *наставник* и *наставница* и вовсе не представлены в ассоциативных связях слова *преподавательница* (этот феминатив отмечен лишь в ассоциативной паре *S грамотная – R преподавательница I*). Ранжирование обсуждаемых имен лиц на шкале формально-семантических / ономасиологических вербальных ассоциаций еще раз подтверждает высказанное положение о зависимости деривационной стратегии осознания слова (ее проявленности и характера) от объема его языкового словообразовательного гнезда и речевой употребительности.

IV. Окказиональное ассоциирование, реализующее деривационную стратегию осознания слова-стимула.

Все проанализированные нами виды деривационных связей производных слов в вербальных ассоциациях находят подтверждение в разных случаях окказионального ассоциирования. К окказиональным ассоциациям мы относим, во-первых, случаи реагирования квазисловами (они приведены со знаком *), появление которых спровоцировано концентрацией фокуса внимания респондентов на компонентах структуры производного слова-стимула. Во-вторых, в качестве окказиональных нами рассматриваются те узуальные слова-реакции, которые весьма условно, на основе внешнего сходства соотносятся с корневой или формантной частью производного слова-стимула и являются в этом смысле тоже квазикопиями элементов его структуры. В подобных реакциях реализована наивная стратегия воспроизведения словообразовательной структуры стимула, воспринимаемой нередко «лишь по внешнему сходству... но далеко не всегда по морфологическому составу»; такие ассоциации «являются аналогами деривационной структуры стимула» [28. С. 88].

В нашем материале отмечены окказиональные реакции (а) гнездового типа; (б) реакции, копирующие словообразовательную модель слова-стимула или откликающиеся на его морфемную / фонетическую структуру (аналогические); (в) реакции, в которых ассоциирование опирается на значение словообразовательного форманта слова-стимула. Ср. в РАСШ:

- а) Окказиональные реакции гнездового типа:

*S выборы – R *выборы 1, *выбранье 1, *избирательство 1, *переборы 1, *хрыборы 1;*

*S выставка – R *выставление 2, *выстаниваливать 2;*

*S кубики – R *кубечница 1;*

*S передача – R *передачный 1.*

Проявлением окказиональной стратегии ассоциативного реагирования служит также регулярное ассоциирование слова-стимула с единицами других словообразовательных гнезд по принципу корневого созвучия (наличия совпадающих звуковых элементов в корнях ассоциируемых слов) – своего рода квазигнездовое реагирование. Ср.:

S вешалка – R висит 10, виселица 9, весит 6, висеть 5, весить 2, вес 1, весы 1;

S воин – Rвой 2¹;

S впечатление – R печать 5, печь 1, печка 1;

S выборы – R бор 1;

S кубики – R кубинцы 1;

S передача – R удача 1;

S предложение – R предлог 31;

S простота – R простить 2, простор 2, просторно 2, просторная 1, простуда 1, простишь 1, простины 1;

S старец – R стоять 3, стая 2, стол 2, таять 2, стал 1.

Явление контаминации, «пересечения» в одной и той же ассоциативной статье компонентов разных, но близких гнезд, отмечено Ю.Н. Караполовым как свидетельство смешения в наивном языковом сознании среднего носителя «синхронических законов словообразования и диахронических связей между разными корнями и основами» [22. С. 158]. Добавим к этим наблюдениям, что контаминация единиц разных словообразовательных гнезд, как показывают приведенные примеры, имеет нередко и сугубо формальную основу, базируясь на звуковом сходстве разных, этимологически не связанных корней-основ.

б) Одномодельные окказиональные реакции:

*S выставка – R *выпалка 1, *выступка 1, *выноска 1;*

*S голосование – R *орание 1;*

*S матушка – R *папушка 5;*

*S молчание – R *чтение 1;*

*S простота – R *легкота 6, *сложнота 2, *скромнота 1, *труднота 1, *умнота 1.*

Вариантом стратегии одномодельного реагирования является аналогичное ассоциирование, которое обнаруживается в реакциях, не строго повторяющих структурно-семантическую модель слова-стимула, а лишь отдельные элементы его морфемной или фонетической структуры. Ср.:

¹ Данная реакция может быть также интерпретирована как результат декомпозиционной операции в отношении суффиксально-производного слова-стимула, разлагаемого на компоненты *вой-* и *-ин*.

S волшебник – R *изумрудник 1;

S выборы – R выбивание 1, вымыл 1, вышли 1;

S выставка – R выстрел 2, выступаю 2, поделка 2, выбирайте 1, выбирают 1, выгуливать 1, выдаёт 1, вынул 1, высок 1, выступать 1, лепка 1, подделка 1;

S кубики – R бублики 2, *друбики 1, мультики 1, ходики 1, ящики 1;

S матушка – R матрёшка 3, старушка 2, катушка 1, подушка 1;

S птенчик – R венчик 1, голубчик 1, *денчик 1, любимчик 1, *набекренчик 1, чепчик 1;

S старец – R младенец 4, горец 3, заяц 2, *государец 1, жрец 1, индеец 1, *марец 1, *марец-барец 1, огурец 1, палец 1, песец, 1 *поставец 1.

в) Окказиональные слова-реакции, ориентированные на значение словообразовательного форманта слова-стимула¹:

S воин – R *сражатель 1;

S волшебник – R *творитель 2, *магист 1;

S впечатление – R *задумье 1, *размышиность 1, *чувствие 1;

S простота – R *бестолковье 1, *доброство 1, *лопушиность 1, *умность 1;

S птенчик – R *пусик 1.

Окказиональные реакции подтверждают психологическую реальность разнонаправленных деривационных связей слов. Они свидетельствуют также о тесном взаимодействии, пересечении деривационных и понятийно-тематических связей. Ср.: матушка – R *папушка; S простота – R *сложнота, *труднота, *умность, *бестолковье, *доброство, *лопушиность; S волшебник – R *изумрудник, *творитель, *магист; S воин – R *сражатель; S впечатление – R *чувствие.

По нашим наблюдениям, соотношение собственно деривационных и понятийно-тематических связей меняется в пользу последних с возрастом говорящих.

Так, с возрастом ослабевает сила мотивационных связей производных слов-стимулов со своими производящими. Чем старше группа информантов, тем менее частотны такие реакции. Типичным является следующее соотношение: R вешать (с учетом лемматизации встречающихся в ассоциативном гнезде словоформ) на S вешалка в группе испытуемых 1–4 кл. встретилась 25 раз; у учащихся 5–6 кл. ее частотность равна 8; в группах респондентов 7–8 кл. – 6 таких реакций; 9–11 кл. – 1 реакция; в РАС (испытуемые – в основном молодежь студенческого возраста) мотивирующий глагол в ассоциативном гнезде стимула не представлен. Ср. также: R ста-

¹ В приведенных в этом пункте примерах ассоциативной связью объединены слова разных структурно-семантических типов (производные разных словообразовательных моделей), связанные лишь общностью значения формантных частей ассоциатов. Вербальные ассоциации, откликающиеся на значение словообразующего форманта слова-стимула, могут служить показательным материалом для выяснения сущности словообразовательного значения, не имеющего общепринятого определения (о трактовках данного феномена см., напр., [30]).

вить на S *выставка*: 1–4 кл. – 5; 5–6 кл. – 1; 7–8 кл. – 1; у учащихся 9–11 кл. и у информантов РАС такая ассоциативная связь отсутствует; R *дать* на S *передача* представлена только в возрастных группах с 1-го по 6-й кл.; R *брать* на S *выборы* и R *бандит* встретились только в вербальных ассоциациях учащихся младшей возрастной группы – 1–4 кл.

Напротив, в положительной корреляции с возрастом информантов находится динамика стратегии семантического реагирования. С возрастом этот тип реагирования приобретает все больший вес. Ср., например, соотношение «структурных» реакций, ориентированных на точное копирование структурно-семантической модели слова-стимула (а), и реакций «семантических», базирующихся на ономасиологической общности, общности категориального значения (б), в ассоциативных полях стимула *сражение* у младшей и старшей возрастных групп школьников:

1–4 кл.: (а) *жжение, расписание, выражение, уменьшение, *пересражение* (всего 7 таких реакций); (б) *война, битва, бой, борьба, драка, победа, убийство, выигрыши, побоище, схватка* (всего 126 реакций этого типа);

9–11 кл.: (а) *вычитание* (1 реакция); (б) *битва, война, бой, борьба, убийство, драка, победа, бойня, схватка, война с немцами, выстрел, гибель, кровопролитие, Ледовое побоище, побои, потери, резня, свалка, спор, удар* (всего 160 реакций).

Возрастной тренд в сторону активизации собственно семантической стратегии в кластере деривационно ориентированного ассоциирования показывают и окказиональные реакции. Если у младших школьников такие окказиональные реакции чаще реализуют структурный тип ассоциирования, то у старших носят семантический характер.

Заключение

Анализ деривационной стратегии реагирования на производные слова-стимулы позволяет сформулировать ряд положений о деривационных связях слов как компоненте языкового сознания говорящих.

1. Деривационные связи слов выступают как существенный, но не основной компонент языкового сознания говорящих. Преобладают связи понятийно-тематического характера. Основным мотивом ассоциативных реакций на стимул является объективация его содержательных (концептуальных) связей, а реакции, опирающиеся на словообразовательную структуру слов, их деривационные отношения, выступают в роли удобного механизма, компактного средства осуществления по преимуществу ономасиологической стратегии восприятия слова.

2. Условиями активизации деривационных связей, композиционного осознания слова являются следующие факторы: прозрачная словообразовательная и морфемная структура, значительный объем соответствующего языкового словообразовательного гнезда, продуктивность словообразовательной модели.

3. Психологическое осознание деривационных связей не полностью соответствует их моделированию на собственно языковом материале; структурно-семантические и психолингвистические модели деривационных отношений находятся в отношениях частичного совпадения.

4. Разные виды деривационных связей единиц языка занимают неодинаковое место в языковом сознании говорящих (различны с точки зрения своей психологической силы) и носят вариативный и динамический характер.

5. Анализ деривационных связей слов в АВС носителей языка показывает, что производимые говорящими словообразовательные акты опираются как на выработанные речевой практикой и закрепленные в языковом узусе регулярные и продуктивные словообразовательные образцы, так и на принцип аналогии, значимость которого в реальных процессах словообразовательной деривации подчеркнута на другом материале, например в [31. С. 72–73; 32. С. 258–263].

6. Изучение деривационных связей слов в АВС носителей языка дает новый репрезентативный материал для развития концепции о роли психологического осознания структурно-семантических компонентов слова в сложении словообразовательных типов (моделей) (см., например, [8. С. 77–78; 29. С. 219]). Обращение к показаниям языкового сознания (в совокупности с данными о текстовых связях производных слов) служит тем инструментом, который дает возможность дополнить структурно-семантическое (системно-языковое) моделирование словообразовательных отношений построением словопроизводственных моделей, участвующих в процессах актуальной речевой деятельности говорящих.

Литература

1. *Русская грамматика* / гл. ред. Н.Ю. Шведова. М. : Наука, 1980. Т. 1. 789 с.
2. *Кронгауз М.А. Семантика*. М. : Академия, 2001. 399 с.
3. *Блинова О.И. Явление мотивации слов: Лексикологический аспект*. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. 192 с.
4. *Мотивационный диалектный словарь: Говоры Среднего Приобья* / под ред. О.И. Блиновой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1982. Т. 1. 267 с.; 1983. Т. 2. 243 с.
5. *Ростова А.Н. Показания языкового сознания носителей диалекта как источник лексикологического исследования* : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1983. 17 с.
6. *Демешкина Т.А. Типы смысловых отношений мотивационно связанных слов (лексикологический аспект)* : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1984. 21 с.
7. *Тубалова И.В. Показания языкового сознания как источник изучения явления мотивации слов* : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1995. 18 с.
8. *Сахарный Л.В. К экспериментальному исследованию осознания значения слова (соотношение лексического значения и словообразовательной структуры)* // Живое слово в русской речи Прикамья. Ученые записки Пермского государственного университета. Вып. 3. 1972. № 268. С. 57–78.
9. *Сахарный Л.В. Словообразование в речевой деятельности (образование и функционирование производного слова в русском языке)* : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1980. 37 с.
10. *Сахарный Л.В. Осознание и объяснение производных слов детьми-дошкольниками* // Живое слово в русской речи Прикамья. Пермь, 1992. С. 4–24.

11. Голев Н.Д. Варьирование деривативных контекстов как способ выявления и изучения потенциала деривационного функционирования слова // Явление вариативности в языке. Кемерово, 1994. С. 83–85.
12. Гусар Е.Г. Роль суппозитивного фактора в деривации означаемого лексической единицы текста (на материале современного русского языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1995. 21 с.
13. Пересыпкина О.Н. Мотивационные ассоциации лексических единиц русского языка (лексикографический и теоретический аспекты) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1998. 25 с.
14. Доронина Н.И. Условия реализации деривационного потенциала слов русского языка (на материале деривационно-ассоциативного эксперимента) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1999. 24 с.
15. Катышев А.П. Полимотивированность деривата как показатель интенсивности русского языкового мышления // Актуальные проблемы современного словообразования. Томск, 2006. С. 67–91.
16. Антипов А.Г. Морфонологические модели русского словообразования (на материале метаязыковой фантазии коммуникантов) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2010. № 2. С. 89–93.
17. Денисова Э.П. Экспериментальное моделирование иконичности словообразовательной формы производного слова (на материале окказиональной деривации) // Кемеровская дериватологическая школа: традиции и новаторство. М., 2011. С. 317–380.
18. Оленёв С.В. Способы словообразования в лингвоперсонологическом измерении (на материале симулятивного психолингвистического эксперимента) // Кемеровская дериватологическая школа: традиции и новаторство. М., 2011. С. 266–280.
19. Голев Н.Д. Динамический аспект лексической мотивации. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1989. 252 с.
20. Очерки по лингвистической детерминологии и дериватологии русского языка / под ред. Н.Д. Голева. Барнаул : Изд-во АлтГУ, 1998. 251 с.
21. Голев Н.Д. Деривационные ассоциации русских слов: теоретический и лексикографический аспекты // Вопросы лексикографии. 2012. № 2. С. 5–25.
22. Караполов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка. 2-е изд. М. : Изд-во ЛКИ, 2010. 328 с.
23. Русский ассоциативный словарь: ассоциативные реакции школьников I–XI классов : в 2 т. / В.Е. Гольдин, А.П. Сдобнова, А.О. Мартынов. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2011.
24. Русский ассоциативный словарь / Ю.Н. Караполов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова. М. : Поморский и партнеры, 1994–1998. Кн. 1–6.
25. Русский ассоциативный словарь. URL: <http://thesaurus.ru/dict/dict.php>
26. Кузнецова Т.В. Лексико-семантический потенциал словообразовательных структур (на материале моделей семантико-словообразовательной категории ‘становление / приобретение признака’) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2004. 23 с.
27. Крючкова О.Ю., Крючкова Н.В. Словообразовательные гнезда производных стимулов-существительных в русских ассоциативных словарях // Язык в пространстве речевых культур: К 80-летию В.Е. Гольдина / отв. ред. О.Ю. Крючкова, Л.П. Крысин. Москва ; Саратов : Амирлит, 2015. С. 251–264.
28. Караполов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М. : ИРИ РАН, 1999. 180 с.
29. Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1994. 229 с.
30. Кадыкалова Э.П. Что такое словообразовательное значение // Лексическая и словообразовательная семантика русского языка. Саратов, 1990. С. 25–35.
31. Кубрякова Е.С. Рецензия на книгу И.С. Улуханова «Мотивация в словообразовательной системе русского языка». М. : Азбуковник, 2005. 314 с. // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66, № 1. С. 71–73.

32. Кадыкарова Э.П. Выход в теорию словообразования: к вопросу о соотношении понятий *словообразовательная производность* и *словообразовательная мотивированность*. Саратов : Буква, 2015. 341 с.

Associative Perception of Derivative Words: Variation and Dynamics Factors

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 88–106. DOI: 10.17223/19986645/66/5

Olga Yu. Kryuchkova, Saratov State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: vpks@rambler.ru

Nadezhda V. Kryuchkova, Maritime State University named after Admiral G.I. Nevelskoy (Vladivostok, Russian Federation). E-mail: kryuchkovany@yandex.ru

Keywords: derivative word, word associations, derivational correlations of words, linguistic consciousness.

The article aims to study the factors influencing the variations and dynamics of derivative relations in the Associative Word Network (AWN); to reveal the linguistic and extralinguistic conditions of activating different types of derivational relations; to analyse the character of interaction between derivational and thematic connections of derivatives in the native speakers' AWN. The research is conducted on the material of derivative nouns with different derivational structures, belonging to different derivative semantic types. The selected units also represent some types of derivative and lexical paradigmatic relations (commonness of derivational type/category, lexical synonymy). The derivational heterogeneity of the selected units allows taking into account a great variety of factors influencing the nature of word association processes. The source of the material is *Russian Associative Dictionary: Associative Reactions of Schoolchildren in Grades 1–11* (2011) and *Russian Associative Dictionary* (1994–1998). The studied units are the headwords of dictionary entries (stimuli in the associative experiments). The authors studied the derivational relations of stimuli words: association through the root stem, through the structure, and through the semantics of the derivative means; they also revealed the correlations between derivational and thematic connections of derivative words in the native speakers' AWN. The authors' main conclusions are: (1) different types of linguistic units' derivational relations occupy different places in speakers' linguistic consciousness and have a variable and dynamic character; (2) the conditions for activating derivational connections and compositional word perception are a transparent derivational and morphemic structure, a considerable size of the corresponding family of words, productivity of a specific derivational pattern; (3) the psychological awareness of derivational connections of words is based on both regular and productive derivational patterns, entrenched in language usage, and on the analogy principle; (4) derivational relations are a significant but not the main component of speakers' linguistic consciousness (the share of associations driven by the morphemic and derivational structure of a stimulus does not exceed 15% of the general number of associations to this specific stimulus); prevailing are the notion- and theme-based connections; (5) the balance between derivational and notion- and theme-based connections is changing in the favour of the latter as the speakers' age grows.

References

1. Shvedova, N.Yu. (ed.) (1980) *Russkaya grammatika* [Russian Grammar]. Vol. 1. Moscow: Nauka.
2. Krongauz, M.A. (2001) *Semantika* [Semantics]. Moscow: Akademiya.
3. Blinova, O.I. (1984) *Yavlenie motivatsii slov: Leksikologicheskiy aspekt* [The Phenomenon of Word Motivation: The Lexicological Aspect]. Tomsk: Tomsk State University.
4. Blinova, O.I. (ed.) (1982–1983) *Motivatsionnyy dialektnyy slovar': Govory Srednego Priob'ya* [Motivational Dialect Dictionary: Dialects of the Middle Ob Region]. Vols 1–2. Tomsk: Tomsk State University.

5. Rostova, A.N. (1983) *Pokazaniya yazykovogo soznaniya nositeley dialekta kak istochnik leksikologicheskogo issledovaniya* [Indications of Linguistic Consciousness of Dialect Speakers as a Source of Lexicological Research]. Abstract of Philology Cand. Diss. Tomsk.
6. Demeshkina, T.A. (1984) *Tipy smyslovых otnosheniy motivatsionno svyazannykh slov (leksikologicheskiy aspekt)* [Types of Semantic Relations of Motivationally Related Words (Lexicological Aspect)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Tomsk.
7. Tubalova, I.V. (1995) *Pokazaniya yazykovogo soznaniya kak istochnik izucheniya yavleniya motivatsii slov* [Indications of Linguistic Consciousness as a Source of Studying the Phenomenon of Word Motivation]. Abstract of Philology Cand. Diss. Tomsk.
8. Sakharnyy, L.V. (1972) K eksperimental'nomu issledovaniyu osoznanija znacheniya slova (sootnoshenie leksicheskogo znacheniya i slovoobrazovatel'noy struktury) [Towards an experimental study of the awareness of the meaning of a word (the ratio of lexical meaning and word-formation structure)]. In: Genkel', M.A. (ed.) *Zhivoe slovo v russkoj rechi Prikam'ya* [Living Word in Russian Speech of the Kama Region]. 3. Perm: [s.n.]. pp. 57–78.
9. Sakharnyy, L.V. (1980) *Slovoobrazovanie v rechevoy deyatel'nosti (obrazovanie i funktsionirovanie proizvodnogo slova v russkom yazyke)* [Word Formation in Speech Activity (Formation and Functioning of a Derivative Word in Russian)]. Abstract of Philology Dr. Diss. Leningrad.
10. Sakharnyy, L.V. (1992) Osoznanie i ob"yasnenie proizvodnykh slov det'mi-doshkol'nikami [Realisation and explanation of derivative words by preschool children]. In: Skitova, F.L. (ed.) *Zhivoe slovo v russkoj rechi Prikam'ya* [Living Word in Russian Speech of the Kama Region]. Perm: Perm State University. pp. 4–24.
11. Golev, N.D. (1994) [Variation of derivative contexts as a way to identify and study the potential of derivational functioning of a word]. *Yavlenie variativnosti v yazyke* [The Phenomenon of Variability in Language]. Proceedings of the All-Russian Conference. Kemerovo. 13–15 December 1994. Kemerovo: Kuzbassvuzdat. pp. 83–85. (In Russian).
12. Gusar, E.G. (1995) *Rol' suppositivnogo faktora v derivatsii označaemogo leksicheskoy edinitsy teksta (na materiale sovremennoj russkoj yazyka)* [The Role of the Suppositional Factor in the Derivation of the Signified Lexical Unit of the Text (Based on the Material of the Modern Russian Language)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Barnaul.
13. Peresypkina, O.N. (1998) *Motivatsionnye assotsiatsii leksicheskikh edinits russkogo yazyka (leksikograficheskiy i teoretycheskiy aspekty)* [Motivational Associations of Lexical Units of the Russian Language (Lexicographic and Theoretical Aspects)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Barnaul.
14. Doronina, N.I. (1999) *Usloviya realizatsii derivatsionnogo potentsiala slov russkogo yazyka (na materiale derivatsionno-assotsiativnogo eksperimenta)* [Conditions for the Realisation of the Derivational Potential of Russian Words (Based on the Derivational-Associative Experiment)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Barnaul.
15. Katyshev, A.P. (2006) [The polymotivation of the derivative as an indicator of the intensity of Russian linguistic thinking]. *Aktual'nye problemy sovremennoj slovoobrazovaniya* [Actual Problems of Modern Word Formation]. Proceedings of the International Conference. Kemerovo. 1–3 July 2005. Tomsk: Tomsk State University. pp. 67–91. (In Russian).
16. Antipov, A.G. (2010) Morphonological models of Russian word-building (on the material of meta-language fantasy of communicants). *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 2. pp. 89–93. (In Russian).
17. Denisova, E.P. (2011) Eksperimental'noe modelirovanie ikonichnosti slovoobrazovatel'noy formy proizvodnogo slova (na materiale okkazional'noy derivatsii) [Experimental modeling of the iconicity of the derivative word derivational form (based on occasional derivation)]. In: Araeva, L.A. et al. *Kemerovskaya derivatologicheskaya shkola:*

- traditsii i novatorstvo* [Kemerovo Derivatological School: Traditions and Innovation]. Moscow: URSS. pp. 317–380.
18. Olenev, S.V. (2011) Sposoby slovoobrazovaniya v lingvopersonologicheskem izmerenii (na materiale simulyativnogo psikhologicheskogo eksperimenta) [Ways of word formation in the linguopersonological dimension (based on the material of a simulative psycholinguistic experiment)]. In: Araeva, L.A. et al. *Kemerovskaya derivatologicheskaya shkola: traditsii i novatorstvo* [Kemerovo Derivatological School: Traditions and Innovation]. Moscow: URSS. pp. 266–280.
 19. Golev, N.D. (1989) *Dinamicheskiy aspekt leksicheskoy motivatsii* [The Dynamic Aspect of Lexical Motivation]. Tomsk: Tomsk State University.
 20. Golev, N.D. (ed.) (1998) *Ocherki po lingvisticheskoy determinologii i derivatologii russkogo yazyka* [Essays on Linguistic Determinology and Derivatology of the Russian Language]. Barnaul: Altai State University.
 21. Golev, N.D. (2012) Derivational associations of Russian words: theoretical and lexicographical aspects. *Voprosy leksikografii – Russian Journal of Lexicography*. 2. pp. 5–25. (In Russian).
 22. Karaulov, Yu.N. (2010) *Assotsiativnaya grammatika russkogo yazyka* [Associative Grammar of the Russian Language]. 2nd ed. Moscow: Izd-vo LKI.
 23. Gol'din, V.E., Sdobnova, A.P. & Mart'yanov, A.O. (2011) *Russkiy assotsiativnyy slovar': assotsiativnye reaktsii shkol'nikov I–XI klassov* [Russian Associative Dictionary: Associative Reactions of Schoolchildren in Grades 1–11]. Saratov: Saratov State University.
 24. Karaulov, Yu.N. et al. (1994–1998) *Russkiy assotsiativnyy slovar'* [Russian Associative Dictionary]. Vols 1–6. Moscow: Pomovskiy i partner.
 25. Tesaurus.ru. (n.d.) *Russkiy assotsiativnyy slovar'* [Russian Associative Dictionary]. [Online] Available from: <http://tesaurus.ru/dict/dict.php>.
 26. Kuznetsova, T.V. (2004) Leksiko-semanticheskiy potentsial slovoobrazovatel'nykh struktur (na materiale modeley semantiko-slovoobrazovatel'noy kategorii ‘stanovlenie / priobretenie priznaka’ [The Lexico-Semantic Potential of Word-Formation Structures (On the Material of Models of the Semantic-Word-Formation Category ‘Formation/Acquisition of a Feature’]. Abstract of Philology Cand. Diss. Saratov.
 27. Kryuchkova, O.Yu. & Kryuchkova, N.V. (2015) Slovoobrazovatel'nye gnezda proizvodnykh stimulov-sushchestvitel'nykh v russkikh assotsiativnykh slovaryakh [Word families of derivative stimuli-nouns in Russian associative dictionaries]. In: Kryuchkova, O.Yu. & Krysin, L.P. (eds) *Yazyk v prostranstve rechevykh kul'tur: K 80-letiyu V.E. Gol'dina* [Language in the Space of Speech Cultures: To the 80th Anniversary of V.E. Goldin]. Moscow; Saratov: Amirit. pp. 251–264.
 28. Karaulov, Yu.N. (1999) *Aktivnaya grammatika i assotsiativno-verbal'naya set'* [Active Grammar and Associative-Verbal Network]. Moscow: V.V. Vinogradov Russian Language Institute RAS.
 29. Norman, B.Yu. (1994) *Grammatika govoryashchego* [Speaker Grammar]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University.
 30. Kad'kalova, E.P. (1990) Chto takoe slovoobrazovatel'noe znenie [What is word-formation meaning]. In: Cherepanov, M.V. (ed.) *Leksicheskaya i slovoobrazovatel'naya semantika russkogo yazyka* [Lexical and Word-Formation Semantics of the Russian Language]. Saratov: Saratov State Pedagogical Institute named after K.A. Fedin. pp. 25–35.
 31. Kubryakova, E.S. (2007) I.S. Ulukhanov. Motivation in the Word-formation System of the Russian Language. Moscow: Azbukovnik, 2005. 314 pp. *Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka*. 1 (66). pp. 71–73. (In Russian).
 32. Kad'kalova, E.P. (2015) *Vykhod v teoriyu slovoobrazovaniya: k voprosu o sootnoshenii ponyatiy slovoobrazovatel'naya proizvodnost' i slovoobrazovatel'naya motivirovannost'* [A Way to the Theory of Word Formation: On the Relationship between the Concepts of Word-Formation Derivation and Word-Formation Motivation]. Saratov: Bukva.

УДК 811.161.1. 81'42 – Русский язык
DOI: 10.17223/19986645/66/6

Н.А. Мишанкина, О.А. Черныш

**ЛЕКСИКА ДЕЛОВОГО ПРОТОКОЛА В АСПЕКТЕ
«ПРЕРЫВНОСТИ» ДИСКУРСИВНЫХ ФОРМАЦИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОТОКОЛОВ 1917–1933 гг.)**

Представлены результаты исследования лексической организации текстов деловых протоколов двух периодов: 1917 и 1918–1933 гг. в аспекте «прерывности» дискурсивных формаций. Посредством применения контент-анализа выявлены трансформации лексической организации протокола, обусловленные изменением социальной реальности. Определены параметры трансформации, отражающие появление новых деятелей, изменение дискурсивных практик, установление нового социального и политического порядка.

Ключевые слова: документный дискурс, протокол, контент-анализ, лексическая организация, дискурсивное единство, дискурсивная формация.

Постановка проблемы исследования

Природа любого дискурса, с точки зрения Мишеля Фуко, динамична в силу того, что он представляет собой поле рассеянных дискурсивных событий, соответствующих некоторому числу высказываний. Дискурс одновременно представляет собой дискурсивное единство и некоторое множество дискурсивных формаций, границы между которыми Фуко предлагает определять на основе понятия «прерывности». Целостность дискурсивной формации определяется как системой событий, так и материальной близостью высказываний, имманентных этой формации. Фуко пишет, что речь идет о дискурсивной формации, «...когда для некоторого числа высказываний мы могли бы описать подобную систему рассеивания, в том случае, когда между объектами, типами высказываний, понятиями и тематическими выборами мы могли бы определить закономерность (regularité) (порядок, корреляции, позиции и действия, преобразования)...» [1. С. 93]. Но дискурсивная формация «...не образует завершающего уровня дискурсов, если под этим выражением понимать тексты (или устную речь) в том виде, в каком они воплощаются в своей лексике, синтаксисе, логических структурах или в своей риторической организации» [Там же. С. 156]. Таким образом, стабильность дискурса определяется в указанной работе одновременно как постоянство функции высказываний, изменение же собственно языкового его воплощения свидетельствует о принадлежности к другой дискурсивной формации [Там же. С. 226]. Эта идея реализована как исследовательский проект П. Серио, посвященный анализу советского политического дискурса [2] и в целом в работах учёных французской школы анализа дискурса [3].

Исследование русского документного текста в этом аспекте открывает новые возможности, так как, с одной стороны, этот тип дискурса тяготеет к стабильности и унифицированности вследствие функциональной специфики, связанной с оформлением процессов регулирования социальной жизни [4–5]. Тенденция к унификации делового документа на русском языке возникает практически с его появлением, а уже в начале XIX в. было принято «Общее учреждение министерств», закрепившее унификацию деловых бумаг. В XX в. процесс усиливается: уже в 20-е гг. начинают формировать стандарты оформления деловых документов, используемые по сей день [6]. Исследования в области документного текста (Е.Б. Богатова, Т.М. Веселовская, И.С. Вольская, Т.А. Дюженко, В. Губаева, Е.М. Иссерлин, М.Н. Кожина, М.В. Косова, С.П. Кушнерук, Л.Г. Кыркунова, И.Р. Подзолкова О.П. Сологуб и др.) показывают, что современный документный текст обладает такими базовыми свойствами, как: 1) унифицированность; 2) фактографичность; 3) объективность и нейтральность [Там же].

С другой стороны, в литературе отмечаются тенденции, идущие вразрез с описанными свойствами [7–12], которые могут быть проинтерпретированы в аспекте дискурсивных формаций. Несмотря на активную работу документоведов (М.П. Илюшенко, Н.С. Ларьков, Е.А. Плешкевич, Г.Н. Швейцова-Водка и др.), до сих пор не принята единая непротиворечивая научная классификация видов и разновидностей документов, что свидетельствует, по нашему мнению, о динамичности и неоднозначности этого дискурсивного единства. Е.Б. Богатова указывает на ряд проблем, препятствующих полноценному исследованию сферы документного текста [7. С. 43]. В силу большого разнообразия форм социального взаимодействия в рамках этого функционального единства дискурсивные формации могут быть выделены по функциональному, локальному или хронологическому принципу.

Коммуникативно-прагматический и дискурсивный подход актуализирует потенциал документного текста в указанном аспекте, позволяет по-новому отрефлексировать отражение в них социальных, культурных, исторических процессов (С.В. Ахметова, Л.П. Батырева, Л.О. Бутакова, Е.Н. Гуц, А.С. Давыдова, Е.З. Киреева, Н.А. Мишанкина, А.А. Моисеенко, Н.В. Орлова, Т.П. Рогожникова, М.В. Ромашко, А.О. Стеблецова, В.К. Харченко, Т.В. Чернышова, О.А. Черныш, Т.А. Ширяева). В частности, в ряде работ рассматривается трансформация языкового воплощения документов с точки зрения коммуникативных процессов, протекающих в этой области. И здесь могут быть названы работы Н.А. Мишанкиной, Ж.А. Рожневой [13], В.К. Харченко [9], Л.П. Батыревой [10], О.П. Сологуб [7], Т.П. Рогожниковой [12], Н.В. Орловой [14–16], О.А. Черныш [17], О.А. Черныш, Н.А. Мишанкиной [18].

Особый интерес в этой связи представляют документные тексты, создающиеся в переломные исторические периоды. В статьях В.К. Харченко и Л.П. Батыревой отражена языковая специфика документов начала XX в., проявляющаяся в неоднородности стилистических ресурсов: «...смешение старого и нового, привычного, своего и чужого, чуждого» [10. С. 55] , что

отражает смену социальных отношений. В работах Н.В. Орловой [14–16] представлен взгляд на языковые особенности документов сферы образования (приказов) двух периодов (70–80-е гг. XX в. и 2010–2012 гг.); автор констатирует изменение речевой организации как показатель смены мировоззренческих установок, свидетельствующих о трансформации дискурсивной картины мира. Работы [17–18], посвященные исследованию протоколов собраний общественных организаций Томской губернии, также показывают эту дискурсивную прерывность в аспекте языковой организации.

Однако этот аспект по-прежнему остается малоисследованным. Документный текст и документный дискурс не столь часто попадают в фокус исследовательского внимания. Вместе с тем изменения, происходящие в социально-политической системе общества в 1917–1933 гг., не могли не оставить следа в документном дискурсе. Исследуемый период в истории России является эпохой глобальных изменений в жизни общества, так как за относительно краткий промежуток времени происходит большое количество исторически значимых событий: Февральская и Октябрьская революции, Первая мировая и Гражданская война, Новая экономическая политика, коллективизация и индустриализация. Русское общество коренным образом изменилось под их влиянием, изменилась не только социальная организация, но и мировоззрение, и язык. Об этом свидетельствуют исследования публицистических и художественных текстов этого периода, отражающие социальные изменения в лексическом пласте русского языка [19–24]. Полагаем, что изложенное выше убедительно показывает необходимость изучения документного дискурса в аспекте «прерывности» лексической организации, отражающей динамику социальной реальности.

Цель настоящей работы – выявить количественные характеристики лексической организации текстов протокола в аспекте «прерывности» дискурсивного единства, обусловленной сменой социальной реальности в период 1917–1933 гг.

Именно поэтому особый интерес представляют тексты протоколов собраний общественных организаций, фиксирующих новый социальный порядок в периоды социально-политических изменений. Протокол, как тип документа, специфичен тем, что фиксирует ход социальных и исторических процессов в их реальном воплощении и именно по этой причине является их подтверждением: «Протокол – документ, содержащий последовательную запись хода обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов [25. С. 60].

Методология и методы исследования

В качестве ведущей методологии принимается подход, представленный в работах М. Фуко и исследователей французской школы анализа дискурса. Избранный материал полностью соответствует определению предмета анализа, представленному в рамках данного подхода: «...тексты в полном

смысле этого термина: произведенные в институциональных рамках, которые накладывают сильные ограничения на акты высказывания; наделенные исторической, социальной, интеллектуальной направленностью» [3. С. 27]. Это два корпуса документов: 1) протоколы заседаний 1-й сессии Томского губернского народного собрания, созданные в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г., объемом 25 документов, 91 686 словоупотреблений, 350 страниц (Корпус 1917) [26]; 2) протоколы заседаний различных учреждений Томска (губисполком, Совет рабочих и солдатских депутатов, губревком и под.) за период с 1918 по 1933 г., объемом 126 документов, 41 630 словоупотреблений, 137 страниц (Корпус 1918–33) [27]. Неравномерность корпусов в аспекте объема и количества документов обусловлена недоступностью текстов разных периодов, так как далеко не все они были опубликованы. Однако разные объемы корпусов компенсируются использованием при анализе показателя относительной частотности, учитывающего процентное соотношение частотности анализируемых категорий и общего количества словоформ. В качестве основного метода использовался автоматизированный контент-анализ, позволивший выявить количественные параметры лексической организации анализируемых массивов документов. Этот метод показал свою эффективность при анализе определенных параметров текстовых массивов [2–3, 18, 28–32].

В ходе анализа была применена следующая процедура. На первом этапе оба массива документных текстов были переведены в электронный текст формата txt и обработаны программой количественного анализа Content Pro (программа распространяется свободно в сети Интернет) [33], были получены значения частотности для каждой лексемы. Полученные данные были доработаны: результаты, в случае неудовлетворительного грамматического / орфографического оформления, скорректированы. В итоге были сформированы частотные профили лексических единиц для каждого массива, что позволило оценить динамику лексической организации документов исследуемых периодов. Итоговые данные проинтерпретированы, осуществлен сопоставительный анализ результатов.

Результаты анализа

Как уже говорилось выше, результаты автоматизированной обработки текста были скорректированы в семантическом аспекте, на основе семантических категорий были сформированы группы лексических презентантов. Ранее, в работе [18], было установлено, что для документного дискурса значимым является такое свойство, как фактографичность – включение в текст единиц рефератного характера, позволяющих установить факт события. В этой связи лексемы были объединены в категории фактографического характера: «Персоналии», «Топонимы», «Год», «Дата» (названия дней, месяцев), «Национальность» для определения степени «документальности» исследуемых корпусов. Результаты отражены на рис. 1.

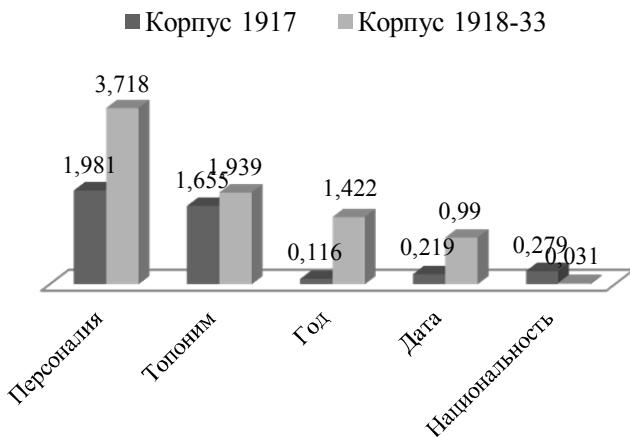


Рис. 1. Фактографическая лексика в исследуемых корпусах

Единицы именно этих категорий оказались наиболее частотными в оба исследуемых периода. Однако можно убедиться, что уже на этом этапе проявляются различия в лексической организации текстов разных периодов: степень фактографичности второго корпуса значительно выше по всем категориям, кроме категории «Национальность». Обращение к единицам, сгруппированным в категории, показывает значительные содержательные различия. Рассмотрим категорию «Персоналии», представленную в табл. 1.

Таблица 1
Персоналии

Корпус 1917 г.		Корпус 1918–1933 гг.	
Персоналия	Частота, %	Персоналия	Частота, %
Наумов	0,22	Колчак	0,15
Ган	0,19	Беленец	0,12
Шишкин	0,10	Кузоватов	0,12
Сизиков	0,07	Орлов	0,06
Шастин	0,05	Некрасов	0,05
Сосновский	0,04	Раузин	0,03
Шатилов	0,04	Лыткин	0,02
Монюшко	0,04	Ленин	0,02
Бархатов	0,03	Бухарин	0,01

Как можно убедиться, состав антропонимов абсолютно различен, что вполне может быть объяснено сменой социально-политического строя и появлением новых политических и общественных лидеров. В текстах Корпуса 1917 упоминаются номинации непосредственных участников собрания: председателя и докладчиков. Спектр номинаций Корпуса 1918–1933 значительно шире, он включает имена государственных общественных

деятелей (выделены курсивом) [18]. Однако для обоих корпусов оказывается одинаковой ситуация гендерного дисбаланса: в них практически отсутствуют антропонимы-фамилии, называющие женщин.

Анализ категории «Топонимы», с одной стороны, также свидетельствует о единстве – подтверждает региональный характер топосов, отражаемых в исследуемых массивах, фиксирует как наиболее значимый из них *Томск*, губернский, а позже областной, город. С другой стороны, сравнительный анализ номинаций показывает различия: в Корпусе 1917 гораздо чаще упоминаются топонимы, связанные с Алтаем и близкими к нему территориями, а также единицы, номинирующие территории современного Казахстана. Полагаем, что это связано с широко обсуждаемым в этот период вопросом об изменении границ Томской губернии, куда эти территории входили до 1917 г. Таким образом, «география» документов Корпуса 1917 шире, чем в более поздних. В табл. 2 представлены наиболее часто встречающиеся в массивах документов топонимы.

Таблица 2
Топонимы

Корпус 1917 г.		Корпус 1918–1933 гг.	
Населенный пункт	Частота, %	Населенный пункт	Частота, %
Томск	0,38	Томск	0,59
Алтай	0,09	Новониколаевск	0,12
<i>Сибирь</i>	0,07	Нарым	0,095
<i>Россия</i>	0,07	<i>Сибирь</i>	0,08
Бийск	0,06	Кольвань	0,07
Барнаул	0,04	Анжеро-Судженск	0,06
Змеиногорск	0,04	Варюхино	0,05
Каинск	0,03	Мариинск	0,04
Кузнецк	0,03	Молчаново	0,035
Семипалатинск	0,03	<i>Москва</i>	0,03
<i>Петроград</i>	0,02	Эушта	0,03
Славгородск	0,02	<i>Россия</i>	0,025
Бухтарминский	0,01	Жуково	0,02
<i>Вологда</i>	0,01	Заварзино	0,02
<i>Европа</i>	0,01	Кривошеинко	0,02
Мариинск	0,01	<i>Ленинград</i>	0,02
Михайловка	0,01	Тайга	0,02
Нарым	0,01	Алтай	0,015

Категория «Национальность» включает номинации по соответствующему признаку, функционирующие в корпусах. При этом весьма частотной является лексема, номинирующая не конкретную национальную принадлежность, а любую «нерусскую» – *инородец*. Эту единицу мы также включили в подсчет, так как она маркирует дифференацию по национальному признаку. Результаты количественной обработки представлены на рис. 2.

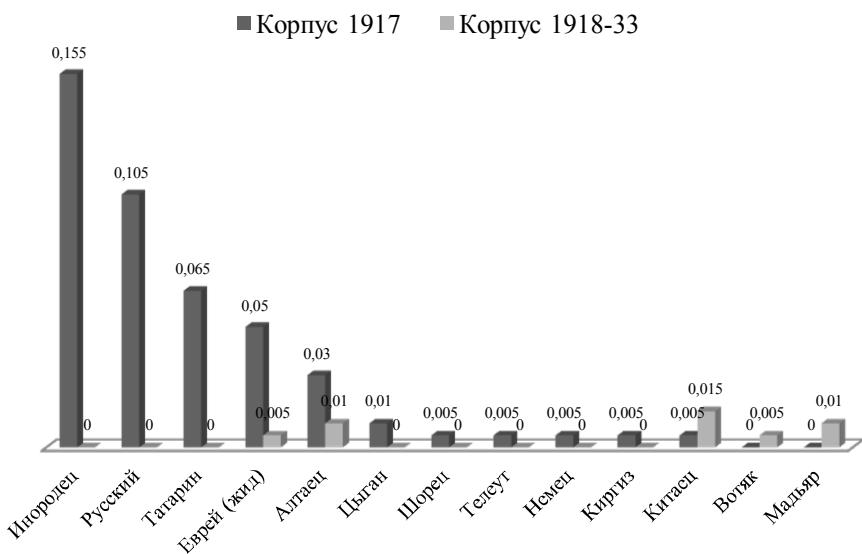


Рис. 2. Национальность

Протоколы Корпуса 1917 более последовательно и разнообразно отражают исследуемую категорию. При этом наиболее частотной является единица «инородец», о которой было сказано выше. В Корпусе 1918–1933 единично упоминаются только 5 национальностей из 12: *еврей*, *алтайц*, *китаец*, *вотяк* и *мадьяр*, лексема *инородец* не упомянута совсем. Полагаем, что подобное распределение напрямую связано с попыткой решения вопроса о национальном самоопределении народов Сибири, проживающих на территории Томской губернии в 1917 г. Напомним, что в этот период, период распада Российской империи, чрезвычайно актуальны и остры областнические тенденции, стоит вопрос о придании Сибири статуса автономии. После Октябрьской революции эта тенденция идет на спад, так как одной из задач становится сохранение целостности государства, а также социальное переустройство в аспекте классовой дифференциации общества. Под влиянием идей интернационализации национальные вопросы уходят на периферию общественных обсуждений.

Рассмотренные нами категории, с одной стороны, позволяют сделать вывод о фактографичности текстов исследуемых корпусов: информация носит реалистичный характер, связана с событиями, происходящими с реальными людьми (общественные деятели Томска), на определенной территории (Томская губерния и Томск), что свидетельствует о них как о единстве. С другой стороны, обращение к единицам, входящим в состав категорий, показывает варьирование, свидетельствующее о трансформации отображаемой действительности.

Второй аспект, объединяющий оба массива, – дискурсивная организация, репрезентантами которой выступают в тексте лексические единицы,

номинирующие: тип коммуникативной ситуации, типовых участников коммуникации, тип документа, типичные коммуникативные действия. Количественный анализ лексики протоколов за исследуемые периоды позволил выявить следующее распределение, представленное на рис. 3, 4.

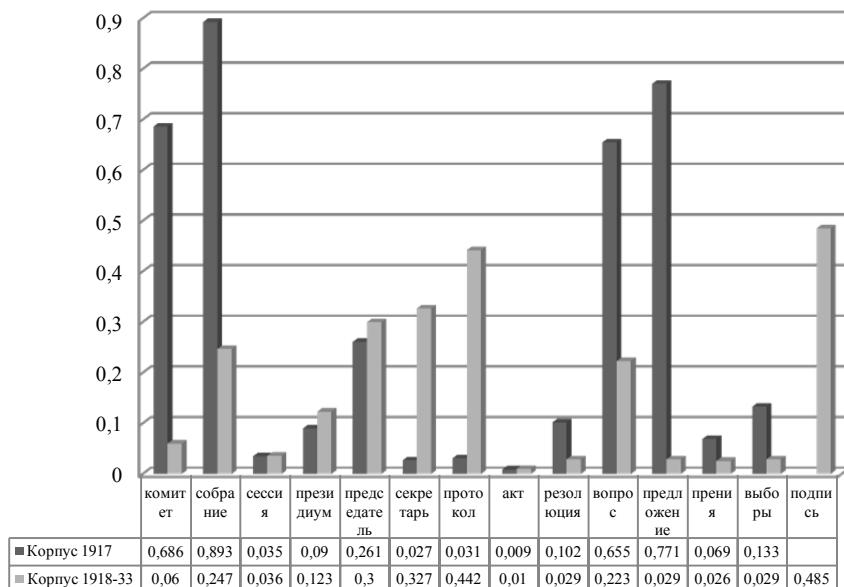


Рис. 3. Тип коммуникативной ситуации и ее компоненты

На рис. 3 представлены данные об объектах дискурса, формах их организации и взаимодействия. Их частотность различается в исследуемых корпусах. Маркеры форм организации (*комитет, собрание*) и типичных компонентов коммуникативной ситуации (*выборы, вопрос, предложение, прения, резолюция*) намного чаще встречаются в Корпусе 1917. С другой стороны, в Корпусе 1918–1933 чаще маркированы типовые участники дискурса (*президиум, председатель, секретарь*), жанр документа (*протокол*) и формальные компоненты (*подпись*).

Количественный анализ типичных коммуникативных действий (рис. 4) также показывает их различие в исследуемых корпусах документов. В данном случае речь идет об унификации: частотность маркеров типовых коммуникативных действий в Корпусе 1917 более равномерно распределена, исключение составляет только лексема *принять*. В Корпусе 1918–1933 более последовательно используются три глагола (*постановить, слушать и принять*), определяющие жанр протокола и на современном этапе. Полагаем, что частотность в Корпусе 1917 г. глаголов, отражающих коммуникативные процессы, связанные с ходом принятия решения (*выработать, обсуждать, полагать, применять, принять, решить, согласовать, ука-*

зать), обусловлена большей детализированностью этого документа: протокол этого периода более точно, как стенограмма, воспроизводит все дискуссионные моменты. Протокол 1918–1933 гг. документирует принятое решение, а не процесс достижения консенсуса. Таким образом, на этом уровне также можно наблюдать, с одной стороны, единство дискурса, с другой – различие его формаций, связанное с различием практик оформления документа в разные периоды, которые обусловлены, предполагаем, сменой дискурсивных правил.

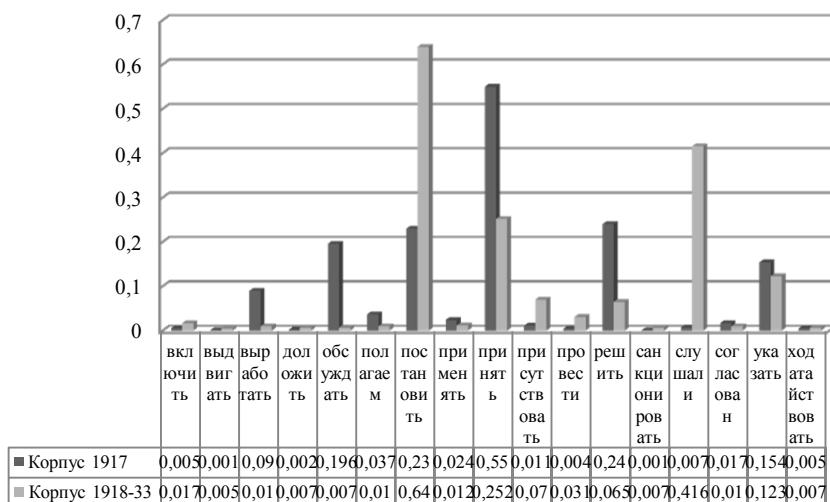


Рис. 4. Типичные коммуникативные действия

Количественный анализ знаменательной лексики также демонстрирует прерывность дискурсивных формаций. В табл. 3 представлены единицы исследуемых корпусов с частотностью не ниже 0,02%.

Несмотря на некоторую общность лексического состава исследуемых корпусов, наиболее частотные единицы различны и в целом отражают проблематику исторических периодов. Самая часто употребляемая лексема в Корпусе 1917 связана с организацией управления Томской губернией: участники Томского народного собрания учреждают различные комиссии, которые должны решать насущные вопросы, касающиеся распределения земель, заготовки хлеба, статуса религиозных организаций, распределения продовольственных запасов и организации торговли, а также вопросы образования.

В Корпусе 1918–1933 наиболее частотна лексема *товариц*, отражающая новый тип социальных отношений, а также новые социальные маркеры (*кулак*, *средняк*, *служащий*). Вместе с тем актуальными остаются и вопросы хлебной разверстки, статуса крестьянина и т.п. (подробнее см. [18]). Интересным представляется распределение наиболее частотных глаголов (выделены курсивом). В обоих корпусах их равное количество – 4, однако

в Корпусе 1917 самым частотным является модальный глагол возможности, затем следует глагол речевой деятельности и владения [34], а в Корпусе 1918–1933 самый частотный – глагол профессиональной и бытовой деятельности, а затем следуют глагол владения, речевой и социальной деятельности [Там же].

Таблица 3
Наиболее частотные лексические единицы в полном массиве документов

№ п/п	Корпус 1917		Корпус 1918–1933	
	Единица	Частота, %	Единица	Частота, %
1	комиссия	0,98	товарищ	0,81
2	губерния	0,84	работать	0,66
3	народ	0,81	кулак	0,44
4	уезд	0,48	иметь	0,36
5	земля	0,44	религия	0,36
6	местный	0,41	советская власть	0,35
7	мочь	0,38	время	0,33
8	хлеб	0,38	хозяйство	0,32
9	должен	0,37	хлеб	0,30
10	представитель	0,36	организация	0,27
11	доклад	0,36	говорить	0,26
12	говорить	0,36	власть	0,25
13	религия	0,32	разверстка	0,25
14	торговать	0,31	член	0,25
15	нужный	0,29	дело	0,25
16	продовольственный	0,29	крестьянин	0,25
17	пункт	0,28	выполнить	0,24
18	волость	0,27	гражданин	0,24
19	дать	0,26	бедняк	0,24
20	дело	0,25	партия	0,24
21	школа	0,24	деревня	0,23
22	иметь	0,23	вопрос	0,22
23	военный	0,23	средняк	0,22
24	население	0,22	волость	0,21
25	необходимость	0,22	служащий	0,21

Более развернутый сопоставительный анализ полного состава лексики исследуемых корпусов позволил выявить тенденции трансформации лексической организации протоколов. Удалось обнаружить, что только очень незначительная доля лексических единиц используется с равной частотой. Их список представлен в табл. 4.

Можно видеть, что действительно частотных единиц с частотой $> 0,02\%$ среди них очень мало. Значительно больше единиц, частотность которых увеличилась или уменьшилось, либо единиц, встречающихся только в одном из корпусов, данные о них приведены далее в соответствующих табл. 5–8.

Таблица 4

Лексическое единство: лексические единицы с равной частотностью

Единица	Корпус 1917, %	Корпус 1918–1933, %
мнение	0,046	0,046
сколько	0,022	0,022
например	0,017	0,017
заняться	0,010	0,010
непосредственно	0,010	0,010
одновременно	0,010	0,010
всесдело	0,007	0,007
кризис	0,007	0,007
наряд	0,007	0,007
необходимый	0,007	0,007
закончить	0,005	0,005
зачем	0,005	0,005
правильный	0,005	0,005
шаг	0,005	0,005

Таблица 5

Лексическое единство: лексические единицы с увеличившейся частотностью

Единица	Корпус 1917, %	Корпус 1918–1933, %
товарищ	0,086	0,810
работать	0,090	0,656
хозяйство	0,082	0,324
организация	0,165	0,269
власть	0,082	0,247
разверстка	0,002	0,247
бедняк	0,031	0,238
деревня	0,115	0,226
гражданин	0,172	0,216
служащий	0,112	0,209
связь	0,033	0,180
отношение	0,059	0,168
рабочий	0,104	0,168
политика	0,035	0,166
мера	0,108	0,161
милиция	0,012	0,156
считаем	0,065	0,156
арест	0,011	0,149
последний	0,062	0,139
работник	0,025	0,139
дом	0,059	0,135
внимание	0,049	0,127
положение	0,007	0,127
скот	0,020	0,125
человек	0,081	0,120
настоящий	0,082	0,118
агитировать	0,003	0,110

Единица	Корпус 1917, %	Корпус 1918–1933, %
имущество	0,022	0,108
уволить	0,023	0,108
<i>уполномоченный</i>	<i>0,009</i>	<i>0,106</i>
срок	0,030	0,101
<i>убить</i>	<i>0,014</i>	<i>0,101</i>
<i>отец</i>	<i>0,007</i>	<i>0,091</i>
знать	0,049	0,086
<i>ликвидация</i>	<i>0,013</i>	<i>0,079</i>
<i>конфискация</i>	<i>0,002</i>	<i>0,077</i>
момент	0,024	0,074
налог	0,035	0,072
ссылка	0,016	0,072
<i>эксплуатация</i>	<i>0,004</i>	<i>0,070</i>
мобилизация	0,016	0,065
приказ	0,026	0,065
семья	0,029	0,065
начальник	0,030	0,060
сбор	0,014	0,060
администрация	0,023	0,058
<i>артель</i>	<i>0,009</i>	<i>0,058</i>
<i>белогвардейский</i>	<i>0,005</i>	<i>0,058</i>
вина	0,021	0,055
допустить	0,021	0,055
материал	0,022	0,055
линия	0,005	0,053
<i>отряд</i>	<i>0,003</i>	<i>0,053</i>
влияние	0,009	0,048
завод	0,021	0,046
результат	0,020	0,043
учитывать	0,002	0,043
<i>штаб</i>	<i>0,003</i>	<i>0,043</i>
злостно	0,003	0,041
<i> обыск</i>	<i>0,002</i>	<i>0,041</i>
<i>профессор</i>	<i>0,009</i>	<i>0,041</i>
матери	0,007	0,038
<i>наблюдать</i>	<i>0,002</i>	<i>0,038</i>
мука	0,009	0,036
<i>домовладелец / домохозяин</i>	<i>0,003</i>	<i>0,034</i>
период	0,005	0,034
сын	0,007	0,034
фунт	0,003	0,034
везде	0,007	0,029
двор	0,007	0,029
делопроизводство	0,005	0,029
<i>развал</i>	<i>0,002</i>	<i>0,029</i>
транспорт	0,008	0,029

В данной таблице отражены единицы, частотность которых увеличилась более чем на 0,05%. Мы дополнительно выделили курсивом лексиче-

ские единицы, частотность которых увеличилась более чем в 5 раз. Можно убедиться, что эта выборка довольно специфична в отражении социальных процессов: практически в 10 раз увеличилась частотность лексемы *товарищ*, *разверстка*, *милиция*, *арест*, *положение*, *агитировать*, *уполномоченный*, *конфискация*, *эксплуатация*, *белогвардейский*, *отряд*, *штаб*, *злостный*, *обыск*, *домовладелец*, *развал*.

В табл. 6 представлены лексемы, частотность которых уменьшилась, и состав их совершенно иной, они отражают иные реалии. В данную таблицу были включены единицы, частотность которых уменьшилась более чем на 0,05%.

Таблица 6
Лексическое единство: лексические единицы с уменьшившейся частотностью

Единица	Корпус 1917, %	Корпус 1918–1933, %
аренда	0,046	0,005
голос	0,047	0,005
доверие	0,031	0,005
нужный	0,292	0,007
обсуждать	0,196	0,007
определить	0,054	0,007
ссуда	0,055	0,007
телеграмма	0,062	0,007
выработать	0,090	0,010
наказать	0,040	0,010
протест	0,029	0,010
сумма	0,047	0,010
учитель	0,073	0,010
правительство	0,189	0,012
фронт	0,028	0,012
здесь	0,088	0,014
промышленность	0,056	0,014
содержание	0,067	0,014
земство	0,055	0,015
большинство	0,084	0,017
желать	0,085	0,017
беспартийный	0,063	0,024
нельзя	0,066	0,024
норма	0,151	0,024
пользоваться	0,089	0,024
предоставлен	0,050	0,024
размер	0,064	0,024
прения	0,069	0,026
реквизировать	0,156	0,026
союз	0,059	0,026
фракция	0,161	0,026
школа	0,241	0,026
назначить	0,066	0,029
обязанность	0,065	0,029

Единица	Корпус 1917, %	Корпус 1918–1933, %
съезд	0,085	0,029
средства	0,103	0,031
выдать	0,150	0,034
свобода	0,154	0,034
представитель	0,361	0,036
закон	0,133	0,041
народ	0,803	0,041
цена	0,209	0,041
управление	0,097	0,043
область	0,102	0,050
раб	0,145	0,050
новый	0,138	0,053
труд	0,155	0,053
местный	0,412	0,058
деньги	0,116	0,062
временный	0,193	0,065
пункт	0,274	0,065
торговать	0,306	0,065
получить	0,216	0,070
семена	0,117	0,082
лицо	0,157	0,093
государство	0,117	0,094
губерния	0,832	0,132
уезд	0,477	0,144
земля	0,433	0,149
военный	0,226	0,151
волость	0,271	0,161
должен	0,371	0,173
дать	0,257	0,185
мочь	0,382	0,190
вопрос	0,655	0,223
говорить	0,354	0,262
хлеб	0,375	0,300

В этой таблице также отмечены лексемы, частотность которых уменьшилась более чем в 5 раз. Более чем в 10 раз реже стали использоваться слова *нужный*, *обсуждать*, *правительство*, *представитель*, *народ*, *губерния*. Некоторые из них отражают исчезнувшие реалии, например вышедшие из употребления номинации территорий (*волость*, *губерния*, *уезд*), но в то же время можно видеть номинации таких явлений, как *свобода*, *закон*, *народ*, *правительство*, *школа*, упоминание которых в текстах протоколов резко сократилось.

В нижеследующих таблицах представлены единицы, специфичные для исследуемых корпусов с частотностью $> 0,025\%$.

Итак, выборка специфичных для Корпуса 1917 единиц показывает выявленную раньше тенденцию в отражении событийной канвы: Томское губернское народное собрание было создано для решения проблем социального регулирования в регионе, так как Временное правительство не вы-

полняло этой функции. Выборка отражает, кроме того, сам процесс коммуникации в рамках этого собрания, процесс обсуждения и принятия решений.

Иную тематику демонстрирует выборка единиц, специфичных для второго корпуса.

Таблица 7
Лексическое различие: лексические единицы Корпуса 1917

№	Единица	Частота
1	исполнить	0,222
2	население	0,220
3	необходимость	0,216
4	оратор	0,215
5	рубль	0,207
6	право	0,202
7	солдат	0,190
8	депутат	0,184
9	следовать	0,168
10	избрать	0,166
11	заявить	0,165
12	поправка	0,145
13	положить	0,140
14	лесной	0,130
15	производить	0,126
16	голосовать	0,120
17	верить	0,112
18	время	0,112
19	образование	0,112
20	часть	0,106
21	помол	0,098
22	высказаться	0,095
23	баллотировать	0,094
24	раздел	0,093
25	проезд	0,090
26	пайка	0,088
27	отделить	0,086
28	проект	0,079
29	имя	0,072
30	думать	0,071
31	признать	0,069
32	границ	0,067
33	жалование	0,067
34	послать	0,067
35	кровь	0,065
36	врач	0,064
37	ведать	0,063
38	переселенец	0,061
39	редакция	0,061
40	участь	0,061

№	Единица	Частота
41	купец	0,060
42	демократия	0,059
43	особая	0,059
44	социализм	0,059
45	воля	0,056
46	промышленность	0,056
47	аплодисменты	0,052
48	учет	0,051
49	вес	0,050
50	заключить	0,050
51	лишение	0,050
52	страда	0,050
53	присоединить	0,049
54	заведывать	0,048
55	огласить	0,048
56	село	0,047
57	инвалид	0,046
58	пенсия	0,046
59	обращаться	0,044
60	пожелание	0,044
61	фельдшер	0,044
62	записать	0,042
63	пополнить	0,042
64	призвать	0,042
65	наделять	0,041
66	приветствие	0,041
67	расход	0,041
68	речь	0,041
69	враг	0,040
70	кредит	0,040
71	финансовая	0,040
72	перерыв	0,039
73	вечера	0,038
74	важный	0,037
75	возражение	0,037
76	ассигнование	0,036
77	общегосударственный	0,036
78	пока	0,036
79	посылка	0,036
80	бесплатно	0,035
81	кабинетский	0,035
82	назвать	0,034
83	пособие	0,034
84	шум	0,034
85	воспитание	0,033
86	платить	0,033
87	селение	0,033
88	выяснен	0,032
89	издать	0,031

№	Единица	Частота
90	медицина	0,031
91	мир	0,031
92	внеочередной	0,030
93	вообще	0,030
94	единогласно	0,030
95	конец	0,030
96	открытие	0,030
97	класс	0,029
98	особенно	0,029
99	инструкция	0,028
100	казенная	0,028
101	устройства	0,028
102	отклонять	0,027
103	погорелец	0,027
104	сирота	0,027
105	больница	0,026
106	вознаграждение	0,026
107	запасать	0,026
108	повинность	0,025
109	полномочие	0,025
110	принцип	0,025
111	ступень	0,025

Таблица 8
Лексическое различие: лексические единицы Корпуса 1918–1933

№	Единица	Частота
1	работа	0,656
2	кулак	0,440
3	Советская власть	0,346
4	время	0,305
5	средняк	0,221
6	выполнить	0,209
7	против	0,185
8	батрак	0,183
9	связь	0,180
10	нуждаться	0,166
11	участие	0,159
12	чистка	0,154
13	арестовать	0,149
14	комиссар	0,147
15	друг	0,139
16	стаж	0,139
17	учеба	0,132
18	лишенец	0,113
19	агитировать	0,110
20	уполномоченный	0,106
21	цель	0,103
22	коммунист	0,096

№	Единица	Частота
23	контрреволюция	0,096
24	выселить	0,094
25	трудовой	0,094
26	исполнительный	0,091
27	относить	0,091
28	антисоветский	0,089
29	инструктор	0,089
30	исключить	0,089
31	выявить	0,084
32	подлинное	0,084
33	конфискация	0,077
34	коллективизация	0,074
35	масло	0,074
36	производство	0,074
37	аппарат	0,072
38	социалист	0,072
39	ссылка	0,072
40	высылка	0,070
41	классовый	0,070
42	красноармеец	0,070
43	ответственность	0,067
44	сторона	0,067
45	актив	0,065
46	брать	0,065
47	восстание	0,065
48	ячейка	0,065
49	выписка	0,062
50	заключение	0,062
51	начальство	0,062
52	некоторые	0,062
53	чуждый	0,062
54	тройка	0,060
55	нетрудовой	0,058
56	бандит	0,055
57	директива	0,055
58	жизнь	0,055
59	надлежать	0,055
60	уисполнком	0,055
61	враждебный	0,053
62	решительно	0,053
63	следующее	0,053
64	поддержка	0,050
65	ведро	0,048
66	зав	0,048
67	особо	0,048
68	сено	0,048
69	уклонист	0,048
70	проднапог	0,046
71	столовая	0,043

№	Единица	Частота
72	укрываемательство	0,043
73	задание	0,041
74	дума	0,038
75	муниципализация	0,038
76	отдельный	0,038
77	с/совет	0,038
78	амнистия	0,036
79	мука	0,036
80	секретно	0,036
81	вступить	0,034
82	домовладелец	0,034
83	избирательная	0,034
84	около	0,034
85	хозяйственно	0,034
86	допрашивать	0,031
87	меньшевик	0,031
88	означенный	0,031
89	отказ	0,031
90	открыто	0,031
91	подготовка	0,031
92	делопроизводитель	0,029
93	дополнительно	0,029
94	заниматься	0,029
95	картофель	0,029
96	направление	0,029
97	плenum	0,029
98	расстрел	0,029
99	солома	0,029
100	сотрудник	0,029
101	товар	0,029
102	выездной	0,026
103	наказание	0,026
104	отдать	0,026
105	партизанский	0,026
106	реквизиция	0,026
107	циркуляр	0,026

Можно убедиться, что в выборке лексики, специфичной для Корпуса 1918–1933, значительно больше маркеров новой социальной и политической ситуации: дифференциация крестьян по хозяйственному положению (*кулак, батрак, бедняк, средняк*), политическая ориентация (*коммунист, социалист, меньшевик*), социально-политические явления (*чистка, коллективизация, укрываемательство, муниципализация*), карательные действия (*арестовывать, конфискация, ссылка, высылка, расстрел*) и под.

Таким образом, есть все основания говорить об отражении «прерывности» дискурсивных формаций в лексической организации текста протокола.

Заключение

Подводя итоги, резюмируем основные тезисы исследования.

Первое, что следует констатировать, – документные тексты исследуемых массивов демонстрируют принадлежность к дискурсивному единству: во-первых, они соответствуют требованию фактографичности, так как в них доминируют единицы, называющие топосы, персоналии и под. Во-вторых, тексты обоих массивов содержат дискурсивные маркеры: номинации типа документа, типичных коммуникативных ситуаций (и их части), участников коммуникации, коммуникативные действия, что свидетельствует о тенденции к унифицированности и, в свою очередь, принадлежности к сфере институциональной коммуникации.

С другой стороны, качественный анализ состава категорий и количественный анализ лексем показывает «прерывность» дискурсивных формаций, которая проявляется в различии лексического состава:

- изменяется состав категории «Персоналии»: участниками социальных процессов выступают совершенно другие люди;
- изменяется состав категории «Топонимы»: тексты отражают иную территориальную отнесенность событий;
- изменяется состав категории «Национальность»: Корпус 1917 содержит значительно более широкий спектр номинаций по национальному признаку, что свидетельствует об актуальности вопроса о национальности для этого периода;
- изменения также наблюдается в употреблении дискурсивных маркеров: маркеры Корпуса 1918–1933 демонстрируют значительно большую тенденцию к унифицированности;
- в лексической организации протоколов исследуемых корпусов можно отметить как черты преемственности (есть незначительное количество единиц, частотность которых сохраняется), так и признаки трансформации: 1) увеличение частотности лексических единиц, обозначающих новые социальные и политические явления, социальные статусы и действия (в том числе карательные); 2) уменьшение частотности лексических единиц, обозначающих как исчезнувшие реалии (номинации территориальных единиц), так и явления, по всей вероятности утратившие свою первостепенную значимость в новом социальном порядке;

– единицы, специфичные для исследуемых корпусов, демонстрируют те же тенденции. Для Корпуса 1917 характерна частотность единиц, отражающих организацию управления Томской губернией: решение вопросов, касающихся распределения земель, заготовки хлеба, статуса религиозных организаций, распределения продовольственных запасов и организации торговли, а также вопросов образования. В Корпусе 1918–1933 более частотны единицы другого типа – лексемы, отражающие общегосударственные процессы этого периода, которые связаны с установлением нового социального порядка и новых социальных статусов, политическим регулированием, изменением уклада ведения сельского хозяйства и наказанием асоциального поведения.

Литература

1. Фуко М. Археология знания. СПб. : ИЦ «Гуманитарная Академия» : Университетская книга, 2004. 416 с.
2. Серио П. Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ номинализаций // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. ст. П. Серио ; предисл. Ю.С. Степанова. М., 1999. С. 337–383.
3. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. ст. П. Серио ; предисл. Ю.С. Степанова. М. : Прогресс, 1999. 416 с.
4. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство. М. : ИКЦ Март, 2004.
5. Кушнерук С.П. Современный документный текст: создание и исследование. М. : Либерея-Бибинформ, 2009. 192 с.
6. Стилистика русского языка : учеб. / М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский. М. : Флинта : Наука, 2016. 465 с.
7. Богатова Е.Б. Документный дискурс – «нелюбимый ребёнок» русской лингвистики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 6-1 (24). С. 40–43.
8. Сологуб О.П. Современный русский официально-деловой текст: функционально-генетический аспект : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Кемерово, 2009. 46 с.
9. Харченко В.К. Язык революции в документах и материалах Петроградского военно-революционного комитета // Селищевские чтения : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения А.М. Селищева. Елец, 2005.
10. Батырева Л.П. О языке шуйских деловых документов 20–30-х гг. XX в. (протокол одного собрания) // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2008. № 1. С. 52–56.
11. Рогожникова Т.П. Из истории документной лингвистики: отчет рубежа XIX–XX веков // Язык. Текст. Дискурс : науч. альм. Ставропольского отделения РАЛК / под ред. Г.Н. Манаенко. Ставрополь, 2010. Вып. 8. С. 357–363.
12. Рогожникова Т.П. История документной лингвистики : учеб. пособие. Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2016. 84 с.
13. Мишанкина Н.А., Рожснева Ж.А. Юридический дискурс как отражение исторических и ментальных процессов (историко-лингвистический анализ) // Гуманитарная информатика : сб. ст. / под ред. Г.В. Можаевой. Томск, 2004. Вып. 1. С. 97–102.
14. Орлова Н.В. Дискурсивные детерминанты порождения документного текста // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. 2013. Т. 8, № 1. С. 156–163.
15. Орлова Н.В. Доступность современного официально-делового документа: лингвопрагматические аспекты // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2014. № 3 (19). С. 184–192.
16. Орлова Н.В. Модальность и тональность современных документов с предписываемой функцией // Вестник Омского университета. 2014. № 4 (74). С. 188–193.
17. Черныш О.А. Отражение исторического контекста в структуре и содержании текста документа (на материале текстов протоколов 1917–1933 гг.) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2018. № 2 (191). С. 143–147.
18. Черныш О.А., Мишанкина Н.А. Лексика делового протокола в дискурсивном аспекте (на материале протоколов 1918–1933 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 434. С. 30–40. DOI: 10.17223/15617793/434/4
19. Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин : Русское универсальное изд-во, 1923. 72 с.
20. Скворцов Л.И. О языке первых лет Октября // Русская речь. 1987. № 5. С. 9–18.
21. Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком (1917–1926). 2-е изд., стер. М. : УРСС, 2003. 247 с.

22. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М. : Академия, 2007. 240 с.
23. Логунова Н.В., Мазитова Л.Л. Исторические процессы в лексике русского языка и в семантической структуре слова (на материале региональной прессы 20–30-х годов XX века) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 6 (2). С. 128–132.
24. Шипицына Г.М., Мамонова Ю.О. Общий взгляд на лексикон русского языка советского периода // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2016. № 14 (235), вып. 30. С. 21–28.
25. Краткий словарь видов и разновидностей документов / Главархив, ВНИИДАД. М., 1974. 80 с.
26. Томское губернское народное собрание. Сессия. Протоколы Томского губернского народного собрания, 1-я сессия. Томск, 1917. 212 с.
27. Сборники документов и материалов Государственного архива Томской области. URL: <http://gato.tomica.ru/publications/online/index.html> (дата обращения: 17.11.2017).
28. Broom L., Reece S. Political and Racial Interest: A Study in Content Analysis // The Public Opinion Quarterly. 1995. Vol. 19, № 1. P. 5–19.
29. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М. : Корона Эдиториал УРСС, 2001. С. 252–281.
30. Можаева Г.В., Мишанкина Н.А. Контент-анализ историографического источника (к вопросу о междисциплинарности лингвистических методов) // Вестник Томского государственного университета. Сер. Литературоведение и языкознание. 2007. № 294. С. 52–61.
31. Мишанкина Н.А., Зильберман Н.Н. Восточнославянские языки в рефлексии наивного носителя языка (контент-аналитическое исследование коммуникации Интернет-сообществ) // Русин. 2017. № 2 (48). С. 78–98. DOI: 10.17223/18572685/48/7
32. Куркан Н.В. Лексические и композиционные особенности жанра «стандарт» в дискурсивном аспекте // Вестник Томского государственного педагогического университета (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2019. Вып. 9 (206). С. 78–83. DOI: 10.23951/1609-624X-2019-9-78-83.
33. Федеральный образовательный портал ЭСМ: экономика, социология, менеджмент. URL: <http://ecsocman.hse.ru/text/35480087>
34. Толковый словарь русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / под ред. Л.Г. Бабенко. М. : Аст-пресс, 1999. 704 с.

Vocabulary of Official Records in the Aspect of Discursive Formation “Discontinuity” (Based on the Materials of Records Dated by 1917–1933)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 107–131. DOI: 10.17223/19986645/66/6

Natalia A. Mishankina, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation), Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: mna@tpu.ru

Olga A. Chernysh, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: chernyshoa@tpu.ru

Keywords: document discourse, record, content analysis, lexical organisation, discursive unity, discursive formation.

The aim of the article is to identify quantitative characteristics of the lexical organisation of the text of the record in the aspect of the “discontinuity” of discursive unity caused by changes in the social reality in 1917–1933. Methodologically, the research is based on Michel Foucault’s thesis on the “discontinuity” of discursive formations within discursive unity. Document discourse preserves the unity of the basic function and transforming in the aspect of language specificity and thus allows arguing this thesis. The discursive approach allows

interpreting the repercussions of the social processes in the document corpus in a new way. Despite its function of fixing the sequence of real social events and their documentary proof, the record is scarcely investigated in this aspect. In the research, the leading methodological approach is discourse analysis; the main method is automated content analysis. The material for the analysis was corpora of records (1) of Tomsk Governorate People's Assembly dated by 1917 (25 documents, 91,686 word usages) and (2) of meetings at Tomsk institutions dated by 1918–1933 (126 documents, 41,630 word usages). The research showed that these corpora have significant difference in terms of lexical organisation. On the one hand, the document texts of the corpora demonstrate belonging to a discursive unity: they meet the factographic requirement and contain discursive markers (nomination of the type of document, typical communicative situations (and their parts), participants in communication, communicative actions), which indicates their belonging to the sphere of institutional communication. On the other hand, the quantitative analysis of the vocabulary shows the “discontinuity” of discursive formation, which is manifested: (1) in the different composition of categories and different usage of discursive markers: the markers of the 1918–1933 corpus show a much greater tendency to uniformity; (2) in the signs of transformation observed in the lexical organisation of the record: (a) an increase in the frequency of lexical units denoting new social and political phenomena, social statuses and actions (including punitive ones); (b) a decrease in the frequency of lexical units denoting both disappeared realities (nominations of territorial units) and phenomena which have lost their significance in the new social order. Thus, it can be argued that the lexical organisation of the record of different historical periods shows the “discontinuity” of discursive unity, and the analysed corpora can be considered different discursive formations. This “discontinuity” is primarily due to the changed social reality.

References

1. Foucault, M. (2004) *Arkeologiya znanija* [Archeology of Knowledge]. Translated from French. Saint Petersburg: Izdatel'skiy tsentr “Gumanitarnaya Akademiya”; Universitetskaya kniga.
2. Sériot, P. (1999) *Kvadratura smysla: Frantsuzskaya shkola analiza diskursa* [Quadrature of meaning: French school of discourse analysis]. Translated from French and Portuguese. Moscow: Progress. pp. 337–383.
3. Sériot, P. (1999) *Kvadratura smysla: Frantsuzskaya shkola analiza diskursa* [Quadrature of meaning: French school of discourse analysis]. Translated from French and Portuguese. Moscow: Progress.
4. Okhotnikov, A.V. & Bulavina, E.A. (2004) *Dokumentovedenie i deloproizvodstvo* [Record Management and Office Work]. Moscow: IKTS Mart.
5. Kushneruk, S.P. (2009) *Sovremennyj dokumentnyj tekst: sozdanie i issledovanie* [Contemporary Document Text: Creation and Research]. Moscow: Libereya-Bibinform.
6. Kozhina, M.N., Duskaeva, L.R. & Salimovskiy, V.A. (2016) *Stilistika russkogo jazyka* [Stylistics of the Russian language]. Moscow: Flinta, Nauka.
7. Bogatova, E.B. (2013) Document discourse – “unloved child” of Russian linguistics. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philology. Theory & Practice.* 6–1 (24). pp. 40–43. (In Russian).
8. Sologub, O.P. (2009) *Sovremennyj russkiy ofitsial'no-delovoy tekst: funktsional'no-geneticheskiy aspekt* [Modern Russian Official Business Text: Functional and genetic aspect]. Abstract of Philology Dr. Diss. Kemerovo.
9. Kharchenko, V.K. (2005) [The language of the revolution in the documents and materials of the Petrograd Military Revolutionary Committee]. *Selishchevskie chteniya* [Selishchev Readings]. Proceedings of the International Conference dedicated to the 120th anniversary of A.M. Selishchev. Yelets. 22–24 September 2005. Yelets: Yelets State University. (In Russian).

10. Batyreva, L.P. (2008) O yazyke shuyskikh delovykh dokumentov 20–30kh godov XX veka (protokol odnogo sobraniya) [About the language of Shuya administration documents of the 1920s–1930s (record of one meeting)]. *Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya gumanitarnye i sotsial'nye nauki – Scientific Notes of Orel State University*. 1. pp. 52–56.
11. Rogozhnikova, T.P. (2010) Iz istorii dokumentnoy lingvistiki: otchet rubezha XIX–XX vekov [From the history of documentary linguistics: A report of the turn of the 20th century]. *Yazyk. Tekst. Diskurs: Nauchnyy almanakh stavropol'skogo otdeleniya RALK*. 8. pp. 357–363.
12. Rogozhnikova, T.P. (2016) *Istoriya dokumentnoy lingvistiki* [History of Documentary Linguistics]. Omsk: Omsk State University.
13. Mishankina, N.A. & Rozhneva, Zh.A. (2004) Juridicheskiy diskurs kak otrazhenie istoricheskikh i mental'nykh protsessov (istorikolinguisticheskiy analiz) [Juridical discourse as reflection of historical and mental processes (historical and linguistic analysis)]. *Gumanitarnaya informatika – Humanitarian Informatics*. 1. 97–102.
14. Orlova, N.V. (2013) Diskursivnye determinanty porozhdeniya dokumentnogo teksta [Discursive determinants of document generation]. *Teoreticheskie i prikladnye aspekty izucheniya rechevoy deyatelnosti – Theoretical and Applied Aspects of Speech Activity Study*. 1 (8). pp. 156–163.
15. Orlova, N.V. (2014) Accessibility of a contemporary official document: lingvopragmatic aspects. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*. 3 (19). pp. 184–192. (In Russian). DOI: 10.15293/2226-3365.1403.19
16. Orlova, N.V. (2014) Modality and tonality of contemporary documents with prescriptive function. *Vestnik Omskogo universiteta – Herald of Omsk University*. 4 (74). pp. 188–193. (In Russian).
17. Chernysh, O.A. (2018) Reflection of the historical context in the structure and content of the text of the document (on the basis of the records dated by 1917–1933). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 2 (191). pp. 143–147. (In Russian). DOI: 10.23951/1609-624X-2018-2-143-147
18. Chernysh, O.A. & Mishankina, N.A. (2018) Lexical organization of the record in a discursive aspect (on the basis of records dated by 1918–1933). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 434. pp. 30–40. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/434/4
19. Kartsevskiy, S.I. (1923) *Yazyk, voyna i revolyutsiya* [Language, War and Revolution]. Berlin: Russkoe universal'nnoe izdatel'stvo.
20. Skvortsov, L.I. (1987) O yazyke pervykh let Oktyabrya [About the language of the first years of the October]. *Russkaya rech'*. 5. pp. 9–18.
21. Selishchev, A.M. (2003) *Yazyk revolyutsionnoy epokhi. Iz nablyudeniy nad russkim yazykom (1917–1926)* [The Language of the Revolutionary Era. From observations of the Russian language (1917–1926)]. 2nd ed. Moscow: URSS.
22. Krysin, L.P. (2007) *Sovremennyj russkiy yazyk. Leksicheskaya semantika. Leksiologiya. Frazeologiya. Leksikografija* [Modern Russian Language. Lexical semantics. Lexicology. Phraseology. Lexicography]. Moscow: Akademiya.
23. Logunova, N.V. & Mazitova, L.L. (2013) The historical process in Russian language and vocabulary in the semantic structure of the word (based on regional press of the 1920s–1930s). *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo – Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod*. 6 (2). pp. 128–132. (In Russian).
24. Shipitsyna, G.M. & Mamanova, Yu.O. (2016) General view of the vocabulary of the Russian language of the Soviet period. *Nauchnye vedomosti BelGU. Ser. Gumanitarnye nauki – Scientific bulletin of Belgorod State University. Humanities Sciences*. 14 (30). pp. 21–28. (In Russian).
25. Yankovaya, V.F. (ed.) (1974) *Kratkiy slovar' vidov i raznovidnostey dokumentov* [Concise Dictionary of Document Types and Varieties]. Moscow: Glavarkhiv VNIIDAD.

26. Tomsk Governorate People's Assembly. (1917) *Protokoly Tomskogo gubernskogo narodnogo sobraniya, 1-ya sessiya* [Minutes of the Tomsk Governorate People's Assembly, 1st session]. Tomsk: Gubernskaya tipografiya.
27. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). (2017) *Sborniki dokumentov i materialov Gosudarstvennogo arkhiva Tomskoy oblasti* [Collections of documents and materials of the State Archive of Tomsk Oblast]. [Online] Available from: <http://gato.tomica.ru/publications/online/index.html>. (Accessed: 17.11.2017). (In Russian).
28. Broom, L. & Reece, S. (1995) Political and Racial Interest: A Study in Content Analysis. *The Public Opinion Quarterly*. 1 (19). pp. 5–19.
29. Baranov, A.N. (2001) *Vvedenie v prikladnuyu lingvistiku* [Introduction to Applied Linguistics]. Moscow: Korona Editorial URSS. pp. 252–281.
30. Mozhaeva, G.V. & Mishankina, N.A. (2007) Content analysis of historiographical source (revisiting the interdisciplinarity of linguistic methods). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 294. pp. 52–61. (In Russian).
31. Mishankina, N.A. & Zil'berman, N.N. (2017) East Slavic languages in the reflexion of a naive native speaker (content-analytical study of the social networks communication). *Rusin.* 2 (48). pp. 78–98. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/48/7
32. Kurkan, N.V. (2019) Lexical and Structural Characteristics of Technical Standards in Engineering Discourse. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 9 (206). pp. 78–83. (In Russian). DOI: 10.23951/1609-624X-2019-9-78-83.
33. Churakov, A.N. (2011) *Kontent analiz PRO* [Content Analys PRO]. [Online]. Available from: <http://ecsocman.hse.ru/text/35480087>. (In Russian).
34. Babenko, L.G. (ed.) (1999) *Tolkovyj slovar' russkikh glagolov: ideograficheskoe opisanie. Angliyskie ekvivalenty. Sinonimy. Antonimy* [Explanatory Dictionary of Russian Verbs: ideographic description. English equivalents. Synonyms. Antonyms]. Moscow: AST-press.

УДК 81'282.2
DOI: 10.17223/19986645/66/7

Я.В. Мызникова

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРА НА РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ¹

Выявляются особенности диалектного дискурса, которые могут быть обусловлены гендерными характеристиками информантов. Различия мужских и женских диалектных текстов видны уже на уровне тематической организации. Интерес женщины направлен внутрь своего микросоциума, семьи, хозяйства. Тематика мужских текстов затрагивает внешнее окружение человека, работу, промыслы. Мужские и женские тексты имеют различия в области лексики, синтаксических конструкций. Социальная активность и наличие образования у информанта могут нивелировать влияние гендерного фактора на организацию текста.

Ключевые слова: коммуникативная диалектология, гендер, гендерология, диалектная лексика, метаязыковые высказывания.

Вводные замечания

Актуальность в последние десятилетия в языкоznании антропоцентристической парадигмы, интерес к субъективному в языке обусловили интенсивное развитие гендерных исследований. В последние годы в лингвистической гендерологии появляются работы методологического характера, рассматриваются вопросы разработки общенаучных подходов к изучению гендера в лингвистике.

А.В. Кирилина и М.В. Томская выделяют две основные группы проблем в исследовании гендера в языкоznании. Во-первых, это язык и отражение в нем пола, т.е. описание и объяснение того, как манифестируется в языке наличие людей разного пола, какие оценки приписываются мужчинам и женщинам и в каких семантических областях они наиболее заметно / отчетливо выражены. Во-вторых, это речевое и в целом коммуникативное поведение мужчин и женщин, где выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно специфический выбор единиц лексикона, способы достижения успеха в коммуникации, предпочтения в выборе лексики, синтаксических конструкций и т.д., т.е. специфика мужского и женского говорения [1].

Среди концептуальных подходов в гендерных исследованиях преобладают два основных: теория социокультурного детерминизма и теория биодетерминизма. А.В. Кирилина отмечает, что современное состояние гендерологии не позволяет отдать явное предпочтение ни причинам биологи-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 17-29-09021.

ческого порядка, ни социокультурным доминантам. В научном дискурсе присутствуют в большей или меньшей степени обоснованные доказательства воздействия как первых, так и вторых причин. Поэтому сегодня можно говорить о биосоциальном характере полового диморфизма [2].

Многие психолингвисты в качестве рабочей принимают гипотезу функциональной асимметрии мозга, подчеркивающую различия в специализации функций полушарий мужского и женского мозга. Е.И. Горошко, используя экспериментальные методы исследования, анализирует письменные тексты и показывает влияние на речевое поведение не только пола, но и возраста, уровня образования и характера социальной активности испытуемых, вновь подтверждая биосоциальный характер гендерера. Эксперименты продемонстрировали, что наименьшие гендерные различия обнаруживаются у лиц с высшим образованием, занятых интеллектуальной деятельностью [3].

В результате исследований устной и письменной речи учеными выделены и проанализированы особенности мужских и женских текстов на разных уровнях языковой системы (см., например, [4, 3]). Среди таких черт традиционно выделяют объем фраз / предложений (тексты мужчин существенно короче текстов женщин); использование экспрессивно-оценочной лексики (в речи мужчин преобладают рационалистические оценки, редко присутствуют эмоциональные и сенсорные); эмоциональность речи (женская речь более эмоциональна, её характеризует более частое использование междометий типа *ой!*); связность и логичность речи (более связна и логична у мужчин), в мужской речи отмечаются также терминологичность, стремление к точности номинаций, более сильное влияние фактора «профессия» и др. Что касается тематического насыщения текстов, то для женщин характерно включение в ход разговора тематики, которую порождают обстановка речи, действия, которые производят говорящие, что может быть связано не столько с полом женщин, сколько с их социальными ролями.

В последние два десятилетия появляются работы, содержащие обзор основных направлений изучения гендерера в зарубежной и отечественной лингвистике, выявляются перспективы лингвистической гендерологии [5, 6]. Р. Вардхау, подводя итоги гендерным исследованиям за прошедшие десятилетия, присоединяется к социокультурному подходу к гендереру и рассуждает о возможности сделать язык менее «сексистским» при условии меньшей дифференциации ролей в процессе воспитания мальчиков и девочек [7].

Материалом для гендерных исследований могут служить самые разнообразные источники: от художественного текста [8–10] до современной спонтанной речи [11].

В связи с тем, что «формирование лингвистической гендерологии невозможно без обращения к данным диалектного языка, фиксирующего речь реальных людей в реальной коммуникации», Т.А. Демешкина и М.А. Толстова предлагают выделить такую область исследования, как гендерная диалектология [12. С. 85]. Исследователи указывают, что гендерная

диалектология пока находится в стадии становления, однако гендерные данные всегда фиксируются и учитываются в диалектологических исследованиях, в частности при изучении различных тематических групп лексики, при анализе особенностей речевого жанра автобиографического рассказа, при исследовании языковой личности, произведений фольклора [12. С. 86].

Данное исследование по своим целям и методам не является ни социолингвистическим, ни психолингвистическим, поэтому не предполагает использование экспериментальных методик и статистических подсчётов числа тех или иных языковых единиц в мужских и женских текстах. Гендерный подход предполагается использовать в рамках и в качестве элемента диалектологического исследования. Гендер рассматривается не как объект исследования, а именно как фактор, который необходимо учитывать для плодотворного сбора и описания диалектного материала.

Материалом для исследования послужили записи русских говоров Среднего Поволжья, сделанные с 2012 по 2017 г. в ходе диалектологических экспедиций в населённые пункты Старомайнского, Чердаклинского и Мелекесского районов Ульяновской области, а также тексты, опубликованные С.А. Мызниковым («Русские говоры Среднего Поволжья: Чувашская Республика, Республика Марий Эл», 2005 г.). Тексты записаны от пожилых информантов, которые являются членами традиционного сельского социума. Собиратель-диалектолог естественным образом стремится записывать речь наиболее пожилых и коммуникативно активных диалектоносителей. Абсолютное большинство информантов по экстралингвистическим, социальным обстоятельствам, как правило, составляют женщины. Среди наших аудиозаписей также большинство текстов – записи женской речи, однако при расшифровке записей оказалось, что зачастую записи речи мужчин представляют собой более информативные и интересные тексты с лексической и этнокультурной точки зрения. В результате среди расшифрованных нами текстов оказались записи 11 мужчин и 27 женщин. В опубликованных материалах С.А. Мызникова присутствуют записи восьми информантов-мужчин.

Тематические и аксиологические особенности мужских и женских текстов

Различия мужских и женских диалектных текстов выявляются уже на уровне тематической организации. Как отмечает И.Н. Кавинкина, «тематика проблем у женщин охватывает «ближний» круг жизни человека» [13]. В записанных диалектных текстах это ближайшее предметное и социальное окружение женщины: семья, родственники и соседи, дом и хозяйство, детали деревенского быта. Высокая эмоциональность женщин и социальная вовлечённость благоприятствуют беседе с женщинами-информантами на темы, связанные с духовной культурой: традиционные праздники, свадебный и похоронный обряды, игры, семейные отношения. Таким образом, интерес женщины направлен внутрь «ближнего круга», своего микросоци-

ума. Интересы мужчин зачастую лежат вне «ближнего круга», тематика мужских текстов затрагивает «дальнее» окружение человека. В записанных текстах это, прежде всего, всё, что связано с работой, с сельскохозяйственной деятельностью, это и другие мужские занятия, обусловленные особенностями окружающей природы (рыбная ловля, охота), ремёсла и сельское строительство. Тематика мужских текстов и территориально, и исторически может выходить за рамки жизни своего микросоциума, затрагивать дальнюю историю своей земли, своего рода, местную топонимику и микротопонимику, общесоциальную проблематику.

Приведём примеры микротем, которые были инициированы самими информантами-мужчинами в ходе беседы с собирателем¹.

– История рода, фамилии:

Ну вот дома' были эти вот хозяйствки / мельница Калёсо'ва / Калёсо'вая вот / Калёсо'ф фамилия / Калёсо'вы / эт тожэ роды / вот Ерасо'вы / вы думали я один? / пол-Гародишиа Ерасо'вых // ты панимаши эт только разъехалис // притом Ерасо'вых в Гародишиах один рот / а ф Кайбеле другой рот / оне тожэ Ерасовы / оне когда-та были связаны... // там были корни / которы / ну можэт быть с восемьсотава ешио года можэт / с семисотава / веть захаронения-т находют // Крестово-Городище (М-85; 4 кл.)².

Вот зъдесь улицы / вии каки' названия были? // у нас паны' были // Малькофские Сахофские Далгонофские Миранские Багданофские Быкофские // фсе вот // эт Екатерина што ль // так шо зъдесь поляки // меня приежжали с телявизера-та / спрашивали / «Ты знаш польский язык?» // кто ш ево знат / кто помнит / кто помнит как полякаф прислали // вот по фамилии только // дет и отец были поляки // или ж она ф плен забрала этих полякаф / и сюда вот в Жыдяефку // Русские Юрткули (М-70; 7 кл.).

– История села:

Што такое «гародишиэ» знаите вы / нет? // население // а у нас «крестова» пачему названа? // кода татарскае нашеслава была / и он шол / фсе патчинялис / а вот где мы жыли / Симбирка што ли называлась / они не патчинилис // он фсех убил / и плугам перкопал / так и так зъделал / и четыре креста поставил / тут гыт нечысты жывут // Крестово-Городище (М-77; 7 кл.).

Ета мать рассказывала / я радилса' / последний гот оне в единолишинам хозяйстве жали // а уш триццать первам году артель арганизовалас // артель / Красный пахарь назывался / эт в Гародишиах вот / перва / Кайбеле

¹ Фрагменты диалектных текстов приводятся в упрощённой транскрипции, отражающей особенности вокализма говоров Поволжья с неполным оканьем, а также изменение качества согласных в слабых позициях.

² После названия населённого пункта приводятся наиболее значимые сведения об информанте в виде условных обозначений: буквы М и Ж обозначают мужской или женский пол, а цифра после дефиса – возраст информанта, далее указан уровень образования, т.е. число лет обучения, среднее техническое образование (СТ) или среднее специальное образование (СС).

ишио не была... // а ф колхос как фступали / ну или артель эта назови // заступали кто значит если он заступат / он фсё инвентарь должен свой / ну плуг был / лошать / корова / офцы // он фсё должен туды в калектив весьти / понятна? / а вить люди-ти жыли разны / и богаты / и бедны / а веть в одно места сводили // Крестово-Городище (М-85; 4 кл.).

— Топонимика:

У нас ззесь вот есть Залотое болота / стала быть коли'-та претки брали золата оттуда // вот у нас зьдесь Ути'нска гора / эта река тёкла / и на неё садились утки // а што шас течом река / эта Бро'сава / там бросили // а дальшэ гора Попо'ва / там поп построил дом и огромна крутая гора / вот там поп жыл // Красная Река (М-84; 3 кл.).

В книге С.А. Мызникова «Русские говоры Среднего Поволжья: Чувашская Республика, Республика Марий Эл» расшифрован большой текст информанта-мужчины 88 лет об истории деревни Нерядово (с. 174–176). Приведём небольшой фрагмент:

Ковда Стенька Разин, Разина розбили, вот он, биг по всём горам, по Волге-то леса были. Эти Стеньки Разина отрывчики вот поселились здесь, начиная с Новокушниково и кончая Новинскэй... А потом здесь проходил Пугачёв, Пугачёвский взвоз шшытатса здесь. Он шёл из Йошкар-Ола в марийской стороне. А ковда пришёл к Кокшайскый-то, а на Денёшкино гора большая. Вот он решыл на наш взвоз. Так он Пугачёвский взвоз шшыталса. А Нерядово названо, не порядились с ним воевать не пошли, вот. Он назвал Нерядово, не рядились, эдак разговор-то был (Нерядово Мар. Пос. Чуваш.) [14. С. 174].

Невозможно представить рассказ-воспоминание информанта-мужчины без подведения философских итогов сказанному:

Мы вить жыли в одном веке / а теперь другой век / ты панимаш / и эпоха другая / трудна конешна вам прецтавить / а мы веть вот эта прошли фсё // Крестово-Городище (М-85; 4 кл.).

Эт русска земля / она чо ни приняла // мы нарот такой / бессмёртный // нас и малочы'ли / нас и мыли / нас и фсё / а мы фсё равно воскреснем и жывём // Красная Река (М-84; 3 кл.).

Весела была тогда / жыли трудна / прожывали / но весела была // а сейчас жыают харошо / фсё нарядно' / но фсё убита // не знаю чово сталаас // чово делат-та малодёш? // а тогда стон стоял / дарам што голадны / на траве были люди / как вечер так стон стоит // фсё была харошо / а сейчас фсё замерла // Красная Река (М-84; 3 кл.).

Жизненные наблюдения информантов-мужчин часто оказываются интересными не только с точки зрения наличия диалектных особенностей, но и с точки зрения содержательной: *А у нас са свинёй наравне // мы / што твой желудак што свининный желудак // я вот знаю / патому шта я на бойне // я изучил фсё болезни / фсё строение / как у чоловека / и такое / у свинье тоже такое // я равнял человека ссвиньёй // вома / похожа ф точносси / фсё / желудак такой / фсё там такое // я*

равняю са свиньёй... // сырчук эта у свиньи как у нас / наши и свининный //
Русские Юрткули (М-70; 7 кл.).

В рассуждениях о конфессиях встречаем множество интересных контекстуальных значений общеупотребительных лексем (русский 'русский православный', хресянин 'православный', славянин 'христианин'): У нас кулугуры-та есть / я веть проста / рускай человек / хресяни'н // и фсё / я проста славя'нин и фсё / крешионай я / а те они не крешионы / у них софсем другая вера / ты панимаеш / оне не хресянской веры / оне хресянской веры / а исповедают па-другому / ты панимаешь? / у них законы софсем другеи // Крестово-Городище (М-85; 4 кл.).

У женщин также встречаются обобщающие замечания о жизни, но, как правило, в рамках противопоставления *теперешней* жизни и *бывалошной*: Топерича па-другому / па-бывальшинаму ничево нет // Красная Река (Ж-92; 7 кл.); Бывала не едак была / топерь фсё па-другому / топерь не сходюца / а каждай семье где ни попала гуляют / каждый день // а тогда так не гуляли / а ф праздники ток // люди работали / и вот в больши праздники фсе гуляли // вот сабиралис скока / и гуляли / и Масленцу / и Рожество / и Крешиэнье / и Паску // Красная Река (Ж-92; 7 кл.).

«Теперешняя» жизнь, как правило, описывается в отрицательных конструкциях: Фсе ф поле / весь нарот ф поле / а топерь кто ф поле? / **топерь нет никово** / машины // вот когда фсё убёрут с полей / колхос делал им праздник / угошишали / подарки давали / кто ударник / День колхозника был // **а топерь никто ни угошишат / ни подарки никому ничо ни даёт // ничо нет / фсё по-другому** // раньши плоха жыли / а фсё делали // а топерь гуляют тока // Красная Река (Ж-92; 7 кл.); Висёлство' была ужаснае... // ну стон стоит эт прям ужас как хорошо была / **а шас ненай свадьба ненай нет / наедяща напьюща бүм-бүм-бүм повихляюща и пошли // не слуху не духу** // Красная Река (Ж-73; 7 кл.).

Лексические особенности мужских и женских текстов

Мужские диалектные тексты, как правило, характеризуются высокой информационной насыщенностью. В области лексики это свойство текстов информантов-мужчин связано с использованием слов с конкретной семантикой, в том числе диалектных элементов:

Кладёши вот эту кужэ'ль / канопе'ль кладёши накладёши / и наверых эдак тяжэсьть / и связываши / и в Залото болота // она недели две помокнет / вытаскиваши / сушыш / в баню // и были такие **мялки** / потсавват и мнёт / и делают из нево куделью / вот иё пряли / в избу **стан** / уставвали и ткали // и **брюти** / брюти эт вон ёлхуику шишкотурили и краси'ли // а ткали стан был / вносяют в ы'збу / моя мать она начинат основу / зъделат / **бёрда** была // там подношки были / надну нахсымат / она растопырица она / чолнок жмык / стук / чолнок жмык / стук // **ватолы** ткали / вот щас мы удеялы / а эта ватолы были // вот ткали / вот износят **дарунна'** эта / из них резали и рвали / и ткали / эта называлась ватола // Красная Река (М-84; 3 кл.).

Как видно из приводимых примеров, использование диалектной лексики информанты-мужчины часто сопровождают метаязыковыми пояснительными высказываниями: *А есть еще грабе'льки называют / эта к коse приделывают / то есть чтобы высокай косить / хлеп / ево вить не так как траву посыбать / а рас / косии / и кладёш / чтобы сноп связать надо // а снопы ставили пятки называют / четыре снопа так / так / а наверху пятый вот прям втыкают колас на колас / эт штоп дождик кода идёт / стёкала // Крестово-Городище (М-85; 4 кл.).*

В текстах информантов-мужчин высокой частотностью характеризуются существительные с конкретно-предметным значением и глаголы со значением конкретного физического действия: *Снопы-та уберут / тут на земле-та зерно / ну метлой сметут / потом ссыпают / потом провеивают / лопатай черпают / на ветру кидают / ветер уносит мякину / ну што астаёца / остатки от коласа // Старая Майна (М-91; СС); Сети были ис хэбэ-нитак / рыбаки на нач ставили / утрам вынимали / сушили // рыбу выбирали / снасть просушивали / ремонтировали / целый день / и вечерам опять выставляли // Крестово-Городище (М-63; СТ).*

В записанных женских текстах отмечается значительное число оценочных элементов, в частности более интенсивное, чем у мужчин, употребление качественных прилагательных и наречий, экспрессивной лексики, глаголов чувственного восприятия:

У ево мать осталас одна... // а больна уш характер нехороший был / у съекрови // и фсё-тки я опять ожас'лилас / хоть она ругалас / фсякие / то вот возврат делала много // да / а жалка / зача'reла фся // пять лет ухажывала за съекровью... // а уш была такая ой страх не этим памянуть // выпивала жэ / да больна уш вири'на была // и вот иё / фсябросла / и постригla / и фсё иё вымыла / как за ребёнкам вымыю / в баню поведу // ой пять лет я за ней... // старшая сноха / я брезгаваю / я не могу / я говорю / я не брезгаваю / отмою // Базарно-Мордовские Юрткули (Ж-80; 4 кл.). Записи женской речи весьма ценные именно как источник для пополнения диалектного словаря экспрессивной лексикой, которую не всегда удаётся зафиксировать в беседах о сельской трудовой деятельности: *Ты где блукала? // шаманяешься допозна! // Старая Майна (Ж-82; 7 кл.); Што ты как ва'крычень сидиш? / подними таноно'-та / иди / пробзди'сь // Крестово-Городище (Ж-66; СС); У-у / воста'нашина / тока бы лизоблюдничала // еш / чо подали / разносолаф у нас нету // Крестово-Городище (Ж-85; 4 кл.); Ты фсю бутылку што ль один вы'глахтал? // Крестово-Городище (Ж-66; СС).*

Можно отметить некоторые различия в мужских и женских метаязыковых высказываниях толковательного содержания. Мужчины при пояснении значений диалектных слов обычно используют синонимы, часто в сопровождении слов *вот такой, типа*: *Дёрно'-та эт вы знаите што? // вон залок... не па'хана // вот сверху / ты панимаеш / слой небольшой снимаета / эта дёрно' называеща // Крестово-Городище (М-85; 4 кл.); Во'рат / эта пр'ват / запряжсоны лошади / ходят по кругу / понятна? / там калёсо фсерётке стоит // он называлса ворат // Крестово-Городище (М-85; 4 кл.);*

Была абдирка / вот калёсо такое / стояла // на нево жэрть насунута и пара лашадей потстёгивали / и крутили / обдирка эт проса обдирали // Красная Река (М-84; 3 кл.); Донец вот такая доска / и дырачка тут // Ерыклиск (М-86; 7 кл.); Росли деревья диаметром до двух метраф // осо'карь называлса / типа то'пала // там толька кора вот такой талшины / вот толишэ руки // Старая Майна (М-91; СС); Морда конешина атличалас / типа корзинка / тожэ её ставили / она плетёная // Крестово-Городище (М-63; СТ).

У женщин толкование значения диалектного слова часто представляет собой микротекст описательного характера: *Знаите што такое мочала? // из липы делают // мочыли вот в лупке липу / обдирали / эти лупки в болоте мочыли // потом эта мочала вот аддирали / и ткали кули' // Старая Майна (Ж-82; 7 кл.); Стирали / делали штолак // баню топют / кадушка / ф кадушку накладывают туда золы / и кипяток этат туда выливают // эт получаеща штолак / она мылка вода // вот этим вот стирали // и голавы мыли этим / мылис сами // Старая Майна (Ж-82; 7 кл.); Ну вот когда сънек таит // вот зима идёт / сънек // начинаца весна / таит / и кругом заливает фсё водой // раздополье называща // Кременские Выселки (Ж-74; 7 кл.).*

Синтаксические особенности мужских и женских текстов

Наблюдаются различия и в других языковых сферах, например на уровне высказывания они проявляются в предпочтении определённых синтаксических конструкций. Для женской речи характерны сложные, полипредикативные высказывания со вставными конструкциями поясняющего характера, с включениями прямой речи, противительными оборотами: *Избушка / эт вот маленьки канурушки / вон который прям с двум окошечкам небольшим / старушка и одна / куды гыт мне большу-та / эт шас хорошо с газам-та / а тогда веть дрова были / за ними нада ехать вон куда / на Волгу // хватит мне маленькой / зьделайте мне маленьку // Крестово-Городище (Ж-81; 7 кл.).* В мужской речи преобладают синтаксически простые высказывания со вставными конструкциями поясняющего характера: *А если вот двухэтажный дом каменый... / там дымохот был же наскось / и там и наверху голанки / и нанизу голанка / дом двухэтажный / притом дом с флигелем / это вот со лбом такой вот / карнис у нево / фсё / эта флигель // а вот этат наш дом / видши у нево нет лба / эт шатровы называюща // а эти / сени / то есть придел / оне были неабязательна из лесу / вот хвораст / галотальник / каротальник был называлась // Крестово-Городище (М-85; 4 кл.).* Приведём для сравнения ответ на вопрос о двухэтажных домах из интервью женщины из этого же села: *Ну тода у нас двухъетажэнки не были / эт щас вон гляди-к виширь растопырились как // во щас / а ты-та для чево эта столбики зьделал? / я их камнем обделаю / у меня тут будет двухъетажна / комната моя пфу ты... // а тогда этаава не быланичово / кануры были // Крестово-Городище (Ж-81; 7 кл.).* В этом фрагменте снова наблюдаем вкрапления прямой речи, конструкцию с про-

тивительными отношениями и отрицанием (*эт щас... а тогда эта ма не была ничово*). Текст информанта-мужчины содержит подробное описание устройства двухэтажного дома и сопоставление его с другим типом дома, что выражается при помощи экзистенциальных и локативных конструкций.

Некоторые итоги исследования

Разрабатывая тактику сбора диалектного материала, опытный диалектолог не может не учитывать влияние гендера на речевое поведение диалектносителя. Как правило, гендерная принадлежность информанта влияет на выбор тем для беседы или целенаправленного опроса по программе. Видимо, гендерный потенциал диалектносителя может быть использован в сборе диалектного материала, в частности диалектной лексики, более эффективно. Однако изученные мужские и женские диалектные тексты подтвердили важность и других параметров, таких как уровень образования и характер социальной активности информантов. В указанной книге С.А. Мызникова приводятся тексты А.П. Чекменёвой из села Ахмасиха Чувашской Республики (на момент записи ей было 85 лет). В войну она три года работала председателем колхоза, социально активны были и её братья: «У меня братья' были, оне были все председателями колхоза «Подборный», все четыре брата... Все были у меня братья' учёны» [14. С. 245]. По текстам этой женщины видна её очень высокая компетентность во всех вопросах сельскохозяйственной деятельности: полеводство, животноводство, обработка льна, конопли, прядение, ткачество, плетение лаптей, постройка саней и т.д. В текстах представлено значительное количество лексики терминологического характера: *уса'да, ка'рда, клюшо'к, се'нница, по'сконь, мя'льца, костири'га, руче'нька, стан, наво'й, наби'лки, челно'к, це'вка, бё'рдо, мотомо'ви'ло, вью'шки, снова'льни, па'сма, лутро'шка, кочеды'к, коло'дка, чеку'шка* и мн. др. Социальная активность, интерес ко всем сторонам сельской жизни, высокая языковая компетенция нивелируют итак не слишком значительные различия в оформлении мужских и женских текстов. Всё это вполне соответствует выдвигаемому А.В. Кирилиной положению о том, что гендер можно рассматривать как параметр переменной интенсивности [15].

Итак, подводя некоторые итоги нашим наблюдениям над записями мужской и женской диалектной речи, можно отметить, прежде всего, различные тематические предпочтения информантов-мужчин и информантов-женщин, что непосредственно связано с их социальными ролями в традиционном обществе. Также различия могут быть связаны с преимущественным использованием определённых групп лексики. Можно указать и на некоторые различия в построении высказывания, в характере метаязыковых комментариев.

Литература

1. Кирилина А.В., Томская М.В. Лингвистические гендерные исследования // Отечественные записки. 2005. № 2. URL: <http://www.strana-oz.ru/2005/2/lingvisticheskie-gendernye-issledovaniya> (дата обращения: 26.02.2019).

2. Кирилина А.В. Гендер: Лингвистические аспекты. М. : Ин-т социологии РАН, 1999. 189 с.
3. Горошко Е.И. Особенности мужского и женского стиля письма // Гендерный фактор в языке и коммуникации : сб. науч. тр. МГЛУ. М., 1999. Вып. 446. С. 28–41.
4. Земская Е.А., Китайгородская М.А., Розанова Н.Н. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании / ред. Е.А. Земская, Д.Н. Шмелева. М., 1993. С. 90–136.
5. Горошко Е.И. Гендерная проблематика в языкознании // Введение в гендерные исследования. Ч. 1 / ред. И.А. Жеребкиной. Харьков ; Санкт-Петербург, 2001. С. 508–543.
6. Кожанова Н.В. Гендерные исследования в области языка и коммуникации // Вестник АлтГПА: Гуманитарные науки. 2014. № 21. С. 40–43.
7. Wardhaugh R. An introduction to sociolinguistics. 5th ed. Oxford ; Malden, MA : Blackwell, 2006. P. 418.
8. Дробышева Т.В. Художественный текст в гендерном аспекте // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2008. № 1. С. 34–37.
9. Шпильман Н.В. Гендерный аспект речевой маски: постановка проблемы и поиск ориентиров // Вестник НГПУ. 2014. № 3 (19). С. 68–74.
10. Yokoyama O.T. Gender linguistic analysis of Russian children's literature // Slavic Gender Linguistics / ed. by M.H. Mills. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1999. P. 57–84.
11. Богданова-Бегларян Н.В. и др. Русский язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных группах / отв. ред. Н.В. Богданова-Бегларян. СПб. : Лайка, 2016. 244 с.
12. Демешкина Т.А., Толстова М.А. Гендерная диалектология и словари как ее источник // Вопросы лексикографии. 2017. № 12. С. 83–105.
13. Кавинкина И.Н. Проявление гендера в речевом поведении носителей русского языка. URL: http://ebooks.grsu.by/kavinkina_gender (дата обращения: 28.02.2019).
14. Мызников С.А. Русские говоры Среднего Поволжья: Чувашская Республика, Республика Марий Эл. СПб. : Наука, 2005. 640 с.
15. Кирилина А.В. Возможности гендерного подхода в антропоориентированном изучении языка и коммуникации. URL: <http://www.gender-cent.ryazan.ru/kirilina1.htm> (дата обращения: 09.03.2019).

The Influence of Gender on Dialect Speakers' Speech Behaviour

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 132–143. DOI: 10.17223/19986645/66/7

Yanina V. Myznikova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: janinam@mail.ru

Keywords: communicative dialectology, gender, genderology, dialect vocabulary, metalinguistic utterances.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 17-29-09021.

In the article, the gender approach is used in the context of a dialectological study in order to identify the features of dialect discourse that could be caused by the gender characteristics of informants. Russian dialect data collected in the Middle Volga region became the source of the material for this study. First of all, attention is drawn to the thematic content of male and female dialect texts, which is connected with the circle of male and female occupations. Women's interest is directed inside the "inner circle", her own microsociety. Thus, the female dialect discourse includes the house, the way of life, economy, family, local traditions, rites, holidays, games, etc. Subjects of male texts cover the "distant" human environment. The main topics of the male dialectal discourse

are agricultural activities, building, crafts, and fishing. The texts of male informants are on the history of the village, family, local microtoponyms, the ethnic and confessional history of the land, features of local nature. The informativity of male texts is manifested in different spheres of language. In the lexical sphere, men mostly use dialect units with concrete meanings often introduced by metalinguistic explanatory commentaries; substantives with objective meaning and verbs of concrete action prevail. Women mostly use evaluative adjectives and adverbs, verbs of sense perception. Records of female dialect speech are a very valuable source for the replenishment of the dialect dictionary with expressive vocabulary, which is not always possible to fix in conversations about rural labour. Syntactically, women use more complex, generally polyadic utterances with explanatory inserts, quotations of direct speech in their texts; men generally use simple utterances. The dialect speaker's gender potential can be used more efficiently when collecting the dialect data. However, the study of male and female dialect texts has shown that the gender factor in dialect discourse interacts with other social parameters, such as, for example, informants' level of education and pattern of social activity, which can level out and neutralise the influence of the gender factor on the organisation of the dialect text.

References

1. Kirilina, A.V. & Tomskaya, M.V. (2005) Lingvisticheskiye gendernyye issledovaniya [Linguistic gender studies]. *Otechestvennyye zapiski*. 2. [Online] Available from: <http://www.strana-oz.ru/2005/2/lingvisticheskie-gendernye-issledovaniya>. (Accessed: 26.02.2019). (In Russian).
2. Kirilina, A.V. (1999) *Gender: Lingvisticheskie aspekty* [Gender: Linguistic Aspects]. Moscow: Institute of Sociology of RAS.
3. Goroshko, E.I. (1999) Osobennosti muzhskogo i zhenskogo stilya pis'ma [Features of male and female style of writing]. *Gendernyy faktor v yazyke i kommunikatsii*. 446. pp. 28–41.
4. Zemskaya, E.A., Kitaygorodskaya, M.A. & Rozanova N.N. (1993) Osobennosti muzhskoy i zhenskoy rechi [Features of male and female speech]. In: Zemskaya, E.A. & Shmeleva, D.N. (eds) *Russkiy yazyk v ego funktsionirovaniy* [Russian Language in Its Functioning]. Moscow: Nauka. pp. 90–136.
5. Goroshko, E.I. (2001) Gendernaya problematika v yazykoznanii [Gender Issues in Linguistics]. In: Zhrebkin, I.A. (ed.) *Vvedenie v gendernye issledovaniya* [Introduction to Gender Studies]. Pt. 1. Kharkiv: KCGS; Saint Petersburg: Aleteyya. pp. 508–543.
6. Kozhanova, N.V. (2014) Gender research in the sphere of language and communication. *Vestnik AltGPA: Gumanitarnye nauki*. 21. pp. 40–43. (In Russian).
7. Wardhaugh, R. (2006) *An introduction to sociolinguistics*. 5th ed. Oxford; Malden, MA: Blackwell.
8. Drobysheva, T.V. (2008) Khudozhestvenny tekot v gendernom aspekte [Literary text in a gender aspect]. *Vestnik VGU. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – Proceedings of Voronezh State University. Series: Philology. Journalism*. 1. pp. 34–37.
9. Shpil'man, N.V. (2014) Gender aspect of speech mask: the problem and search landmark. *Vestnik NGPU – Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*. 3 (19). pp. 68–74. (In Russian). DOI: 10.15293/2226-3365.1403.07
10. Yokoyama, O.T. (1999) Gender linguistic analysis of Russian children's literature. In: Mills, M.H. (ed.) *Slavic Gender Linguistics*. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. pp. 57–84.
11. Bogdanova-Beglaryan, N.V. et al. (2016) *Russkiy yazyk povsednevnoego obshcheniya: osobennosti funktsionirovaniya v raznykh sotsial'nykh gruppakh* [Russian Language of Everyday Communication: Features of Functioning in Different Social Groups]. Saint Petersburg: Layka.

12. Demeshkina, T.A. & Tolstova, M.A. (2017) Gender dialectology and dictionaries as its source. *Voprosy leksikografii – Russian Journal of Lexicography*. 12. pp. 83–105. (In Russian). DOI: 10.17223/22274200/12/5
13. Kavinkina, I.N. (2006) *Proyavlenie gendera v rechevom povedenii nositeley russkogo jazyka* [The manifestation of gender in the speech behavior of Russian speakers]. [Online] Available from: http://ebooks.grsu.by/kavinkina_gender. (Accessed: 28.02.2019).
14. Myznikov, S.A. (2005) *Russkie govory Srednego Povolzh'ya: Chuvashskaya Respublika, Respublika Mariy El* [Russian Dialects of the Middle Volga Region: Chuvash Republic, Mari El Republic]. Saint Petersburg: Nauka.
15. Kirilina, A.V. (2002) *Vozmozhnosti genderного подхода в антропоориентированном изучении языка и коммуникации* [Possibilities of a Gender Approach in Anthropo-Oriented Learning of Language and Communication]. [Online] Available from: <http://www.gendercent.ryazan.ru/kirilina1.htm>. (Accessed: 09.03.2019).

УДК 811.511.2 : 801.612.2
DOI: 10.17223/19986645/66/8

Ю.В. Норманская

**КАК МЕНЯЛАСЬ ДИАЛЕКТНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
СЕЛЬКУПСКОГО ГОВОРА С. ИВАНКИНО
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА В XX в.¹**

Проанализирован текст книги св. Макария (Невского) «Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии обских осяков», 1900 г., созданной на основании диалекта селькупского языка с. Иванкино Томской губернии, по 11 диалектно-классифицирующим признакам и выполнено сравнение с архивными данными, записанными в этом селе в XX в. Показано, что в 1900 г. в иванкинском диалекте прослеживались три южных селькупских инновационных изоглоссы. Во второй половине XX в. иванкинский говор уже определяется как «центральный» селькупский.

Ключевые слова: архивные данные, полевые данные, селькупский язык, селькупские диалекты, сравнительно-историческое языкознание.

На XIX–XX вв. ряд работ лингвистов был посвящен классификации диалектов селькупского языка [1–10].

В классификации Е.А. Хелимского, одной из наиболее эксплицитно обоснованных, выделено шесть основных диалектов: 1) северный (реки Таз, Пур, Карасина, Турухан, Баиха и Елогуй); 2) тымский; 3) нарымский (р. Обь в районе сс. Нарым, Васюган, Парабель); 4) кетский; 5) обский (р. Обь в районе г. Колпашево); 6) крайне южный (ныне фактически исчез; чулымский, чаинский). По мнению Е.А. Хелимского, некоторые говоры на р. Обь между с. Нарым и г. Колпашево (нарымско-обские) и на Нижней Кети (кетско-обские) носят переходный (отчасти смешанный) характер и недостаточно изучены [8. С. 24–25]. В качестве иллюстрации этого факта можно указать, что по классификации разных исследователей они могут относиться как к центральным [7], так и к южным диалектам [11].

Вероятно, это связано с тем, что в XX в. было очень мало материалов, доступных исследователям иванкинского, или шёшкупского, по терминологии А.П. Дульзона, диалекта, распространенного в населенных пунктах Басмасово, Иванкино, Мумышево, Тайзаково на Оби выше Нарыма [4. S. 35–43]. Как показано в работе [12. С. 69–70], для северного, обского, нарымского, кетского диалектов есть достаточно надежные диалектные словарные списки, начиная с XVIII в., а по иванкинскому диалекту селькупского языка наиболее ранние записи (парадигмы отдельных слов) принадлежали А.И. Кузьминой и были сделаны в 1968 г., (ср. [7. S. 92]). На основании этих данных Х. Катц относит

¹ Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-18-00403 «Цифровое описание уральских языков на основе больших данных».

иванкинский диалект к группе центральных селькупских диалектов («Mittel-Selkupisch»). В качестве основных диалектных признаков этой группы, которые представлены в иванкинском диалекте, он называет:

1) сохранение противопоставления ПСельк.¹ *s vs *š > š (признак центральных диалектов), тогда как в южных диалектах еще в XVIII в. ПСельк. *s vs *š совпадают и становятся s [12. С. 71];

2) Отражение ПСельк. *č > t'. Этот признак не является вполне надежным для классификации южных и центральных диалектов, потому что, как показано в [Там же. С. 74], в южных, в частности кетских, диалектах еще в XVIII в. присутствовала рефлексация как č (рукописи Ф. Желтухина и Г.Ф. Миллера), так и t' [14. С. 300–358].

3) *i > e, *u > o, *ü > ö, *e > *ä > a в первом слоге. Эти признаки не были приняты в качестве диалектно-классифицирующих в [12. С. 70–77]. Как показано в [15. С. 318–358], переход ПСельк. *i > e, ПСельк. *e (> таз. e) и *æ (> таз. e) > a² свойствен как центральным, так и южным диалектам в XIX–XXI вв. Развитие ПСельк. *u > o, ПСельк. *ü > ö, наоборот, не является характерным признаком ни для центральных, ни для южных диалектов.

Таким образом, Х. Катц отметил лишь один надежный критерий, указывающий на принадлежность иванкинского диалекта к центральной группе селькупских диалектов. Но поскольку он был предложен на очень ограниченном количестве слов, то при публикации новых архивных источников выяснилось, что и этот критерий соблюдается не вполне четко.

В 2017 г. нам был передан архивный словарь иванкинского диалекта, записанный А.И. Кузьминой от Ф.Ф. Тобольгиной в с. Тогур в конце 1960-х – начале 1970-х гг., и аудиозаписи этого говора, записанные в новосибирской Лаборатории фонетических исследований Института филологии СО РАН. В настоящее время эти материалы доступны онлайн [16–18].

Из них следует, что в говоре Ф.Ф. Тобольгиной в большинстве случаев ПСельк. *š > иванк. š, но есть и примеры развития в иванк. s:

данные аудиословаря:

ſe: ‘язык’ – таз. ſē ‘язык (во рту)’;

vassetiku ‘подняться’ – таз. węſćiqo;

аналогичные примеры есть и в рукописном словаре А. И. Кузьминой:

иъ'däki, iши'däkij ‘вдвоём (мы)’ – таз. ſittıl'a ~ ſittıl'al' ~ ſittıl’;

ише:ргу ‘войти’ – таз. ſērqa;

иүн'дэқын ‘внутрь’ – таз. ſün'cij;

'шаккä'гу ‘заночевать’ – таз. ſääqqiqo;

'ши:реишъгу ‘заходить’ – таз. ſērijsqo;

иът, шэт, шет, шит ‘два’ – таз. ſittı;

¹ Характеристики диалектов представлены с привлечением дополнительной информации об общеселькупской реконструкции по [13], которая еще не была доступна Х. Катцу в 1979 г.

² Развитие ПСельк. *e (по реконструкции Я. Алатало [13], которое переходит в таз. e) > a не отмечено ни в южных, ни в центральных говорах.

шэм'ку ‘будить’ – таз. *šittiqo*;
'cö:Golzy, *'cö:Yılzı*, *'cö:kyılzı* ‘выскести’, *'cö:Yolbı* ‘выскобленный’,
'cö:Gelzy ‘выскоблить’ – таз. *šıqqılqo*;
me'jısalgu, *me'şalgu* ‘дернуть’ – таз. *mişalqo*;
va'жсан(ъ) ‘вставать’ – таз. *węśicıqo*;
mőjsegü ‘варить’ – таз. *tuşıqo*.
ПСельк. *ć, действительно, и в словаре А. И. Кузьминой переходит в *t*:
t'ě:l, *t'ě:lla*, *t'ě:lla* ‘день, солнце’ – таз. *cēli*
m'y:rgu ‘заплакать’ – таз. *cırıqo*
m'y:, m'y:la ‘глина’ – таз. *ci*
'a:ld'ıgu ‘выпасть’ – таз. *al'cıqo*
ıyün'd'en ‘внутри’ – таз. *şın'cıj*

Материалы К. Доннера из поездки 1911 г. по Верхней Оби, введенные в научный оборот Я. Алатало, ср. [13], показывают, что в начале XX в. рефлексация в иванкинском диалекте была двоякой как для *ś, так и для *ć. Иногда эти различия проявлялись даже в одной и той же лексеме у разных информантов: ср. *sğı̄är* ‘окно’ < *sūcər [Ibid. Р. 364] vs. *šē* ‘язык’ < *še [Ibidem]; *чъıqär/tıgıyr* ‘жеребенок’ < *cıkär [Ibidem]. Но количество примеров иванкинского диалекта с рефлексами ПСельк. *ś, *ć незначительно, поэтому они не позволяют получить достаточно полную информацию о классификационно важной черте иванкинского диалекта в начале XX в.

По данным «Селькупско-русского диалектного словаря» [19] и картотеки архива А.П. Дульзона, в которой указаны названия населенных пунктов, где жили носители того или иного говора, в диалекте обских шёшкупов представлена только рефлексация ПСельк. *ś > š, совпадающая с центральными селькупскими говорами, и переход *ć > t', характерный во времена А.П. Дульзона (1960–1970-е гг.) как для южных диалектов (в качестве основной рефлексации), так и для центральных (с. Тюхтерево, Напас) в качестве факультативной, см. подробный анализ в [10. С. 34–56].

Итак, обзор источников материала по иванкинскому диалекту показывает, что авторы выделяли в качестве основного диалектно-дифференцирующего признака переход ПСельк. *ś > š, который характерен для центральных диалектов и имел место в говорах иванкинского диалекта. При этом в материалах К. Доннера (1911 г.), записях А.И. Кузьминой (конец 1960-х – начало 1970-х гг.) присутствует и рефлексация *ś > s, характерная для южной группы и считавшаяся инновационной, которая исчезает в несколько более поздних записях А.П. Дульзона и его учеников (1960–1990-е гг.). Как объяснить тот факт, что инновационная рефлексация со временем исчезает? Это выглядит достаточно загадочным, а с учетом того, что этот критерий Е.А. Хелимский выделяет особо, называя данное соответствие четким, и по существующим описаниям оно является единственным значимым для классификации иванкинского диалекта [Там же. С. 39; 7. S. 92], необходим более полный анализ этой ситуации.

Он становится возможен только с привлечением нового достаточно большого и наиболее раннего источника по иванкинскому говору. Этот

источник – книга св. Макария (Невского) «Беседы об истинном Боге и истиной вере на наречии обских остыков» – был известен и ранее. Первым его издал с подробными комментариями Х. Катц [7]. Однако в монографии Х. Катца не был проведен последовательный графико-фонетический и морфологический анализ текста, который значительно отличается от центральных и южных диалектов, записанных позже на 60–70 лет А.И. Кузьминой и А.П. Дульзоном. Поэтому Х. Катц затруднялся в определении его диалектной принадлежности, отмечая, что это идиом промежуточный между южными и центральными диалектами [Ibid. S. 10–13]. Е.А. Хелимский упоминает материалы св. Макария как «среднеобские селькупские религиозные тексты» [20. Р. 13]. С. В. Ковылин нашел информацию про носителей языка, с которыми работал св. Макарий при создании книги «Беседы об истинном Боге и истиной вере на наречии обских остыков». «В составлении текстов приняли участие два информанта: Роман Сергеевич Тобольгин и Никифор Максимович Тобольгин. Р.С. Тобольгин родился в Иготкино – 12 км от Иванкино. Переехал в Иванкино в 1917 г. На момент записи данной информации А.П. Дульзоном в 1952 г. Р.С. Тобольжину было 77 лет (примерно 1875 г. рождения). По словам Р.С. Тобольжина, когда ему было 22 года (примерно в 1897 г.), он и Никифор Максимович Тобольгин ездили в Томск к архиерею переводить священное писание» [21. С. 131]. Далее в архиве представлена не совсем согласованная запись: «Говорит… потом 18 дней были о. Макарий епископ. Второй раз ездил по этому же делу за Новосибирск в Берск¹. 15 дней были там. Епископ жил у Горохова – это буржуй был» [Там же]. Эти данные подтверждаются другим источником. Согласно отчету Томского комитета Православного миссионерского общества за 1900 г. для инородцев Нарымского края епископом Макарием были составлены и изданы «Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии обских остыков». Беседы эти составляют первый опыт изложения христианского вероучения на языке нарымских остыков. При их составлении принимали участие специально вызванные в Томск инородцы Парабельской волости Никифор и Роман Тобольжини. Там же сказано, что «двум инородцам Нарымского края Никифору и Роману Тобольжину за участие в миссионерских переводах и на проезд до места жительства было выделено 45 р.» [Там же. С. 132]. Таким образом, на основании сведений о месте рождения информантов св. Макария можно сделать вывод, что текст, как и указывал Е.А. Хелимский, составлен на иванкинском (обском) диалекте.

Этот текст был отглоссирован С.В. Ковылиным [22]. Его конкорданс также доступен онлайн [23].

Ниже мы проанализируем текст книги св. Макария «Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии обских остыков» по 11 фонетическим диалектно-классифицирующим признакам, которые выделяет Е.А. Хелимский в [12. С. 69–76], и сравним эти данные с материалами картотеки А.П. Дульзона (1960–1990-е гг.) из села Иванкино:

¹ Имеется в виду Бердск.

1. Согласно первому диалектно-дифференциирующему признаку в диалектах селькупского языка для обширного класса основ и грамматических формантов с носовыми и смычными согласными в ауслауте установлены следующие соответствия: С *-m/-p* (~ *-0*), *-n/-t* (~*0*), *-ŋ/-k* (~*0*); Ц *-p*, *-t*, *-k*; Ю *-m*, *-n*, *-ŋ*, например: С, Ц *суруп* ~ Ю *сурум* ‘зверь’, С Ц *куп* ~ Ю *кум* ‘человек’.

Как показал С. В. Ковылин в статье, посвященной именной морфологии книги св. Макария «Беседы об истинном Боге и истиной вере на наречии обских остыков» [22], в ней сохраняется архаичное употребление *-m*, *-n*, *-ŋ* в соответствии с другими самодийскими языками, свойственное и южным селькупским диалектам. В диссертации Г.П. Поздеевой показано, что по картотеке А.П. Дульзона в диалекте с. Иванкино зафиксирован ряд согласных, характерных для центральных селькупских диалектов: *суруп* ‘зверь’; *мат* ‘я’; *кан* ‘кровь’; *куп* ‘человек’; *канак* ‘собака’.

Итак, становится ясно, что переход *-m > -p*, *-n > -t*, *-ŋ > -k* произошел в иванкинском диалекте в период с 1900 по 1960 г., а во времена св. Макария в иванкинском говоре была **архаическая рефлексация**, совпадавшая с праселькупской.

2. Второй диалектно-дифференциирующий признак выражается в рефлексах интервокального *-ŋ-, которые соотносятся следующим образом: С *-ŋ-*, Ц *-ŋ-* (или *-w-*), Ю *-0-*. С этой точки зрения в книге св. Макария представлена южная рефлексация *ŋ > 0*: Мак. *сакку-ли*‘пробовать-IMP.2DU’ – таз. *saŋqo*. Как показано в [10. С. 38], в иванкинском диалекте по картотеке А.П. Дульзона представлена как южная, так и центральная рефлексация: *паы*, *пао*, *пай*. С учетом того, что архаическая рефлексация ПС *-ŋ- представлена в северных селькупских диалектах, а в южных произошел переход *-ŋ- > -0-, по этому признаку можно судить, что в иванкинском диалекте в 1900 г. была представлена **южная инновация**, которая начиная с 1960-х гг. стала заменяться центральной.

3. Рефлексы интервокального *-m- по традиционной системе следующие: С *-m-*, Ц, Ю *-w-* (иногда с дальнейшим стяжением).

В книге св. Макария ожидаемым образом представлены рефлексы, характерные для южных и центральных диалектов:

Мак. *аульджиккё-т* ‘забывать-IMP.2SG.ob’, *аулджи-мб-ат* ‘забыть-PSTN-3PL’ – таз. *emiltiqo*;

Мак. *аву-т* ‘мать-POSS.3SG’ – таз. *əmj*, *ämä-*;

Мак. *авыкв-али* ‘есть-IMP.2DU’ – таз. *amırqo*.

Как показано в [Там же. С. 39], в иванкинском диалекте по картотеке А.П. Дульзона также представлена рефлексация *-w-* (< *-m-) *täva*. Поскольку в этом случае рефлексация в центральных и южных диалектах совпадает, то данный признак не является релевантным для классификации иванкинского диалекта.

4. Критерий, который уже упоминался выше, это соответствие С Ц *ś* – Ю *s*, связанное с переходом *ś > s в южных диалектах. Полный анализ материала книги св. Макария показывает, что в говоре, который лег в основу этой книги, присутствовала как южная, так и центральная рефлексация:

ś, как в центральных диалектах:

Мак. *ише-гыды* ‘язык- CAR.ADJz’ – таз. *šē*;

Мак. *шанда* ‘новый’ – таз. *šentij* ~ *šentil'*;

Мак. *шидо* ‘два’ – таз. *šittil'a* ~ *šittil'al'* ~ *šittil'*;

Мак. *кувшиие, квошие, квошиы* ‘быть голодным’ – таз. *qēšjо*;

Мак. *нуниуне-нт* ‘небо-LAT’ – таз. *nūt šün'cj* ~ *nūššün'cj*, *nomtij šün'ci*;

Мак. *шер-быты* ‘опьянять-PST.PTCP’ – таз. *šērqо*;

Мак. *важы-к* ‘Встань!’ – таз. *wēšjо*;

Мак. *кушай* ‘сколько’ – таз. *kušsal'*;

дублеты ś/s:

Мак.обск. *соршу* ‘стыдиться’, НО *иориуку-мб-акы* ‘стыдиться-PSTN-3DU.sub’ – таз. *šorjšjо* ~ *sorjšjо*;

s, как в южных диалектах:

Мак. *кыскасеи* ‘звезда’ – таз. *qışqä*;

Мак. *mac* ‘тебя’ – таз. *taşinti*;

Мак. *ac, az* ‘также’ – таз. *aşşa* ~ *aşa* ~ *aşa*;

Мак. *массым* ‘меня’ – таз. *maşım*;

Мак. *тестыт* ‘vas’ – таз. *teşintit*.

Важно, что как было сказано выше и подробно рассмотрено в [10. С. 39–42], в материалах картотеки А.П. Дульзона в иванкинских и в южном среднекетском диалекте (с. Усть-Озерное) представлена только рефлексация *ś*, который, как считалось ранее, характеризует только центральные диалекты селькупского языка.

В южных диалектах селькупского языка в записях Г.Ф. Миллера в XVIII в. всегда представлен переход *ś > s*, ср. [12. С. 71–72]. В словаре П.С. Палласа [24] в южных диалектах кетском и томском тоже представлен переход *ś > s*:

томск. *Сье*, нарым. *Ше*, кет. *Cе*, тим. *Ше*, карасин. *Шель* ‘язык’;

томск. *Кыссинга*, нарым. *Кышека*, кет. *Кысангка*, тим. *Кишека* ‘звезда’;

томск. *Сакъ*, нарым. *Шакъ*, кет. *Caакъ*, тим. *Шаакъ*, карасин. *Шеакъ* ‘соль’;

В словаре кетского диалекта селькупского языка, составленном Ю. Клапротом в 1823 г. [25], уже присутствует двойная рефлексация:

**ś > ś [sch]*, характерная для центральных диалектов: кет. *schidde* ‘два’ – таз. *šittij*, кет. *schérba* ‘быть пьяным’ – таз. *šēr-*, кет. *koéschak* ‘голодный’ – таз. *qēšjо*;

**ś > s*, характерная для южных диалектов: кет. *sâk* ‘соль’ – таз. *šäq* (*šäqi*), кет. *tísse* ‘стрела’ – таз. *tjëša*; кет. *se* ‘язык’ – таз. *šē*, кет. *kÿssangka* – таз. *qışqä*.

В чаинском, крайне южном диалекте, который, вероятно, лег в основу книг Н.П. Григоровского, присутствует только южная рефлексация ПСельк. **ś > s* в более чем 50 лексемах с ПСельк. **ś*, см. их перечень в [26].

Таким образом, видно, что в южных селькупских диалектах действительно произошел переход ПСельк. **ś > s*, который имел место и иванкинском диалекте (ср. материал книги св. Макария и К. Доннера в словаре [13]), но

позже в южных диалектах, граничащих с центральными, в первую очередь в иванкинском, в меньшей степени в кетском, уже в XIX в. начался обратный переход $s > \dot{s}$. Поэтому тот факт, что в материалах А.И. Кузьминой и особенно А.П. Дульзона в иванкинском диалекте представлено \dot{s} на месте ПСельк. $*\dot{s}$, не свидетельствует о том, что иванкинский диалект изначально принадлежал к центральной группе, а просто указывает, что по этому признаку «перестройка» диалекта в центральные уже закончилась. Но данные книги св. Макария дают надежное свидетельство того, что изначально иванкинский диалект был **южным**, поскольку для него была характерна южная инновационная черта – развитие ПСельк. $*\dot{s} > s$. Это подтверждает и развитие интервокального $*-y-$, описанное выше.

Ниже мы пропускаем диагностические черты 5–7, выделенные в [12. С. 72–73], потому что 5-я черта описывает особенности нарымского диалекта, 7-я – кетского, а 6-я основывается на словах, которые в книге св. Макария не зафиксированы.

8. В [Там же. С. 73–74] указывается, что соответствие С *t p k q; І, Ю d b g g* в интервокальном положении может быть сочтено диалектно-дифференцирующим признаком с большими оговорками. В источниках XVIII в., рассмотренных в [Там же], эта закономерность имеет достаточно много отклонений. Как показывает анализ материалов в [18], количество отклонений в конце XVIII в. становится еще большим, ср., например:

томск. *Тыбалъ*, нарым. *Тибебъ*, кет. *Типти*, тим. *Тиббо* ‘муж’ (в этих примерах глухой согласный присутствует только в южном кетском диалекте);

томск. *Тоболъ*, нарым. *Tano*, кет. *Tano*, тим. *Tano* ‘нога’ (здесь звонкий согласный представлен только в южном томском говоре, в остальных диалектах зафиксирован глухой, хотя по правилу ожидался бы звонкий согласный).

У Ю. Клапрота (1823 г., словари представлены на lingvodoc.ispras.ru), наборот, нет ни одного примера перехода ПСельк. $*p > b$ в интервокале, но изменение ПСельк. $*t > d$ представлено в южных и центральных диалектах, а в карасинском северном, как и ожидалось бы по правилу, таких примеров нет. ПСельк. $*k > g$ встречается достаточно регулярно как в южных и центральных диалектах, так и в *g/h* в карасинском (северном).

В книге св. Макария наблюдается прямо обратная ситуация: нет ни одной лексемы, чтобы ПСельк. $*k > g$ в интервокале без колебаний с *k*, но есть несколько лексем, в которых зафиксирован переход $*t > d$, $*p > b$ (без вариантов с *m, n*) в интервокале, ср., например: ўðуку ‘отпустить, послать’ – таз. *йтqo*; тыбикум ‘мужчина’ – таз. *tipil' qum*.

Но есть и ряд случаев, когда колебания наблюдаются даже при употреблении одной и той же словоформы, ср., например: *куты, куды* ‘кто’ – таз. *kuti*; *накур, нагур* ‘три’ – таз. *nɔkjr*; *татык, тадык* ‘правый’ – таз. *tɔtjk*; *лытай, лыбай* ‘темный’ – таз. *lɔpi(k)l*’).

Таким образом, становится ясно, что эту особенность для XIX в. уже нельзя рассматривать как диалектно-классифицирующую.

9. Как отмечает Е.А. Хелимский в [12. С. 74], критерий Ю *ि* – С Ц *é* не является достаточно четким, потому что в материалах XVIII в. есть примеры, когда в южных диалектах употребляется *é* (у Г.Ф. Миллера, Ф. Желтухина), а в северных в качестве дублета встречается *ি* (у М.А. Кастрена, Ф. Желтухина).

Отклонения от предложенной закономерности наблюдаются и в [24], ср., например, томск. *Тъль*, нарым. *Чель*, кет. *Чель*, тим. *Чель*, карасин. *Тълдь* ‘день’, где в южном кетском диалекте представлен рефлекс *ч-*, а в северном карасинском *т'-*.

На то, что в части всех говоров и в XX в. встречалось «свободное варьирование» этих рефлексов, указывалось в [7]. При этом любопытно, что, как показано в [10. С. 49–51], в картотеке архива А.П. Дульзона указанная закономерность соблюдается достаточно последовательно, и в диалекте с. Иванкино представлена южная рефлексация *т'*, ср., например, *т' ѹ* ‘глина’, *т'елт* ‘солнце, день’. Аналогичная рефлексация зафиксирована и в словаре говора тогурского говора иванкинского диалекта [16], созданного А.И. Кузьминой.

В книге св. Макария, наоборот, в подавляющем большинстве случаев встречается рефлексация *ч/дж*, приведем несколько примеров: Мак. *аль-джи* ‘id.’, *алчы-мб-а* ‘упасть-PSTN-3SG.sub’ – таз. *al'cigo*; Мак. *куэчымб* ‘оставить-PSTN’ – таз. *qēcīgo* ‘оставить’; Мак. *сельджи* ‘семь’ – таз. *sēl'cj* ~ *sel'cj* ‘семь’. Есть несколько случаев, где рефлексация *ч/дж/т'* встречается в качестве дублетов: Мак. *вачы* ‘мясо; плоть, тело’, *вади-н* ‘тело-GEN’ – таз. *wēcīj*; *нельди* / *нельджи* / *нейлдчи* / *нельдин* ‘такой’ – таз. *njl'cj*.

Таким образом, можно сделать вывод, что переход *é > ி* в иванкинском диалекте произошел уже в XX в. и не является диагностической чертой, указывающей на изначальную принадлежность его к южным диалектам.

10. В [12. С. 74–75] указывается, что признак Ю *-j*; Ц *-l/-l'*; С *-l'* не представляется надежным, поскольку в большинстве говоров XX в. установлены многочисленные отклонения, ср. [7. С. 85]. Но Е.А. Хелимский отмечает, что в ранних записях это распределение прослеживается достаточно четко. Интересно, что в книгах Н.П. Григоровского также стандартным рефлексом С *-l'* является *-j*, см. [26].

Переход *-l' > -j* в большинстве случаев характеризует и диалект книги св. Макария: *куш(ш)ай* ‘сколько?’ – таз. *kuššāl'*, *нашакый* ‘тогдашний’ – таз. *našāqil'*, *амдыкой* ‘царский’ – таз. *əmtjil'qōl'*, *ay.плей* ‘находящийся на другой стороне’ – *ətjil'peläl'*. В одном слове представлены дублетные формы *Нүй*, *Нул* ‘божий’ – таз. *nūl'*.

В материалах А.П. Дульзона в диалекте с. Иванкино встречаются примеры как на *-й*, так и на *-л*, примерно в равной пропорции, зафиксированы и дублеты *карлай ~ карлал* ‘косматый’ [10. С. 34–56].

Представляется, что рефлексация *-l' > -j* в диалекте книги св. Макария отражает **южную инновационную черту**, и это еще один важный признак для отнесения иванкинского диалекта к южной группе.

11. Как указывается в [12. С. 75], расширение праселькупских гласных $*i > e$, $*u > o$, $*\bar{u} > \bar{o}$, $*i > \dot{e}$, $*\dot{e} > *\ddot{a} > a$ имело место в разной степени во всех южных и центральных селькупских диалектах между серединой XVIII и началом XIX в.

Как показано в [15. С. 318–358], в диалектах книги св. Макария и Н.П. Григоровского, действительно, также были зафиксированы переходы ПСельк. $*i > e$, ПСельк. $*\dot{e} (> \text{таз. } \dot{e})$ и $*\alpha (> \text{таз. } e) > a$, характерные и для современных южных и центральных диалектов. Можно отметить еще одну общую южную и центральную инновацию, которая отразилась и в диалекте книги св. Макария: $*\ddot{a}$ и $*a$ совпали в a , в отличие от тазовского (северного) диалекта, где их различие сохраняется. Особеностей в системе гласных, которые позволяли бы отнести диалект книги св. Макария к южным или центральным диалектам, не выявлено.

Подводя итоги рассмотрения текста книги св. Макария по 11 диалектно-классифицирующим признакам и сравнению с архивными данными, записанными А.И. Кузьминой, А.П. Дульзоном и его учениками, можно сделать вывод, что в 1900 г. в иванкинском диалекте прослеживались три южных инновационных изоглоссы:

ПСельк. $*-\eta- > 0$, ПСельк. $*\acute{s} > s$, ПСельк. $*-l' > -j$. В диалекте книги св. Макария нами не было выявлено ни одной центральноселькупской инновационной диалектной черты. Поэтому можно предполагать, что диалект с. Иванкино в XIX в. относился к южным. Как показано в диссертации Г.П. Поздеевой [10. С. 34–56], по данным архива А.П. Дульзона, во второй половине XX в. в диалекте с. Иванкино происходит ряд процессов, характерных для центральных говоров: фактически был завершен переход 1) $s (< *\acute{s}) > \check{s}$, начались процессы изменений 2) $-m > -p$, $-n > -t$, $-\eta > -k$; 3) $0 (< *\eta) > \gamma$, 3) $-j (< *-l') > -l$. На основании этого в [7] иванкинский говор начала второй половины XX в. уже определяется как «центральный».

В статье [27] приведены интересные данные по фонетике топонимов с. Иванкино. Видно, что в топонимах присутствуют как южные, так и центральные черты, но в разной степени: переход $-\eta > -k$ фактически уже завершен, $-n > -t$ прошел примерно на 78% слов, $-m > -p$ еще не был отмечен, $-j > -l$ прошел в 58 % случаев. В настоящий момент уже нет носителей иванкинского говора селькупского языка, которые бы говорили на нем с детства¹, поэтому мы не можем наблюдать завершение процессов полного перехода южноселькупского иванкинского диалекта в центральную группу. В связи с этим ранее иванкинский диалект относили к особой промежуточной группе. Лишь привлечение данных книги св. Макария (Невского) «Беседы об истинном Боге и истиной вере на наречии обских осяков» позволило установить, что в XIX в. в с. Иванкино был представлен южный селькупский диалект. Интересно, что в рассматриваемом диалекте почти полное изменение всех классификационных черт заняло 70 лет.

¹ Н.П. Ижембина, родители которой владели иванкинским диалектом, выучила его в сознательном возрасте после окончания института.

Сокращения

Языки и диалекты

иранк. – иванкинский диалект селькупского языка
 карасин. – карасинский диалект селькупского языка
 кет. – кетский диалект селькупского языка
 Мак. – диалект книги св. Макария «Беседы об истинном Боге и истиной вере на наречии обских остыков»
 нарым. – нарымский диалект селькупского языка
 ПСельк. – праселькупский язык
 С – северные диалекты селькупского языка
 таз. – тазовский диалект селькупского языка
 тим. – тимский диалект селькупского языка
 томск. – томский диалект селькупского языка
 Ц – центральные диалекты селькупского языка
 Ю – южные диалекты селькупского языка

Общие

ADJz – адъективизатор
 CAR – каритив
 DU – двойственное число
 IMP – повелительное наклонение
 LAT – латив
 ob – объектное спряжение
 POSS – possessivность
 PL – множественное число
 PST – прошедшее время
 PSTN – прошедшее повествовательное
 PTCP – причастие
 SG – единственное число
 sub – субъектное спряжение

Литература

1. Castren M.A. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. St.-Petersburg : Büchdrückerei der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, 1855. 404 s.
2. Прокофьев Г.Н. Селькупский (остяко-самоедский) язык. Л. : Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1935. Ч. 1: Селькупская грамматика. 131 с.
3. Hajdu P. Chrestomathia Samoiedica. Budapest : Tanko nyvkiad, 1968. 239 s.
4. Dulson A. Über die räumliche Gliederung des Sölkupischen in ihrem Verhältnis zu den alten Volkstumsgruppen // Sowjetische Finnisch-ugrische sprachwissenschaftl kirjastus «Periodika». 1971. № 7. S. 35–41.
5. Janurik T. Kriterien zur Klassifizierung der Dialekte der samojedischen Sprachen // Diialectologia Uralica. Wiesbaden, 1985. S. 283–301.
6. Морев Ю.А. К соотношению глухости – звонкости и долготы – краткости шумных согласных в селькупском языке // Языки и топонимия. 1978. Вып. 6. С. 3–14.
7. Katz H. Selkupische Quellen. Ein Lesebuch. Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1979. 232 s.
8. Хелимский Е.А. К исторической диалектологии селькупского языка // Лексика и грамматика языков Сибири. Барнаул, 1985. С. 42–58.

9. Беккер Э.Г. Категория падежа в селькупском языке. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1978. 208 с.
10. Поздеева Г.П. Особенности числового согласования в диалектах селькупского языка : дис. ... канд. филол. наук. М., 2015. 280 с.
11. Глушков С.В. Длительность гласных и согласных в диалектах селькупского языка : дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. 188 с.
12. Хелимский Е.А. Компаративистика, уралистика: лекции и статьи. М. : Языки славянских культур, 2000. 640 с.
13. *Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Donner K., Sirelius U. T. und Alatalo J. / Zusammengestellt und hrsg. von Alatalo J.* Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 2004. 465 p.
14. Castrén M.A., Lehtisalo T. Samojedische Sprachmaterialien. Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 1960. 463 p.
15. Норманская Ю.В. Реконструкция прауральского разноместного ударения и его влияние на развитие вокализма. М. : Языки народов мира, 2018. 640 с.
16. Словарь тогурского говора средне-обского диалекта селькупского языка, записанный от Ф.Ф. Тобольгиной). URL: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1733/6/perspective/1733/7/view?page=1> (дата обращения: 06.05.2020).
17. Аудиословарь тогурского говора средне-обского диалекта селькупского языка, собранный в 1970-х годах от Ф.Ф. Тобольгиной. URL: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/480/4/perspective/480/5/view> (дата обращения: 06.05.2020).
18. Аудиословарь тогурского говора средне-обского диалекта селькупского языка, собранный в 2018 г. от Н.П. Ижембиной. URL: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1782/6/perspective/1782/7/view>, (дата обращения: 06.05.2020).
19. Быкonia В.В., Кузнецова Н.Г., Максимова Н.П. Селькупско-русский диалектный словарь / ред. В.В. Быкonia. Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2005. 348 с.
20. Helimski E. Language of the first Selkup book. Szeged : Attila József University, 1983. 268 р.
21. Ковылин С.В. «Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии обских остяков» (1900) епископа Макария: именная морфология // Урало-алтайские исследования. 2018. № 4, вып. 31. С. 130–156.
22. Ковылин С.В. Глоссированный корпус книги епископ Макарий «Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии обских остяков», 1900. URL: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/106079/perspective/1606/106082/view> (дата обращения: 06.05.2020).
23. Ковылин С.В. Словарь книги епископ Макарий «Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии обских остяков», 1900. URL: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/115150/perspective/1606/115151/view> (дата обращения 06.05.2020).
24. Паллас П.С. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницей всевысочайшей особы : в 2 т. СПб., 1787–1789. 240 с.
25. Словарь кетского диалекта селькупского языка, собранный Ю. Клапротом в 1823 году. URL: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1393/39812/perspective/1393/39813/view>, (дата обращения: 06.05.2020).
26. Ковылин С.В. Словарь книг Н.П. Григоровского «Объяснение праздников святой церкви на осяко-самоедском языке», 1879 и «Священная история на осяко-самоедском языке», 1879. URL: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/74983/perspective/1606/74984/view?page=1> (дата обращения: 06.05.2020).
27. Ковылин С.В., Сайнакова Н.В. О специфике среднеобского диалекта и выявление границ расселения диалектно-локальной группы шёшкумов / шёшкупов по данным топонимики // Урало-алтайские исследования. 2017. № 1, т. 24. С. 19–34.

How the Dialect Affiliation of the Selkup Dialect of Ivankino Village, Kolpashevo District, Changed in the 20th Century

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 144–157. DOI: 10.17223/19986645/66/8

Julia V. Normanskaja, Ivannikov Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation), Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: julianor@mail.ru

Keywords: archival data, field data, Selkup language, dialects, comparative historical linguistics.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 20-18-00403.

The article aims to analyse the text of the book *Conversations About the True God and True Faith in the Dialect of the Ob Ostyaks* (1900) by St. Macarius (Nevsky). S.V. Kovylin found information about the native speakers St. Macarius had worked with. They were Roman S. Tobol'zhin and Nikifor M. Tobol'zhin. Roman Tobol'zhin was born in the Igotkino village, located 12 km away from Ivankino, and moved to Ivankino in 1917. Thus, this book is the earliest text created in the Middle Ob dialect. The author analysed the text of the book by 11 dialect-classifying features and compared it with archival data recorded by A.I. Kuzmina, A.P. Dulzon and his students collected in the second half of the 20th century. Kovylin created a glossed corpus of St. Macarius's book and its concordance. The comprehensive analysis by 11 dialect features of the concordance, A.I. Kuzmina's dictionary, and archival data on the Ivankino dialect, collected by Dulzon and his students and published by V.V. Bykonya, showed that, in 1900, the Ivankino dialect had three southern innovative isoglosses: proto-Selkup *-ŋ- > 0, proto-Selkup *š > s, proto-Selkup *-l' > -j. The dialect of St. Macarius's book has no Central Selkup innovative dialect features. Therefore, we can assume that the Ivankino dialect belonged to the southern group of Selkup dialects in the 19th century. According to Dulzon's archives, in the second half of the 20th century, the Ivankino dialect had a number of features of a central dialect: the change s (< *š) > š was actually completed; the changes -m > -p, -n > -t, -ŋ > -k, 0 (< *ŋ) > γ, -j (< *-l') > -l began. So, the Ivankino dialect of the beginning of the second half of the 20th century can already be classified as central. As the analysis shows, the dialect's change from southern to central under the influence of the neighbouring dialects was almost completed in the second half of the 20th century. The change took about 70 years, and only the analysis of the data from St. Macarius's book allows clarifying that, in the 19th century, the Ivankino village spoke a southern Selkup dialect.

References

1. Castren, M.A. (1855) *Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen*. Saint Petersburg: Büchdrückerei der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften.
2. Prokof'ev, G.N. (1935) *Sel'kupskiy (ostyako-samoedskiy) yazyk* [Selkup (Ostyak-Samoyed) Language]. Pt. 1. Leningrad: Izdatel'stvo instituta narodov Severa TsIK SSSR.
3. Hajdu, P. (1968) *Chrestomathia Samoiedica*. Budapest: Tanko nyvkiad.
4. Dulson, A. (1971) Über die räumliche Gliederung des Sölkupischen in ihrem Verhältnis zu den alten Volkstumsgruppen. *Sowjetische Finnisch-ugrische sprachwissenschaftl kirjastus "Periodika"*. 7. pp. 35–41.
5. Janurik, T. (1985) Kriterien zur Klassifizierung der Dialekte der samojedischen Sprachen. *Dialectologia Uralica*. Proceedings of the International Conference. Hamburg. 4–7 September 1984. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. pp. 283–301.
6. Morev, Yu.A. (1978) K sootnosheniyu glukhosti-zvonkosti i dolgoty-kratkosti shumnykh soglasnykh v sel'kupskom yazyke [On the ratio of voicelessness-voicedness and longitude-brevity of obstruents in the Selkup language]. *Yazyki i toponimiya*. 6. pp. 3–14.

7. Katz, H. (1979) *Selkupische Quellen. Ein Lesebuch.* Wien: Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs.
8. Khelimskiy, E.A. (1985) K istoricheskoy dialektologii sel'kupskogo yazyka [On the historical dialectology of the Selkup language]. In: *Leksika i grammatika yazykov Sibiri* [Lexis and Grammar oft he Languages of Siberia]. Barnaul: Barnaul State Pedagogical University. pp. 42–58.
9. Bekker, E.G. (1978) *Kategoriya padezha v sel'kupskom yazyke* [The Category of Case in the Selkup Language]. Tomsk: Tomsk State University.
10. Pozdeeva, G.P. (2015) *Osobennosti chislovogo soglasovaniya v dialektakh sel'kupskogo yazyka* [Features of Numerical Agreement in Dialects of the Selkup Language]. Philology Cand. Diss. Moscow.
11. Glushkov, S.V. (2002) *Dlitel'nost' glasnykh i soglasnykh v dialektakh sel'kupskogo yazyka* [Duration of Vowels and Consonants in Dialects of the Selkup Language]. Philology Cand. Diss. Moscow.
12. Khelimskiy, E.A. (2000) *Komparativistika, uralistika: Lektsii i stat'i* [Comparative Studies, Uralistics: Lectures and articles]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
13. Alatalo, J. (ed.) (2004) *Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Donner K., Sirelius U.T. und Alatalo J.* Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
14. Castrén, M.A. & Lehtisalo, T. (1960) *Samojedische Sprachmaterialien*. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
15. Normanskaya, Yu.V. (2018) *Rekonstruktsiya praural'skogo raznomestnogo udareniya i ego vliyanie na razvitiye vokalizma* [Reconstruction of the Proto-Uralian Accent and Its Influence on the Development of Vocalism]. Moscow: Yazyki narodov mira.
16. Lingvodoc.ispras.ru. (2020) *Slovar' togurskogo govora sredne-obskogo dialekta sel'kupskogo yazyka, zapisanny ot F.F. Tobol'zhinoy* [Dictionary of the Togur subdialect of the Middle Ob dialect of the Selkup language, recorded from F.F. Tobolzhina]. [Online] Available from: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1733/6/perspective/1733/7/view?page=1>. (Accessed: 06.05.2020).
17. Lingvodoc.ispras.ru. (2020) *Audioslovar' togurskogo govora sredne-obskogo dialekta sel'kupskogo yazyka, sobranny v 1970-kh godakh ot F.F. Tobol'zhinoy* [Audio dictionary of the Togur subdialect of the Middle Ob dialect of the Selkup language, recorded in the 1970s from F.F. Tobolzhina]. [Online] Available from: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/480/4/perspective/480/5/view>. (Accessed: 06.05.2020).
18. Lingvodoc.ispras.ru. (2020) *Audioslovar' togurskogo govora sredne-obskogo dialekta sel'kupskogo yazyka, sobranny v 2018 g. ot N.P. Izhembinoy* [Audio dictionary of the Togur subdialect of the Middle Ob dialect of the Selkup language, recorded in 2018 from N.P. Izhembina]. [Online] Available from: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1782/6/perspective/1782/7/view>. (Accessed: 06.05.2020).
19. Bykonya, V.V., Kuznetsova, N.G. & Maksimova, N.P. (2005) *Sel'kupsko-russkiy dialektnyy slovar'* [Selkup-Russian Dialect Dictionary]. Tomsk: Tomsk State Pedagogical University.
20. Helimski, E. (1983) *Language of the first Selkup book*. Szeged: Attila József University.
21. Kovylin, S.V. (2018) “Conversations about the True God and the True Faith in the dialect of the Ob Ostyaks” (1900) by the bishop Macarius: noun morphology *Uralo-altayskie issledovaniya – Ural-Altaic Studies*. 4 (31). pp. 130–156. (In Russian).
22. Kovylin, S.V. (n.d.) *Glossirovannyy korpus knigi episkop Makariy “Besedy ob istinnom Boge i istinnoy vere na narechii obskikh ostyakov”, 1900* [Glossed corpus of the bishop Macarius’ book “Conversations About the True God and True Faith in the Dialect of the Ob Ostyaks”, 1900]. [Online] Available from: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/106079/perspective/1606/106082/view>. (Accessed: 06.05.2020).
23. Kovylin, S.V. (n.d.) *Slovar' knigi episkop Makariy “Besedy ob istinnom Boge i istinnoy vere na narechii obskikh ostyakov”, 1900* [Dictionary of the bishop Macarius’ book

- “Conversations About the True God and True Faith in the Dialect of the Ob Ostyaks”, 1900]. [Online] Available from: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/115150/perspective/1606/115151/view>. (Accessed: 06.05.2020).
24. Pallas, P.S. (1787–1789) *Sravnitel'nye slovari vsekh yazykov i narechiy, sobrannye desnitseyu vsevysochayshchey osoby* [Comparative Dictionaries of All Languages And Dialects Collected by the All-Highest Person]. Saint Petersburg: Tipografiya Shnora.
25. Lingvodoc.ispras.ru. (2020) *Slovar' ketskogo dialekta sel'kupskogo yazyka, sobranny Yu. Klaprotom v 1823 godu* [Dictionary of the Ket dialect of the Selkup language, compiled by Y. Klaprot in 1823]. [Online] Available from: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1393/39812/perspective/1393/39813/view>. (Accessed: 06.05.2020).
26. Kovylin, S.V. (n.d.) *Slovar' knig N.P. Grigorovskogo “Ob”yasnenie prazdnikov svyatoy tserkvi na ostyako-samoedskom yazyke*, 1879 i “Svyashchennaya istoriya na ostyako-samoedskom yazyke”, 1879 [Dictionary of N.P. Grigorovsky's books “Explanation of the holidays of the holy church in the Ostyak-Samoyed language”, 1879, and “Sacred history in the Ostyak-Samoyed language”, 1879]. [Online]. Available from: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/74983/perspective/1606/74984/view?page=1> (Accessed: 06.05.2020).
27. Kovylin, S.V. & Saynakova, N.V. (2017) On the specifics of the Middle-Ob dialect and trying to determine the Söšqup/ Söšqum dialectal local group settlement borders based on toponymy. *Uralo-altayskie issledovaniya – Ural-Altaic Studies*. 1 (24). pp. 19–34. (In Russian).

УДК 811.163
DOI: 10.17223/19986645/66/9

Б. Сикимич, А.Н. Соболев

**ПРОЦЕССЫ ДИВЕРГЕНЦИИ В РАЗДЕЛЕННОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ
ЗАПАДНОЮЖНОСЛАВЯНСКОМ ДИАЛЕКТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ И ЗАПАДНОЙ БОЛГАРИИ)¹**

Рассматриваются процессы дивергенции в генетически едином торлакском диалекте, разделенном государственной границей между Сербией и Болгарией. Объектами исследования являются говор долины р. Тимок в Сербии и говор восточных склонов Стара-Планины (община Белоградчик в Болгарии). Сопоставительному анализу подвергаются транскрибированные тексты, отражающие устную спонтанную речь представителей информантов, живущих в ситуации диглоссии с литературным языком.

Ключевые слова: балканославянские языки, торлакская диалектная зона, сербские диалекты, тимокский говор, болгарские диалекты, белоградчикский говор, старопланинский говор, идиолект носителя говора.

Введение

Приграничные диалекты современной Восточной Сербии и Западной Болгарии, входящие в так называемую торлакскую диалектную зону [1, 2], по своим историко-фонетическим и морфологическим особенностям (рефлекс прасл. **ø* > *u*, совпадение рефлексов редуцированных, местоименная флексия 1Sg.Gen -*ga*, глагольная флексия 1Pl -*to* и др.) генетически относятся к западноюжнославянскому диалектному континууму [3], тогда как структурно-типологически (динамическое ударение, аналитическое маркирование грамматических ролей, грамматикализация показателя определенности, местоименная редупликация объектов и др.) входят в Балканский языковой союз [4]. На первом основании сербские лингвисты до 1945 г. причисляли их к диалектам сербского языка [5, 6], тогда как на втором основании болгарские лингвисты как в прошлом, так и в настоящее время относят их к болгарскому языковому ареалу [7–12]. В данной статье языковая принадлежность отдельных говоров региона определяется в зависимости от национального, т.е. сербского или болгарского, сознания их носи-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-512-76002 ЭРА_а «Изучение дивергенции и конвергенции традиций Центральных Балкан: реализация и перцепция». Авторы выражают глубокую признательность Д.В. Конёру за ряд ценных замечаний, способствовавших улучшению статьи. За все недочеты настоящей статьи ответственность несут исключительно авторы.

телей (о статусе языка официально признаваемого болгарского меньшинства в локальном законодательстве Сербии см. [13]).

Объектом исследования избраны два приграничных географически смежных локальных говора – говор долины р. Тимок и западных склонов Северо-Западной Стара-Планины (община Княжевац в Сербии) и говор восточных склонов Стара-Планины (община Белоградчик в Болгарии). Эти говоры в южнославянской диалектологии получили наименования «тимокско-заглавакский» с сербской стороны и «белоградческий», или «старопланинский», – с болгарской [14. Bd. I. S. 396–397]. К этим двум говорам, системно различающимся инвентарями определенных постпозитивных артиклей¹, очевидно полностью применима квалификация «разделенный диалект», т.е. один диалект [Ibid. S. 15], носители которого проживают на территории, разделенной государственной границей (о терминологии и подходах к исследованию таких языковых ситуаций в современной германистике см. в новейшем издании [16]). Этот диалект в своей базовой форме имеет следующие характеристики в качестве важнейших: 1) прасл. **tj*, **k tj* > č, **dj* > ž (*sveča* ‘свеча’, *meža* ‘межа’); 2) прасл. *ь = *ъ > ə (*dən* ‘день’, *sən* ‘сон’); 3) прасл. **q* > *u*; 4) флексия 1Pl глаголов *-to*; 5) аналитическое маркирование косвенного объекта; 6) аналитическое маркирование периферийных падежных отношений; 7) наличие постпозитивного определенного артикля на левом члене именной группы; 8) аналитический компаратив имен прилагательных; 9) местоименную редупликацию прямого и косвенного объекта; 10) факультативное опущение частицы конъюнктива (в традиционной грамматике – союза *da* ‘что, чтобы’) при модальных глаголах и формах будущего; 11) сохранение старого места ударения и др.

Среди части носителей этого диалекта по обе стороны границы издавна бытует представление о единой самоидентификации в качестве особой южнославянской субэтнической группы *торлаков* [17–19]. В XXI в. это представление активно распространяется местной интеллигенцией (напр., в с. Миничево в Сербии и в г. Белоградчик в Болгарии) через локальные средства информации (см., например, [20]). Несмотря на фундаментальные различия исторических судеб населения в этих двух микрорегионах Сербии и Болгарии в течение последних двух столетий, такая самоидентификация находит свои основания в фактах генетического единства обоих говоров; единого традиционного уклада жизни, единой материальной и духовной традиционной культуры, а также прочных связей родства и свойства между местными жителями по обе стороны нынешней государственной границы. О современном демографическом, социальном, экономическом и культурном развитии здесь см. работы [21, 22].

¹ В регионе вокруг сербско-болгарской государственной границы мы различаем тимокско-заглавакский говор (*gl̩ta* ‘глотает’, *v̩k* ‘волк’, 3 артикля – -əv, -ət, -ən); старопланинский говор (*gl̩ta*, *v̩k*, 1 артикль – -ət); лужницко-зенпольский говор (*gl̩ta*, *vuk*, 3 артикля); говор района Трынско-Краиште (*gl̩ta*, *vuk*, 1 артикль); говор района Кюстендилское Краиште (*gl̩ta*, *vuk*, 1 артикль).

Ранее в южнославянской диалектологии никогда не поднимался вопрос о том, является ли политическая граница, существующая в микрорегионе с 1833 г. с небольшими перерывами во время болгарской оккупации части территории Сербии в ходе обеих Мировых войн [7, 8], также и границей языковой. Даже напротив, в традиционном лингвогеографическом исследовании, имеющем целью обнаружить и представить базовую диалектную ситуацию (нем. *Grundmundart* ‘базовый говор’), корректная методология требует до определенного момента игнорировать политические различия [14. Bd. I. S. 23]. В отличие от описания синхронного состояния традиционного диалекта, *динамика развития* западноюжнославянских говоров по обе стороны сербско-болгарской границы никогда не была предметом научных исследований. Никогда не ставился вопрос о том, в какой степени современная языковая ситуация с каждой стороны границы является ситуацией *диглоссии*, при которой носители диалекта используют его преимущественно в тех функциональных сферах, которые не обязательно зарезервированы для литературного языка (такова ситуация в изданиях [20, 24, 25], где на диалекте публикуются исключительно тексты с юмористической и лирической функцией), а в какой – ситуацией *диаглоссии* [26, 27], при которой переходы между диалектной и литературной речью градуальны. В случае диглоссии дифференциация между двумя изучаемыми говорами, разделенными границей с 1833 г., не должна выходить за рамки градуального лингвогеографического (территориально обусловленного) варьирования, тогда как при диаглоссии различия между говорами были бы дериватом глубоких разноуровневых расхождений между сербским и болгарским литературными языками. При этом необходимо принять во внимание, что процессы дивергенции могут существенно по-разному проходить в письменной и в устной речи.

При изучении современной спонтанной речи на разделенном диалекте уже имеющиеся в науке лингвогеографические и иные диалектологические сведения по говорам Восточной Сербии и Западной Болгарии могут служить фоном для изучения ранее никогда не исследовавшихся признаков их дифференциации с учетом сходств и различий в языковых и культурных ситуациях в Восточной Сербии и Западной Болгарии. Для настоящего исследования релевантными являются следующие вопросы: дивергируют ли вообще отдельные говоры, приобретая эксплицитные маркеры «речи на сербском языке» и «речи на болгарском языке»; устраняются ли узколокальные варианты диалектных различий в пользу возможных региональных койне (восточносербских и западноболгарских соответственно); развиваются ли говоры адвергентно с соответствующими литературными нормами (это характеризует, например, диалектную ситуацию в Южной Германии) или консервируют базовое состояние, противопоставляя его норме (что характерно, например, для ситуации в Северной Швейцарии) [28. S. 237–239]? На сегодняшний день южнославянской диалектологии также неизвестно, в какой степени речь информантов отражает существенные различия между сербской и болгарской социолингвистической и культурной *ситуацией*, на протяжении почти двух веков в каждой стране по-

разному предопределявшей развитие в исследуемых приграничных регионах. Наконец, необходимо ответить и на вопрос, можно ли в XXI в. в условиях катастрофической депопуляции приграничных регионов обеих стран найти живых носителей традиционного торлакского диалекта?

В методологическом отношении важно оценить возможность и целесообразность различения для говоров региона так называемых «горизонтальных» диалектных различий, возникших в результате собственно территориального, локально ограниченного варьирования, и «вертикальных» противопоставлений, появившихся под воздействием литературных языков или (над)региональных койне (о постановке вопроса см. [29. С. 21–22]).

В настоящей статье ставится задача обнаружить и квалифицировать процессы дивергенции в разделенном западноюжнославянском торлакском диалекте по обе стороны сербско-болгарской государственной границы в районе Северо-Западной Стара-Планины на количественно и качественно сопоставимом материале *устной спонтанной речи*reprезентативных информантов. При отборе информантов для интервьюирования и сборе речевого материала применялись методы полевой лингвистики и синхронно-описательной диалектологии, при его анализе – методы фонетико-фонологического транскрибирования и историко-филологического анализа спонтанного устного текста. Материал исследования получен в ходе диалектологических экспедиций в Восточную Сербию в с. Старо Корито (2016 г.; интервью проведено с уроженкой соседнего с. Дрвник) и в Западную Болгарию в с. Чупреня (2018 г.; интервью проведено с уроженкой близкого с. Стакевци); в обоих случаях темой беседы с информантами являлась традиционная духовная культура. Репрезентативность речи обеих информанток обеспечена соблюдением традиционных критериев отбора носителей локального говора и хорошо документирована частотностью появления в ней фонетических, морфологических и лексических характеристик базового торлакского диалекта.

Лингвогеографический контекст исследования

Как демонстрируют лингвогеографические источники [14. Bd. 2], между вошедшими в сетку пунктов атласа восточносербским селом Градиште (сокр. Гр, п. атласа № 504) и ближайшим к нему западноболгарским селом Стакевци (сокр. Ст, п. атласа № 73), de facto совпадая с линией государственной границы, проходят изоглоссы, отражающие пространственное, так называемое «горизонтальное» распространение некоторых, часто лексикализованных диалектных различий. К ним относятся следующие явления:

судьба *j в сочетаниях со смыслными согласными (Гр *grozje* ~ Ст *grozje/grozg'e* ‘виноград’, Гр *gosti* ~ Ст *gosje/gosk'e* ‘гости’, Гр *majka/majća* ~ Ст *majk'a* ‘мать’, Гр *brajća* ~ Ст *brajk'a/brak'e* ‘братья’);

судьба *j в вокалических сочетаниях (Гр *znaјe/znaе* ~ Ст *znaе*);

рефлексы *h в позиции после /u/ (Гр *gluv* ~ Ст *glu* ‘глух(ой)’);

нейтрализация оппозиции /v/ ~ /f/ в ауслайте (Гр *glupav* ~ Ст *glupav/glupaf* ‘глупый’);

переход /e/ > /o/ после шипящих (Гр *ovče* ~ Ст *ovčo* ‘овечье’);
 лексема ‘ручная пила’ Гр *trivon* ~ Ст *trəvon*;
 флексии мн.ч. существительных м.р. (Гр *snopovi/snopje* ~ Ст *snopove/snopje* ‘снопы’, Гр *svadbari* ~ Ст *svadbare* ‘сваты’, Гр *rukavi/rukave* ~ Ст *rukave* ‘рукава’);
 флексии мн.ч. существительных ср.р. (Гр *piliči* ~ Ст *piliča* ‘цыплята’);
 формы постпозитивного артикла (Гр *solət* ~ Ст *solta* ‘соль’ DEF, Гр *voloveti* ~ Ст *volovete* ‘волы’ DEF);
 клитические формы личных местоимений (3Sg.F.Acc Гр *ju* ~ Ст *ju/g'iu*; 3Sg.F.Dat Гр *je* ~ Ст *ju*, 3Pl.Dat Гр *im* ~ Ст *g'i/g'im*);
 полные формы личных местоимений (1Pl.Nom Гр *mi* ~ Ст *ni*);
 нейтрализация родовых противопоставлений во мн.ч. местоименных, адъективных и причастных форм (3Pl.N.Nom Гр *ona* ~ Ст *oni*; Гр N=/=M ~ Ст N=M);
 формы указательных местоимений (M.Sg Гр *taj/tija* ~ Ст *tija*);
 частица футра 1Sg (Гр *či* ~ Ст *če*);
 флексии имперфекта (1Sg Гр *beo, pleteo* ~ Ст *beše, pleteše*; 3Pl Гр *pereoše* ~ Ст *perešeu*);
 причастие на -l типа *padla* ‘упала’ (Гр отмечено ~ Ст не отмечено);
 частица прохитива (Гр *nemoj* ~ Ст *nekaj*).

Системный вес многих из этих различий в целом невысок; в первую очередь и в подавляющем большинстве они отражают общее структурное давление и лексическое влияние сербского и болгарского языковых континуумов (в том числе литературных языков) на говоры тимокского и белоградчикского региона соответственно и не влияют на единство их торлакской диалектной базы. Речь идет об историко-фонетических и фонологических правилах дистрибуции ряда неустойчивых фонологических единиц, а также об инвентарях формообразующих морфем, изменяющихся под «вертикальным» воздействием на говоры. Важнейшими «горизонтальными» локальными регионализмами, свойственными только белоградчикскому (старопланинскому) говору, могли бы быть признаны утрата *h без субSTITУции после /u/ (например, в *glu* ‘глухой’); формы имперфекта 1Sg *beše, pleteše* и 3Pl *perešeu*; частица прохитива *nekaj*. Однако в единственном достоверно описанном говоре этого региона – говоре с. Ошане, близком к с. Стакевци, еще исследователями первой трети XX в. отмечены формы *gluo* ‘глух(ой)’, *mi* ‘мы’ и частица прохитива *nemoj* [30], что вынуждает поставить вопрос, не являются ли картографированные в Болгарском диалектологическом атласе и без перепроверки в поле рекартографированные в ДАВСЗБ формы исследовательскими, возможно, лабораторными артефактами¹. В любом случае единственным структурно значимым различием является уже упомянутое наличие в сербском тимокско-заглавакском го-

¹ В болгарской диалектологии, занимающейся приграничными диалектами, известны случаи кабинетного создания фантомных изоглосс, долженствующих продемонстрировать как минимум «несербскость» исследуемых говоров [31–33].

воре трехчленной («пространственной»), а в болгарском белоградчикском (старопланинском) – одночленной артикльевой морфемы, что позволяет различить тимокско-зглавакский и белоградчикский (старопланинский) говоры как две разные лингвистические единицы – локальные говоры одного диалекта. Генетически релевантных различий между этими двумя говорами нет.

Материал экспериментального исследования

Ниже приводятся фонетико-фонологические транскрипции латиницей двух текстов на торлакском диалекте. В соответствии с двухсотлетней практикой славянского языкоznания перевод текстов на язык настоящей публикации не предлагается.

Сербский тимокско-зглавакский говор. Место и время записи: с. Стапо Корито, 27.08.2016. Информатор: Н.Н., уроженка соседнего с. Дрвник. Интервьюер: Биляна Сикимич. Тема беседы: олалия – масленичный ритуал обхода села с зажженными факелами. Объем нарратива: ок. 400 словоформ. Транскрипция: Биляна Сикимич, Андрей Н. Соболев. Опущены реplики информатора, не относящиеся к теме нарратива, а также стимулы вроде *ah'a*. Традиционное описание говора и дифференциальный словарь см. в [34, 35].

N.N. Pa, im'alo. 'Olalije... Nat'uraju u k'oš... u k'o:š, u t'ašku:, [u] kvo b'ilō, nat'uraju: sl'amu, pa uv'ržu da ne isp'ada, pa napr'ae m'o:tku, pa zabod'u u t'oj, u: sl'amutu, u k'ošat, pa t'ure... pa up'ale, pa t'ure na:, na=r'amo i n'ose niza sə^al'o. On'o gor'i:, on'i n'ose niza sə^al'o, niza sə^al'o, dec'a 'idu po t'i... p'ostari toj pra'ili, a dec'a išl'a po nj'i^h, dec'a išl'a po nj'ih. I takv'o je bil'o...

B.S. A to prav'ili i u Drvn'ik?

N.N. I:, pa svud'e:, i u D'rvni:k i, i ovd'e u Kor'ita kak'o sam došl'a, a i u D'rvnik im'alo.

B.S. I B'alincac. I B'alinci? I...

N.N. M=ba, n'e=znam baž za 'olalijete u B'alinci, a ovd'e im'alo i u D'rvnik, u D'rvni:k im'a:lo, i ovd'eka im'alo 'isto.

B.S. A ot kakv'o se napr'avti t'oj, t'o, t'o od sl'amu 'ili?

N.N. S... sl'amu k'oš, k'oš ispl'eteno, pa smo tur'ali s'eno, pa smo tur'ali kot kr'ave sas, sas k'ošat. I: nap'elne, nap'əhe ga sa sl'amu, pa ga t'ag v'ržu ov'ak g'ore da ne isp'ada kad zam'etnu k'ošat na m'otkutu. On'i tag v'ržu ga da ne isp'ada. I: up'ale ga i, hə, i n'ose niza sə^al'o, dec'a 'idu. 'Ali ko'i su t'oj nos'ili 'olalije, nos'ili on'ak mlad'ik'i 'ali p'o:, pov'eliki koj'i su, nes'u koj'i su m'ənecka dec'a, 'a: m'ali 'idu po=nj'i, i m'i 'idemo po=nj'ih, po 'olali:jete 'idemo, tak^toj se rad'elo kad smo bil'i:, kad je bil'o ran'ije.

B.S. A n'ije to 'opasno m'alo ta v'atra, da m'ož se zap'ali?

N.N. N'e! N'e, on'i ov'ak pr'oju po=p'ut, 'idu na po-, po=p'ut 'idu i: n'ema, on'o si gor'i:, pl'amen si ov'am 'ide, 'ali ne 'ide t'olko mn'ogo da zap'ali. I n'e:, n'e se n'ikada des'ilo n'išta da se up'ali.

B.S. 'A, po k'oj p'ut 'idu? El 'ima t'o n'ekvo da 'idu k'ao da i da obik'ole s'elo?

N.N. Sas 'olali:jete nes'u obikol^hali s'elo, a: k'at je: bil'o lit'ija:, on'i obikal^hali. On'am, on'am uz on'oj b'rd'o išl'i:, pa g'ore sl'ezli u r'eku, g'ore ispodи B'alinaс u r'eku sl'eznu, pa 'idu g'or^e 'uz=břdo, isk'oče, preko p'ol'e, p'a g'ore r'edom, p'a t'am sl'eznu kot=k'js što se zv'alo Tr'o:ica se zov'e, sl'eznu kot=k'js^t, t'uj ruč'ak, t'uj m'u:zika, t'uj igr'a:nka, t'uj ves'e:l'e. I p'o:sle, t'aj zav'ečina je bil'a u sə^al'o, on'i pa p'osle sl'eznu ovd'e, ovd'e sl'eznu ov'am kod, kod m'ostav, t'uj igr'a:nka, t'uj 'omladina se sabr'ala ko^ji sas kog'a, i tak'oj.

B.S. I dol'aze na g'osti?

N.N. A'u:, pa dol'aze, 'o!: Pa št'a g'o:sti: 'im... 'ima. G'osti mn'ogo dol'aze, p'a 'idu si ko čov'eka u k'uću, pa si t'uj r'učaju, t'uj sed'u: pa p'osle isk'oče t'am na igr'a:nku, t'uj. B'il'o je d'obro, sv'e je b'il'o d'obro.

Болгарский белоградчикский (старопланинский) говор. Место и время записи: с. Чупреня, 27.07.2018. Информатор: Тодорка Корчина, уроженка соседнего с. Стакевци. Интервьюер: Андрей Н. Соболев. Тема беседы: Медвежий день – календарный (30 ноября/13 декабря) ритуал «угощения» медведя [36, 37]. Объем нарратива: ок. 400 словоформ. Транскрипция: Дарья В. Конёр, Андрей Н. Соболев.

A.S. Za M'ečkin d'ən da ni k'ažeš.

T.K. Hm! M'ečkin dən... hm, hm, M'ečkin d'ən ja ne si spo... M'ečkin d'ən pri=n'as, su:, ə, okt... devet... sedamn'aesti, osamn'aesti, devetn'aesti janu'ari.

A.S. Trin'aesti dek'emvri.

T.K. Dek'emvri. E pa...

A.S. Za k'oren da mi k'ažeš.

T.K. Za?

A.S. Za k'oren.

T.K. K'oren? Kv^fo e k'oren?

A.S. K'oren ot kuk'urus.

T.K. Kuk'urus? Kuk'urus smo sad'ilii...

A.S. Ne, ne, č'ekaj! Kuk'urus nal'i 'ima k'oren?

T.K. Da:!

A.S. Vi kak mu v'ikate? K'oren ot kuk'urus?

T.K. K'oren, k'oren. K'oren.

A.S. Mam'ulka.

T.K. Mam'ulkata. Da, k'oren. Da, tak'a. Tak'a e po n'ašemu k'oren, da. Mam'ul ne sm'e dum'ali, k'oren. Kuk'urus, pos'adimo gə, porast'e i p'ušti k'orenat, zač... zač'epi, i p'ušti sv'ilu, tək'ovo, i v'eče k'at 'ima mleč... mleč'əc, 'ošte n'e uzr'el, bl'ak ə, a p'osle kat uzr'ee, v'eči m'ože p'oveče da se v'ari, da se dad'e na živ'otni 'ili: da se h'apə. K'oren, tək'a mə si mu d'umamo, k'oren. M'ože i da se v'ari i sə s'o:l, edn'i mu t'uru šik'e:r, z'ahar nal'i.

A.S. Š'ik'er, Š'ik'er.

T.K. Š'ik'er, i:, i tək'a. A pred'i da uzr'e p'ušti ə tək'ava, k'atu kos'a na mom'iče svil'a i, i 'ako ste č'uli d'umu: "U: kos'ata i k'ato, k'ato svil'al?", h'u:bava

tək'ava seedn'o sə šampo'an, a, tək'a. Ta tov'a sme se igr'ali k'ato dec'a, oskub'em, i b'aba me b'ije, št'o sam osk'ubla svil'utu, što ne m'oe da por'aste təg'aj kuk'uruzə^at. A ja s ju vřžem t'uka ta pr'aim b'ičove, b'ičove, pr'itka, b'ič. [Смеётся]. Ta. Ta M'ečkin d'ən na t'ojā d'ən se ne, ne: rab'o:ti što m'ečka če ti ul'ezne i če ti ized'e st'okutu, i: d'eda t'ureše na... u třl'akə^at, u třl'akə^at t'uri t'am kuk'urus, 'ama str'ošen, nar'onen, a ne c'el ot ko... k'oren, nar'onen, i t'uri t'am: "N'a ti, m'ečko, m'ani mi živ'otnite, n'a ti ta j'eč, što t'i ob'ičaš, m'et n'emam, 'ama kuk'urus j'apni!". I tək'a nar'iča, 'e:, seedn'o d'al na, na m'ečkutu, omilostiv'il ju ta da ne jed'e živ'otnite, da ne ul'aze. A b'aba n'ema da rab'oti, m'ama n'ema da rab'oti, na t'ija d'ən se ne plet'e, ne š'ije, d'a.

A.S. A da li e slož'il zrn'ata u pan'ičku?

T.K. U pan'ičku, u pan'ičku! I on'o təkv'aj z'eml'ena pan'ička, od gl'ina napr'aena, neglež...

A.S. T'in'u.

T.K. Ah'a, od t'in'u, da, neglež'osənə i t'uri t'am, ja si sp'omn'am kud'e t'očno na mest'oto, da l'i e dood'il a m'ečka, da li n'e, 'ama d'eda d'uma da nə... nəč'əska dec'a če mi..., št'o ja sam otr'asla pri, na koš'arutu pri ofc'ete, da. Ot učilište pr'avo t'am, ot t'am na učilište. I: on d'uma: "D'eca, a m'i n'ekolko deč'ica, če mir'uete nəč'əska, n'ema da pr'aite p'akos, če 'e: ju, ej tam m'ečkata če d'ojde i če vi ized'e. Ne sal ofc'ete, 'ama i vas če ized'e".

A.S. A nes'i vižuv'ala da je j'ela m'ečkata...

T.K. A:, daj da mu [potr'eči te]. A b'aba se poz'asmeja, pa d'uma: "Jov'anе, št'o l'əžeš dec'utu?!" On d'uma: "N'e:, ne l'əžem, te m'ečkata izj'ela..." On s'igurno e pribr'al zřnc'ata na=strand'e i d'uma: "T'e, m'ečkata dood'il a nəč'əska, nəl'i, 'i: iz'ela zřn'ata, təj za t'oj tr'ebə də sl'ušəte". [Смеётся]. Lag'ali ni!

Анализ материала

Явления, релевантные для диалектологического анализа, представлены в обоих нарративах на всех языковых уровнях, от фонетического до лексического. В ходе анализа элементы более чем сорока диалектных различий, характерные для базового торлакского диалекта, были противопоставлены элементам диалектных различий, свойственным сербскому и болгарскому литературным языкам ((над)региональным восточносербскому и северо-западноболгарскому койне¹); результаты сведены в таблицу. Списки форм не являются исчерпывающими; точные количественные наблюдения в задачи работы не входили. Необходимо принять во внимание, что анализируемые тексты представляют собой лишь малые фрагменты достаточно продолжительных интервью и что в расширенном контексте хорошо документированы диалектные признаки, лишь случайно не встретившиеся в этих двух фрагментах.

¹ Вопрос о лингвистических признаках и социолингвистических характеристиках восточносербского и северозападноболгарского койне в настоящее время исследован совершенно недостаточно. Из признаков первого назовем здесь динамическое ударение, анализм имени и замещение инфинитива конъюнктивом; второе характеризуется последовательно экаским рефлексом яти.

Ряд текстообразующих, фонетических и морфологических структур и явлений, обусловленных спонтанностью устной речи информантов, нерелевантны для анализа противопоставляемых языковых микросистем. К таким относятся эмфатические долготы (Ст. Кор./Др. *u k'o:š, m'o:tku, u t'ašku;* *na'uraju:*; *u: sl'amutu* и др.; Чупр./Ст. *s'o:l, šik 'e:r, h'u:bava, rab'o:ti, 'ili:, ne:* и др.) и хезитации (Ст. Кор./Др. *pa št'a g'o:sti: 'im... 'ima;* Чупр./Ст. *mleč... mleč'ec, ko... k'oren*). Отмечены и незначительные редукции безударных гласных, не приводящие к изменениям в правилах дистрибуции фонем. Фонетические различия между рядом сербских (палатальными сонантами *λ* и *ŋ*, среднеевропейским *l*) и болгарских звуков (*ɫ* и *n̊* и *ɿ*) в транскрипции не принимаются во внимание; используются символы *ɫ*, *n̊* и *ɿ*.

Сводная таблица

Тимокско-заглавакский говор с. Дрвник (Старо Корито)		Диалектное различие	Белоградчикский (старопланин- ский) говор с. Стакевци (Чупрена)	
«Сербская» реализация	Торлакская реализация		Торлакская реализация	«Болгарская» реализация
<i>n'e=znam</i>	<i>dec'a, sə^al'o, zav'ećina, on'i, sed'u:, išl'a, im'alo, svud'e:</i>	Место ударения	<i>sv'ili</i>	<i>svil'a</i>
<i>k'uću, mlad'ik^ji, zav'ećina</i>		Рефлексы *tj	<i>nəč'əska, če</i>	
		Рефлексы *dj	<i>neglež'osənə, ječ /je/</i>	
	<i>put, sl'amu, m'otkutu, v'žzu, ju, nes'u, sl'eznu</i>	Рефлексы *q	<i>sv'ili, d'umu, gl'inu, svil'utu, st'okutu, koš'arutu, dec'utu, t'uru</i>	
<i>ruč'ak, sabr'ala se, t'ag, k'at, baš</i>	<i>m'ənecka</i>	Рефлексы *ь, *ъ	<i>mleč'əc, M'ečkin d'ən, d'ən, nəč'əska</i>	
	<i>sv'e, svud'e:</i>	Корень *vъsъ		<i>s'e=edno, seedn'o</i>
	<i>uv'žu, uz, u</i>	Инициальное *vъ	<i>ul'ezne, ul'aze, u</i>	
	<i>pr'ojdu</i>	-jd-		
		l-epentheticum	<i>z'eml'ena</i>	
	<i>uv'žu, D'žvnik, b'ždo, k'rs</i>	ѓ	<i>v'žem, tyl'akət, žrnc'ata, žrn'ata</i>	
	<i>nap'əlne</i>	!		
<i>pov'eliki</i>		Наличие и отсутствие палатализаций в ki, gi и т.п.		<i>M'ečkin</i>
<i>po=nj'ih</i>	<i>po=nj'i</i>	Наличие и отсутствие h	<i>dood'ila, j'apni</i>	<i>da se h'apə, z'ahar, h'u:bava</i>
	<i>'olalijete, ran'ije</i>	Сохранение или утрата j в позиции перед e	<i>b'ije, s'je; uzr'ee ~ uzr'e, seedn'o, če mir'uetē</i>	
	<i>napr'ae, pra'ili</i>	Элизии	<i>m'oe, pr'aim,</i>	

Тимокско-заглавакский говор с. Дрвник (Старо Корито)		Диалектное различие	Белоградчикский (старопланин-ский) говор с. Стакевци (Чупреня)	
«Сербская» реализация	Торлакская реализация		Торлакская реализация	«Болгарская» реализация
			<i>napr'aena</i>	
	<i>krys</i>	Упрощение финальных групп согласных	<i>p'akos</i>	
		Финальнослоговое -l	<i>pribr'al, uzr'el, d'al, omilostiv'il, pribr'al; s'o:l; c'el</i>	
	<i>sə^al'o</i>	Редукция безударных гласных среднего ряда		<i>v'eči ~ v'eče, šik'er</i>
		Нейтрализация противопоставления /e/ ~ /a/ после (исторически) мягких и шипящих		<i>t'ureše</i>
		Нейтрализация противопоставления глухих и звонких в абсолютном конце слова		<i>kuk'urus, kat, bl'ak, j'eč; сп. обобщение <i>ot-</i> в <i>otr'asla</i></i>
	<i>tak'^foj</i>	Прогрессивное оглушение /v/	<i>kv'o</i>	
	<i>(v'ržu) ga</i>	Acc. 3Sg	<i>(pos'adimo) gə</i>	
		Косвенный объект (сущ.)	<i>d'al na m'ečkutu</i>	
инструментал <i>r'edom</i>	генитив <i>kod</i> <i>m'ostav</i> ; инструментал <i>sas</i> <i>k'ošat</i> ; локатив <i>u sə^al'o</i>	Периферийные падежные формы	локатив <i>po</i> <i>n'ašetu</i>	
<i>ran'ije</i>	<i>p'ostari,</i> <i>pov'eliki</i>	Формы компаратива		
	<i>on'i</i>	Личные местоимения	<i>ja, mi, on</i>	
		Датив личных местоимений в посессивной функции (вне терминов родства)		<i>kos'ata i, в цитате</i>
	ср.р. <i>t'oj, on'oj</i>	Указательные местоимения	м.р. <i>t'ija</i> ср.р. <i>t'oj</i>	м.р. <i>t'oja</i>
	<i>k'ošat,</i> <i>m'otkutu,</i> <i>'olali:jete;</i> <i>m'ostav</i> <i>kad zam'etnu</i> <i>k'ošat na</i>	Определенный артикль	<i>k'orenət,</i> <i>kuk'uruzə^at,</i> <i>tr'j'akə^at, mest'oto,</i> <i>m'ečkata,</i> <i>m'ečkutu, svil'utu,</i> <i>st'okutu,</i>	

Тимокско-заглавакский говор с. Дрвник (Старо Корито)		Диалектное различие	Белоградчикский (старопланин- ский) говор с. Стакевци (Чупреня)	
«Сербская» реализация	Торлакская реализация		Торлакская реализация	«Болгарская» реализация
	<i>m'oikutu ~ p'a t'am sl'eznu kot=k'rs# što se zv'alo Tr'o:ica se zov'e, sl'eznu kot=k'rs#</i>		<i>koš'arutu, dec'utu, živ'otnite, ofc'ete, zync'ata porast'e i p'ušti k'orenət, zač'epi, i p'ušti sv'ilu#</i>	
	<i>'idemo</i>	1Pl Praes	<i>pos'adimo, d'umamo</i>	
	<i>nes'u</i>	Формы глагола esse	<i>Kuk'urus smo sad'ili.</i>	<i>Mam'ul ne sm'e dum'ali. Ta tov'a sme se igr'ali k'ato dec'a.</i>
	<i>on'o si gor'i;, pl'amen si ov'am 'ide; p'a 'idu si ko čov'eka u k'uću, pa si t'uj r'ućaju, t'uj sed'u:</i>	Dat. refl.	<i>tək'a mə si mu d'umamo; ja s ju vjžem; ja si sp'omn'am</i>	
		Формы футура	<i>m'ečka če ti ul'ezne i če ti ized'e st'okutu; če mir'uete nač'əskə; m'ečkata če d'ojde i če v'i ized'e; i vas če ized'e</i>	
		Футур при отрица- нии		<i>A b'aba n'ema da rab'oti, m'ama n'ema da rab'oti; n'ema da pr'aite p'akos</i>
		Модальные глаголы		<i>m'ože p'oveče da se v'ari; ob'ičaš</i>
	<i>kad je bil'o ran'ije tak'oj se rad'elo</i>	Перфект 3 л.	<i>on s'igurno e pribr'al zync'ata na stran'e</i>	
	<i>a i u D'gvnik im'alo; on'am uz on'oj b'ido išl'i:, pa g'ore sl'ezli u r'eku</i>	Перфект 3 л. без вспомогательного глагола	<i>seedn'o d'al na, na m'ečkutu, omilostiv'il ju</i>	
		Ренарратив		<i>d'uma t'e, m'ečkata dood'ilia</i>

Тимокско-заглавакский говор с. Дрвник (Старо Корито)		Диалектное различие	Белоградчикский (старопланинско-сербский) говор с. Стакевци (Чупреня)	
«Сербская» реализация	Торлакская реализация		Торлакская реализация	«Болгарская» реализация
				<i>næč'əškə, näl'i, i: iz'ela žrn'ata</i>
<i>kad zam'etnu k'ošat na m'otkutu</i>		(Не)удвоение прямого объекта (существительное)		<i>i p'ušti 'k'orenət; št'o sam osk'ubla svil'utu; če ti ized'e st'okutu; m'ani mi živ'otnité; da ne jed'e živ'otnité</i>
		(Не)удвоение прямого объекта (местоимение)		<i>i vas če ized'e</i>
		(Не)удвоение косвенного объекта (существительное)		<i>d'al na m'ečkutu</i>
		Изъяснительный и причинный союз		<i>če (n'ema da pr'aite p'akos, če 'ee ju, ej tam m'ečkata)</i>
<i>rad'elo se 'работали', des'ilo se 'случилось', pov'eliki 'по- больше', k'ao 'как', kat 'ко- гда', n'ikada 'никогда', isto 'то же самое'</i>	<i>'olalije 'факе- лы', t'ašku: 'сумку', pl'amen 'пла- мя', m'ěnečka 'маленькая', uv'řžu 'зая- жут', isk'oče 'выйдун', kakv'o 'что', takv'o 'такое'</i>	Лексика	<i>st'okutu 'скот', panička 'деревянная миска', näl'i ~ nel'i 'не так ли', dood'ila 'приходила', za t'oj 'поэтому', p'osle kat 'после'</i>	<i>živ'otni 'скот', zač'epi 'зачать', ob'ičaš 'лю- бить', edn'i 'некоторые', oště 'еще', k'atu 'как, вроде', seedn'o 'как, вроде', t'očno 'точно'</i>

Заключение

Краткость обоих нарративов по 400 словоформам и невысокая вероятность встретить в каждом из них каждое из нескольких десятков рассматриваемых диалектных различий не мешают нам прийти к заключению, что речь обеих наших информанток обладает совершенно достаточным и необходимым набором перечисленных в начале статьи дифференциальных признаков, позволяющих квалифицировать этот дискурс именно как *речь на торлакском диалекте*. Такая речь еще бытует в Восточной Сербии и Западной Болгарии, несмотря на ее стигматизацию в современном сербском и болгарском обществе. Эти признаки в фонетике (старое местоудаление, рефлексы *tj, *dj, *q, *ь=*, *v, *-dj-, l-epentheticum, ť, l) и морфологии (аналитизм имени с флексивными архаизмами; аналитический компаратив; Acc. 3Sg *ga*; формы личных местоимений *ja, mi, on*; формы указательных местоимений *toj* и др.; постпозитивный артикль; 1Pl.Praes на *-mo*;

формы глагола *esse smo* и др.; Dat. refl. и др.) наглядно демонстрируют, что мы имеем дело с живыми носителями двух говоров традиционного, т.е. базового торлакского, диалекта, число которых, по всей видимости, в настоящее время как в Восточной Сербии, так и в Западной Болгарии чрезвычайно невелико. Обнаружение подобных информантов, и в особенности информантов, живущих в ситуации *диглоссии* с литературным языком, а также фиксация их спонтанной речи на местном говоре, несмотря на трудность подобного предприятия в ныне практически лишенных постоянного населения труднодоступных местностях, становится актуальнейшей и ответственнейшей задачей современной южнославянской диалектологии. Именно такая речь может и должна служить основой сравнения при анализе языковой вариативности в регионе.

На фоне единой диалектной базы очевидными становятся результаты дивергентного развития двух разделенных государственной границей говоров. При этом как материалы лингвогеографических источников XX в., так и результаты анализа двух текстов, записанных в настоящее время, свидетельствуют о том, что «горизонтальные» различия между говорами разделенного диалекта отсутствуют. Дивергенция во всех подвергнутых анализу случаях отражает не локальное специфическое развитие, обусловленное коммуникативной изоляцией района распространения отдельного говора от соседних, а воздействие литературных языков и/или (над)региональных кийне на местные говоры, т.е. они являются «вертикальными». Это свидетельствует об адвергентном развитии каждого из двух говоров со своей, соответственно сербской и болгарской, национальной нормой. Оно заметно уже на двух не анализировавшихся в рамках настоящей статьи уровнях – артикуляционно-фонетическом и на фонологическом, где в речи сербов регулярны [ć], [đ], [l], [λ], [ŋ], отсутствие редукций [e] > [i], [o] > [u], редкость нейтрализации звонких и глухих согласных в ауслауте, тогда как в речи болгар – [k’], [g’], [ʃ], [v̡], [f̡], наличие редукций и исключительная редкость звучания звонкого согласного в абсолютном finale слова.

Влияние сербского литературного языка на тимокский говор представляет собой лексикализованный импорт: акцентные ретракции (*n'e=znam*); фонема /h/ (в местоименной форме *njih*); рефлекс **tj* (*mlad'ik'i*); рефлексы **ь* = **ъ* (*ruč'ak, kat, baš*); флексивные падежные формы (*r'edom*); синтетические формы компаратива (*ran'ije*); ряд лексических единиц. Структурное влияние можно усматривать в отсутствии новейших палатализаций (в *ki, gi* и т.п.). Влияние болгарского литературного языка на белоградчикский, или старопланинский, говор намного интенсивнее и более разнопланово. Лексикализованными можно признать такие его результаты, как фонема /h/ (*h'apə, z'ahar, h'u:bava*); корень **vъsъ* (*seedn'o*); указательные местоимения (м.р. *t'ojā*); формы глагола *esse* (*sme*); футур при отрицании с *n'eta*; модальный глагол *ob'iča*; изъяснительный и причинный союз *će*; ряд лексических единиц. Структурное влияние отражают редукции безударных гласных среднего ряда (*v'eči, šik'er*); нейтрализации противопоставлений /e/ ~

/a/ (*t'ureše*) и глухих / звонких в абсолютном конце слова (*kuk'urus, kat, blak, ječ*); отсутствие новейших палатализаций (в *ki, gi* и т.п.); датив личных местоимений в посессивной функции вне терминов родства (*kos'ata i*); ренарратив. Разумеется, лексический уровень – ярчайший индикатор степени подверженности говора внешнему влиянию, в том числе и в случаях, когда такое влияние изменяет саму диалектную базу говора (см. лексикализацию рефлекса *увьсь в его болгарской форме).

Глубинные явления, изменяющие как языковую ситуацию на ситуацию диаглоссии с литературным языком, так и саму диалектную базу и, следовательно, классификационный статус диалекта и его говоров в семье славянских языков, полезно отличать от явлений поверхностных, не затрагивающих генетической характеристики говора и фундаментальных характеристик языковой ситуации. И первые и вторые могут быть системными, иметь большой или малый охват. К первым относятся в первую очередь регулярные замещения диалектных рефлексов праславянских фонетических и морфологических единиц их литературными соответствиями (чего мы в речи наших информантов не наблюдаем), ко вторым – неизбежное фонетико-фонологическое, лексическое и дискурсивно-прагматическое влияние (см., например, характерное для речи болгарских торлаков проникновение в говор /h/; рост частотности /ki/ и /gi/; рост частотности футура при отрицании с *n'ema*; изъяснительный и причинный союз *če*). При этом синтаксические явления, характерные как для базового торлакского диалекта (нем. *Grundmundart*), так и для речевой деятельности его современных носителей, еще только начинают привлекать внимание исследователей [38, 39].

Можно заключить, что политическая граница между Сербией и Болгарией, ограничив коммуникацию торлаков соответственно либо сербским, либо болгарским национальным сообществом и создав две ситуации разнонаправленной диаглоссии, привела к разделению исторически единого сообщества носителей на отчетливо противопоставленные сербскую и болгарскую части. В настоящее время лишь единичные носители базового диалекта консервируют его традиционное состояние, пользуются им как основным средством устного спонтанного бытового общения и живут как минимум частично в ситуации диглоссии с сербским или болгарским литературным языком. На фоне отсутствия географического, т.е. локально обусловленного, «горизонтального» варьирования между сербской и болгарской частью базового диалекта в прошлом и в настоящем становится очевидным, что дезинтеграция диалекта на сербскую и болгарскую части, т.е. обретение эксплицитных маркеров «речи на сербском языке» и «речи на болгарском языке», есть следствие «вертикальных» противопоставлений и расхождений между сербским и болгарским литературными языками, различий между сербской и болгарской языковой и культурной ситуацией.

Литература

1. Ivić P. Die serbokroatischen Dialekte: ihre Struktur und Entwicklung. 's-Gravenhage : Mouton, 1958. 325 p.

2. *Lisac J.* Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govorи štokavskog narječja i hrvatski govorи torlačkog narječja. Zagreb : Golden marketing – Tehnička knjiga, 2003. 168 s.
3. *Ivić P.* Celokupna djela. X / 2. Rasprave, studije, članci. 2. O dijalektologiji. Priredio Slobodan Remetić. Sremski Karlovci, Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2018. 337 s.
4. *Цыхун Г.* Типологические проблемы балканославянского ареала. Минск : Наука и техника, 1981. 238 с.
5. *Belić A.* Dijalekti Istočne i Južne Srbije. Beograd : SANU, 1905. 715 str.
6. *Belić A.* Shtokavski dijalekat // St. Stanojević (ur.). Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenska. Knjiga IV. Zagreb : Bibliografski zavod, 1929. S. 1064–1077.
7. *Младенов С.* Български елемент в Моравската област // Петров, Петър Хр. (Съст.). Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916. София : ВИК «Св. Георги Победоносец» : УИ «Св. Климент Охридски», 1993. С. 190–193.
8. *Цонев Б.* Научно пътешествие из Поморавия и Македония // Петров, Петър Хр. (Съст.). Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916. София : ВИК «Св. Георги Победоносец» ^ УИ «Св. Климент Охридски», 1993. С. 151–158.
9. *Тодоров Ц.* Северозападните български говори // Сборник за народни умотворения и народопис. София : БАН, 1936. Кн. 41. 543 с.
10. *Кочев И.* (Отг. ред.). Български диалектен атлас. Обобщаващ том. I–III. Фонетика. Акцентология. Лексика. София : Труд, 2001. 538 с.
11. *Тетовска-Троева М.* (Отг. ред.). Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология. София : Проф. Марин Дринов, 2016. 247 с.
12. *Sedakova I.* Borders in Bulgaria in the Light of Areal Ethnolinguistics // Kamusella, Tomasz; Nomachi, Motoki; Gibson, Catherine (Eds.). The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 376–393.
13. *Катунин Д.А.* Болгарский язык в современном законодательстве Республики Сербия // Русин. 2016. № 4 (46). С. 252–263. DOI: 10.17223/18572685/58/16
14. *Sobolev A.N.* Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens. Bd. 1. Problemstellung, Materialien und Kommentare, Kartenanalyse. XIV, 420 S. Bd. 2. Karten. VII, 300 S. Bd. 3. Texte. 328 S. Marburg : Biblion Verlag, 1998.
15. *Sobolev A.N.* Theoriebildung in der Dialektologie: historisch-vergleichende Beschreibung. In: Karl Guttschmidt, Sebastian Kempgen, Tilman Berger, and Peter Kosta (eds.), The Slavic Languages. An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation. Berlin : Mouton de Gruyter, 2014. Vol. 2. P. 2067–2074.
16. *Palliwoda N. Sauer, V. Sauermilch, S. Hg.* Politische Grenzen – sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum. Berlin ; Boston : de Gruyter, 2019. 254 S.
17. *Живковић В.В.* Торлак. Пирот : Народна библиотека, 1994. 117 с.
18. *Крстић Д.* Етно-културне разлике између Торлака у Србији и Торлака у Бугарској // Гласник Етнографског музеја у Београду. 2004. № 68. Р. 139–153.
19. *Каменова-Борин А.* Торлациите в Северозапада // Народната култура на балканите / съст. А. Гоев. Т. 8: Етър. Габрово, 2010. С. 71–83.
20. *Торлак:* лист Завичајног друштва Тимочана-Торлака. Минићево. URL: <http://digitalnazbirka.biblio-knjazevac.org/novine-i-casopisi/r/>
21. *Горуновић Г.* Стакевци, планинско село у пограничној зони: социо-културно стање села у процесу транзиције// Гласник Етнографског музеја у Београду. 2006. № 70. С. 195–214.
22. *Ђирковић С.* (Ур.). Тимок. Теренска истраживања 2015–2017. Књажевац : Народна библиотека, 2018. 243 с.
23. *Smits T.F.H.* Die Grenzdialekte des Deutschen // Palliwoda, Nicole; Sauer, Verena; Sauermilch, Stephanie. Hg. Politische Grenzen – sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum. Berlin ; Boston : de Gruyter, 2019. S. 31–54.

24. Веселинов Л. Популярен автентичен турлашки речник. Белоградчик, 2019. 344 с. 2 доп. изд.
25. Веселинов Л. Ждребче: избрани турлашки разкази. Белоградчик, 2019. 220 с.
26. Bellmann G. Between Base Dialect and Standard Language // *Folia Linguistica*. 1998. № 32/1–2. Р. 23–34.
27. Ruttent G. Historicizing diaglossia // *Journal of Sociolinguistics*. 20/1. Р. 6–30.
28. Schwarz C. Der Einfluß der Deutsch-Schweizer Grenze auf das alemannische Dialektkontinuum // Palliwoda, Nicole; Sauer, Verena; Sauermilch, Stephanie. Hg. Politische Grenzen – sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum. Berlin ; Boston : de Gruyter, 2019. S. 227–248.
29. Purschke C. Vom Sprechen zur Sprache. Versuch über die variationslinguistische Praxis des Begrenzens // Palliwoda, Nicole; Sauer, Verena; Sauermilch, Stephanie. Hg. Politische Grenzen – sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum. Berlin ; Boston : de Gruyter, 2019. S. 9–30.
30. Берберска А. Говорът на с. Ошане (Белоградчишко) // Известия на Семинара по славянска филология. София, 1931. Кн. 7. С. 79–119.
31. Божков Р. Димитровградският (циарбродският) говор. София : БАН, 1984. 193 с.
32. Соболев А.Н. О неким јужнословенским говорним оазама у источној Србији, западној Бугарској и Румунији (Вратарница, Ново село, Свеница) // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 1995. № 38/2. С. 183–207.
33. Соболев А.Н. Тимочко-лужнички говори у јужнословенској ч, ц-зони// Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката : зборник радова са научног скупа. Нишка Бања, Јуни 1992. Ниш, 1994. С. 85–105, 234.
34. Станајевић М. Северно-тимочки дијалекат (Прилог дијалектологији источне Србије) // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1911. Књ. 2. С. 360–463.
35. Ђинић Ј. Тимочки дијалекатски речник. Београд : Институт за српски језик САНУ, 2008. 921 с.
36. Плотникова А.А. Этнолингвистическая география Южной Славии. М. : Индрик, 2004. 767 с.
37. Трефилова О.Н. Этнолингвистические материалы из с. Стакевцы, район г. Белоградчика (Северо-Западная Болгария) // Исследования по славянской диалектологии. М., 2004. С. 354–398.
38. Милорадович С. Именная объектная редупликация в сербских народных говорах: статус, условия реализации и балканский контекст // *Slavia Iaponica*. 2019. № 22. С. 227–246.
39. Станковић Д.В. О именичкој деклинацији у говорима призренско-тимочке дијалекатске области // Баштина. Приштина – Лепосавић. 2020. № 50. С. 1–16.

Divergence Processes in the West South Slavic Dialect Divided by the State Border (Based on the Modern Dialect Speech of Eastern Serbia and Western Bulgaria)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 158–176. DOI: 10.17223/19986645/66/9

Biljana Sikimić, Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts (Belgrade, Serbia). E-mail: Biljana.Sikimic@bi.sanu.ac.rs

Andrey N. Sobolev, Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: sobolev@staff.uni-marburg.de

Keywords: methods in dialectology, Balkan Slavic languages, Torlak dialect zone, dialects of Serbian, Timok idiom, dialects of Bulgarian, Belogradčik idiom, Stara Planina idiom, individual idiolect.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 18-512-76002.

Parts of Eastern Serbia and Western Bulgaria speak a so-called Torlak dialect divided by the state border. The authors of the study aim to determine whether the state border that has existed in the microregion since 1833 is also a language border. There was no data on whether modern linguistic situations are situations of diglossia or diaglossia, and their extent; on the role of the so-called “horizontal” differences resulting from territorial variation and “vertical” differences influenced by the standard languages or regiolects; on whether individual dialects diverge, develop advergently with the standards, or preserve their basic state opposing it to the norm. The object of the study is two geographically adjacent local border idioms spoken in the Timok River valley and the western slopes of the North-West Stara Planina (Knjaževac, Serbia) and in the eastern slopes of the Stara Planina (Belogradčik, Bulgaria), respectively called Timok-Zaglavak in Serbia and Belogradčik, or Stara Planina in Bulgaria. The authors detect and classify divergence processes in the dialect on quantitatively and qualitatively comparable material of spontaneous oral speech of representative informants; the speech samples are published. The authors used methods of field linguistics and synchronic descriptive dialectology to select informants for interviewing and collecting speech material, and methods of phonetic/phonemic transcription and historical-philological analysis of spontaneous oral text to analyse the material. In the course of the analysis, elements of more than forty dialectal differences characteristic of the basic Torlak dialect were contrasted with elements of dialectal differences characteristic of Serbian and Bulgarian standard languages or (supra-)regional East Serbian and North-West Bulgarian koiné. The analysis shows that the Torlak dialect is still spoken in Eastern Serbia and Western Bulgaria, that there are no “horizontal” differences between the idioms of the dialect, and that the two idioms develop divergently. Divergence reflects the impact of standard languages and/or (supra-)regional koiné, and each dialect develops advergently with its own, Serbian and Bulgarian respectively, national norms. The political border between Serbia and Bulgaria, limiting the communication of the Torlaks to either the Serbian or the Bulgarian national communities, respectively, and creating two situations of differently directed diaglossia, caused the division of the historically united community of dialect speakers into the clearly opposed Serbian and Bulgarian parts.

References

1. Ivić, P. (1958) *Die serbokroatischen Dialekte: ihre Struktur und Entwicklung*. 's-Gravenhage Mouton.
2. Lisac, J. (2003) *Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govorovi štokavskog narječja i hrvatski govorovi torlačkog narječja*. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
3. Ivić, P. (2018) *Celokupna dela* [Collected Writings]. X/2. 2. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
4. Tsykhun, G. (1981) *Tipologicheskie problemy balkano-slavyanskogo areala* [Typological Problems of the Balkan Slavic Area]. Minsk: Nauka i tekhnika.
5. Belić, A. (1905) *Dijalekti Istočne i Južne Srbije*. Belgrade: SASA.
6. Belić, A. (1929) Shtokavski dijalekat. In: St. Stanojević (ed.) *Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenska*. Vol 4. Zagreb: Bibliografski zavod. pp. 1064–1077.
7. Mladenov, S. (1993) Balgarski element v Moravskata oblast [Bulgarian element in the Moravian region]. In: Petrov, P.K. (ed.) *Nauchna ekspeditsiya v Makedoniya i Pomoravieto 1916* [Scientific Expedition to Macedonia and Pomoravieto 1916]. Sofia: VIK “Sv. Georgi Pobedonosets”, UI “Sv. Kliment Ohridski”. pp. 190–193.
8. Tsonev, B. (1993) Nauchno pateshestvie iz Pomoraviya i Makedoniya [Scientific travel from Pomoravia and Macedonia]. In: Petrov, P.K. (ed.) *Nauchna ekspeditsiya v Makedoniya i Pomoravieto 1916* [Scientific Expedition to Macedonia and Pomoravieto 1916]. Sofia: VIK “Sv. Georgi Pobedonosets”, UI “Sv. Kliment Ohridski”. pp. 151–158.
9. Todorov, Tz. (1936) Severozapadnite balgarski govorovi [Northwestern Bulgarian dialects]. In: *Sbornik za narodni umotvoreniya i narodopis* [Collection of Creations of Folk Mind and Folk Writings]. Vol. XLI. Sofia: BAS.

10. Kochev, I. (ed.) (2001) *Balgarski dialekten atlas* [Bulgarian Dialect Atlas]. Vols 1–3. Sofia: Trud.
11. Tetovska-Troeva, M. (ed.) (2016) *Balgarski dialekten atlas*. [Bulgarian Dialect Atlas]. Vol. 4. Sofia: Prof. Marin Drinov.
12. Sedakova, I. Borders in Bulgaria in the Light of Areal Ethnolinguistics. In: Kamusella, T., Nomachi, M. & Gibson, C. (eds) *The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders*. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. pp. 376–393.
13. Katunin, D.A. (2016) The Bulgarian language in the current laws of Serbia. *Rusin*. 4 (46). pp. 252–263. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/58/16
14. Sobolev, A.N. (1998) *Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens*. Vols 1–3. Marburg: Biblion Verlag.
15. Sobolev, A.N. (2014) Theoriebildung in der Dialektologie: historisch-vergleichende Beschreibung. In: Gutschmidt, K. et al. (eds) *The Slavic Languages. An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation*. Vol. 2. Berlin: Mouton de Gruyter. pp. 2067–2074.
16. Palliwoda, N., Sauer, V. & Sauermilch, S. (eds) (2019) *Politische Grenzen – sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum*. Berlin; Boston: de Gruyter.
17. Živković, V.V. (1994) *Torlak*. Pirot: Narodna biblioteka.
18. Krstić, D. (2004) Etno-kulturne razlike između Torlaka u Srbiji i Torlaka u Bugarskoj [Ethno-cultural differences between Torlak in Serbia and Torlak in Bulgaria]. *Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu*. 68. pp. 139–153.
19. Kamenova-Borin, A. (2010) Torlatsite v Severozapada [Torlaks in the Northwest]. In: Goev, A. (ed.) *Narodnata kultura na balkandžhiite* [Folk Culture of the Balkan Mountains]. Vol. 8. Gabrovo: Etar. pp. 71–83.
20. Krstić, D. (2003) *Torlak: list Zavichajnog drushtva Timochana-Torlaka* [Torlak: newspaper of the regional Timochan-Torlak local history society]. [Online] Available from: <http://digitalnzbirka.biblio-knjazevac.org/novine-i-casopisi/rl>.
21. Gorunović, G. (2006) Stakevtsi, planinsko selo u pogranichnoj zoni: sotsio-kulturno stanje sela u protsesu tranzitsije [Stakevci, a mountain village in the border zone: the socio-cultural state of the village in the process of transition]. *Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu*. 70. pp. 195–214.
22. Ćvirković, S. (ed.) (2018) *Timok. Terenska istraživaња 2015–2017* [Timok. Field Research 2015–2017]. Knjaževac: Narodna biblioteka.
23. Smits, T.F.H. (2019) Die Grenzdialekte des Deutschen. In: Palliwoda, N., Sauer, V & Sauermilch, S. (eds) *Politische Grenzen – sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum*. Berlin; Boston: de Gruyter. pp. 31–54.
24. Veselinov, L. (2019) *Populyaren avtentichen turlashki rechnik* [Popular Authentic Torlak Dictionary]. 2nd ed. Belogradčik: [s.n.].
25. Veselinov, L. (2019) *Zhdrebche: izbrani turlashki razkazi* [Zhdrebche: Selected Torlak Stories]. Belogradčik: [s.n.].
26. Bellmann, G. (1998) Between Base Dialect and Standard Language. *Folia Linguistica*. 32/1–2. pp. 23–34.
27. Rutten, G. (2016) Historicizing diaglossia. *Journal of Sociolinguistics*. 20/1. pp. 6–30.
28. Schwarz, C. (2019) Der Einfluß der Deutsch-Schweizer Grenze auf das alemannische Dialektkontinuum. In: Palliwoda, N., Sauer, V & Sauermilch, S. (eds) *Politische Grenzen – sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum*. Berlin; Boston: de Gruyter. pp. 227–248.
29. Purschke, C. (2019) Vom Sprechen zur Sprache. Versuch über die variationslinguistische Praxis des Begrenzens. In: Palliwoda, N., Sauer, V & Sauermilch, S. (eds) *Politische Grenzen – sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und*

- wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum. Berlin; Boston: de Gruyter. pp. 9–30.
30. Berberska, A. (1931) Govorat na s. Oshane (Belogradchishko) [A conversation in Oshane village (Belogradčik)]. *Izvestiya na Seminara po slavyanska filologiya*. 7. pp. 79–119.
31. Bozhkov, R. (1984) *Dimitrovgradskiyat (tsaribrodskiyat) govor* [Dimitrovgrad (Tsaribrod) Dialect]. Sofiya: BAS.
32. Sobolev, A.N. (1995) O nekim juzhnoslovenskim govornim oazama u istochnoj Srbiji, zapadnoj Bugarskoj i Rumuniji (Vratarnitsa, Novo selo, Svinitsa) [On some South Slavic oases in Eastern Serbia, Western Bulgaria and Romania (Vratarnica, Satu Nou, Svinja)]. *Zbornik Matitse srpske za filologiju i lingvistiku*. 38/2. pp. 183–207.
33. Sobolev, A.N. (1994) Timochko-luzhnichki govorci u juzhnoslovenskoj ch, ѿ-zoni. *Govori prizrensko-timochke oblasti i susednih dijalekata*. Proceedings of the Conference. Niška Banja. June 1992. Niš: [s.n.]. pp. 85–105.
34. Stanojević, M. (1911) Severno-timochki dijalekat (Prilog dijalektologiji istochne Srbije) [North-Timok dialect (Supplement to the dialects of Eastern Serbia)]. *Srpski dijalektoloski zbornik*. 2. pp. 360–463.
35. Dinić, J. (2008) *Timochki dijalekatski rechnik* [Dictionary of the Timok Dialect]. Belgrade: SASA Institute for the Serbian Language.
36. Plotnikova, A.A. (2004) *Etnolingvisticheskaya geografiya Yuzhnoy Slavii* [Ethnolinguistic Geography of South Slavia]. Moscow: Indrik.
37. Trefilova, O.N. (2004) Etnolingvisticheskie materialy iz s. Stakevtsy, rayon g. Belogpadchika (Severo-Zapadnaya Bolgariya) [Ethnolinguistic materials from the village Stakevtsy, district of Belogradčik (North-Western Bulgaria)]. In: Klepikova, G.P. & Plotnikova, A.A. (eds) *Issledovaniya po slavyanskoy dialektologii* [Studies in Slavic Dialectology]. Moscow: Institute of Slavic Studies of RAS. pp. 354–398.
38. Miloradovich, S. (2019) Imennaya ob'ektnaya reduplikatsiya v serbskikh narodnykh govorakh: status, usloviya realizatsii i balkanskiy kontekst [Nominal object replication in Serbian vernaculars: status, implementation conditions, and the Balkan context]. *Slavia Iaponica*. 22. pp. 227–246.
39. Stanković, D.V. (2020) O imenichkoj deklinatsiji u govorima prizrensko-timochke dijalekatske oblasti [On the declination of noun in the speech of Prizren-Timok dialect region] *Bashtina. Prishtina – Leposavić*. 50. pp. 1–16. DOI: 10.5937/bastina30-25469

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/66/10

А.Е. Агратин

ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧЕХОВСКИХ СЮЖЕТОВ: ЛИТЕРАТУРА ПЕРЕД ЛИЦОМ КРИЗИСА ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ РАННЕЙ ПРОЗЫ)¹

Проанализированы репрезентации различных семиотических систем в ранней прозе Чехова. Отмечается, что писатель уделяет внимание как художественным, так и нехудожественным медиа. Чехов констатирует элиминацию эстетического кода («Марья Ивановна», «Галант», «Трагик»): искусство утилитаризуется, теряя свою самоидентичность. Показано, как нехудожественные медиа в мире чеховских героев подвергаются институционализации и фетишизации, получая неоправданно высокое значение («Пережитое», «Коллекция»).

Ключевые слова: Чехов, интермедиальность, нарратив, сюжет, кризис, знаково-символическая деятельность.

Переходные фазы в развитии литературы отмечены её контактами с различными видами искусства². В последние несколько десятилетий для именования этого явления все чаще используют термин «интермедиальность»³, обозначающий «особый тип внутритекстовых взаимосвязей в художественном произведении, основанный на взаимодействии художественных кодов разных видов искусств» [10]⁴.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-78-30029).

² Феномен взаимодействия (синтеза) искусств обычно исследуется на материале произведений барокко [1], рубежа XIX–XX вв. [2], постмодернизма [3]. Оговоримся, что различные виды искусства могут вступать в диалог на любом этапе исторического развития, однако он проблематизируется (становится основным объектом художественной рефлексии) именно в кризисные моменты.

³ Термин вошел в научный обиход благодаря немецко-австрийскому литературоведу О. Ханцен-Леве [4, 5]. Возникновению понятия интермедиальности предшествует многолетняя история научных исследований – как зарубежных (С. Браун [6], С.П. Шер [7]), так и отечественных (Ю.М. Лотман [8], М.С. Каган [9]).

⁴ «Интермедиальность» рассматривается и как художественный метаязык культуры [11], который «складывается из языков каждого искусства» [12]. Мы не будем подробно останавливаться на толковании понятия «медиа» (пока в науке не найдено окончательного решения этой задачи). В качестве отправной точки для дальнейших рассуждений приведем два словарных определения, которыми предлагает руководствоваться М.Л. Райан (канадская исследовательница признана одним из ведущих мировых специ-

А.П. Чехов, творчество которого приходится на транзитивный период в истории русской литературы (конец XIX – начало XX в.), еще в прозе 1880–1887 гг.¹ прибегал к интермедиальным связям. Неслучайно исследователи (В.М. Родионова [15], Н.М. Фортунатов [16], М.М. Гиршман [17], В.Б. Катаев [18], В.С. Мазенко [19], Н.Ю. Грекалова [20] и мн. др.) говорят о живописности, «театральности», музыкальности произведений писателя. Чтобы убедиться в достоверности данных характеристик, достаточно взглянуть на подзаголовки чеховских миниатюр: «Безнадежный: (Эскиз)»; «Дипломат: (Сценка)»; «На реке: (Весенние картинки)»; «Картины из недавнего прошлого»². В соответствии с категориальным аппаратом современной науки следует вести речь об *имитации медиа*³ в произведениях Чехова.

Поэтика интермедиальности также реализуется в форме *тематизации медиа*: искусство становится объектом повествования. Несмотря на весьма широкую распространность указанного «приема» в творчестве писателя, он изучен довольно поверхностно (особенно на материале ранней прозы). В настоящей статье мы постараемся хотя бы частично восполнить этот пробел⁴.

Так, предметом внимания Чехова выступает *изобразительное искусство*.

В произведении «Талант» (1886) Егор Саввич постулирует мнимую принадлежность к «культуре» жрецов искусства. Герой «предается утренней

алистов по вопросам интермедиального повествования): а) канал (система) общения; б) материальное или техническое средство передачи информации (в том числе художественной) [13].

¹ Мы ориентируемся на периодизацию творчества Чехова, предложенную А.П. Чудаковым [14].

² Попутно отметим, что особый интерес среди ранних произведений Чехова представляет рассказ «Контрабас и флейта»: музыкальная метафора распространяется не на весь текст, а только на образы героев (см. подробнее в [21]).

³ Мы опираемся на типологию интермедиальности, предложенную В. Вольфом: 1) «множественная» медиальность (pluramediality) – чаще в современных исследований применяется эквивалентный термин «мультимодальность» [22] – интеграция в одном произведении искусства различных семиотических систем (спектакль, фильм, компьютерная игра); 2) трансмедиальность (transmediality) – манифестация нарратива, которая не ограничивается одним медиа; 3) интермедиальная транспозиция – перевод с «языка» одного медиа на «язык» другого (экранизация книги); 4) интермедиальная референция: а) тематизация медиа (роман, описывающий жизнь художника или композитора); б) цитирование медиа (текстуальный элемент картины); в) описание медиа (экфрасис); г) имитация медиа (роман, структурированный как музыкальное произведение) [23, 24, 25]. Из типологии Вольфа в настоящей статье заимствуются только те элементы, которые актуальны для анализа чеховской прозы. При этом термин «тематизация» мы употребляем в более широком смысле (в целях практического удобства), обозначая им любое повествование о медиа (в контексте рассказа о жизни художника / композитора или за его пределами).

⁴ Нас будет интересовать не интермедиальность как самодостаточное явление, а ее вклад в развертывание повествуемых у Чехова историй. Из анализа произведений писателя станет ясно, что этот вклад не только чрезвычайно велик, но и во многих случаях исчерпывает целесообразность применения интермедиальных техник письма.

меланхолии» [26. Т. 5. С. 277], мечтает написать великую картину, которая поможет ему заработать денег и уехать за границу, а самое главное – заявляет Кате, самозабвенно в него влюбленной, что никогда не станет ее супругом, поскольку «художнику и вообще человеку, живущему искусством, нельзя жениться» [Там же. С. 278].

Основа миражного самосознания Егора Саввича – воображаемая история о великом живописце: «Он начинает мечтать... Воображение его рисует, как он становится знаменитостью» [Там же. С. 279]. Самый уязвимый элемент мысленного рассказа Егора Саввича – образ картины, который, по сути, отсутствует: «Будущих произведений своих он представить себе не может, но ему ясно видно, как про него говорят газеты, как в магазинах, продают его карточки, с какою завистью глядят ему вслед приятели» [Там же. С. 278–279]. Произведение искусства лишается главного своего атрибута – изображения. Остается один институциональный контекст – он как будто предшествует самому акту художественного творения, а в итоге обходится без него.

В «реальном» мире дела обстоят ничуть не лучше. Живописное полотно, создаваемое чеховским персонажем, имеет более ясный облик, нежели туманные фантазии художника, однако уже на стадии наброска (плана) представляет собой набор клише, не более ценных, чем пустой холст. Название новой работы главного героя говорит само за себя: «Вот... «Девушка у окна после разлуки со своим женихом» <...> В три сеанса. Далеко еще не кончено» [Там же. С. 279]. Содержание картины также не обнадеживает: мы видим «едва подмалеванную Катю, сидящую у открытого окна; за окном палисадник и липовая даль» [Там же. С. 280] – штампы, используемые автором-повествователем, подчеркивают уровень «мастерства» художника.

Произведение искусства в анализируемом рассказе не влияет на ход событий, а выполняет чисто характерологическую функцию и может быть помещено в один ряд с нелепыми деталями внешности героев, которые только и обеспечивают их причастность к творческой среде: «А космат Егор Саввич до безобразия, до звероподобия. Волосы до лопаток, борода растет из шеи, из ноздрей, из ушей <...>» [Там же. С. 277]; Костылев «длинноволос, носит блузу и воротники à la Шекспир, держит себя с достоинством» [Там же. С. 280].

Герой сценки «Открытие» (1886) на первый взгляд противоположен Егору Саввичу. Он не художник (псевдотворец), убежденный в своей гениальности, а ни о чем не подозревающий обычай, обнаруживший в себе способность к рисованию: персонаж машинально водит карандашом по бумаге и вдруг понимает, что у него получился рисунок – головка девушки, в которую он был влюблена в юности.

Но, во-первых, слишком мелок стимул, разбудивший талант Бахромкина, а именно – досадливые рассуждения героя о возрастных изменениях, произошедших в объекте его вздоханий: «В свое время это была замечательная красавица <...> Теперь же это была худосочная, болтливая стару-

шенция с кислыми глазами и желтыми зубами... Фи!» [26. Т. 4. С. 321]. Вторых, мысли персонажа о будущем подчиняются таким же примитивным сюжетным схемам, что и воздушные замки Егора Саввича: «А слава, известность? <...> Поэт или художник спит или пьянятывает себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки...» [Там же. С. 323].

Бахромкин идет дальше и «переворачивает» нарратив художника. Персонаж отрицает не только легенду о божественном избраннике (это могло бы иметь хорошие последствия – герой начал бы трудиться, развивать свой талант, возможно, создал бы истинный шедевр и т.д.), но и саму профессию живописца: «Вот он, художник или поэт, темною ночью плется к себе домой <...> Идет он жалкенький, в порыженом пальто, быть может, даже без калош <...> Ему хочется есть и пить, но рыбчиков и бургонского – увы! – нет <...> в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем – чековой книжки...» [Там же. С. 323–324]. Несостоявшийся художник радуется, что его открытие случилось с таким опозданием: «Ну его к чёрту! – подумал он, нежась и сладко засыпая. – Ну его... к... чёрту... Хорошо, что я... в молодости не тово... не открыл...» [Там же. С. 324]. Рисунок – тоже незаконченный, однако на сей раз весьма удачный по сравнению с творческими изысканиями Егора Саввича: «<<...> томный, суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве <...>» [Там же. С. 321] – остается лишь потенциальным катализатором сюжетного действия.

Нередко у Чехова главный герой не создатель картины, а реципиент. Результат такой переакцентировки мы наблюдаем в «Марье Ивановне» (1884) и «Произведении искусства» (1886).

В первом тексте возникает типичный для прозы Чехова нарративный эффект, когда интрига обусловлена неполнотой кругозора читателя: он видит меньше, чем персонаж. Последний смотрит на полотно, которое мы вплоть до развязки принимаем за «молодую женщину лет двадцати трех» [Там же. Т. 2. С. 312]. Нарратор описывает изображение на картине, как если бы говорил о реальном человеке. Заданная самим повествованием ошибка усугубляется репликами героя (весьма противоречивыми – они в то же время заставляют нас усомниться в изначальной трактовке происходящего), беседующего с портретом, вероятно, в терапевтических целях: «Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могильы!» [Там же]. Картина является причиной курьезной ситуации, и этим ограничивается её роль в структуре юмористической сценки.

«Произведение искусства» из одноименного рассказа тоже оказывается в центре анекдотических перипетий. Женский портрет в «Марье Ивановне» описан нейтрально: важен сам факт воспроизведения человека в визуальных формах. Канделябр же, преподнесенный Сашей Смирновым доктору в знак благодарности, совершает круговорот передариваний (и в конце возвращается к Кошелькову от того же пациента, который уверен, что ему «удалось приобрести пару» [Там же. Т. 5. С. 450] для уже презен-

тованного предмета) именно ввиду своих сомнительных художественных качеств: «Это был невысокий канделябр старой бронзы <...> Изображал он группу: на пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента» [26. Т. 5. С. 447–448]. Пошлость передаваемой из рук в руки работы очевидна абсолютно всем (за исключением Саши Смирнова и его матери) – в том числе людям, весьма далеким от искусства (например, адвокату Ухову).

Изобразительное искусство в чеховском нарративе не «прочитывается» как искусство. Оно полностью погружено в повествуемый мир в качестве его рядового элемента. Картина становится факультативной деталью в истории художника (явно проигрывая всевозможным атрибутам роскоши), не выполняет сюжетообразующей функции там, где это было бы уместно (в рассказе о судьбе живописца), и обуславливает события, совершенно не связанные с творческой деятельностью, в произведениях, посвященных фигуре реципиента – причем не знатока или обладающего глубокой интуицией «поэта», а мещанина, стоящего рядом с потребителем юмористической прозы (вот почему такое событие может быть целиком расположено в плоскости читательского восприятия – как в «Марье Ивановне»).

Больше не имеет значения граница между искусством и действительностью. Из *посредника (медиума)* между художником и зрителем (зрителем и художественным гетерокосмосом) оно превращается в *средство* – достижения славы, выражения благодарности, нормализации психологического здоровья и т.п.

На наш взгляд, к сфере интермедиальности можно отнести и тематизацию *литературы* в художественном произведении, если она рассматривается с точки зрения своих «посреднических» возможностей – в качестве канала эстетической коммуникации¹.

Писатель в произведениях Чехова под стать художнику: перед нами все тот же обыватель, не придающий высокого значения своей работе, выполняющий заказ: «Помня обещание, данное редактору одного из еженедельных изданий – написать святочный рассказ «пострашнее и поэффектнее», Павел Сергеич сел за свой письменный стол <...>» – так начинается одноименное произведение 1886 г. Главный герой на ходу придумывает остро-сюжетную историю об убийстве, периодически отвлекаясь на праздные развлечения (весело болтает с гостями, поет, спорит с женой по поводу певческих способностей Никонова и т.д.), и каких-то серьезных трудностей такая «параллельная» работа не создает, вероятно, потому, что рассказ, принадлежащий перу Павла Сергеича (фрагменты произведения «ци-

¹ Можно назвать презентацию литературы в литературном произведении *метамедиальностью*. Но в отношении многих произведений Чехова было бы правильнее говорить о *квазиметамедиальности*, поскольку писатель обычно тематизирует тексты, которые лишь позиционируются в качестве литературных, по сути, таковыми не являясь (по крайней мере, по сравнению с самим чеховским текстом-«акцептором»).

тируются» автором на протяжении всего повествования), слеплен из сюжетных штампов (вражда друзей – доброго, «робкого» Ушакова и злого, «развратного» Винкеля [26. Т. 5. С. 441] – из-за любви к модистке, убийство положительного героя, похороны, суд, наказание злодея, побег из тюрьмы, поимка преступника, его самоубийство, посещение матерью могилы сына) – фантазия писателя не задействована в процессе создания текста. Неудивительно, что в finale «жизни» все-таки вытесняет литературу: герой, не завершив своего сочинения, «изорвал рукопись» [Там же. С. 446] и уехал на загородную прогулку с гостями.

Для персонажа-читателя литература – это элемент имиджа, источник психофизиологических проблем, коммуникативная помеха, информационный шум, но никак не художественный текст.

Начальник Семипалатов из рассказа «Чтение» (1884) легкомысленно принимает предложение антрепренера Галамидова обеспечить чиновников книгами. Иван Петрович надеется, что знакомство с мировой классикой изменит подчиненных и ему больше не будет стыдно за их безграмотность и простаковатость. Исход эксперимента оказывается совершенно неожиданным. В лучшем случае сотрудники не знают, как подступиться к чтению: «Четыре раза уж начинал, – сказал он (Мердяев. – *A.A.*), – но ничего не разберу... Какие-то иностранцы...» [Там же. Т. 2. С. 362]. Просветительское предприятие Семипалатова имеет и более печальные последствия: «Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить» [Там же]. Иван Петрович решает отказаться от попыток интеллигентуально «усовершенствовать» чиновников.

В произведении «Водевиль» (1884) Чехов изображает сразу две инстанции (креативную и рецептивную). Клочков читает пьесу собственного сочинения – по степени шаблонности она легко может конкурировать со связочным рассказом Павла Сергеича («Заказ»). Автор излагает сюжет водевиля, суть которого «не сложна, цензура и кратка» [Там же. Т. 3. С. 32]. Персонажи ждут статского советника Клещева, претендующего на сердце дочери главного героя. Отец устраивает скандал из-за запаха жареного гуся, разносящегося по дому (по его мнению, этот запах смутит гостя). Конфликт с женой разрастается в целую семейную драму. «Тут же примазан жених Лизы, Гранский, кандидат прав, человек из «новеньких», говорящий о принципах и, по-видимому, изображающий из себя в водевиле добре начало», – добавляет Чехов [Там же. С. 32–33]. Клочков чрезвычайно доволен комическим эффектом, произведенным пьесой на аудиторию, – таким образом, писатель и слушатели демонстрируют полное отсутствие вкуса. Герои, сами того не желая, показывают истинную сущность водевиля, с одной стороны, и уровень своего художественного восприятия – с другой. Они замечают, что пьеса, конечно, хороша, но действующие лица похожи на их начальников и те могут обидеться, если узнают о творчестве Клещева. По мнению слушателей, это единственный недостаток водеви-

ля – иных, связанных с его литературными качествами, они не замечают. В то же время водевиль эстетически настолько беден, что иначе как фактор социальных отношений и не может рассматриваться. Вновь у Чехова искусство утрачивает идентичность, превращается в *инструмент взаимодействия между людьми*.

Данная трансформация выглядит особенно ярко на фоне конфликта писателя и слушателя, разворачивающегося в сценке «Драма» (1887). Мурашкина мучает Павла Васильевича чтением невероятно утомительной и скучной пьесы, «обгоняющей» в этом плане водевиль Клещева. Равнодушие и нарастающее раздражение героя усугубляют обессмысливание, «опредмечивание» текста – Павел Васильевич не слушает новоиспеченного драматурга, думает о другом, не разбирая слов Мурашкиной: «Он <...> чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской тenor, ничего не понимал» [26. Т. 6. С. 227]. В полусонном состоянии, плохо осознавая свои действия, персонаж ударяет Мурашкуну пресс-папье по голове.

В произведении «О женщины, женщины!..» (1884) представлено два конфликта: в первом задействованы писатель (он, как обычно, не сомневается в своем даровании) и слушатель, во втором – реципиенты. Почитаев, обидевший приятеля Прочуханцева отказом напечатать его низкопробные стихи, ищет эмоциональной поддержки у жены, которая, к изумлению героя, считает тексты поэта-любителя чрезвычайно удачными и упрекает супруга в несправедливости. И вновь литературное произведение у Чехова включается в систему межличностных (на этот раз – семейных) отношений. Оценка, данная творению Прочуханцева Марьей Денисовной, безвозвратно отдаляет её от мужа: «Иду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок... О женщины, женщины! Впрочем, все бабы одинаковы!» – думал он, шагая к ресторану «Лондон». / Ему хотелось запить...» [Там же. Т. 2. С. 343].

Литературные произведения в мире чеховских героев либо бездарны, либо бесполезны или даже опасны («Чтение»). Литература перестает быть собой, утилитаризуется, обытовляется, максимально соприкасаясь с реальностью (вот почему отрывки из святочного рассказа чередуются с легкими разговорами за пределами письменного стола, стихи вызывают скорость с женой, а роман сводит с ума подчиненных), провоцирует анекдотически непредсказуемые события, которые, казалось бы, не может вызывать функциональный текст, тем более столь низкого свойства (преступление в «Драме»).

Искусство и действительность окончательно сливаются в сознании персонажей, когда они имеют дело с *театром*.

Суфлер из рассказа «Барон» (1884) – несостоявшийся артист, всеми презираемый «маленький человек». Персонаж преклоняется перед лицедеями, не проводя различий между человеческой личностью и театральной ролью: «Он не мог не любить людей, которые бывают иногда Гамлетами и Францами Моор!» [Там же. С. 454]. В конце произведения герой наконец-то сам перевоплощается в один из любимых образов. Барон произносит монолог шекспировского персонажа вместо актера (играющего невыноси-

мо ужасно). «Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета <...>» – заключает повествователь, сравнивая никудышного профессионала и заткнувшего его за пояс любителя. Нарратор не отказывает барону в искренности, но куда более реалистично смотрит на последствия его необдуманного поступка: «Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима» [26. Т. 2. С. 458].

Маша, главная героиня рассказа «Трагик» (1883), влюбляется в актера, вернее – в его театральную «маску»: Феногенов, с точки зрения девушки, ничем не отличается от своего амплуа. Заблуждение Маши довольно быстро себя обнаруживает. Она, вопреки воле «папаши-исправника» [Там же. С. 184], выходит замуж за Феногенова, и великий артист довольно скоро проявляет свою бесчеловечную и корыстолюбивую натуру: «Если он (отец Маши. – А.А.) не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, чёрт меня раздери!» [Там же. С. 186]. Очутившись на сцене, Маша по-прежнему не дифференцирует исполнителя, реального человека, и его роль: «Всё шло благополучно до того места в пьесе («Разбойниках» Шиллера. – А.А.), где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сквал в своих железных объятиях Машу. А Маша вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась...» [Там же. С. 187]. По верному замечанию В. Малкиной, в рассказе Чехова «жизнь и сцена оказываются едва ли не одним и тем же» [27. С. 144]. Ожидаемые читателем перемены (бунт Маши против деспота-мужа, развод и т.п.) не происходят: героиня продолжает жить в иллюзиях, снова и снова отправляя отцу письмо с просьбой выслать денег.

Произведение «Либеральный душка» (1884) фабульно очень напоминает «Водевиль». Организаторы любительского спектакля предлагают Тлетворскому роль рассказчика, который будет развлекать зрителей во время антракта. Но ни одно из его предложений не устраивает «Каскадова, человека молодого, университетского и либерального», как его иронично характеризует повествователь [26. Т. 3. С. 135]. Чиновник особых поручений опасается, что анекдот из еврейского быта обидит «Медхера с дочерями». Альтернатива, придуманная Каскадовым в ответ (анекдот из немецкого быта), тут же отвергается им самим, поскольку на постановке будут присутствовать «ее превосходительство немка, урожденная баронесса фон Риткарт» [Там же. С. 136]. Некрасовские стихи видятся организатору слишком тяжелыми для ушей «дам» и «девиц» [Там же. С. 137], такой же оценке подвергается «Грешница» Толстого. В конце концов Каскадов отказывается от услуг Тлетворского. Игровой перформатив преобразуется в непосредственное высказывание-действие, лишаясь своего главного атрибута – условности.

Чеховские герои живут на сцене – в прямом и переносном смысле. «Стирание» разделительной линии между спектаклем и обыденным миром приводит не только к подмене реальности её фикциональным «аналогом», но и к дискредитации самого театрального действия, представляющего цен-

ность именно благодаря своей художественной природе (способности порождать воображаемый мир, неотождествимый с действительным, несводимый к упрощенной копии последнего), а вовсе не «жизнеподобию», которое чаще всего оказывается ложным.

Различные виды искусства в прозе Чехова объединены проблемой элиминации эстетического кода, хотя и освещают её с разных сторон, в зависимости от своей специфики (визуальной, вербальной или перформативной). Чехов оценивает коммуникативные возможности искусства, ограниченные характером и качеством художественных практик, с одной стороны, и свойствами его участников – с другой. В конечном счете писатель «апробирует» семиотическую состоятельность живописи, литературы и театра на исходе века, когда знаково-символическая деятельность переживает кризис.

Но Чехова занимают также и нехудожественные медиа¹, которые проблематизированы сразу в двух аспектах.

Первый такой аспект – *институциональный*. В мире чеховских героев медиа играют определенную роль в системе отношений между агентами того или иного общественного института, что проявляется на уровне повествования в коротких историях из жизни чиновников.

В рассказе «Альбом» (1884) Жмыхов получает от подчиненных подарок, указанный в заглавии текста: «<...> подносим вашему превосходительству, в знак нашего уважения и глубокой благодарности, этот альбом с нашими портретами и желаем в продолжение вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли нас...». За пределами институционального дискурса подарок довольно быстро теряет свое значение. Дети Жмыхова распорядились им по-своему: «На другой день она (дочь Оля. – A.A.) вынула из него чиновников и побросала их на пол, и вместо них вставила своих институтских подруг. <...> Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. <...> Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу» [26. Т. 2. С. 381–382]. Реакция последнего может показаться неожи-

¹ По замечанию М.Л. Райан, «понятие медиа <...> охватывает целый круг феноменов: а) ТВ, радио и интернет <...> как средства массовой коммуникации; б) музыку, кино, театр, литературу как виды искусств; в) язык, изображение и звук как способы выражения чувств им мыслей (в том числе и в художественной сфере); г) письмо и устную речь как формы существования языка; д) рукописи, печатные издания, книги, компьютер как способы презентации письма» [13]. Отсюда следует, что интермедиальные «контакты» могут прослеживаться в рамках художественного дискурса, за его пределами или на стыке указанных «областей». Этот интерес коррелирует с пристрастием раннего Чехова к стилизации и пародии [28, 29]. Действительно, Чехов иронически осмысливает хорошо знакомые читателю жанры – в том числе (и даже в большинстве своем) нехудожественные: публицистические, официально-деловые или обиходно-бытовые («Каникулярные работы институтки Наденьки N», «Современные молитвы», «Контракт 1884 г. с человечеством», «Письмо к репортеру», «Литературная табель о рангах», «Гост прозаиков» и т.д.).

данной (учитывая, что еще накануне он был тронут до слез преподнесенным ему презентом): «Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит» [26. Т. 2. С. 382].

Рукописный текст в большей степени, чем *изображение*, задействован в институциональной коммуникации.

В цикле сценок «Лист» (1883) представлен ряд анекдотов на эту тему. В первом «старичок» получает лист: в нем каждый посетитель тщательно вывел свою подпись. Эта мучительная операция подробно воспроизводится Чеховым: «Субъект вползает, подходит на цыпочках к столу, робко берет в дрожащую руку перо и выводит на сером листе свою негромкую фамилию. Выводит он долго, с чувством, с толком, точно чистописанию учится... <...> Кончив чистописание, он долго глядит на свою каллиграфию, ищет ошибки и, не найдя таковой, вытирает на лбу пот». Сценка перекликается с другим текстом писателя того же времени – «Пережитое» (1883). «Субъект» в «Листе» «набирает чернил на перо чуть-чуть, немножечко, раз пять: капнуть боится. Сделай он кляксу и... всё погибло!» [Там же. С. 111]. В «Пережитом» этим страхом воспользовался чиновник, чтобы напугать своего коллегу, которого он грозится «погубить» [Там же. Т. 1. С. 468]: «<...> капну чернилами около твоей подписи. Кляксу сделаю... Хочешь?» [Там же. С. 469].

Вернемся к сценке из цикла «Лист». Информация, передаваемая с помощью подписи, носит сугубо прагматический характер (почтение, выказываемое адресату) и напрямую зависит от качества выводимых на бумаге букв: чем аккуратнее они будут выглядеть, тем больший успех ждет «субъекта». Несмотря на старания подчиненных, начальник, к удивлению читателя, выражает не благодарность, а подозрение: «Но, однако, что это значит? Пс! Тут, эээ... я не вижу ни одного знакомого почерка! Тут один чей-то почерк! Какой-то каллиграф писал! Наняли каллиграфа, тот и подписался за них!» [Там же. Т. 2. С. 112].

Во второй юмореске показано, насколько сильно рассматриваемый медиум привязан к институциональному контексту. Лист попадает в руки к экономке, находящейся за пределами чиновничьей иерархии, – она квалифицирует эту вещь в качестве материального объекта, не обладающего семиотической функцией: героиня «бумагу собирает, на пуды продает» [Там же] – находка пришла ей очень кстати.

Также лист показывает посторонним людям, не участвующим в институциональном общении, в какой степени адресата ценят окружающие его люди. Герой третьей сценки цикла расстроен, что никто не оставил на листе своей подписи. Чтобы не опозориться в глазах супруги, он принимает решение расписаться за посетителей.

В рассказе «Восклицательный знак» (1885) демонстрируется медиальная ограниченность институциональной коммуникации. Чиновник Перекладин вдруг осознает, что никогда не использовал восклицательных предложений в официальных бумагах. В finale произведения персонаж нарушает негласную норму, расписавшись в передней начальника: «Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!» [Там же. Т. 4. С. 270].

Чехов рассматривает еще один феномен, который мы условно назовем *фетишизацией медиа*.

Герой-рассказчик из произведения «Любовь» (1886) сочиняет письмо для девятнадцатилетней Саши, и он стремится максимально оттянуть окончание ритуала, который ценен сам по себе: «Возился я с письмом долго, как с заказанным романом, и вовсе не для того, чтобы письмо вышло длиннее, вычурнее и чувствительнее, а потому, что хотелось до бесконечности продлить самый процесс этого писанья, когда сидишь в тиши своего кабинета, в который глядится весенняя ночь, и беседуешь с собственными грэзами» [26. Т. 5. С. 86]. Однако чувства персонажа не находят должного отклика со стороны адресата. Саша коротко отвечает: «Я очень рада приходите сегодня пожалуйста к нам непременно я вас буду ждать. Ваша С.» [Там же. С. 87]. Девушка оптимизирует канал коммуникации в соответствии с целью общения: в письме ухажера её занимает основной посыл, она не отвлекается на мелочи, столь близкие сердцу героя. Отношение к медиа определяется мировоззренческими установками действующих лиц. Саша проще своего избранника не только в переписке, но и в жизни: «Будущее, о котором говорил я ей, занимало ее только своей внешностью, и напрасно я разворачивал перед ней свои проекты и планы. Ее сильно интересовал вопрос, где будет ее комната, какие обои будут в этой комнате, зачем у меня пианино, а не рояль, и т.д.» [Там же. С. 89]. Добавим, что потенциальный конфликт между персонажами не актуализируется: герой все равно любит Сашу, несмотря на все ее «недостатки».

Семиотизация («медиализация») *предметов* – наиболее яркое проявление фетишизма в мышлении и поведении чеховских героев. Вещь становится транслятором биографических сведений о персонаже, но не ввиду своих имманентных свойств (например, «говорящих» деталей, которые без лишних комментариев сообщали бы нам о каких-то эпизодах его жизни), а по предписанию самого действующего лица.

Именно так происходит в сценке «Коллекция» (1883). Миша Ковров не желает угощать друга хлебом и в ответ на недоумение собеседника предлагает ему заглянуть в один из ящиков стола. Тот не видит ничего примечательного: «Сор какой-то... Гвозди, тряпочки, какие-то хвостики...» [Там же. Т. 2. С. 58]. Выясняется, что Миша демонстрирует свою коллекцию: обгоревшую спичку, которую он обнаружил «в баранке, купленной в булочной Севастьянова» и из-за которой чуть не подавился, ноготь, найденный «в бисквите, купленном в булочной Филиппова», «зеленую тряпочку», как-то очутившуюся «в колбасе, купленной в одном из лучших московских магазинов», «засущенного таракана», гвоздь, «крысиный хвостик», «кусочек сафьяна», кильку, клопа и «кусочек гуano», попавших к герою сходным образом [Там же. С. 58–59]. Конечно, выбор предметов для «означивания» неслучаен и объясняется чередой одинаковых неудач, постигших Мишу. Но семантика всех перечисленных вещей ясна только ему, потому что никто другой не владеет соответствующим «кодом», эксплицированным в пояснениях к «экспонатам».

Персонаж создает собственную мифологию (о фатально опасной еде, скрывающей в себе инородные элементы) и снабжает ее знаками, мотивированными только в пределах последней. Зацикленность на одной и той же неприятной истории приводит к парадоксальному результату: герой не избавляется от предметов, напоминающих о ней (что было бы вполне естественно), а, напротив, аксиологизирует их, превращает в объект созерцания и поклонения: «Миша взял осторожно газетный лист, минуту полюбовался (курсив наш. – A.A.) коллекцией и высыпал ее обратно в ящик» [26. Т. 2. С. 59].

Нефункциональные медиа играют в судьбе чеховского героя более существенную роль, чем искусство. Их событийный, эмоциональный и ценностный потенциал значительно выше (воспоминательный знак – залог личностного самосознания персонажа; поздравительный альбом – манифест искренней преданности; бессмысленный на первый взгляд набор предметов – священная коллекция воспоминаний и т.д.). Диспропорция между примитивностью медиа, внушающих герою страх и/или восхищение, и влиянием их на его жизнь комична, но в то же время вызывает тревогу. Чехов ставит обществу весьма неутешительный диагноз: в социуме господствует патологическая логика абсурда – лишь она способна заставить человека наделять обыденное непомерной и ничем не оправданной значимостью.

Представления об аксиологических и каузальных свойствах медиа де-автоматизируются в рамках чеховского нарратива. Автор помещает изображение, предмет, театральное действие или верbalный текст в такие условия, когда они начинают «неправильно» влиять на повествуемые события (или вовсе теряют всякую способность что-то изменить в диегетическом мире): чтение книги может стать фактором убийства («Драма»), тяжелого психологического состояния («Чтение»), ухудшения межличностных отношений («Водевиль»); картина перестает быть «главным героем» в жизни художника («Талант») или не становится таковой («Открытие»); клякса в поздравительном листе способна разрушить карьеру чиновника («Пережитое»); любовное послание вызывает у девушки равнодушие, что, однако, не мешает ей ответить взаимностью на чувство ухажера («Любовь»); сор превращается в собрание памятных предметов, обусловливающих бытовую жизнь персонажа и даже его идентичность («Коллекция»). В заключение добавим, что мы предприняли только первый шаг в системном изучении чеховского повествования с точки зрения интермедиальности. Привлечение материала из зрелого и позднего творчества писателя даст импульс к более глубокому изучению поднятых в статье вопросов.

Литература

1. Бородин А.В. Синтез искусств в эпоху русского барокко // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 1 (39). С. 248–250.
2. Кротова Д.В. Синтез искусств в русской литературе конца XIX – первой трети XX века: А. Белый, З.Н. Гиппиус, А.С. Грин, М.М. Зощенко : дис. ... канд. филол. наук. М., 2013. 168 с.

3. Демшина А.Ю. Проблема взаимодействия искусств в эпоху постмодернизма: российская художественная практика : дис. ... канд. культурологии. СПб., 2003. 166 с.
4. Hansen-Löve A.A. Intermedialiat und Intertextualiat : Probleme der Korrelation von Wort und Bildkunst – am Beispiel der russischen Moderne // Wiener Slawistisher Almanack. Sbd. 11. Wien, 1983. P. 291–360.
5. Ханзен-Леве О.А. Интермедиальность в русской культуре: от символизма к авангарду. М. : РГГУ, 2016. 450 с.
6. Brown C.S. Music and Literature: A Comparison of the Arts. Thompson Press, 2008. 304 р.
7. Scher S.P. Notes Toward a Theory of Music // Comparative Literature. 1970. Vol. 22, № 2. P. 147–156.
8. Лотман Ю.М. Избранные статьи : в 3 т. Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин : Александра, 1992. 472 с.
9. Каган М.С. Морфология искусства. М. : Искусство, 1972. 440 с.
10. Тишунина Н.В. Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных исследований // Методология гуманитарного знания в перспективе XX века: К 80-летию профессора М.С. Кагана. Серия: Symposium. № 12. СПб., 2001. С. 149–154. URL: <http://anthropology.ru/ru/text/tishunina-nv/metodologiya-intermedialnogo-analiza-v-svete-mezhdisciplinarnyh-issledovaniy>
11. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. М. : Интрада, 1998. 255 с.
12. Седых Э.В. К проблеме интермедиальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. 2008. Вып. 3, ч. 2. С. 210–214.
13. Ryan M.L. Narration in Various Media // The Living Handbook of Narratology. 2012. URL: <https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/53.html>
14. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. Л. : Наука, 1971. 290 с.
15. Родионова В.М. Поэтика Чехова: живописность и музыкальность прозы. М. : Изд-во МГОУ, 2009. 95 с.
16. Фортунатов Н.М. Пути исканий: О мастерстве писателя. М. : Сов. писатель, 1974. 240 с.
17. Гиришман М.М. Ритм художественной прозы. М. : Сов. писатель, 1982. 366 с.
18. Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М. : Изд-во МГУ, 1979. 327 с.
19. Мазенко В.С. Игровое начало в произведениях А.П. Чехова : дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2004. 160 с.
20. Грязалова Н.Ю. Визуальный образ и смысл: заметки о чеховских экфрасисах (к юбилею А.П. Чехова) // Русская литература. 2010. № 2. С. 3–14.
21. Петрова С.А. Интермедиальный анализ образов героев в произведениях А.П. Чехова («Контрабас и флейта», «Скрипка Ротшильда») // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2011. № 3 (14). С. 160–164.
22. Kress G., Leeuwen T. van. Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London : Arnold, 2001. 152 p.
23. Wolf W. Intermediality // The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London : Routledge, 2005. P. 252–256.
24. Wolf W. Music and Narrative // The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London : Routledge, 2005. P. 324–329.
25. Wolf W. Pictorial Narrativity // The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London : Routledge, 2005. P. 431–435.
26. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Сочинения : в 18 т. М., 1974–1982.
27. Малкина В. Театральность в рассказе («Трагик» А.П. Чехова и «Ди Грассо» И.Э. Бабеля) // Молодые исследователи Чехова. 5: Материалы международной научной конференции, Москва, май 2005 г. М., 2005. С. 240–246.

28. Назиров Р.Г. Достоевский и Чехов: преемственность и пародия // Назиров Р.Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход: Исследования разных лет : сб. ст. Уфа, 2005. С. 159–168.

29. Кубасов А.В. Проза А.П. Чехова: искусство стилизации. Екатеринбург : Уральский гос. пед. ун-т, 1998. 399 с.

Intermedial Parameters of Chekhov's Plots: Literature in the Face of the Crisis of Sign-Symbolic Activity (On the Material of Chekhov's Early Prose)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 177–192. DOI: 10.17223/19986645/66/10

Andrey E. Agratin, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation), Pushkin State Russian Language Institute (Moscow, Russian Federation). E-mail: andrej-agratin@mail.ru

Keywords: Chekhov, intermediality, narrative, plot, narration, crisis, sign-symbolic activity.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 17-78-30029.

The article raises the question of Chekhov's rethinking of various medial "tools" (letter, printed text, image, painting, literature, theater, etc.) in the context of epochal artistic challenges, the main of which is the crisis of sign-symbolic activity. This problem has not received sufficient coverage in literary studies (especially on the material of the writer's early works), and the article attempts to at least partially fill this gap. The proposed study is based on the categorical structure of modern narratology: the focus is not on intermediality as a self-sufficient phenomenon, but on its contribution to the development of stories told by Chekhov. From the analysis of the writer's works, it becomes clear that this contribution is not only extremely large, but in many cases exhausts the expediency of using intermedial writing techniques. Chekhov represents both artistic and non-artistic media in his works. In the first case, the writer states the elimination of the aesthetic code ("Reading", "Art", "A Tragic Actor", "Marya Ivanovna"): art becomes part of everyday life and ultimately loses self-identity, performing only its peripheral functions (from the medium between the viewer/reader and the artistic universe it turns into a means of expressing gratitude, creating an image, maintaining psychological health, etc.). Non-artistic media are institutionalised and fetishised; as a result, they acquire an unjustifiably high value ("Living Memories", "The Collection"). Ideas about the axiological and causative properties of media are de-automated in Chekhov's narrative. The writer places the image, object, theatrical performance, or verbal text in the conditions when they begin to "incorrectly" influence the narrated events (or lose all ability to change something in the diegetic world). Reading a book can be a reason for murder ("A Drama"), a severe psychological state ("Reading"), deterioration of interpersonal relations ("The Vaudeville"); a painting ceases to be the "main character" in the artist's life ("Talent"); a blot is capable of destroying the career of an official ("Living Memories"); a love message causes indifference in a girl, which, however, does not prevent her from reciprocating the feeling of her boyfriend ("Love"); litter becomes a collection of memorabilia, key for the character's everyday life and even his self-consciousness ("The Collection"). The article takes only the first step in the systematic study of Chekhov's narration in terms of intermediality. Attracting material from Chekhov's mature and late creative work will probably give impetus to a deeper study of the issues raised in this study.

References

1. Borodin, A.V. (2011) Sintez iskusstv v epokhu russkogo barokko [Synthesis of arts in the era of Russian Baroque]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv – The Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts*. 1 (39). pp. 248–250.

2. Krotova, D.V. (2013) *Sintez iskusstv v russkoy literature kontsa XIX – pervoy treti XX veka: A. Belyy, Z.N. Gippius, A.S. Grin, M.M. Zoshchenko* [Synthesis of Arts in Russian Literature of the Late 19th – First Third of the 20th Centuries: A. Bely, Z.N. Gippius, A.S. Grin, M.M. Zoshchenko]. Philology Cand. Diss. Moscow.
3. Demshina, A.Yu. (2003) *Problema vzaimodeystviya iskusstv v epokhu postmodernizma: rossiyskaya khudozhestvennaya praktika* [The Problem of Interaction of Arts in the Era of Postmodernism: Russian Artistic Practice]. Culturology Cand. Diss. Saint Petersburg.
4. Hansen-Löve, A.A. (1983) Intermedialiat und Intertextualiat: Probleme der Korrelation von Wort und Bildkunst – am Beispiel der russischen Moderne. In: Hansen-Löve, A.A. & Reuther, T. (eds) *Wiener Slawistisher Almanack*. 11. Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien. pp. 291–360.
5. Hansen-Löve, A.A. (2016) *Intermedial'nost' v russkoy kul'ture: ot simvolizma k avangardu* [Intermediality in Russian Culture: From Symbolism to the Avant-Garde]. Moscow: Russian State University for the Humanities.
6. Brown, S.S. (2008) *Music and Literature: A Comparison of the Arts*. Thompson Press.
7. Scher, S.P. (1970) Notes toward a Theory of Music. *Comparative Literature*. 2 (22). pp. 147–156.
8. Lotman, Yu.M. (1992) *Izbrannye stat'i* [Selected Articles]. Vol. 1. Tallin: Aleksandra.
9. Kagan, M.S. (1972) *Morfologiya iskusstva* [Morphology of Art]. Moscow: Iskusstvo.
10. Tishunina, N.V. (2001) [Methodology of intermedial analysis in the light of interdisciplinary research]. *Metodologiya gumanitarnogo znaniya v perspektive XX veka* [Methodology of Humanitarian Knowledge in the Perspective of the 20th Century]. Proceedings of the International Conference dedicated to the 80th anniversary of M.S. Kagan. “Symposium”. 12. Saint Petersburg. 18 May 2001. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo. pp. 149–154. [Online] Available from: <http://anthropology.ru/ru/text/tishunina-nv/metodologiya-intermedialnogo-analiza-v-svete-mezhdisciplinarnyh-issledovanij>. (In Russian).
11. Il'in, I.P. (1998) *Postmodernizm ot istokov do kontsa stoletiya: Evolyutsiya nauchnogo mifa* [Postmodernism from the Beginnings to the End of the Century: The Evolution of a Scientific Myth]. Moscow: Intrada.
12. Sedykh, E.V. (2008) To the problem of intermediality. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 9. – Vestnik of Saint Petersburg University. Series 9. 3 (II)*. pp. 210–214. (In Russian).
13. Ryan, M-L. (2012) Narration in Various Media. *The Living Handbook of Narratology*. [Online] Available from: <https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/53.html>.
14. Chudakov, A.P. (1971) *Poetika Chekhova* [Poetics of Chekhov]. Leningrad: Nauka.
15. Rodionova, V.M. (2009) *Poetika Chekhova: zhivopisnost' i muzykal'nost' prozy* [Poetics of Chekhov: Picturesqueness and Musicality of Prose]. Moscow: Moscow Region State University.
16. Fortunatov, N.M. (1974) *Puti iskanii. O masterstve pisatelya* [The Paths of Seeking. About the Skill of the Writer]. Moscow: Sovetskiy pisatel'.
17. Girshman, M.M. (1982) *Ritm khudozhestvennoy prozy* [The Rhythm of Fiction]. Moscow: Sovetskiy pisatel'.
18. Kataev, V.B. (1979) *Proza Chekhova: problemy interpretatsii* [Chekhov's Prose: Problems of Interpretation]. Moscow: Moscow State University.
19. Mazenko, V.S. (2004) *Igrovoe nachalo v proizvedeniyakh A.P. Chekhova* [The Playful Component in the Works of A.P. Chekhov]. Philology Cand. Diss. Voronezh.
20. Gryakalova, N.Yu. (2010) *Vizual'nyy obraz i smysl: zametki o chekhovskikh ekfrasisakh (k yubileyu A.P. Chekhova)* [Visual image and meaning: notes on Chekhov's ekphrases (to the anniversary of A.P. Chekhov)]. *Russkaya literatura*. 2. pp. 3–14.
21. Petrova, S.A. (2011) The intermedial analysis of heroes of A.P. Chekhov's stories (“The Contrabass and a Flute”, “Rothschild Violin”). *Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo*

- pedagogicheskogo universiteta – Surgut State Pedagogical University Bulletin.* 3 (14). pp. 160–164. (In Russian).
22. Kress, G. & Leeuwen, T. van. (2001) *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold.
 23. Wolf, W. (2005) Intermediality. In: Herman, D., Jahn, M. & Ryan, M.-L. (eds) *The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*. London: Routledge. pp. 252–256.
 24. Wolf, W. (2005) Music and Narrative. In: Herman, D., Jahn, M. & Ryan, M.-L. (eds) *The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*. London: Routledge. pp. 324–329.
 25. Wolf, W. (2005) Pictorial Narrativity. In: Herman, D., Jahn, M. & Ryan, M.-L. (eds) *The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*. London: Routledge. pp. 431–435.
 26. Chekhov, A.P. (1974–1982) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem* [Complete Works and Letters]. Moscow: Nauka.
 27. Malkina, V.Ya. (2005) [Theatricality in the story (“Tragedian” by A.P. Chekhov and “Di Grasso” by I.E. Babel)]. *Molodye issledovateli Chekhova* [Young Researchers of Chekhov]. Proceedings of the International Conference. 5. Moscow. 23–26 May 2005. Moscow: Moscow State University. pp. 240–246. (In Russian).
 28. Nazirov, R.G. (2005) *Russkaya klassicheskaya literatura: sravnitel'no-istoricheskiy podkhod. Issledovaniya raznykh let* [Russian Classical Literature: A comparative historical approach. Studies of different years]. Ufa: Bashkir State University. pp. 159–168.
 29. Kubasov, A.V. (1998) *Proza A.P. Chekhova: iskusstvo stilizatsii* [A.P. Chekhov's Prose: The art of stylisation]. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/66/11

С.Л. Андреева, М.Л. Бедрикова

**КОНЦЕПТЫ «МЕССИАНСТВО» И «ИЗБРАННОСТЬ»
В РОМАНЕ-ФАНТАСМАГОРИИ В. АКСЁНОВА
«ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ И ВОЛЬТЕРЬЯНКИ»:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ**

Исследуются культурные концепты «Мессианство» и «Избранность» как взаимосвязанные и взаимообуславливающие константы утопического типа сознания. Их отражение в русском литературном дискурсе рассматривается в диахроническом аспекте развития русской и европейской культур. Отправной точкой в концептуальном анализе стал роман-фантасмагория В. Аксёнова «Вольтерьянцы и вольтерьянки», интертекстуальная канва которого содержит проспективно-ретроспективный план представления указанных утопических концептов.

Ключевые слова: концепт, мессианство, избранность, избранный народ, креативный класс, Просвещение, В. Аксёнов.

Введение

Предпосылки обращения к теме

История утопического и антиутопического жанров в России демонстрирует изначальную включенность русских авторов в осмысление и творческое преобразование мировых утопических идей. Литературные «примерки» проектов счастливого Будущего, их отдельных образов в определенные периоды отечественной истории отражались и на литературном процессе, и на стратегии государственного управления, влияли на национальную идею и идеологию государства, подвергались гонению или, наоборот, насаждались. Литература не только отразила, но и сохранила, как особая форма общественного сознания, «пульс» утопической мысли. Даже беглый взгляд на историко-литературный процесс обнаруживает преемственность, повторяемость и цикличность ряда утопических констант, их актуальность для духовно-нравственной сферы современной России.

Воспринимая и оценивая интертекстуальные связи и реминисценции не как простые средства выразительности, а как свидетельства «живучести» утопических идей и образов сознания, мы исследовали роман Василия Аксёнова «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004). В аннотации к роману писатель заметил: «Нам не хватает такого, как Вольтер. Не вождя, который поведет армии, а духовного лидера, который и сдержит революции, и будет чувствовать социальную справедливость. Но, увы, нет даже наме-

ка на такого» [1]. Эта книга была оценена некоторыми критиками как творческая неудача [2, 3], а другими – как творческий успех (книга получила в 2004 г. премию «Русский Букер»).

Образ Вольтера – одного из духовных лидеров Франции и Европы 60-х гг. XVIII в. – помещен в центр романа писателя, который тоже входил в число духовных лидеров «шестидесятников», но другого века и другой страны. Новое осмысление фигуры французского просветителя и энциклопедиста в русской литературе начала XXI в. показалось нам неслучайным. Интертекстуальные акценты, расставленные Аксёновым в идеях великого просветителя, представлены как знаки русской культуры, векторы развития отечественной истории, русского массового и элитарного сознания. Но, возможно, фигура писателя-философа XVIII в. рассматривалась автором в качестве ориентира, необходимого писателю для понимания и оценки своего собственного вклада в литературную и общественную жизнь страны. Поддержим свою догадку тем фактом, что после «Вольтерьянцев и вольтерьянок» был издан последний роман Василия Аксёнова «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках» (2009).

Роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» представляется нам пока мало исследованным и уже только в силу этого недооцененным. Самостоятельному литературоведческому разбору могут быть подвергнуты и другие особенности романа, но для нас его историческая основа, сюжет, образная система и интертекстуальная канва послужили своеобразным катализатором, заставившим рассмотреть художественное воплощение концептов¹ «Мессианство»² и «Избранность», которые исторически связаны между собой и распадаются на частные концепты: «Мессия», «Народ-messия», или «Избранный народ», «Гонимый народ», «Еретик» и т.д. Все они входят в концептосферу утопического типа сознания (далее – УТС). Мы проследим их воспроизведимость и смену культурных кодов для фиксации указанных констант в диахроническом исследовании жизни утопических идей.

В анализируемом романе фигура Вольтера встала в один ряд с образами других духовных вождей и мессий, каждый из которых представлен как символ своей эпохи. Разбег между отсылками к историческим эпохам мо-

¹ Содержание термина «концепт» мы не отождествляем с понятием, а называем им некий квант культуры, объединяющий самые разные способы объективации отдельной культурной константы, существующей в сознании народа и творческой индивидуальности, воспринятой с этой культурой и развивающейся как целостное образование. Различные способы объективации культурного концепта имеют общий приписываемый смысл, который делает разрозненные факты знаками одной сущности. Наименование концептов с заглавной буквы, как один из вариантов обозначения, существующих в когнитологии, символизирует разницу между концептом-понятием и культурным концептом.

² Мы предпочли использовать именно термин «мессианство», а не параллельно существующий в науке «мессианизм», поскольку первый вариант в большей мере отражает сложность и структурированность явления, содержит определенное указание на собирательность субъекта и в то же время сохраняет значение «тendency, направления, склонности».

жет составлять у Аксёнова несколько столетий и даже тысячелетий. Образы-знаки складываются в пунктирную линию, идущую от древнейшего греческого мифа «о жизни при Кроносе», римского «Сатурнова государства», к идеям энциклопедистов XVIII в., а затем к утопиям и антиутопиям романтизма, постмодернизма и, наконец, подводят нас к утопическим тенденциям в современном общественном сознании.

Понятия «духовный лидер» и «мессия» не тождественны. Первое понятие более узкое, так как обозначает хотя и обязательный, но только один из этапов формирования мессий. В нем зафиксированы слоты еретичества и власти над умами, но нет идеи жертвенности, избранности и целевой установки на всеобщее счастье в новом государстве. Не все духовные лидеры – мессии, но все мессии проходят этап духовного лидерства. Идея мессианства «корнями» уходит на несколько тысячелетий в глубь европейской культуры и мировой цивилизации; она активно эксплуатируется сегодня, а ее «ветви» уже устремлены в будущее. В определенные моменты российской истории мессианство получает статус национальной идеи, определяет политику и культуру, самосознание народа. Тезис об особой роли России в мире актуален как никогда, причем не только в политике, но и в массовом сознании, культуре, науке, образовании, спорте и др. [4. Т. 1. С. 61].

Эпоха XVIII в. внесла свой вклад в европейский процесс развития идеи мессианства. Мы считаем, что реконструкция и интерпретация исторических событий (реальных и возможных) на страницах романа В. Аксёнов – это не столько взгляд писателя из настоящего в прошлое, сколько его попытка дать *«персонам читающего сословия»* возможность осмысливать будущее и современность сквозь призму идей, волновавших Россию и Европу в то время. Сегодня «эпоха энциклопедистов» заново открывается учеными: «Важно не подходить к переосмыслинию Просвещения исключительно с исторических позиций, т.е. не ограничивать его только XVIII столетием – “веком критики”, как говорил Кант. Нужно видеть в нем способ мышления, необходимый для осмыслиния настоящего. Век Просвещения, хотя с исторической точки зрения и является веком, принадлежащим “прошлому”, должен восприниматься как некая “позиция” по отношению к современному миру» [5. С. 9]. Именно особая «позиция» отличает как саму эту эпоху, так и ее лидеров.

Материал и методы исследования

Чтобы продемонстрировать ключевые моменты существования и развития концептов «Мессианство» и «Избранный народ» в динамике социально-политических, культурных и литературных утопических и антиутопических идей, мы не будем ограничиваться иллюстративным материалом романа «Вольтерьянцы и вольтерянки», а обратимся и к другим произведениям русского историко-литературного дискурса УТС. К русскому дискурсу мы относим не только произведения отечественных литераторов, но и широко обсуждавшиеся в свое время в культурных кругах России и по-

этому послужившие источником интертекстуальных связей и в романе В. Аксёнова, и в утопиях XVIII в. произведения иностранных авторов. Учитывая, что указанные концепты актуализируются не только в литературе и имеют далеко не только эстетическое назначение, к анализу будут привлечены источники по истории, философии, социологии, важные для идентификации концептов в романе Аксёнова и современной нам культуре в целом.

Диахронический анализ концептов мы представим не столько в виде последовательного рассмотрения фактов, сколько в виде центробежных и центrostремительных экскурсов в литературный и исторический контекст. В «центре» будет образ Вольтера – духовного лидера, претендовавшего на роль воспитателя мессий эпохи Просвещения.

Концепт «Мессия» как наднациональный концепт утопического типа сознания

Вольтер и мессианская идея эпохи Просвещения

«Кто такой Вольтер? Известный скандальный вольнодумец XVIII века, давно ставший скучной хрестоматийной фигурой в учебниках истории и литературы? Или же это вечно живой символ свободы, родной и близкий не только капризным французам, но и широкой русской душе?» [1. С. 4]. Этими вопросами издатели романа В. Аксёнова «Вольтерьянцы и вольтерьянки» старались передать основной замысел произведения.

Ностальгия В. Аксёнова по фигуре духовного лидера вызвана осмысливанием ценностей современной эпохи и отсутствием в ней не только какого-то заметного автора-транслятора высоких идей, но и самих идей, таких, которые способны были бы вдохновить и возвысить новое поколение, занятное большей частью стратегиями потребления.

В слове «вольтерьянцы», называющем последователей учения Вольтера и одновременно группу людей, отстаивающих политическое и религиозное свободомыслие, язык сохранил главное наследие Великого Просветителя – идею свободы и недовольства существующим государственным устройством. Малоупотребительная словообразовательная модель для называния деятельных приверженцев взглядов духовного лидера звучит сегодня почти экзотично, как напоминание о людях, способных увлекать ищущих, мыслящих и неравнодушных современников. В числе «увлеченных» иногда оказывались даже сильные мира сего. Испанский профессор социологии Фернандо Аинса отметил: «Из принципов Просвещения – прогресс, научный разум, права человека, солидарность и этика – возникает фигура “космополитичной общности критических интеллектуалов”, презирающих догмы, предрассудки, привилегии и открытых к пониманию самых разнообразных культур» [5. С. 10]. Возглавил эту «космополитичную общность» в глазах российской общественности Вольтер.

Образ Франсуа Мари Аруэ (де Вольтер), созданный в романе Аксёнова, обращает читателя века тотального индивидуализма и потребления к во-

просу о роли личности в истории, точнее, о роли в ней ученых, философов, писателей или поэтов. Вольтер оказывается в романе на перекрестке социально-политических идей, причем не только тех, по отношению к которым он был автором или популяризатором, но и тех, которые возникли позже. Насыщенная интертекстуальная канва характеризует «Вольтерьянцев и вольтерьянок» как роман идей, а в определенные моменты – как драму идей. Причем драматизм утопических воззрений усиливается аксёновской иронией в адрес Вольтера, других персонажей романа, да и самой идеи воплощения утопических проектов в России. Но это ирония не скептика, а человека из будущего, знающего последствия реализации этих идей. И все же симпатия писателя Аксёнова на стороне тех, кто занят идеей справедливости.

Исторический период 60–80-х гг. XVIII в. (временной план романа) – это этап творческого «затишья» для Вольтера, когда философ уже завершил свои главные проекты: сотрудничество в «Энциклопедии» вместе с Дидро и Д'Аламбером, множество литературных, публицистических, философских и исторических сочинений, в числе которых «История Российской империи при Петре Великом» (1759–1763), философские повести «Микромегас» (1752), «Кандид» (1759) и «Простодушный» (1767), «Трактат о веротерпимости» (1763), «Опыт о всеобщей истории и нравах и духе народа» (1766–1769), «Что нравится дамам» (1764), «Карманний философский словарь» (1764), «Вавилонская принцесса» (1768) и др. Время, подходящее для написания мемуаров.

Переписка Вольтера с Екатериной II, подвигнувшая В. Аксёнова к созданию «анекдотической истории с множеством достоверных деталей», обращает нас к значительному эпистолярному наследию Вольтера, корреспондентами которого были не только российская императрица, но и прусский кронпринц Фридрих, позже ставший «королем-философом» Фридрихом II, польский король Станислав Август Понятовский, шведский король Густав III, король Дании Христиан VII, папа Бенедикт XIV, президент бургундского парламента Шарль де Бросс, послы разных стран и т.д. Некоторых из них можно смело назвать вольтерьянцами, примерявшими «венец» мессии.

Несмотря на ностальгию по Вольтеру, В. Аксёнов окрашивает образ философа в точные «капиталистические» тона. В разговоре с генералом Ксенопонтом Петропавловичем Афсионским (Ксено) Вольтер увлеченно делится секретом своего успеха: «Среди богатых есть порядочные люди, что охотно возьмут поэта под свое крыло, и это в порядке вещей. <...> Театр был главной упрямской моего финансового экипажа, Ксено, театр, которому я предан, как турок своему Аллаху! Деньги за спектакль я давал в рост аристократам. Оные помогали мне получать подряды от правительства. Еще на заре зрелости ссылка в Англию помогла мне понять, как работает банк. Шутки в сторону, давай коснемся вопроса о философском камне. Сколько столетий Европа ищет этот пресловутый камень благоденствия, а между тем он уже найден в тысяча шестьсот девяносто

четвертом году, но не дне тигля, а в банке Англии. Банковский вексель – это и есть философский камень нашего века, мой Ксено!» [1. С. 80]. Завершая пламенную речь прагматика Вольтера тезисом о философском камне Просвещения, Аксёнов наводит читателя на мысль, что и сегодня банковский вексель решает все, а нового философского камня пока нет.

Сюжет романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки» построен как реконструкция возможной встречи Вольтера с Екатериной II. В. Аксёнову любопытна «анатомия» этих отношений: просветителю предложена реальная возможность изменить мир на 1/6 части суши Земли, однако Вольтер отказывается, ссылаясь на здоровье и возраст. Придумывая сцены возможной встречи властителя дум с правительницей, собирающейся не только удержать власть, но и стать мессией, Аксёнов мог бы и по-другому представить ее результат, например Вольтер соглашается и дальше обсуждаются проекты переустройства России. Думается, отказ Просветителя исторически понятен Аксёнову: в России 1990-х гг. у советской вольнодумной интеллигенции будет аналогичная возможность, которой снова не суждено реализоваться. Многие вслед за австрийской журналисткой и писательницей С. Шолль (S. Scholl) считают, что интеллектуальная элита – диссиденты – не справились со свободой, которая была им предоставлена в перестроенное время, они не взяли на себя активную роль в этом процессе, не стали главными действующими лицами, а остались зрителями и комментаторами: «Dissidenten sind nicht geeignet, sich auf den Kampf um die Macht einzulassen» [6. S. 85]. В этом разница между властителем дум, не готовым принять ответственность за реальные судьбы людей, и мессией, готовым этими судьбами управлять.

Чтобы понять реальную (не вымыщенную) роль Вольтера в развитии идеи мессианства и избранности, обратимся сначала к истокам формирования соответствующих концептов.

К истории возникновения и развития концепта «Мессианство»

В.И. Мильдон в работе «История и утопия как типы сознания» [7. С. 16] обозначил мессианство («мессианизм» у В.И. Мильдона) как одну из констант УТС, которое хотя и проявляется в разных типах мировоззрения, но, по мнению исследователя, изживает себя, уступает место историческому сознанию. К общим признакам мессианства как «архаической разновидности национальной (религиозной) идеи» относятся: 1) отсутствие интереса к индивидуальному бытию (речь всегда идет о предназначенности народа и его превосходстве над остальными); 2) психология одержимости (никакие мысли или действия не кажутся чрезмерными, их нельзя подвергать критике, можно лишь верить); 3) повышенная цель – Царство Божье на земле (другой у мессианиста нет) – заранее оправдывает любые средства и жертвы; 3) ради торжества мессианской идеи нужны два народа – избранный и гонимый, подчеркивающий избранность первого [Там же].

УТС, не меняя глубинной матрицы в разных формах общественного сознания (религиозной, моральной, эстетической, политической, правовой,

философской, научной), формирует образ мессии, который подвергается сакрализации, становится символом и движителем новой утопической идеи. В роли мессий выступают как отдельные личности, так и ведомые ими социальные группы, объединяющиеся на этнической, родовой, религиозной, социальной или профессиональной идеях. Такие сообщества выполняют функцию «народа-мессии», представляют элиту, «класс избранных и посвященных».

За многовековой период существования концепта сама фигура мессии стала частью структурированной ситуации (фрейма), которая и организовала концепт «Мессианство». В разные эпохи менялось лишь внешнее выражение его элементов (словот): атрибутика; место и время действия избранных; сначала мессия-еретик, а затем лидер, наделенный властью или влиянием; место, выбранное для построения рая для людей; «историческая трагедия»¹ (грех, несправедливость, которая должна быть преодолена); продвигаемый способ преодоления греха / несправедливости (поведенческая матрица); сам избранный народ; гонимый народ; источник норм (книга, где излагаются каноны или система теоретических положений); неотъемлемой частью этой схемы является также поэт (писатель, духовный лидер) – пророк. Духовный лидер может стать мессией, но может и не вести за собой народ в Будущее. Грань между мессией, манипулятором, духовным лидером периодически размыается.

Общим местом в науке стало признание связи мессианской идеи с хилиазмом: «...в капиталистическую эпоху хилиазм замещается в своих функциях мирской социальной утопией, которая отчасти усваивает и структуру хилиазма, его образы и т.п.» [9. Т. 5. С. 113]. В хилиастическую модель вписываются и идеология «тысячелетнего рейха» национал-социализма и концепция коммунизма (социализма), а также догматы современных религиозных сект и доминанты современного политического дискурса. Традицию подвергать сакрализации идеал справедливости и мотив компенсации общественной неправды обычно возводят к ветхозаветным пророкам и Новому Завету, а сам идеал справедливости соотносят лишь с личностью Мессии – Иисусом Христом. Однако идея мессианства не должна считаться сугубо хилиастической, а тем более обнаруживать связь с утопией только в начале капиталистической эпохи. В 1894 г. Ф. Энгельс уточнил, что «христианство не было ввезено из Иудеи и навязано греко-римскому миру, но что оно – по крайней мере в том виде, в каком оно стало мировой религией, – является характернейшим продуктом этого мира» [10. С. 474].

У концепта «Мессианство» (а с ним и концептов «Мессия», «Избранный народ» и «Счастливое царствование / государство» – «золотой век») культурные корни древнее хилиазма: «...мессианская идея универсальна,

¹ «В основе социализма как мировоззрения лежит старая хилиастическая вера в наступление земного рая (как это нередко и прямо выражается в социалистической литературе) и в земное преодоление исторической трагедии» [8. С. 424–425].

поскольку воплощает тип сознания, и для ее смысла не имеет значения, кто, где и когда ее высказал: родина типологической идеи везде» [7. С. 18]. Идея мессии (императора-спасителя), подарившего людям «золотой век», использовалось еще в римском политическом дискурсе. Подробно «римский след» рассмотрен в работах Ю.Г. Чернышова [11–14]. Но мессианство императора Августа и его «золотой век», воспетые Вергилием, хотя и представляют собой безусловное новаторство, но тоже не являются первоисточниками. Под лозунгом восстановления старых порядков и мира Август апеллировал в сознании римлян к древнейшим мифам – греческому мифу «о жизни при Кроносе» и его римской трансформации – мифу о «Сатурновом царстве» (ср. эпизод (стrophы 791–800) из «Энеиды» Вергилия [15]). По свидетельству Ю.Г. Чернышова, «идеи “политического мессианизма” получили широкое распространение в Риме, по крайней мере с конца II в. до н. э. <...> Не удивительно, что уже первые христианские историки обращали внимание на сходство двух явившихся миру почти одновременно «спасителей» – Августа и Христа (Euseb., Hist. eccl., IV, 26, 7 sq.). <...> Появившись на свет более чем на полвека раньше основателя новой религии, Октавиан Август как бы привлек на себя часть тех мессианских ожиданий, которые уже «витали в воздухе» и которые немного позднее послужили питательной почвой для развития христианства» [13. Ч. 2. С. 32]. Коллективный характер фреймирования идеи мессии возник в греко-римском мире. И, как это всегда происходит при манипуляции сознанием, первоисточник незаметно был переработан в соответствии с целями манипулятора.

Сфера политического, которая «вскормила» идею мессианства в угоду амбициям императоров и поставила ее «на поток», обозначила «государственный функционал» поэтов и придала важному религиозно-мифологическому источнику прикладной характер. Для нашего исследования римский интертекстуальный след, оставленный «Энеидой» Вергилия, интересен минимум по двум причинам. Во-первых, русские переводы «Энеиды» Вергилия появились в России именно в XVIII в., т.е. это произведение именно тогда вошло в вертикальный контекст русской культуры [16. С. 5]. Во-вторых, путь к статусу властителя дум Вольтер начал с эпической поэмы о Генрихе IV, которая была подражанием «Энеиде».

И в том и в другом случае в романе Аксёнова прослеживаются следы именно вергилиево-вольтеровской образной системы, что вполне соответствует особенностям исторической эпохи XVIII в. В «Вольтерьянцах и вольтерьянках» один из персонажей, генерал Афсиомский, над которым автор всегда иронизирует, пишет утопию в вергилиево-вольтеровском духе: главный герой Ксенофонт Василиск в поисках счастья покинул землю и, посетив ближайшие планеты, «только на сатурнических кольцах» нашел цветущее «благодатное славянское царство под мудрым оком девы Гармонии» [1. С. 67]. Заметим, что благодать предполагалась только для славян, но ее модель была не славянская.

Образ генерала-утописта можно расценивать как собирательный портрет некоторых политиков-вольтерянцев екатерининской эпохи и авторов

литературных утопий XVIII в. Так, включая в повествование фрагменты «важнейшего для всего человечества сочинения» и передавая утопические мысли генерала о Будущем землян, Аксёнов отмечает одну «странность» сочинителя: «...часто вместо сего красивого слова (человечество. – С.А., М.Б.) он почему-то выбироматывал «пчеловодство» [1. С. 67]. Образы пчел и пчеловодов – это элементы метафорического языка древнеримских поэтов и прямая отсылка к Вергилию, точнее, к его двум книгам «Георгики». Ю.Г. Чернышов раскрывает манипулятивный механизм «пчелиных» метафор: «Вергилий рисует развернутую картину организованной жизни пчелиного улья, подчиняющегося единому царю, которого пчелы выбирают из лучших (IV, 51–227). <...> Это счастье даровано пчелам самим Юпитером в благодарность за то, что они вскормили его в пору младенчества: только пчелы имеют общие дома и общих детей, они живут строго по законам, почитая свою родину»¹ [13. Ч. 2. С. 22]. Традиционно у римских поэтов образы муравьев и пчел наполнялись философским содержанием – то конкурировали, то вступали в иерархические отношения, подвергались строго определенной символизации в рассуждениях о государственном или общественном устройстве людей. «Оговорки» Афсимомского о пчеловодстве – это «код для посвященных»: российский вельможа должен был продемонстрировать Вольтеру такой уровень кругозора, который был бы достоин круга избранных.

Благодатные «Сатурнические кольца» в утопии аксёновского генерала – это сначала дань и Вергилию, а потом уже Вольтеру. Вергилий начинает развивать во второй книге «Георгик» римско-италийскую версию мифа о «Сатурновом царстве», изображая современных ему итальянских крестьян наследниками той блаженной жизни, которая установилась в Италии при Сатурне. У Аксенова параллель Вергилий – Вольтер связана со статусом властителя дум как «орудия» мессианской идеи. Поэт, славящий императора-messию, становится необходимой частью фрейма «мессианство».

Однако утопия генерала является подражанием не только «Энеиде» Вергилия, но и содержит явные отсылки к философской повести Вольтера «Микромегас» (1752), на страницах которой читатель встречается с фантастическими существами – уроженцем Сириуса Микромегасом, молодым великаном 450 лет ростом в 120 тысяч футов², и неким уроженцем Сатурна, философом, секретарем сатурнийской академии. После года пребывания на Юпитере и посещения Марса герои повести в 1737 г. приземлились на северном берегу Балтийского моря и сначала не увидели людей – этих мельчайших насекомых-землян, чья жизнь, как оказалось, была наполнена войнами и преступлениями. Микромегас даже хотел раздавить каблуком земной муравейник³, но внял совету, предоставив уничтожение землян им

¹ Модель устройства в общем виде повторяется в «Государстве» Платона.

² Намек Вольтера на счастливый «золотой род» людей из греческого мифа о Кроносе и Сатурновом царстве.

³ Муравейник – это символ общественного устройства более низкого уровня, чем пчелиный улей.

самим. Любопытно, что Вольтер сохраняет один из слотов фрейма «мессианство» – книгу – источник новых знаний для землян (ср. Библия и Энциклопедия эпохи Просвещения, а позже «Капитал» и др.).

Вергилие-вольтеровские аллюзии наблюдаются и в утопиях и в антиутопиях XVIII в., о чем свидетельствует, например, творчество убежденного вольтерьянца, создателя уникальной антиутопической системы Ф.И. Дмитриева-Мамонова – автора аллегории «Дворянин-философ» (1796) [17]. В этом произведении некий «дворянин-философ» решил создать в своем поместье модель Вселенной. Основываясь на системах Птоломея, Тихо-Браге, Декарта, Коперника (т.е. на научной основе, как требовалось вольтерянцу), а также на собственной идеи о том, что Земля то приближается, то удаляется от Солнца, он создает проект квазиреальности: на Земле у него живут муравьи, на Сириусе – страусы, на Сатурне – лебеди и т.д. Обитатели Земли¹ – муравьи – разделились на два класса: черных (господ) и серых (рабов). Черная раса держит серую в жестком подчинении: эксплуатирует, не дает духовно развиваться. В этом параллельном мире действует жестокий закон Верховного Муравья: «Более чем за полтора столетия до Замятина, Хаксли и Оруэлла анонимный автор спроектировал образ Абсолютного Диктатора (он же впоследствии – Главноуправитель, Благодетель, Большой Брат), воплощенного в “закадровом” персонаже Верховного Муравья. Первое в русской литературе космическое путешествие! Да к тому же совершенное негуманоидным представителем (муравьем) разумной братии» [18. С. 250]. В антиутопиях позиция «мессии» так же обязательна, как и в утопиях, только окрашена она в другие тона: это всегда тиран, обладающий неограниченной властью, манипулирующий «паствой», изощренный в способах давления.

В новаторстве Вергилия заложен идеологический механизм «мессианства»: римский поэт соединил утопическую идею о «золотом веке» с позицией правителя-мессии (сначала Сатурна, а затем его «потомка» – Августа), привносящего в жизнь людей блага [13. С. 24]. Возникший термин «золотой век» («aurea saecula» – Aen., VI, 792 sq.; VIII, 324 sq.) стал символом эпохи высшего благоденствия. Вергилий расширил спектр произвольных интерпретаций мифа и окончательно «перенес понятия “жизнь при Кроносе” и “Сатурново царство” из сферы мифологических сказаний о некоем “золотом роде” в сферу конкретной истории и политики» [Там же]. Следующие за Вергилием поэты унаследовали не только мифологическую основу для политического, но и сам механизм формирования мессий. Частью этого механизма были сами поэты. Они должны были стать властителями дум, духовными лидерами, формирующими «новое знание» и нужное общественное мнение.

Тема поэта (писателя) и мессии проходит через весь роман Аксёнова, периодически обозначаясь то в диалогах с Вольтером, то в образе генерала-

¹ Полное соответствие: современное поколение людей – самый низкий «железный род», а в «муравьино-пчелиной» парадигме современные люди – «муравьи».

утописта, то в упомянутых почти вскользь А. Сумарокове, А. Солженицыне. К. Афсиомский, размышая о «высокой» судьбе своей утопии, неоднократно с досадой и ревностью вспоминает об Александре Петровиче Сумарокове, отчество которого он якобы забывает и путает с «Исаевичем» [1. С. 67]. Ассоциативный ряд «Ксенопонт Афсиомский – А.П. Сумароков – А.И. Солженицын» вводит в зону обсуждения с читателем тему поэта (духовного лидера эпохи) и власти.

Фигура первого профессионального российского литератора, деятеля Просвещения, официально служившего «*Отечеству словом поэтическим*», не случайна в романе. Сумароков, как и Вергилий, Гораций и другие «государственные» поэты, был занят мифологизацией «Нового Мессии»: «Екатерина Алексеевна сама мыслила стать не менее великой, чем Петр I. Петр I оставался знаковой мифологической фигурой, но «петровский миф» отодвинулся теперь на второй план перед новым мифом – «екатерининским». Именно ей теперь присваиваются те функции, которые прежде были прерогативой Петра I (см., например, в одной из торжественных од В.И. Майкова: «*Екатерина увенчалась // Вселенной всей повелевать*»). Одним из первых творцов этого мифа стал А.П. Сумароков» [19. С. 162].

Екатерина стремилась позиционировать себя не только в качестве российской императрицы, но и мессии – олицетворения справедливости и прогресса. Начиная со второй («Ода Государыне Императрице Екатерине Второй на день ея тезоименитства 1762 года ноября 24 дня») из тех двадцати од, которые были написаны Сумароковым после восшествия Екатерины II на престол, царица предстает воплощенной добродетелью: «Согласно контексту оды, именно в то время, когда Астрея навсегда покинула землю, воплощением справедливости становится Екатерина II (то есть наступает новый “золотой век”), благодаря которой ”парнасски девы” пришли в ”северные границы”» [Там же. С. 162–165].

Сфера политического как искусство и практика воздействия на массовое сознание развивается в борьбе за право лидеров фреймировать действительность по своему «лекалу». И политики редко обходятся без помощи поэтов, занимающихся романтизацией и мифологизацией мессий и их идей. В утопии Афсиомского ровно «по лекалу» второй половины XVIII в. правителем идеального государства является женщина-воин: «*Безоговорочно правит здесь горделивыми подданными сияющая вечной юностью Величава Многозначно-Великая*» [1. С. 190]. Ей помогает советом оракул (по всей видимости, именно в таком качестве Екатерина приглашала Вольтера в Россию): «...*Оракул, разумеется, окружен величайшей тайно^й, и к нему раз в год – то есть по земному календарю раз в столетье – восходит в доспехах Высшего Богатыря государыня Величава Многозначно-Великая*» [1. С. 191]. Идея счастья людей соединялась с идеей государя-мессии-императора [20. С. 123].

Итак, концепт «Мессианство» в истории и литературе России XVIII в. носил не столько христианские черты, сколько греко-римские, что было достоверно воспроизведено В. Аксёновым.

Концепт «Избранный народ» как наднациональный концепт утопического типа сознания

Истоки возникновения идеи избранного народа в утопическом типе сознания

Утопические модели только декларируют всеобщее счастье, однако при внимательном рассмотрении на общем фоне осчастливляемого человечества всегда есть те, кто более других достоин этого счастья (блага).

Вергилий и Август подарили «железному роду» людей надежду на счастье, а к надежде прилагалось условие (цена) – гражданам следовало *свершенствоваться*. Эта необходимость подавалась как результат «правильной» интерпретации мифа о «золотом роде»: чтобы достичь «золотого века» на земле, нужно достичь совершенства (внешнего и внутреннего), которым обладали когда-то люди золотого рода. Посып человека к совершенству никогда не покидал утопическую мысль, и он же, на наш взгляд, стал логическим обоснованием неравенства людей на пути к счастью и аргументом в пользу сообщества «избранных». Критерием для «отбора» мог быть любой признак, например этнический, родовой, религиозный, социальный, интеллектуальный, физиологический, профессиональный и проч. Очевидно, что он не мог быть случайным, так как всегда точно согласовывался с идеей мессии. Именно поэтому «Мессианство» и «Избранность» – это концепты взаимопроникающие и взаимообусловливающие. И если этнические, родовые, физиологические характеристики (пол, возраст телосложения и т.п.) невозможно или крайне трудно было улучшить, то «духовное совершенство» – религиозное, социальное (обладание соответствующим мировоззрением), интеллектуальное, профессиональное – считалось посильным, а потому справедливым.

Концепты «Мессия» и «Избранный народ» совпадают по ряду характеристик: образ мессии сливаются с образом «избранного народа», наделяя группу чертами лидера. Избранному сообществу людей (нации, клану, классу и т.п.) определено «высшими силами» (божественным предназначением, сложившимися обстоятельствами, по факту рождения и т.п., но только не по воле этого класса) спасти (=осчастливить) остальное «неизбранное» (потому что несовершенное) человечество. «Коллективный мессия» получает определенные преимущества по сравнению с другим, он наделяется полномочиями и обязанностями по выполнению «высоких» задач. В этом смысле концепты «Мессианство» и «Избранность» демонстрируют общую часть концептуальной схемы.

Позиция «народа-мессии» всегда подразумевает позиции – «неизбранных, прочих» и «гонимого народа» (враги, диссиденты, еретики). По логике мессианства, и мессия и «избранный народ» первоначально находятся в ранге «гонимых». Вспомним, что и Вольтер сначала носил статус еретика, был вынужден эмигрировать, пока на чужбине не приобрел славу влиятельного дума. Такова, как известно, и предыстория хилиазма. Модель «избран-

ного / гонимого народа» используется сегодня в программах «цветных» революций, причем часто «гонимый народ», которому «предначертано» стать народом-мессией, искусственно создается или импортируется политическими «кукловодами». Концепт «Избранный народ» меняет знаки культуры для своей объективации, создает иллюзию нового, но в каждом новом избранном народе повторяется схема реализации мессианской идеи.

Когда же возникла в УТС идея избранности? Ответ на этот вопрос содержится в том же греческом мифе «о жизни золотого рода при Кроносе», повествующем о смене пяти различных родов людей: золотого, серебряного, медного, героев, железного. Самое подробное его изложение содержится в «Трудах и днях» Гесиода (примерно конец VIII – начало VII в. до н. э.) [14. С. 66]. Изначально миф никак не связывался с дерзновенной мыслью устроить райскую жизнь на земле для всех. Счастье было только у «золотого рода» людей, давно уже ушедших с земли и превратившихся в непорочных демонов. Для других родов рай не предполагался. Г. Болдри (H.C. Baldry) и другие исследователи доказали, что термин «золотой век», по крайней мере до I в. до н. э., ни разу не встречается у греческих утопистов [21, 22]. Смещению акцента с «золотого рода» на «золотой век» способствовало описание жизни «золотых» людей – типичная картина Рая [23. С. 45]. В характеристике родов видна доминанта сознания древних, которая и создала основу для возникновения в УТС концепта «Избранность». Речь идет о категории *справедливости*: пять родов были противопоставлены в греческой утопической литературе как «справедливые» и «несправедливые народы» [24. С. 27–28].

Образ «золотого века» в греко-римской литературе и политической риторике Рима отразил резко возросший социальный заказ «на надежды»: «Полное или частичное крушение прежних идеалов, ощущение нарушенной социальной гармонии не могли не приводить к попыткам найти как-то, хотя бы иллюзорный, выход, обосновать новые идеалы, более отвечающие растущему чувству неудовлетворенности реальной действительностью [14. С. 62]. Попытки манипулирования общественным сознанием с помощью идеи «золотого века» не были первоначально связаны с разделением народа на достойных и недостойных (хотя эта идея и не была забыта). Новая пропагандистская риторика была сфокусирована лишь на утверждении самой возможности для несовершенных «железных людей» дождаться благополучия Сатурнова государства. И именно эта эпоха установила жесткую взаимосвязь между особым «качеством» рода людей и правом на идеальные условия жизни. Идея «избранного народа», достойного счастья, оказалась древнее самой идеи «золотого века».

Наше отступление к греко-римским истокам формирования утопических концептов обусловлено стремлением не пропустить и не уменьшить эллинистическую нить прецедентности в утопиях XVIII в. и, соответственно, в романе Аксёнова: «У создателей литературных утопий XVIII в. (М.Д. Чулкова, В.А. Левшина, П.Ю. Львова, И. Тревоги и др.), потребность в использовании мифов могла определяться различными факторами. Они были представите-

лями архаической и классической эллинской утопической традиции “райских текстов”, представивших первые утопические опыты, во многом экзогенные для древнерусской литературы» [24. С. 26–27].

В разные времена УТС пополнял «копилку» образов-прецедентов для концепта «Избранный народ». В утопиях, характерных для эпохи первооткрывателей-путешественников (раннее Средневековье и эпоха Просвещения), избранными были изолированные народы, далекие от существующего цивилизованного мира. Они могли называться по-разному: гиперборейцами, варварами и даже дикарями, что характерно, например, для русских и французских утопий XVIII в. Номинально являясь «дикарями», так как не были известны «цивилизованным» странам, такие народы смогли построить совершенное общество. Это были те, «у кого получилось», у кого был рецепт всеобщего счастья, кто в утопических повестях должен был вселять надежду на исправление рода человеческого «по образу и подобию¹», т.е. служить мессией. Тут утопическая идея развивалась по программе «Счастье по образцу успешных народов», а «цивилизованные» европейцы стояли лишь на позиции народов, заимствующих модель совершенного общественного устройства.

С развитием колониальной идеи империй, когда на карте Земли не оказалось уже «белых пятен», образ дикаря переместился в слот «неизбранный / гонимый народ», под ним понимали тех, кто далек от мысли о совершенном обществе, всеобщем благе, а следовательно, должен быть подвергнут осчастливливанию или уничтожен. «Географический» поиск «идеального локуса» и идеального народа, однако, не исчерпал себя и стал трансформироваться уже в «космическую» идею Сатурнова царства в попытках представить счастливую жизнь в инопланетных вариантах, например у того же Вольтера. Но параллельно получила широкое распространение мысль об устройстве реальных избранных народов-государств с общегосударственным счастьем. Важно было привязать счастье к реальным климатическим и географическим условиям, например русские утопии времен Екатерины II.

Постепенно избранный народ наделяется стабильным утопическим «функционалом»:

- исполнение функций мессии: он должен позвать за собой других и научить (и не только силой убеждения!) их быть счастливыми;
- выбор идеи, т.е. стратегии и тактики пути к счастью;
- ответственность за реализацию проекта и неограниченные полномочия.

«Визуальный» образ избранного народа зависел в утопиях от конкретной мессианской идеи, а также ее источника: «избранные» могли быть, например, гигантского роста (атланты Платона, пришельцы с Луны, Сатурна, Сириуса, Марса) и др. Иногда образ народа повторял черты самого Мессии. Спектр таких признаков широк: от внешних до внутренних; от генетических, половых, физиологических особенностей до приобретенных интеллектуальных, профессиональных компетенций.

¹ Подобием, например, богам (эллинистические мотивы в утопиях).

В социальных утопиях признаки избранных являются одновременно признаками элиты, власти, могущества. Идентификаторы концепта «Избранный народ» трансформируются или полностью меняются от эпохи к эпохе в соответствии с движением от одного утопического проекта к другому. Исходя из этих теоретических посылок, разберем образ избранного народа в «Вольтерьянцах и вольтерьянках» В. Аксёнова.

Избранный народ – вольтерьянцы

В IV в. до н. э. идея совершенного человека подробно была представлена в учении Платона об идеальном государстве. Главным признаком избранных у Платона был Разум – лучшая часть души и главная добродетель, определяющая политические права гражданина и степень его участия в управлении государством. В эпоху Просвещения Разум вновь становится «идентификатором» избранных, но Разум, понимаемый не как мудрость (по Платону), а как широкая образованность (энциклопедичность) и единственная возможность совершенствовать жизнь на земле.

Во взглядах Вольтера на равенство видны черты платонического понимания социального деления государства: абсолютное равенство не декларировалось, так как считалось несправедливым. У Вольтера, как и Платона, власть поручается группе философов, чьими добродетелями должны были быть только мудрость и справедливость. Те же три платоновские социальные группы с поправкой на монархию мы видим в пародийной утопии Ксенопонта¹ Афсиомского: мудрец-мессия – монарх (государыня), избранный народ – богатырство, неизбранный народ-собственность – славы (ср. нумера, хранители и Благодетель – у Е.И. Замятин; серые, черные муравьи, Верховный Муравей – у Ф.И. Дмитриева-Мамонова).

Характеризуя Вольтера как влиятельнейшего идеолога Просвещения, современные исследователи отказывают ему в собственной стройной политической теории [26]. Но в отношении равенства / неравенства народов и сословий Вольтер высказывался вполне однозначно: он признавал за всеми естественные права и равенство перед законом², но отрицал равенство в управлении государством, распределении материальных благ и в получении энциклопедического образования: одни богаты, и они приказывают, другие – бедны, поэтому они служат. Равенство несправедливо. К классу избранных Вольтер предъявлял требования, связанные исключи-

¹ Не случайно имя аксёновского генерала Афсиомского почти, а и его утопического alter ego полностью совпадает с именем Ксенофона Афинского, «соперничающего союзника» Платона [25. С. 127].

² Поскольку все люди обладают одними и теми же страстиами, одной и той же приверженностью к свободе, поскольку почти каждый человек является собой сочетание гордости, алчности, корысти, великой склонности к сладкой жизни и беспокойства, требующего активной деятельности, то не должны ли они все иметь одни и те же законы, подобно тому как в госпитале потчуют одинаковой хиной всех больных, страдающих перемежающейся лихорадкой? [26. С. 469].

тельно с уровнем освоения культуры и науки, что рассматривалось не как право власть имущих, а как их обязанность. Известно высказывание Вольтера о вреде образования простого народа: «Когда чернь начинает рассуждать – все пропало» (Письмо к Этьену Дамилавилю от 1 апреля 1766 г. Oster, p. 281). Его позиция по поводу отмены крепостничества в беседах с Екатериной II и другими монархами Европы основывалась не на гуманизме, а на экономических соображениях – феодализм тормозил экономическое развитие Европы, поэтому монархи должны были демонстрировать просвещенность, которая предполагала также дарование экономической свободы гражданам. Новаторство УТС просветителей в том, что они соединили в своем мировоззрении концепты «Мессия», «Разум», «Наука», «Избранный народ».

Разум стал критерием для отбора в класс избранных философов-вольтерьянцев. Нужные способности выявлялись преимущественно в переписке и беседах, как и во времена Платона. Аксёнов приводит образец такой беседы между двумя вольтерьянцами – реальным Д'Аламбером и выдуманным Афсиомским: «Как полагалось в разгаре века, надо было выявить не только гуманистические или политические интересы, но и близость к фундаментальным знаниям, а посему граф то слегка касался интегральных калькуляций¹ и рефракции света, то мимолетно упоминал д'Аламберовский трактат о равновесии и движении жидкостей, то ставил вопрос, льзя ли применить в военном флоте его формулу движения ветров» [1. С. 71]. Философские беседы в духе XVIII в. стали главным полем битвы в романе, вокруг них организуется сюжет.

Форма комического позволила Аксёнову собрать воедино разрозненные идеи, обсуждавшиеся тогда в Европе и России и связывавшиеся с именем Вольтера, а затем предъявить их для серьезного размышления читателям XXI в. Такую задачу решают разные аксёновские вольтерьянцы – как действующие лица романа, так и вымышленные ими персонажи. Обсуждаемые идеи погружаются сразу в несколько планов художественной «реальности»: временной план 1760–1780-х гг. (для большинства героев и сцен романа); «реальное» историческое будущее, в которое способен заглянуть только Михаил Земков и которое известно читателю; и вымышленное Афсиомским утопическое Будущее, в котором действует Ксенопонт Василиск – главное действующее лицо его «нувели». Разные ракурсы, в которых отражается утопическая мысль, нужны для понимания того, какие «драмы» ожидают самые благие идеи человечества. И в этом смысле роман «Вольтерьянцы и вольтерянки» прежде всего роман идей и «драма» идей.

Периодически сопровождая реальный план повествования выдержками из сочинения Афсиомского, Аксёнов создает квинтэссенцию литературной утопической мысли XVIII в. и проектирует примерную схему того, что в лучшем случае смогли и захотели бы увидеть в этом проекте вольтерьянцы.

¹ Ссылка на математический термин «интеграл» – символ многих утопических проектов.

утописты эпохи Екатерины II. По законам жанра Василиск пребывает в счастливое государство Святоснеговское Богатырство, которым управляет государыня с помощью «избранных» – «богатырствующей сотни советников-Содругов»: «*Содруги и являются тем избранным народом, на который опирается государыня. Отбор в Богатырство осуществляется в соответствии с принципом принадлежности к старейшим фамилиям и наследования. Если череда наследования прерывается, то объявляется «важнейший государственный процесс – выбор нового Содруга из младшего богатырства.* <...> Главной привилегией является право собственности. Основным предметом собственности у богатырства является самое многочисленное сословие, именуемое святоснеговскими славами. Славы живут в особых поселениях вокруг богатырских усадеб и трудятся на земле, на воде, в кузнях и во льдах» [1. С. 191]. Как видим, вольтерьянец Ксено даже в мечтах не преодолел феодализма, как хотелось бы его Учителю, зато генерал наделил славов «необходимым» антично-утопическим атрибутом – «врожденным чувством гармонии», которое «влечет их к созданию торжественных песен о государыне и родных пейзажах». Утопист, конечно, опасался «межсловной вражды» и дал «неизбранным» славам шанс подняться над судьбой: «*Из поколения в поколение передается у них мечта о совокуплении с богатырями. Эта мечта нередко сбывается в яви. Богатыри и богатырины отбирают из славов наиболее видных по чистоплотности и совокупляются с ними. Потомство от таких совокупов имеет шанс вступить в богатырство*» [Там же]. Морганатические связи, добровольное крепостничество и «врожденное чувство гармонии» – вот скромный список счастливых «преимуществ» для славов.

В историческом настоящем аксёновский Вольтер обосновывает приоритет Познания: «*Даже сама идея Бога должна быть познана <...> Наше столетие видит свое предназначение в изменении всех законов, оно же намекает человеческой расе, что Разум даст нам возможность подойти к подножию новых алтарей*» [Там же. С. 336–337]. Какие жертвы будут принесены на «новые алтари» Разума? Какая «новая религия» будет построена? Ответ знает современное Аксёнову поколение. И если, по Вольтеру, «наука возвеличит Бога Вселенной» [Там же. С. 336], то именно наука и станет «новой религией», а ее «священным» текстом – многотомная «Энциклопедия», которая, по мнению Барона Фон-Фигина (романский образ Екатерины II), есть «чистейший монумент атеизма» [Там же. С. 341].

Борьба идей в эпоху Просвещения оборачивается тем же, что и борьба религий в Средневековье, – колонизацией земель: «...он (Вольтер. – С.А., М.Б.) видел в кресте не власть церкви, а символ победы созидателей европейцев над разрушителями-мусульманами. Кто может возглавить сей поход, кроме просвещенной Екатерины¹? Кто может восстановить

¹ Речь идет об историческом факте, который в наши дни обсуждается в прессе: «Изгнать турок из Европы, освободить от мусульманского гнета всех христиан, вернуть Константинополь православию, восстановить Греческую империю, а на ее престол посадить внука Екатерины II – Константина» [27].

древний град императора Константина?» [1. С. 291]. Ссылаясь на немощность, исключающую возможность переезда в Петербург, старый вольно-думец заключает: «*Так почему бы не перенести столицу на тридцать градусов южнее, к берегам теплых морей, где произрастают оливы и ливанские кедры?*» [Там же]. В реальности под флаг просветительного «ига Рazuма» встает старая идея колониального передела мира, мессианская идея соединяется с идеей «российского мирового проекта», и обе они претендуют на статус национальной идеи России [4. Т. 1. С. 16–17].

Аксёнов проектирует историческое настоящее в романе, опираясь на вольтеровские произведения. Главная сюжетная линия романа – это история двух русских шевалье, почти братьев Николя (Николай Лесков) и Мишеля (Михаил Земсков), которые попадают в разные приключения, выполняя государственное задание. У Аксёнова герои влюбляются в принцесс-близняшек Клаудию и Фиоклу – дочерей беднеющего монарха курфюрста Магнуса Великолепно-Неустрошимого, по совместительству владельца острова Оттец, предназначенного для организации тайного «кумпанейства» (встречи Вольтера с порученцем русской императрицы Екатерины II, Бароном фон Фигиным, т.е. самой государыней). Несмотря на то, что писатель все время подчеркивает неразлучность и единение Николя и Мишеля, а также близняшек Клаудии и Фиоклы, отсылка к вольтеровским Кандиду и Кунигунде (Кунегонде) из повести «Кандид, или Оптимизм» (1759) практически не считывается до неожиданного трагического исхода идиллических бесед на острове Оттец после отъезда великих персон. Печальный поворот в сюжете – пиратский набег на замок, трагедия семьи курфюрста и дальнейшая история «курфюрстиночек» – это, с одной стороны, дань Вольтеру, а с другой – способ обозначить позицию самого Аксёнова в том, что любая утопия в реальности обречена на кровавый исход. Писатель заимствует из «Кандида» и концовку романа. В повести Вольтера чудесным образом выжившие после многочисленных злоключений Кандид и Какамбо (его слуга), Мартин (попутчик), Панглосс (учитель) и несчастная, потерявшая красоту Кунигунда (дочь обедневшего барона) живут общиной, работают в своем саду. «*Нужно возделывать свой сад!*» – не устает повторять Кандид. Так же заканчивают свою жизнь после всех злоключений Николя, Мишель и принцессы-близняшки Клаудия и Фиокла, одна из которых потеряла свою красоту в результате набега на остров разбойников-пиратов.

«Раздвоенность» вольтеровских прототипов у Аксёнова – это способ соединить два плана художественного повествования: план исторического настоящего с авторским планом реального будущего. У Аксёнова Михаил Земсков в силу «ненормальных особенностей» своей головы часто заглядывает во сне в будущее, актуализирует для читателя поствольтеровскую реальность. Только Земсков осмеливается оппонировать Вольтеру. Символичен конец романа: после смерти Михаила Аксёнов «организует» его встречу с великим «философом» в Раю. Земсков обнаруживает того в виде говорящего Древа Познания: «*М и ш а. Как я рад, мой мэтр, увидеть вас в*

образе Древа Познания! Ведь к этому, как понимаю, вы стремились всю жизнь? Можете ли вы мне сказать, где мы находимся?» Вольтер. «Это Элизиум, то есть то, о чем мы с друзьями судили с сарказмом. Кто мог предвидеть всерьез Утешение в мире материализма? В том мире, где все подчинялось правилам гравитации?» [1. С. 502–503]. Уже на новом, внеисторическом, фоне продолжаются философские дискуссии Вольтера и Земскова-Аксёнова о разуме, чувствах, религии. Подводя итог этой беседе и всему роману, аксёновский Вольтер заключает: «Меня обвиняют, что я внушил людям порочную утопию о рае на земле, а люди истребили своих властителей и превратили свободу в смирительную рубашку. Но я никогда не призывал к насилию! Меня извратили жрецы революции! Пусть Господь меня простит за утверждение права мыслящего меньшинства, за попытку борьбы против ортодоксии и нетерпимости!» «М и ш а. Прощение – это слово для всех» [Там же. С. 509]. Снял ли сегодня вопрос об ответственности идейных лидеров за будущее своих теорий?

Итак, избранным в эпоху Вольтера был просвещенный богач-энциклопедист, «обогативший свою память знаниями, которые выработало человечество»¹. Наука становится новой религией. Внимательным читателям предложено самостоятельно проанализировать поствольтеровские эпохи, чтобы понять, как живут и трансформируются идеи мессианства и избранности в УТС, какие современные формы они принимают.

После Вольтера: новые идеи и новые «избранные народы»

Идеи Вольтера, как и другие идеи эпохи Просвещения, пережили драму, но не драму забвения. Отталкиваясь от интеллектуального багажа эпохи энциклопедистов, подогреваемая «новыми религиями» европейская культура продолжала строить модели идеальных государств, а вместе с ними на авансцену истории выходили другие мессии и «избранные народы». Литература из маленькой «лаборатории УТС» превратилась в огромный «научный центр», апробирующий и продуцирующий в общественном сознании утопические модели.

Завершив роман о вольтерьянцах, В. Аксёнов запустил маховик рефлексии, и читатель-современник начинает узнавать в вертикальном контексте культуры последних двух столетий следы трансформации идей, выношенных эпохой Просвещения.

Новый взгляд на мессианство приходит с эпохой Романтизма. Эпоха мореплавателей не обнаружила счастливой земли Эльдорадо, Шамбалы и т.д. Стало очевидно, что человечеству нужно искать «внутренние резервы» для реализации мечты о счастье. Капиталистическая эпоха и производство, «вскормленные Разумом», изменили «лицо» утопий. Мир волно-

¹ «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогашишь свою память знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество». В.И. Ленин (Эпиграф к «Детской энциклопедии». М., 1974).

вали уже не столько мудрость или энциклопедические знания, сколько технологии. Доминирование технократических утопий добавляет к «знаниевой» парадигме избранных людей профессиональные компетенции. Эта тенденция продолжает развиваться сегодня.

Вдохновленные энциклопедистами, мыслители XIX в. занялись сбором своих «философских камней» – технологий производства материальных благ. Недаром этот век отметился появлением такого феномена, как всемирные промышленные выставки достижений «народного хозяйства». Отвечая на запросы времени, утопии капиталистической эпохи назначают в мессии не просто интеллектуала-философа-мудреца, но мыслителя-изобретателя, способного применить на практике достижения науки и техники для решения частных и глобальных задач человечества и, конечно, главной – построения Рая на Земле.

Наука почти полностью слилась с техникой и стала оцениваться как основное средство достижения счастья. Человечество нуждалось в радикальном преображении. Нужен был новый мессия – *преобразователь мира* – скульптор, художник или архитектор-строитель, т.е. тот, кто зримо, а не только на уровне идей мог бы создать новую картину мира. Поэтому к концу XIX в. претендентами на роль народа-мессии стали инженеры. Технологическому разбору подверглись и тело и душа человека. Инженер-мессия – это главный герой и надежда социальных и литературных утопий конца XIX – начала XX в. Он не только видит цель, но и владеет технологиями преобразования материального и духовного мира. Образ инженера легко сочетался с образом машинного рая, вполне сочетался с капиталистическими и социалистическими взглядами европейцев.

В Советской России эпохи Пролеткульта образ инженера-мессии не просто общеимировая утопическая тенденция. Он прекрасно согласовывался с новым избранным народом России – пролетариатом, который в понимании будущих основателей Пролеткульта должен был приблизиться по уровню своего образования и степени участия в производственном процессе к инженерам. Нового мессию воспевали новые государственные поэты – поэты Пролеткульта: П. Герасимов, А. Гастев, В. Кириллов и др. [28. С. 376–416].

Тезис Вольтера о том, что правящий класс должен овладеть новейшими научными знаниями, оказался востребованным в начале XX в., хотя речь и шла уже о другом избранном народе – пролетариате, с которым Вольтер, как мы помним, никак не связывал представлений об идеальном государстве.

В духе Просвещения Наука возводилась на алтарь в философских трудах и литературных утопиях. Писатель-революционер А.А. Богданов (Малиновский) в 1918 г. утверждал: «*Пока рабочий класс не овладеет наукой, он не может, не должен предпринимать попытки осуществить социализм*» [29. С. 69]. Всякая иная попытка осуществить программу пролетариата, по убеждению Богданова, явилась бы «*программой авантюры, самой мрачной в истории пролетариата, самой тяжелой по последствиям <...> Единственным концом авантюры явилось бы длительное царство Желез-*

ной пяты» [29. С. 38]. Поэтому в своих утопиях рычаги управления утопическими государствами Богданов отдавал инженерам.

В начале XX в. в нашей стране и на Западе инженер стал ассоциироваться носителем конструктивного, «правильного» мышления. В 1921 г. известный американский экономист Торштейн Веблен предлагал новому поколению ввести «новый порядок», режим, в котором власть будет принадлежать «Высшей команде» инженеров и технических специалистов [30]. В советском варианте начала ХХ в. «избранный народ» должен был представлять сплав технической интеллигенции и пролетариата. В современных технократических утопиях из этих двух избранных субъектов «выжил» только один – инженеры.

Миф о технике был внедрен в центральный постулат марксизма о всемирно-исторической миссии пролетариата. Идеи всеобщей реконструкции Природы и Общества, слившись с мифами о преодолении трудностей во имя Светлого Будущего, идеей социального прометейства, поистине овладели народом и увлекли многих советских писателей. В поэме А.К. Гастева «Манифестация» (1918) «механические дивизии» строят новую цивилизацию [31]. Людьми-машинами легко управлять, они не нарушают закона: «*К счастью – только изредка. К счастью – это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...*» [32. С. 316]. В утопиях А. Богданова «Красная звезда» (1908), «Инженер Менни» (1913) и антиутопии Е. Замятиня «Мы» (1920) главные герои – инженеры. Вспомним, что и основатель научной организации труда Ф.У. Тейлор был инженером, инженерами были многие популяризаторы его идей, такие как русский инженер Л.А. Левенстерн, наконец, инженером был и писатель Е. Замятин.

В 20-х гг. ХХ в. как реакция на экспансию механизированного мира появлялось несколько утопий и антиутопий крестьянских писателей Н. Клюева, С. Есенина, С. Клычкова и др. [28. Ч. 1. С. 408]. В малоизвестной архаической земледельческой утопии Ив. Кремнева (А.В. Чаянов. 1888–1939) «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) мы видим попытку выдвинуть на роль народа-мессии крестьянство. Что если в революции победил бы не пролетарий, а аграрий? Главный герой этого произведения, Алексей Кремнев, советский служащий Мирсовнархоза, увлекавшийся утопическими думами, как-то теряет сознание и приходит в себя в будущем – 5 сентября 1984 г. в Москве. Его принимают за американца, и под именем Чарли Мен он путешествует по столице и окрестностям [33]. Из учебника истории он узнает, что в России после гражданской войны (города и деревни¹) победило крестьянство.

¹ В антиутопии Замятиня «Мы» Великая Двухсотлетняя Война тоже была между городом и деревней, но победил Город-Государство, отделенный от «гонимых народов» Зеленою Стеной.

Война закончилась уничтожением городов. Москва разрушена и превращена в парк. В этом крестьянском государстве чтят «Бориса Николаевича Юсупова с его вольтерьянством и колоссальной библиотекой, посвящённой французской революции и кулинарии» [33]. «Избранным народом» стало крестьянство в союзе с художником-кумиром Питером Брейгелем, а «гонимым народом» – «интеллигентская олигархия наподобие французской», поддерживаемая «из тактических соображений металлистами и текстилями». Ив. Кремнев подчеркивает «креативный» характер экономического развития поселений. Один из утопийцев объяснил: «У нас в спросе не только произведения художников, но и сами художники. Мне известен не один случай, когда та или иная волость или уезд уплачивали по многолетним контрактам значительные суммы художнику, поэту или учёному только за перенос его местожительства на их территорию» [Там же]. Забегая вперед, заметим, что в XXI в. идея формирования экономики вокруг творческих личностей уже не кажется утопией.

Однако в 20–40-х гг. ХХ в. Советская Республика полным ходом шла к индустриализации, и технократические утопии были поставлены «на поток», а те, кто управлял машинами, был в авангарде социального строительства. Мессианская идея мирового пролетариата потребовала не только трудовых подвигов, но и жертв.

В 30–40-е гг. ХХ в. в Европе созрел другой мессианский проект – национал-социалистический. Его «избранный народ», мессия и его «священный текст» отрабатывали новую мессианскую версию «справедливости» для истинных арийцев и старую колониальную идею. Трагедия Второй мировой – это очередной горький опыт УТС.

В военные и послевоенные годы мессианская идея не была забыта. Она реализовывалась под девизом «Советский человек – освободитель мира». К 1960-м гг. в истории Советской России, и главным образом в литературе, был период появления новых «избранных» – «шестидесятников». Это особое поколение людей символизировало «новую надежду», право на которую было получено вместе с победой в Великой Отечественной войне и наступившим периодом оттепели. Шестидесятники ХХ в. – «генерация, совершившая дерзкий прорыв в отечественной культуре, аккумулировала многие концепты, которые благоприятно повлияли на реализацию творческих планов и воплощение идей в жизнь» [34]. Ядром «избранного поколения» стала социальная прослойка людей, имеющих хорошее образование и занимающихся умственной работой в различных сферах деятельности (науке, технике, культуре и т.д.)» [Там же. С. 66–67]. По меткому определению Е. Евтушенко, это было «поколение генетически предрасположенных к страху, но начавших его побеждать» [35. С. 7]. Именно к этой когорте советских писателей, в частности к той ее части, которая эмигрировала, относился и Василий Аксенов.

В ряд эпиграфов к первой части своего последнего романа Аксенов включил строчки из стихотворения А. Вознесенского:

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
Мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...
Работы,
работы,
работы
Речь мою прерывают [36].

Цитата из поэмы Вознесенского «Оза» (1964) показательна своими литературными параллелями с эпохой 20–30-х гг. XX в. В строфе поэмы, не вошедшей в эпиграф романа, читаем:

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?
И душу удалят¹, как вредные миндалины? [Там же].

Рефлексия по поводу собственной судьбы и судьбы своего поколения в романе «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках» прошла для Аксёнова сквозь исторические параллели с вольнодумцами эпохи Просвещения. В «Вольтерьянцах и вольтерьянках» лишь тонким пунктиром отмечены эти ассоциации (периодически возникает отчество другого шестидесятника-эмигранта «Исаевич», сами вольтерьянцы называют себя «шестидесятниками» и пр.).

С позиций анализируемой темы мессианства и избранности любопытна общественная дискуссия «физиков» и «лириков» эпохи 60–70-х гг. XX в., которая, как считает М.П. Игнатова, была навеяна публичной лекцией английского физика Ч. Сноу [37. С. 206]. В СССР романтизация научного знания, формирование, например, культов ученых физиков-ядерщиков, была необходима и, несомненно, повлияла не только на искусство, но и на развитие науки и техники. Советская идеология «влила новую кровь» в технократическую утопию. На новый лад была перелицована идея технического прогресса. Так же, как вольнодумец Вольтер отстаивал идеалы формирующейся буржуазии, советские шестидесятники, даже дистанцируясь от власти, не в силах были противостоять «мировому закону», так тонко подмеченному в известном стихотворении Б.А. Слуцкого «Физики и лирики» (1959)².

С точки зрения УТС «весовые категории» «физиков» и «лириков» несопоставимы. На стороне «физиков» в 1960-е гг. были и мощно развивающаяся ядерная физика, и советская космонавтика, и выход в космос Ю. Гагарина. Эти факты стали не просто очередной «инъекцией» оптимизма, но неопро-

¹ Перекличка с романом Е. Замятином, где у инженера-строителя «Интеграла» обнаруживается опасная для Государства болезнь «душа», которую удаляют в «Медицинском Бюро».

² Впервые это известное стихотворение опубликовано в «Литературной газете» 13 октября 1959 г. [37. С. 208].

вержимым доказательством возможности найти или построить Рай, пусть уже не на Земле. Идея мессианизма, которая и так уже прочно обосновалась в русской национальной идее, соединилась с идеей космизма.

Официально в тот момент «лирики» были менее «полезны» государству, хотя надзор в сфере искусства не ослабевал. Сфера «человеческого, слишком человеческого» развивалась в направлении постижения частных, индивидуальных, негосударственных человеческих ценностей. Именно на этом частном интересе к жизни и потребностям отдельного человека возникнет позже новый мессия – *креативный класс*.

К 90-м гг. ХХ в. к моменту развала утопического проекта под названием СССР вопрос о мессии, а следовательно, «избранном народе» снова оказывается актуальным в литературе. Казалось бы, это шанс русской интеллигенции, в том числе технической, выйти из «кухонь-подземелий» и встать у руля корабля Будущего. В повести Владимира Маканина «Лаз» (1991) главный герой принадлежит поколению «шестидесятников», о чем можно судить по его внешнему виду: *«По глянцевой улице движется единственный человек, он в свитере, в шапочке с помпоном, помпон чуть подпрыгивает во время его хода. Этот человек – Ключарев, наш старый знакомец. Он несколько постарел; потускнел; виски поседели уже сильно, проседь в волосах. Но еще крепок. Мужчина»* [38. С. 10]. Герой обнаруживает лаз в подземный город, находящийся непосредственно под столицей. В. Маканин не упоминает слово «метро», подземный город представляется автономным, обеспечивающим защиту, полноценную жизнь подземному населению. «Избранный народ» ушел в «подполье», «захватив» с собой отряды многочисленных работников для обслуживания. «Счастливые» люди живут в условиях полного материального благополучия, в атмосфере психологической определенности: они уверены в своем завтрашнем дне. Подземный «избранный народ» живет в отложенной системе, работающей благодаря гению творческих людей архитекторов, дизайнеров, инженеров. Сохранены завоевания социализма, например бесплатное медицинское обслуживание. Творческая интеллигенция отвечает за сохранение государственности, материальных и культурных ценностей. Ключарев не задумывается о высокой «миссии», его тревожит судьба обыкновенных людей. И в то же время герой оживляется, когда речь заходит о вечных темах, о миссии русской интеллигенции [38. С. 60]. Общественное мнение формируется в кафе-клубе (подземный аналог советской кухни и одновременно клуба для избранных), где обсуждаются концепции власти, имидж новых политиков. «Поземная» интеллигенция не может предложить нового, поэтому берут прежнюю утопическую идею: *«Чтобы новый, совсем новый имидж. Не имидж отца родного, а скажем, имидж великого ученого, который придумает в экономике нечто (вместе с нами!) и нас спасет?.. а не сгодится ли имидж простого практического мужика, который поймет и простит наши слабости? А что – мы бы его подняли на щит.<...> Мы бы раздули. Вознесли! Но как угадать, насколько он по нраву толпе?»* [Там же. С. 71]. Единственное, что хорошо удается интеллигенции из клуба «из-

бранных», это «раздуть» и «поднять на шит». Интеллигенты подземного рая не способны взять на себя ответственность за выбор мессии: они ориентируются лишь на «вкус и потребу толпы». Все разглагольствования о месте человека обнаруживают истинную задачу «избранных» – манипуляция общественным мнением: нужно «толпу и народ обмануть», «облапошить их» [38. С. 72]. В антиутопии В. Макарина интеллигенты заняты проектом Будущего от съестности, играя, проводят опрос «Отношение к будущему». Суть игры в том, что все посетители кафе должны решить, верят ли они в будущее своего города, страны. Получив «билет», каждый может унести его с собой, как «билет в Будущее», либо оставить в соседнем зале. Автор следит за реакцией членов клуба: «Люди в кафе нет-нет и поглядывают, как растет холм возвращенных билетов» [Там же].

Тема народа-мессии и мессии-лидера, оказавшаяся центральной в повести Макарина «Лаз», сформировала – в аспекте эмигрантской судьбы В. Аксёнова – соответствующую часть культурного контекста для восприятия проблематики романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Символичной кульминацией бесконечных «диалогов» интеллигентов становится сонкошмар Ключарева. Главному герою снится лаз, через который он должен получить информацию. Вместо сведений из лаза он вытягивает одну за другой «палки с загнутым концом»: «Ключарев тянет и тянет длинную, бесконечную лесу, и палки выползают одна за другой из стиснувшейся дыры, и, как ни слаб уставший его мозг, Ключарев все же понимает: палки для слепых» [Там же. С. 79]. Все попытки слепого человечества нашупать «лаз в Светлое Будущее» заканчивались пока тем, что каждая новая «палка» проваливается в дыру, и человек вновь приступал к поиску.

К концу ХХ в. на очередном переломном этапе в русской истории недавние «лирики» стали осваивать функции нового мессии – *креативщика*. О новых ценностях новых властителей дум написан роман¹ Виктора Пелевина «Generation "П"» (1999). Фабула романа воспроизводит хронологию «карьеры» «лирика» Вавилена Татарского от филолога к копирайтеру и далее к вершине полной власти над миром – должности главы известного рекламного агентства «Драфт Подиум». Представитель поколения «П» в начале 1990-х гг. сумел достичь предельных «высот» в новой для него профессии сценариста рекламных роликов, управляющего сознанием масс. В. Пелевин художественно осмыслил этот переход интеллигента в новый класс. Смена «мирового порядка» произошла потому, что одна марка популярного в мире напитка вытеснила другую: была осуществлена «историческая победа красного над красным» [40. С. 11]. В Литературном институте Вавилен занимался «переводами с языков народов СССР» [Там же. С. 13], т.е. у него было типичное заня-

¹ Жанр «Generation "П"» по-разному оценивается специалистами: «сатирическая фантазия», «плутовской роман», «роман-предупреждение» «антитоталитарная дистопия» (И. Роднянская), «анекдот», «пародия и автопародия», «притча», «современный миф» (А. Минкевич), «антиутопия» («не-антиутопия») (Л. Рубинштейн), «дистопия» (С. Кузнецов), «производственный роман» (Е. Годунов) [39. С. 356].

тие для высокообразованных «лириков» в советскую эпоху. Татарский был уверен в завтрашнем дне, в своем будущем, но в один момент «советский Вавилон» разрушился и профессия Вавилена оказалась невостребованной. Роль «водителя» народов, собирателя культуры многонационального государства утратила смысл. «Вечность» на глазах исчерпала свой ресурс, и томик Пастернака заменила «книга о позиционировании», которую Татарский «считал своей маленькой Библией» [40. С. 31]. Ступени символического «зиккурата», по которым Татарский восходит к вершине власти, – это «ступени» к власти над умами людей, которую дарует реклама ее создателям. Совершенствуясь в профессии «кreatивщика», герой постепенно разменивает нравственные ценности интеллигенции, к которой принадлежал.

Роман «Generation "Г"» посвящен «памяти среднего класса». Казалось бы, В. Пелевин сильно преувеличил, объявив креативщиков демиургами нового времени. Но всего через три года, в 2002 г., американский профессор социологии и экономики Ричард Флорида представил миру монографию «The Rise of The Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life» [41]. Она вышла на русском языке в 2005 г. [42]. В указанном труде исследователь регистрирует появление в обществе (прежде всего американском) нового «класса избранных» – *homo creatus* («креативный класс» – научно-техническая интеллигенция, работники умственного труда и изящных искусств, деятели культуры, богоугодная). Классовые признаки и главный талант данной категории людей заключаются в их способности создавать «значимые новые формы»: «Кто же такой этот творческий человек, *homo creatus*, создающий новую экономику и диктуя новый стиль жизни? Прежде всего, это человек крайне привлекательный. Флорида нон-стоп поет гимн креативному классу, атрибутируя ему все модные положительные качества: свободолюбие, нестандартность – от одежды до сексуальной ориентации, разносторонность, широту мышления и толерантность» [43]. Определены даже «места залегания» нового (или старого?!?) «философского камня» эпохи потребления – это район залива Сан-Франциско, включающий Силиконовую долину и другие ведущие креативные центры.

Класс Вавиленов Татарских, способных сочетать «технологию, терпимость и талант», призван уж если не изменить мир, то поменять «экономическое лицо современности», но при этом перед новым народом-мессией уже не становится старая утопическая задача – создать идеальное общество Справедливости. Казалось бы, миссия «креативного класса» – построить комфортное пространство для жизни человека – благородна, но на поверку это совсем не тот Рай для безмятежного существования. У Нового Рая есть главное свойство – способность продаваться за большие деньги и обходить конкурентов. Выдержать эту гонку креативности может только «избранный». Приходится заключить, что утопическая идея о самостоятельной постройке человеком Рая на Земле теперь не только прекрасная мечта, но и бизнес-проект.

Таков контекст поствольтеровской цивилизации. Знаки культуры, в которых сегодня объективируются концепты «Мессианство» и «Избранный

народ», вызывают ностальгию и чувство потери поколением чего-то действительно важного. Возможно, идеала.

Заключение

Фантастике Василия Аксёнова «Вольтерьянцы и вольтерьянки» подняла на поверхность пласт вечных тем и идей, которые, благодаря УТС, проносятся через исторические эпохи и оставляют в каждой из них свой след, свои знак культуры. Глубина проникновения и устойчивость некоторых идей поражает, как и масштаб личности их авторов, например такого духовного лидера, как Вольтер.

Нужны ли нам идеиные вожди, если невозможна предугадать, как воздействующее «слово отзовется», если каждую утопическую идею ждет очередная драма? Ответ, к которому подводит своего читателя Аксёнов, на наш взгляд, положительный: поколению важно иметь «духовного лидера, который и содержит революции, и будет чувствовать социальную справедливость». Каждое поколение, как Сизиф, должно толкать в гору свой «философский камень». Утопическая идея нуждается в мессии и тех, кто «творчески» будет ее продвигать и реализовывать, пусть даже каждая попытка окажется на поверку только «палкой слепого».

Станет ли «креативный класс» символом нового исторического сознания, пришедшего, по Мильдону, на смену УТС, или мы видим очередную смену его культурных масок?

Узнаваемость концептуальной схемы и ее элементов при всяком новом воспроизведении концептов «Мессианство» и «Избранность» в социальной жизни используется как когнитивная база для манипуляции сознанием. Смена знаков культуры, в которых продолжает жить утопическая матрица, создает эффект новизны, а ее стабильность расценивается как исконное, вечное знание и «гарант» истинности.

Наднациональные идеи мессианства и избранного народа «варятся» в одном утопическом «котле» сознания вместе с национальными идеями. В литературных утопиях и антиутопиях всегда возникает отражение сложного комплекса идей, осмысливаются (фреймируются) новые парадигмы Светлого Будущего, развенчиваются (рефреймируются) старые.

Борьба «новаторов» превращается в борьбу идей, в спор за право фреймировать прошлое, настоящее и будущее средствами литературы. Все это определяет жанровые и стилистические особенности утопий и антиутопий [44–46] и др.

Литература

1. Аксёнов В. Из интервью (с обложки) // Вольтерьянцы и вольтерьянки. М. : Э, 2017. 512 с.
2. Подчиненнова А.В., Снигирёва Т.А. Феномен творческой неудачи. 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. 486 с.
3. Бондаренко В. Кунстштиук с подогревом, или А почем нынче «Букер»? (о романе Вас. Аксёнова «Вольтерьянцы и вольтерьянки») // Портал LIBRARY.RU. URL: http://www.library.ru/2/liki/sections.php?a_uid=88

4. Национальная идея России : в 6 т. / под общ. ред. С.С. Сулакшина. М. : Научный эксперт, 2012. Т. 1. 752 с.
5. Аинса Ф. Кризис и воскрешение утопии (пер. с исп. Т.С. Паниотовой) // Утопические проекты в истории культуры : сб. материалов Всероссийской (с международным участием) междисциплинарной научной конференции «Утопические проекты в истории культуры (к 500-летию утопи Т. Мора». Ростов н/Д, 2017. С. 6–13.
6. Schol S. Russland mit und ohne Seele. Salzburg : Ecowin Verlag, 2009.
7. Мильдон В.И. История и утопия как типы сознания // Вопросы философии. 2006. № 1. С. 15–24.
8. Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм: (Религиозно-философские параллели) // Сочинения : в 2 т. М., 1993. Т. 2. 752 с.
9. Аверинцев С. Хилиазм // Философская энциклопедия / под ред. Ф.В. Константинова : в 5 т. М., 1970. Т. 5. 740 с.
10. Энгельс Ф. К истории первоначального христианства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения : в 50 т. Т. 22: Ф. Энгельс. Январь 1890 – август 1895 / подгот. А.К. Воробьевой. М., 1962. С. 467–492.
11. Чернышов Ю.Г. К проблеме «самооценки» принципата Августа // Проблемы истории государства и идеологии античности и раннего средневековья. Барнаул, 1988. С. 36–55.
12. Чернышов Ю.Г. Три концепции «Сатурнова царства» у Вергилия // Античная гражданская община: Проблемы социально-политического развития и идеологии. Л., 1986. С. 100–114.
13. Чернышов Ю.Г. Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке» в древнем Риме : в 2 ч. Ч. 2: Ранний принципат. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1994. 166 с.
14. Чернышов Ю.Г. Была ли у римлян утопия? // Вестник древней истории. 1992. № 1. С. 53–72.
15. Публий Вергилий Марон. Энеида: (Отрывки). Приводится по: Хрестоматия по античной литературе : в 2 т. Т. 2: Римская литература. М. : Просвещение, 1965. 651 с.
16. Гаспаров М. Вергилий – поэт будущего // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979. С. 5–34.
17. Дмитриев-Мамонов Ф.И. Дворянин-философ, аллегория. Смоленск, 1796. 47 с.
18. Харитонов Е. Вселенная за околицей: [Ф.И. Дмитриев-Мамонов и его повесть «Дворянин-философ, аллегория»] // Если. 1997. № 4. С. 248–251.
19. Абрамzon Т.Е. Александр Сумароков: История страстей. М. : ОГИ, 2015. 304 с.
20. Абрамзон Т.Е. К вопросу о русском счастье (поэзия XVIII века) // Libri magistri. 2015. Вып. 1. С. 116–133.
21. Baldry H.C. Who invented the golden age? // CJQu. Vol. 46. 155, № 1. P. 83–92.
22. Gatz B. Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen (Spudasmata, 16). Hildesheim : G. Olms, 1967. 238 p.
23. Гесиод. Труды и дни, 109–200 (пер. В.В. Вересаева) // Греческая литература : в избранных переводах / сост. В. О. Ниландер. М., 1939. С. 45–47.
24. Кауркин Р.В., Хазина А.В. Утопический нарратив эллинизма и русская литература античной утопии XVIII в.: в диалоге с мифом // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12, № 2. С. 26–35.
25. Пичугина В.К. Соперничающие союзники: наставления Платона и Ксенофonta заботящемуся о себе человеку // Известия ВГПУ. 2014. № 6 (91) С. 127–135.
26. Лейст О.Э. (ред.) История политических и правовых учений. М. : Зерцало, 2004. 565 с.
27. Романов П. «Греческий проект» – утопия Вольтера и Екатерины II // МИА «Россия сегодня». URL: <https://ria.ru/20130805/954275622.html>
28. Скороспелова Е.Б. Литература революции, 20-х – начала 30-х годов // История русской литературы. XX век : в 2 ч.Ч. 1: учебник для студентов вузов / В.В. Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова. М., 2007, С. 376–416.

29. Богданов А. Вопросы социализма. М. : Изд. писателей в Москве, 1918. 104 с.
30. Veblen T. The engineers and the price system. Kitchener : Batoche Books, 2001. URL: <http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/veblen/Engi-neers.pdf>
31. Гастев, А.К. Поэзия рабочего удара. Предисловие к шестому изданию. М. : Худож. лит., 1971 // Библиотека русской и советской классики. URL: <http://ruslit.traum-library.net/book/gastev-poezia-rab-udara/gastev-poezia-rab-udara.html#work003002>
32. Замятин Е. Мы // Избранное. М., 1989. С. 307–462.
33. Чаянов А. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Электронная библиотека RoyalLib.Com. URL: https://royallib.com/read/chayanov_aleksandr/puteshestvie_moego_brata_alekseya_v_stranu_krestyanskoy_utopii.html#0
34. Беляева К.С. Феномен россиян – «Шестидесятников»: попытка идентификации // Вестник МГУКИ. 2015. № 3 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-rossiyan-shestidesyatnikov-popytka-identifikatsii> (дата обращения: 06.02.2019).
35. Евтушенко Е. Волчий паспорт. М. : Вагриус, 1998. 574 с.
36. Вознесенский А. Оза. Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы // Рутения. URL: <http://www.ruthenia.ru/60s/voznes/ahilles/oza.htm>
37. Игнатова М.П. Две культуры – проблемы и взаимодействие // Инновационная наука. 2015. № 5. С. 205–215.
38. Маканин В.С. Лаз: повесть и рассказы. М. : СП ИВО-СиД, 1991. С. 9–82.
39. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века). СПб. : Филол. ф-т СПб. гос. ун-та, 2004. 716 с.
40. Пелевин В. GENERATION «П» : роман. М. : Вагриус, 1999. 303 с.
41. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York : Basic Books, 2002. 404 p.
42. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М. : Классика-XXI, 2005. 421 с.
43. Гарт Д. Девочка, ты хочешь в креатив или на свалку истории? // Русский Журнал URL: <http://russ.ru/Kniga-nedeli/Devochka-ty-hochesh-v-kreativ-ili-na-svalku-istorii> (дата обращения: 26.12.2005).
44. Андреева С.Л., Бедрикова М.Л. Жанровые признаки антиутопии в повести Ю. Давыдова «Африканский вариант» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 49. С. 113–135.
45. Ковтун Н.В. Русская литературная утопия второй половины XX века. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. 536 с.
46. Константинов Д.В. Антиутопии: будущее без человека // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 366. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/antitopii-buduschee-bez-cheloveka>

Concepts “Messianism” and “Chosenness” in Vasily Aksyonov’s phantasmagoria novel *Voltairian Men and Women: A Historical and Cultural Context*

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 193–224. DOI: 10.17223/19986645/66/11

Svetlana L. Andreeva, Maya L. Bedrikova, Nosov Magnitogorsk State Technical University (Magnitogorsk, Russian Federation). E-mail: 216zamsv@mail.ru / mlbedrikova@gmail.com

Keywords: utopian type of consciousness, concept, messianism, chosenness, chosen people, creative class, Enlightenment, Vasily Aksyonov, *Voltairian Men and Women*.

The article considers cultural concepts “messianism” and “chosenness” as interrelated and interdependent constants of a utopian type of consciousness. Their reflection in Russian literary discourse is presented in a diachronic aspect of the development of Russian and European cultures based on the material of Russian and foreign literature involving religious and mythological sources, works on history, philosophy and sociology. The starting point in

the conceptual analysis is Vasily Aksyonov's phantasmagoria novel *Voltairian Men and Women*. Its main topic is thought leadership and freethinking. The authors of the article, as well as the writer, focus on the phenomenon of Voltaire as the messiah of the Enlightenment in their analysis. The intertextual design of the novel contains prospective and retrospective representation of the two utopian concepts. The main method, a diachronic analysis of the content of the concepts, is used in the form of centrifugal and centripetal excursions into the cultural, utopian, and historical context. The study of the intertextual design of the novel allows reconstructing the development of the two concepts and recording their traces in Russian literature as a reflection of global tendencies in the development of the utopian and formation of a national idea. The concept "messianism" as a supranational concept is considered first. Presenting the cultural and historical features of Voltaire as the spiritual leader of the 18th century, the authors turn to the history of the concept. The single line of precedence in the Russian utopias of the 18th century and in *Voltairian Men and Women* points to the common religious and mythological grounds for the concepts "messiah", "chosen people", and "Golden Age"—a Greek myth about life under Cronus. The manipulative character of the use of the myth for political purposes—the glorification of Emperor Augustus that Vergil supported—contributed to the formation of the concept "Messiah", later complicated and developing into the concept "messianism" that employs the concept "chosen people". Further, the analysis of Russian literary utopian discourse transfers to the concept "chosen people" (through the prism of messianism). Aksyonov's text allows revealing the cultural and historical foundation for the image of Voltairian people—the "chosen people" of the Enlightenment in Russia. The analysed 21st-century novel sets the retrospective and prospective direction for readers' reflection. Starting with the messiah and the "chosen people" (Voltaire's realm of reason), Aksyonov leads readers to the ideas and images of other messiahs, the "chosen people": engineers of technocratic utopias and the proletariat; "poets" and "physicists", and spiritual leaders of the 1960s; the so-called "creative people" and the intellectuals of the 1990s; the creative class of the era of consumption. The struggle of "innovators" for the right to make frames of the past, present and future determines the genre and stylistic peculiarities of utopias and anti-utopias.

References

1. Aksyonov, V. (2017) *Vol'ter'yantsy i vol'ter'yanki* [Voltairian Men and Women]. Moscow: Eksmo.
2. Podchinennova, A.V. & Snigireva, T.A. (2015) *Fenomen tvorcheskoy neudachi* [The phenomenon of creative failure]. 2nd ed. Yekaterinburg: Ural Federal University.
3. Bondarenko, V. (n.d.) *Kunstshtyuk s podogrevom, ili a pochem nynche "Buker"?* (on romane Vas. Aksanova "Vol'ter'yantsy i vol'ter'yanki") [Kunststück with heating, or how much is "Booker" now? (on V. Aksyonov's novel "Voltairian Men and Women")]. LIBRARY.RU. [Online]. Available from: http://www.library.ru/2/liki/sections.php?a_uid=88. (In Russian).
4. Sulakshin, S.S. (ed.) (2012) *Natsional'naya ideya Rossii* [The national idea of Russia]. Vol. 1. Moscow: Nauchnyy ekspert.
5. Ainsa, F. (2017) [Crisis and resurrection of utopia]. Translated from Spanish by T.S. Paniotova. *Utopicheskie proekty v istorii kul'tury* [Utopian Projects in the History of Culture]. Proceedings of the International Conference. Rostov-on-Don. 11–12 November 2016. Rostov-on-Don: Fond nauki i obrazovaniya. pp. 6–13. (In Russian).
6. Schol, S. (2009) *Russland mit und ohne Seele*. Salzburg: Ecwin Verlag.
7. Mil'don, V.I. (2006) Istorya i utopiya kak tipy soznaniya [History and Utopia as Types of Consciousness]. *Voprosy filosofii – Problems of Philosophy*. 1. pp. 15–24.
8. Bulgakov, S.N. (1993) *Apokaliptika i sotsializm (Religiozno-filosofskie paralleli). Sochineniya* [Apocalypticism and Socialism (Religious and Philosophical Parallels). Works]. Vol. 2. Moscow: Nauka.

9. Averintsev, S. (1970) Khiliazm [Chiliasm]. In: Konstantinov, F.V. (ed.) *Filosofskaya entsiklopediya* [Philosophical Encyclopedia]. Vol. 5. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
10. Engels, F. (1962) K istorii pervonachal'nogo khristianstva [On the history of early Christianity]. In: Marx, K. *Sochineniya* [Works]. Vol. 22. Moscow: Gospolitizdat. pp. 467–492.
11. Chernyshov, Yu.G. (1988) K probleme “samootsenki” printsipata Avgusta [On the problem of “self-esteem” of the Augustan Principate]. In: Borodavkin, A.P. (ed.) *Problemy istorii gosudarstva i ideologii antichnosti i rannego srednevekov'ya* [Problems of The History of the State and Ideology of Antiquity and the Early Middle Ages]. Barnaul: Altai State University. pp. 36–55.
12. Chernyshov, Yu.G. (1986) Tri kontseptsii “Saturnova tsarstva” u Vergiliya [Three Concepts of the “Saturn’s Kingdom” in Virgil’s writing]. In: Frolov, E.D. (ed.) *Antichnaya grazhdanskaya obshchina. Problemy sotsial'no-politicheskogo razvitiya i ideologii* [Civil Society in Classical Antiquity. Problems of socio-political development and ideology]. Leningrad: Leningrad State University. pp. 100–114.
13. Chernyshov, Yu.G. (1994) *Sotsial'no-utopicheskie idei i mif o “zolotom veke” v drevnem Rime* [Socio-Utopian Ideas and the Myth of the “Golden Age” in Ancient Rome]. Pt. 2. 2nd ed. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
14. Chernyshov, Yu.G. (1992) Byla li u rimlyan utopiya? [Did the Romans have utopia?]. *Vestnik drevney istorii – Journal of Ancient History*. 1. pp. 53–72.
15. Virgil. (1965) Eneida (Otryvki) [The Aeneid (Excerpts)]. In: Deratani, N.F. & Timofeeva, N.A. (eds) *Khrestomatiya po antichnoy literatury* [Reading Book of Classical Ancient Literature]. Vol. 2. Moscow: Prosveshchenie.
16. Gasparov, M. (1979) Vergiliy – poet budushchego [Virgil – the poet of the future]. In: Virgil. *Bukoliki. Georgiki. Eneida* [Bucolics. Georgics. The Aeneid]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 5–34.
17. Dmitriev-Mamonov, F.I. (1796) *Dvoryanin-filosof, allegoriya* [A Nobleman-Philosopher, an allegory]. Smolensk: Tip. Prikaza obshchestvennago prizreniya.
18. Kharitonov, E. (1997) Vselennaya za okolitsey: [F.I. Dmitriev-Mamonov i ego povest’ “Dvoryanin-filosof, allegoriya”] [Universe outside the fence: [F.I. Dmitriev-Mamonov and his story “A Nobleman-Philosopher, an allegory”]]. *Esli*. 4. pp. 248–251.
19. Abramzon, T.E. (2015) *Aleksandr Sumarokov. Istoryya strastey* [Alexander Sumarokov. Passion History]. Moscow: OGI.
20. Abramzon, T.E. (2015) To the question of the Russian happiness (18th-century poetry). *Libri magistri*. 1. pp. 116–133. (In Russian).
21. Baldry, H.C. (1952) Who invented the golden age? *The Classical Quarterly*. 1/2 (2). pp. 83–92.
22. Gatz, B. (1967) *Weltalter; goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen* (*Spudasmata*, 16). Hildesheim: G. Olms.
23. Hesiod (1939) Trudy i dni, 109–200 [Works and Days, 109–200]. Translated from ancient Greek by V.V. Veresaev. In: Nilender, V.O. (ed.) *Grecheskaya literatura: v izbrannyykh perevodakh* [Greek Literature: In selected translations]. Moscow: Sovetskiy pisatel’. pp. 45–47.
24. Kaurkin, R.V. & Khazina, A.V. (2010) The utopian narration of Hellenism and Russian literary utopia of the 18th century: an ongoing dialogue with myth. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk – Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*. 2 (12). pp. 26–35. (In Russian).
25. Pichugina, V.K. (2014) Rival allies: admonitions of Plato and Xenophon to a human who cares about oneself. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Izvestia of the Volgograd State Pedagogical University*. 6 (91) pp. 127–135. (In Russian).
26. Leyst, O.E. (ed.) (2004) *Istorya politicheskikh i pravovykh ucheniy* [History of Political and Legal Doctrines]. Moscow: Zertsalo.

27. Romanov, P. (2013) "Grecheskiy proekt" – utopiya Vol'tera i Ekateriny II ["Greek project" – the utopia of Voltaire and Catherine II]. *MIA "Rossiya segodnya"*. [Online]. Available from: <https://ria.ru/20130805/954275622.html>. (In Russian).
28. Skorospelova, E.B. (2007) Literatura revolyutsii, 20-kh – nachala 30-kh godov [Literature of the Revolution, 20s – early 30s]. In: Agenosov, V.V. (ed.) *Istoriya russkoy literatury. XX vek* [History of Russian Literature. 20th century]. Pt. 1. Moscow: Drofa. pp. 376–416.
29. Bogdanov, A. (1918) *Voprosy sotsializma* [Questions of Socialism]. Moscow: Izdatel'stvo pisateley v Moskve.
30. Veblen, T. (2001) *The engineers and the price system*. Kitchener: Batoche Books. [Online] Available from: <http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3l13/veblen/Engi-neers.pdf>.
31. Gastev, A.K. (1971) *Predislovie k shestomu izdaniyu Poeziya rabochego udara* [Preface to the sixth edition of the Poetry of the Worker Strike]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. [Online] Available from: <http://ruslit.traumlibrary.net/book/gastev-poezia-rabudara/gastev-poezia-rab-udara.html#work003002>.
32. Zamyatin, E. (1989) *Izbrannoe* [Selected Works]. Moscow: Pravda. pp. 307–462.
33. Chayanov, A.V. (1920) *Puteshestvie moego brata Alekseya v stranu krest'yanskoy utopii* [The Journey of My Brother Alexei to the Country of Peasant Utopia]. [Online] Available from: https://royallib.com/read/chayanov_aleksandr/puteshestvie_moego_brata_alekseya_v_stranu_krestyanskoy_utopii.html#0.
34. Belyaeva, K.S. (2015) The paradigmatic approach to social and cultural activities of youth in the contemporary situation. *Vestnik MGUKI*. 3 (65). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-rossiyan-shestidesyatnikov-popytka-identifikatsii>. (Accessed: 06.02.2019). (In Russian).
35. Evtushenko, E. (1998) *Volchiiy passport* [Wolf's passport]. Moscow: Vagrius.
36. Voznesenskiy, A. (1964) Oza. Tetrad', naydennaya v tumbochke dubnenskoy gostinitsy [Oza. Notebook found in the nightstand of the Dubna hotel]. *Ruthenia*. [Online] Available from: <http://www.ruthenia.ru/60s/voznes/ahilles/oza.htm>.
37. Ignatova, M.P. (2015) Dve kul'tury – problemy i vzaimodeystvie [Two cultures – problems and interaction]. *Innovatsionnaya nauka*. 5. pp. 205–215.
38. Makanin, V.S. (1991) *Laz. Povest' i rasskazy* [Manhole. Short Novel and Short Stories]. Moscow: SP IVO-SiD. pp. 9–82.
39. Bogdanova, O.V. (2004) *Postmodernizm v kontekste sovremennoy russkoy literatury (60–90-e gody XX veka – nachalo XXI veka)* [Postmodernism in the Context of Modern Russian Literature (1960s–1990s – the beginning of the 21st century)]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University.
40. Pelevin, V. (1999) *GENERATION "P"*. Moscow: Vagrius. (In Russian).
41. Florida, R. (2002) *The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life*. New York: Basic Books.
42. Florida, R. (2005) *Kreativnyy klass: lyudi, kotorye menyayut budushchee* [Creative Class: People Who Change the Future]. Moscow: Klassika-XXI.
43. Gart, D. (2005) Devochka, ty khochesh' v kreativ ili na svalku istorii? [Girl, do you want creativity or being thrown into the dustbin of history?]. *Russkiy Zhurnal – Russian Journal*. [Online] Available from: <http://russ.ru/Kniga-nedeli/Devochka-ty-hochesh-v-kreativili-na-svalku-istorii>. (Accessed: 26.12.2005).
44. Andreeva, S.L. & Bedrikova, M.L. (2017) Genre features of dystopia in Yuri Davydov's "Afrikanskiy Variant". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. – Tomsk State University Journal of Philology*. 49. pp. 113–135. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/49/8
45. Kovtun, N.V. (2005) *Russkaya literaturnaya utopiya vtoroy poloviny XX veka* [Russian Literary Utopia of the Second Half of the 20th Century]. Tomsk: Tomsk State University.
46. Konstantinov, D.V. (2013) Anti-utopias: future without man. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 366. pp. 42–48. [Online] Available from: <http://cyberleninka.ru/article/n/antiutopii-buduschee-bez-cheloveka>. (In Russian).

УДК 82.02

DOI: 10.17223/19986645/66/12

А.С. Бокарев

СИНКРЕТИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ В ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА СТРОЧКОВА И АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА

Рассматривается восходящий к языковой архаике образный синкремизм как комплексное представление нескольких семантических признаков в одном слове, когда речевой контекст не снимает, а, наоборот, продуцирует неопределенность. Исследуется специфика картины мира в лирике современных поэтов В. Строчкова и А. Левина, а именно репрезентированный с помощью синкремической образности комплекс мотивов. Выявляются «алгоритмы» функционирования данной образности, делается вывод о тотальной ревизии мира, предпринимаемой поэтическим сознанием.

Ключевые слова: В. Строчков, А. Левин, архаическое слово, семантический синкремизм, распад реальности, карнавализация литературы.

В работах по исторической поэтике актуализация архаических образных языков осмысливается как одна из ключевых тенденций литературы XX – начала XXI в. [1–4]. В поле зрения ученых попадают древнейшие художественные средства – кумуляция и параллелизм, функционально противопоставленные тропу и как бы дезавуирующие условно-поэтическую природу текста [5. С. 135–137]. Однако не меньший интерес представляют и те немногочисленные (и до сих пор мало исследованные) случаи, когда возвращение к языковой архаике приобретает тотальный характер и в пределе оборачивается «реставрацией» исходной многозначности словесного знака. Методологическим ориентиром в осмыслении интересующего нас явления могут служить лингвистические идеи М.М. Бахтина, согласно которому семантическая структура слова распадается на «тему» («единый смысл, принадлежащий высказыванию как целому») и «значение» (повторимые и тождественные «себе при всех повторениях» компоненты фразы) [6. С. 433–434]. Если «тема» конкретна и целиком определяется «внесловесными моментами» сообщения, то «значение», напротив, тяготеет к абстракции и представляет собой лишь «технический аппарат осуществления темы» [Там же. С. 434]. Специфику архаического слова М.М. Бахтин как раз и усматривает в том, что «оно все – тема», которая поглощает и «растворяет в себе значение, не давая ему стабилизоваться и хоть сколько-нибудь отвердеть» [Там же. С. 435] (см. также: [2. С. 32–36]). Поэтому и понимание такого – семантически синкремичного, выражавшего мифологическое сознание – слова зависит от погруженности адресата в ситуацию высказывания¹: при других обстоятельствах неизбеж-

¹ См. также комментарий современного исследователя: «Причина семантической нерасчлененности слова-символа-реакции заключается в форме существования словесного

ным оказывается как размывание референтного плана сообщения, так и провал коммуникации в целом.

В современной лингвистике термин «синкремизм» используется для обозначения комплексного представления нескольких семантических признаков в одном слове и объединяет такие явления, как полисемия, омонимия, словосложение, междусловное наложение, трансформация частей речи и другие случаи языковой компрессии [7; 8. С. 56; 9]. При этом в качестве главного его признака рассматривается «реализация разных смыслов слова или формы в едином речевом акте» [8. С. 57], когда контекст не снимает, а, наоборот, продуцирует неопределенность [Там же. С. 60]. В отдельных случаях семантическая «диффузия» возможна даже в раздельно-оформленных высказываниях – за счет системы структурных повторов, характерных для художественного текста [Там же. С. 57]. Интерес литературы к архаическим формам мышления как раз и вызван преодолением рационалистического видения мира, неоднозначностью и непознаваемостью действительности в рамках неклассической системы координат [2. С. 274–280]. В работах Л.В. Зубовой, посвященных языку поэзии, дан обстоятельный лингвистический анализ синкремизма в лирике М. Цветаевой [8. С. 56–109], выявлены отдельные его примеры в творчестве современных авторов (А. Альчук, Д. Бобышева, Д. Голынко-Вольфсона, Т. Кибицова, В. Кривулина, А. Миронова и др.) [10]. Мы же в настоящей статье сосредоточимся на литературоведческой интерпретации синкремизма у Владимира Строчкива и Александра Левина – поэтов, целенаправленно использующих его художественные ресурсы.

По мнению В. Кулакова, названных авторов правомерно рассматривать как полноценную (несмотря на малочисленность) литературную группу, объединенную не только дружескими отношениями, но и общей эстетической программой [11. С. 96]. Основные положения этой программы сформулированы в их совместной статье «Лингвопластика. Полисемантика. Попытка анализа и систематизации»¹ [13. С. 169–184], а также в прозаических автометаописаниях В. Строчкива – «По ту сторону речи» [14] и «Небиографии автора» [15]. Все разнообразие собственных поэтических приемов сводится ими к двум подходам: полисемантике, основанной на контекстуальных смысловых приращениях слова, и лингвопластике, предполагающей его фонетические и грамматические преобразования [13. С. 170–171]. Оба пути (первый характерен для В. Строчкива, второй – для А. Левина) обусловлены необходимостью отражения «сложной, изменчивой и неоднозначной» реальности² [Там же. С. 170], а значит, чреваты син-

знака – и устно-речевой традиции; это система, во-первых, чисто «слуховая» (не зрительная, как в формах письменной речи) и, во-вторых, привязанная к диалогу» [7. С. 45].

¹ Помимо совместных публикаций (наряду с указанной статьей назовем еще книгу «Перекличка» [12]), авторов объединяет московский клуб «Поззия», участниками которого они были в 1980–1990-е гг. [11. С. 96].

² Среди других причин утверждения данной поэтики – ревизия «мертвых зон» языка советской эпохи (штампов «бюрократического официоза», воровского арго, сленга и

кремизом образа, понимаемым как «ветвление смысла» и «семантическое мерцание текста» [13. С. 175, 178, 182]. Специфика картины мира, формирующейся в стихах Строчкова и Левина, а именно репрезентированный с помощью синкетической образности комплекс мотивов, далее и будет в центре нашего внимания.

В критике и литературоведении последних лет В. Строчков имеет репутацию «угрюмого поэта», поскольку и «индивидуальное существование», и «национально-исторический мир» предстают в его стихах как «ежесекундная катастрофа, громадный паноптикум, где бал правят разложение и смерть» [16]. Даже виртуозные языковые игры, восходящие к «самовитому слову» В. Хлебникова [Там же] и «сдвигологии» А. Крученых [17–18], прочитываются пишущими о нем как «знак поражения» [19. С. 411], как попытка противостоять «метафизическому ужасу», заведомо «бесполезная» и «безнадежная» [20]. В свете сказанного закономерно, что «распад реальности» [19. С. 411] становится одним из инвариантных, повторяющихся из стихотворения в стихотворение, мотивов, а структура поэтического текста – иконичной по отношению к изображаемому миру. Поэтому авторские усилия, направленные на упорядочение действительности, плодотворны лишь отчасти: логические связи между ее элементами могут быть только внешними, а глубинное сходство, обнаруживающееся за пределами логики, не вызывает оптимизма.

Так, в стихотворении «Апрельские иды» одним и тем же глаголом «перевести» (и производными от него) обозначены совершенно разные действия: физическое перемещение предмета, арифметическая операция, перадресация, переключение внимания, почтовая пересылка денег и т. д. [21. С. 234–235]. Несмотря на то, что названные значения представлены раздельно (текст строится как цепочка самостоятельных, относительно автономных контекстов), они, по мере развертывания сюжета, проникают друг в друга, обнаруживая общий знаменатель – исчезновение («...переведем мы всё – и, может статься, / переведемся все в конце концов» [22]). Прекращение существования, ощущение исчерпанности времени (именно об этом, говоря общо, и написаны «Апрельские иды») в произведениях Строчкова устойчиво тематизируются. Подобного рода коннотации существенны и для слова «сдаваться» в стихотворении «Вам не сдается, что время сдается?»¹ [Там же], и для слова «ничего» в «Песенке для отсутствующего голоса»: «Я спою вам песенку, а больше ничего. / Нет у меня голоса, но это ничего. / Песенка короткая, всего-то ничего: / как от моей жизни не осталось ничего» [23. С. 78]. В последнем процитированном фрагменте сюжетообразующим принципом становится нагнетение омонимов: местоимения, указывающего на редукцию жизни и невозможность на нее повлиять; частицы, выражающей принятие сложившегося по-

т.п.) и осознание языковой системы как особой, «обладающей огромными и мало используемыми возможностями», реальности [13. С. 170].

¹ Подробный анализ данного текста см. в работе Л.В. Зубовой [21. С. 236].

рядка вещей; наречия, выявляющего краткость персонального времени и авторского рассказа о нем. При этом «интегральным» означающим, «суммирующим» локальные значения, оказывается пустота, понимаемая то как отсутствие певческого дара, то как поэтическое молчание, то как смерть. Ее торжество «поддерживается» в стихотворении на фонетико-графическом уровне: «о», «брать-близнец» нуля, неизменно появляется в finale каждой строки, а навязчивый словесный повтор свидетельствует о блуждании субъекта в кругу одних и тех же мыслей: «Ведь, если разобраться, что ж такого, ничего, / кроме этой песенки и нету ничего. / Из того, что не было, не жалко ничего. / Спета моя песенка, а дальше ничего»¹ [23. С. 79].

Подобная оптика – и это уже отмечалось критиками [25. С. 62] – напоминает смену узоров в калейдоскопе, с той разницей, что вновь возникающее изображение не уничтожает предыдущее, а как бы накладывается на него². Отсюда – последовательная мимикия одного под другое, истинная или мнимая фантастичность всего непосредственно видимого. Например, в «Горестных заметах фенолога» жизнь, скрытую от посторонних глаз, но доступную заинтересованному наблюдателю, обнаруживает природа: «Ушла домой зима Прекрасная Белена / с ребром, с угробами и с негами пущистыми, / вокруг, смеясь, бежит весна Зеленаида, / по лужам шлепая ногами развеселыми» [26. С. 48]. Разумеется, в одушевлении времен года или природных стихий нет ничего исключительного – и в фольклоре, и в литературе олицетворение широко используется; однако атрибуты сезонных изменений у Строчкина подчеркнуто двойственны и только поначалу могут показаться привычными. Задача поэта состоит в том, чтобы эксплицировать их подлинную сущность, сделать зритом «изнанку» явлений, ускользающую от неподготовленного взгляда. Поэтому отнюдь не тривиальные признаки зимы – «ребро», отсылающее к библейскому сюжету сотворения женщины и воспринимаемое как символ витальности; «угробы», этимологически связанные с «могилой», а через нее с потусторонностью; «нега», развивающая амбивалентную семантику сна-смерти – фиксируются там, где для большинства различимы только «сребро», «сугробы» и «снеги». Благодаря пересегментации текста (как в приведенном примере) или междусловному наложению (как в первом стихе второй строфы: «Но вновь циклопы и антициклоны кружат...»³ [Там же]) в стихотворении Строчкина возникает мир, лишенный стабильности, подвижный и текучий.

¹ В качестве вероятного претекста стихотворения назовем начало первого акта шекспировского «Короля Лира», а именно реакцию заглавного персонажа на отказ Корделии выказать словами ее любовь к нему: «Из ничего не выйдет ничего» [24. С. 432].

² См.: «Слова распадаются и срастаются, подобно узорам в калейдоскопе, но не последовательно, а одномоментно – так, как если бы при возникновении нового узора в повернувшемся тубусе калейдоскопа прежний не исчезал, а происходило бы наложение одного на другой, палимпсест смыслов» [25. С. 62].

³ Сквозь фонетическую оболочку слов «циклоны и антициклоны», разумеется, «просвещивают» другие, более уместные в стихах о природе, – «циклоны и антициклоны».

В этом мире зверь Апокалипсиса, убивший поэта Андрея Сергеева, за-просто «притворяется» внедорожником, совершившим неудачный маневр («И увидел он зверя, / из ряда вон выходящего – / из внутреннего – / на осевую» [23. С. 16]), а «декорации» Дантова ада лишь отдаленно напоминают Садовое кольцо, знакомое каждому москвичу¹ («И было кольцо, и свет был желт, и стал красен. / И не было ни силы, ни ангела, / ни человека и никакой твари, / чтобы спасти, отклонить, закрыть» [Там же. С. 17]). В итоге окружающая человека реальность начинает восприниматься как иллюзорная, а для ее фиксации используются специфические языковые средства. В их числе – регулярно встречающаяся у Строчкова паронимия, однако каламбуры, возникающие на ее основе, обычно лишены комического эффекта. В стихотворении «Старушка» – «Старушка доживала до конца. / Душистый мякиш. Бородинский... Тминки... / А все одна. Ни слуху. Ни лица. / И кто приедет на ее кузьминки?» [22] – элементарный прием пищи («дожевать») оборачивается непрерывным движением к смерти («доживать»); и даже название московского района, домашний адрес героини, предвосхищает неизбежный уход из жизни (сквозь «кузьминки», вынесенные в рифменную позицию, «проступают» «поминки»). Сходную функцию выполняет и энантиосемия (в лирике Строчкова она может быть как языковой, так и окказиональной): например, фраза «проводник обносит чаем» [Там же] может прочитываться двояко – «наделяет напитком» или «проходит мимо», а в довольном урчании кошки – «Умр-р-ру!» [Там же] – слышится то «Умру!», то «Умора!» (здесь противопоставленность значений является результатом поэтической этимологии – авторского осмысливания асемантичного слова).

В стихотворениях, реализующих мифическое мышление, всегда особенные отношения устанавливаются между человеком и природой. В изменчивом, лишенном гармонии мире она способна научить его трем вещам – жизни, творчеству и смерти, поэтому единство с ней становится сквозным мотивом в поэзии Строчкова. Наибольший интерес в этой связи представляет обращение автора к двучленному параллелизму, структура которого усложняется за счет синкремического словоупотребления. Согласно А.Н. Веселовскому «природная» и «человеческая» части параллели всегда обособленны и «вторят друг другу при различии объективного содержания» [28. С. 133]; в текстах же Строчкова они, напротив, взаимопроникают, утрачивая самостоятельность и становясь одним целым. Характерный пример – стихотворение «Скрипит на жердочке творец...», начало которого представляет собой свернутый, как бы компрессионный вариант параллелизма: «Скрипит на жердочке творец, / топорщится пером, / а под его творешней – смерть- / топорщица, зеро» [29]. Каждый из трех стихов, открывающих текст, семантически двоится благодаря либо паронимии, либо многозначности: «творец» в приведенном контексте легко превраща-

¹ Кольцо (Садовое кольцо, кольцевая дорога) ассоциируется с кругами ада (отмечено О.О. Петелиной [27. С. 34]).

ется в скворца (ассоциативная связь творчества и птичьего пения «узаконена» традицией), его «творешня» (удиненное место, способствующее саморефлексии) – в скворешню, а перо (инструмент для письма) – в перьевый покров. При этом глаголы, называющие действия героя, меняют смысловое наполнение в зависимости от того, кто «подставляется» на место субъекта: не вызывает сомнений, что человеку свойственно ворчать, жаловаться на судьбу («скрипеть») или самонадеянно гордиться своей работой («топорщиться»); по отношению к птице оба слова можно понимать буквально, хотя не менее существенны и их переносные значения – «петь, издавать голосом звуки (видимо, не во всем приятные¹)» и «важничать».

Если же развертывающиеся симультанно смыслы эксплицировать в двух речевых актах, то получится не что иное, как двучленный параллелизм: «скворец поет на жердочке, топорща перья и делая важный вид // поэт сочиняет в уединении, предаваясь меланхолии и мечтая о славе». При такой соотнесенности «природного» и «человеческого» планов логично, что судьбы персонажей, несмотря на все различия, сходны в главном: смерть ждет обоих, вне зависимости от того, какой облик она примет – остро оточенного топора («топорщица») или абсолютной пустоты («зеро»). Сказанное еще трагичней потому, что преодоление смерти в акте творчества является главной целью персонажей (то, о чем говорится далее, в равной мере относится и к одному и к другому): «...отринув все, чем дорожим, / и все, на чем стоим, / он вечно лезет на рожон, / он одержанием побед / над смертью одержим, / и поражением своим / он нынче поражен» [29]. Но даже если «уборщица с ведром / и топором» [Там же] остается начеку, творческое усилие не напрасно: оно сообщает существованию пишущего ту легкость, которая свойственна лишь птицам – и это позволяет воспринимать его в совершенно иной системе координат, вне жизни и смерти («...он бесконечности гонец, / он вечности живец» [Там же]).

Показательно, что «орнитологическая» образность и параллелизм как структурно-семантический прием организации текста используются и в других метапоэтических произведениях Строчкова, например в диптихе «Витие». Создание стихотворения уподоблено здесь ежедневным заботам птицы: императив «вить!», с которым она обращается к лирическому субъекту, означает и речевую деятельность, и создание чего-либо, плетение (этимологическая связь последнего со словом «текст» общезвестна). Транспонированное в «человеческий» план, слово прирастает дополнительными значениями: «витие» – это не только продуцирование новых стихотворений, но и быт поэта («...я остался вить: развился кофе, / сметаной, помидорами...» [23. С. 96]), и все его бытие как таковое («гамлетовский вопрос» ставится им не иначе, как «вить или не вить?» [Там же. С. 98]). Однако если стимулом творчества становится стремление «увязать

¹ Согласно М. Фасмеру, слово «скворец» имеет звукоподражательное происхождение и соотносится с белорусским «скверціся, скверуся» и украинским «скверещати» – пронзительно кричать [30. Т. 3. С. 637].

/ узлами слов отрывки мирозданья» [23. С. 96] (задача, в поэтической вселенной Строчкова невыполнимая), «витие» превращается в насилие над языком, в «кромсание» словесной плоти [Там же. С. 98]. Не случайно соиздательные усилия поэта аттестуются птичкой как «жуть» [Там же. С. 97], а сам он понимает, что «противопоставить сну, распаду» [Там же. С. 101] ему, в общем, нечего. Однако и другой член параллели (в тексте он дан без подробностей, в редуцированном виде) неизбежно «заражается» теми же смыслами: жизнь природы, как и существование человека, столь же безнадежна, а поиск положительных начал бытия отнюдь не простая задача.

При очевидном сходстве некоторых приемов поэтическая стратегия А. Левина во многом противоположна творческим установкам Строчкова. В большинстве критических работ интересующий нас автор предстает «поэтом легким, почти инфантильным» [31] (см. также: [32]), однако и в самых несерьезных его произведениях отмечается «шевеление Хаоса» [31]. С помощью языковой игры, генетически связанной с открытиями обэриутов и английской поэзией нонсенса¹ [Там же. С. 35–36], в стихах Левина создается «энциклопедия воображаемого, но реального в рамках поэтической вселенной, пластичного мира» [35]. И «героем, и автором, и сюжетом» в рамках этой вселенной является язык [34. С. 118]; поэту же отводится «скромная» роль «режиссера грамматического театра» [37. С. 266], «навязывающего» языковым единицам роли, не свойственные им в узусе. Именно язык становится у Левина главным источником хаотического: он не столько упорядочивает созданную поэтом реальность, сколько утверждает ее изменчивость как «наиболее полное и адекватное проявление бытия» [Там же. С. 267]. Избыток витальности – основное качество левинского мира, а синкетическая образность обслуживает в нем комплекс мотивов, восходящих к бахтинской теории карнавала и карнавализации литературы [38. С. 137–148; 39. С. 12–21].

Наиболее частотный из них – непрерывное «становление жизни»² [41. С. 92] (см. также: [38. С. 140–141]), понимаемое Левиным как возникновение новых сущностей непосредственно из языка. Примеры подобного рода разнообразны и многочисленны: в «Опытах по исчезновению Майдодыра» герой К. Чуковского растворяется в речевом потоке и замещается другими персонажами благодаря пересегментации текста («– Мой дадыр – эта твой дадыр! / Твой дадыр – эта мой дадыр! / Их дадыр – эта наш дадыр! / Наш дадыр – харашо!» [42. С. 106]); заглавная героиня «Комарамухи» получает

¹ Среди источников поэзии Левина называют также творчество К. Пруткова [33], В. Хлебникова [31–32], Г. Сапгира [33], поэтические переводы Б. Заходера [34. С. 123–124].

² Согласно М. М. Бахтину «пафос смен и перемен, смерти и обновления» представляет собой «самое ядро карнавального мироощущения» [38. С. 140]. Об изменчивости как о неотъемлемой черте собственного художественного мира говорит и сам Левин: «Хочется быть разным. / Хочется и так, и эдак – главным образом потому, что хочется быть. / Хочется становиться. / Но, став, хочется быть дальше и опять становиться» [40. С. 168] (в книге «Орфей необязательный» цитируемое стихотворение входит в раздел «Как бы теория», поэтому может рассматриваться в качестве поэтической декларации).

возможность испытывать неразделенные чувства лишь в силу объединения двух самостоятельных слов в одно целое («Комарамуха любила / голову свою теряла, / не любил ее жестокий / ухожор и гербицид» [42. С. 117]); наконец, «юрлицо» из стихотворения «Сон конца апреля 1999-го» вызвано к жизни исключительно переосмыслением устойчивого, терминологически закрепленного понятия («Ужасное, кривое юрлицо / бежит за мной по топкому болоту, / отбрасывая ноги и хвосты, / копыта, и печати, и валюту» [Там же. С. 218]). Алгоритм описанных преобразований точно сформулировала Л.В. Зубова: сгущением грамматических трансформаций «язык приводится в состояние первозданного хаоса с его архаическим синкретизмом и тут же гармонизируется заново поэзией превращений» [37. С. 270]. Подобно тому, как существование «комарамухи» не отменяет раздельного представления о комарах и мухах, узуальные значения слов в поэзии Левина не исчезают, а взаимодействуют с возникающими по мере развертывания стихотворений смыслами.

Так, динамика в этих стихах явно доминирует над статикой, поэтому глагольные формы нередко становятся именами существительными, указывая на регулярно совершаемые ими действия. Синкретизм субъекта и предиката абсолютизирует типичное для левинского мира состояние – экстатическое движение, не знающее ни временных, ни пространственных границ. В стихотворении «Разные летали»¹ глаголами звучания названы, по всей видимости, птицы, демонстрирующие нецеленаправленную и как бы бесмысленную активность; последняя, впрочем, ценна сама по себе – как воплощение бесконечной самодвижущейся жизни, готовой в любой момент обернуться чем-то значительным («За окном моим летали / две веселые свистели. / Удалые щебетали / куст сирени тормошили» [42. С. 104]). Сходный пример – стихотворение «Суд Париса», где сюжетообразующим приемом также становится субстантивация: «резвяся», «играя» и «смеясь», предикаты грома из тютчевской «Весенней грозы», превращаются в трех богинь (по аналогии с мифом – Геру, Афину и Афродиту), а адлатив «громам» (ср.: «И гам лесной, и шум нагорный – / Все вторит весело громам» [43. С. 51]) – в троянского царевича Париса. Показательно, что и глубина символического плана, свойственная тексту-предшественнику, и сложность мотивировок, определяющих сюжетику греческого мифа, в произведении Левина вытесняются торжеством природной стихии – она лишена загадки, но способна вызвать восторг уже одной своей энергией: «Резвяся плавная сияет, / Играя прыскает огнем, / Смеясь из кубка золотого / сама себя на землю льет. // И лишь Громам все вторит, вторит, / уже не весело ему, / и он стоит болван болваном / с тяжелым яблоком в руках» [42. С. 105]. Финал стихотворения по-своему закономерен – яблоко, предназначенное «прекраснейшей», не достается никому, поскольку все «богини» в равной мере его достойны. Что же касается принципов, в соответствии с которыми функционирует левинская вселенная, то их удачно определил

¹ Подробный анализ данного текста см. в работе Л. В. Зубовой [37. С. 267–268].

сам автор: в «царстве» «зверя-языка» «все возможное существует, а все несуществующее – возможно»; «все поедают всех, но никто не умирает» [42. С. 154]. Призыв поэта «плодитесь и размножайтесь!» понимается буквально: «и Размножайтис плодится, и Плодите размножается» [Там же], а поведение персонажей напоминает описанные Бахтиным карнавальные мезальянсы¹ [38. С. 139].

Прежде всего, становится зыбкой, а то и вовсе исчезает граница между человеком и природой. В стихотворении «Дачная ночь» их близость утверждается уже на уровне номинации: обычный постельный клоп именуется фамилией немецкого поэта Клопштока, а другое кровососущее насекомое преображается в «комарада» – нечто среднее между «комаром» и «камрадом» [42. С. 28]. Разумеется, дело не только в междусловном наложении (этим приемом Левин регулярно и умело пользуется), но и в том, что природа и человек как бы меняются местами: из субъекта, воздействующего на мир своей волей, последний превращается в объект, подножный корм, необходимый для существования других организмов. При этом «питательный, широкий / мужик» [Там же], «приготовленный» на съедение насекомым, отнюдь не единственная их добыча – членистоногие посягают и на продукты его труда, и на принадлежащее ему жизненное пространство: «Во Тьме – какой-то – Таракани / прием какой-то тараканий: / заходят толпами в стаканы / снутри пустые тараканы» [Там же]. Развернувшаяся на даче фантасмагория в анализируемом произведении объясняется бессонницей; перевоплощение муравья в «муравиона», а гусеницы – в «гусельницу-деву» [Там же. С. 80] – в другом стихотворении – мотивировано восприятием ребенка (отсюда и двусмысленный финал, имитирующий особенности детской артикуляции: «...стала осень, просто осень, осень холос!» [Там же]); однако куда более интересны случаи, когда сближение гетерогенных элементов внешне ничем не обусловлено, а значит, мыслится как естественное и привычное.

Уже отмечалось, что для поэтики Левина характерны «единство и взаимные трансформации органических и неорганических сущностей»² [37. С. 276], достижимые средствами грамматики. Элементарный пример такого рода – стихотворение «Самец», герой которого балансирует на границе животного и технического миров: слово «локомот», которым он назван, образовано от железнодорожного термина «локомотив» путем усечения производящей основы – и в то же времяозвучено наименованиям крупных животных (ср.: «бегемот», «кашалот», «зауропод» и т.д.). Внешние характеристики и поведенческие особенности персонажа также двойственны – помимо рогов, предназначенных для получения «постоянного тока», «железного хвоста», который он всюду тащит за собой, ярких глаз, освещают-

¹ См.: «Вольное фамильярное отношение распространяется на все: на все ценности, мысли, явления и вещи. В карнавальные контакты и сочетания вступает все то, что было замкнуто, разъединено, удалено друг от друга внекарнавальным иерархическим мировоззрением» [38. С. 139].

² На эту особенность указывает и заглавие одного из его поэтических сборников – «Биомеханика» [44].

ших «темный и пустынный путь», у него довольно тонкая душевная организация и вполне понятные физиологические потребности («Он слышит шелест впереди / магнитных женских голосов, / электротягою влеком / на этот нежный зов» [42. С. 99]). Ту же природу имеют и «биомеханические» создания из цикла «Инсектарий»: «комарабли», демонстративно зарифмованные с «дирижаблями» [Там же. С. 91], «паукабель», стерегущий «батареек» и «лампочек», летящих мимо [Там же. С. 92–93], «охрангел Мухаил», напоминающий военный самолет-истребитель [Там же. С. 96] и т.д. Симптоматично, что некоторые из названных персонажей оказываются отнюдь не на своих, предписанных им местах: «веселая относительность» любой иерархии [38. С. 140] для мира Левина в порядке вещей.

Особого внимания в связи с этим заслуживает стихотворение «Разговор юного поэта и юного барда, состоявшийся не так давно в Доме культуры “Мазут”», сюжет которого восходит к одному из ключевых народно-праздничных действ – шутовскому увенчанию и последующему развенчанию карнавального короля [Там же. С. 140–142]. Согласно М.М. Бахтину увенчание-развенчание представляет собой «двуединый амбивалентный обряд, выражающий неизбежность и одновременно зиждительность смены обновления»: «в увенчании уже содержится идея грядущего развенчания», поскольку «увенчивается антипод настоящего короля – раб или шут, и этим... освящается карнавальный мир наизнанку» [Там же. С. 140]. В тексте Левина функции карнавального шута берет на себя «отцовский» образ «старшего» поэта, ассоциирующийся со Слуцким или Симоновым, но на деле, конечно, обобщенный и шаржированный. Все характеристики, которые он получает в диалоге заглавных персонажей, понимаются двояко – как комплимент и как инвектива, а синкретическое словоупотребление поддерживается оксюморонностью оценок: «Вчера мы пили кофе с бутербардом / и долго говорили о высоком – / о нашем дорогом погонном мэтре, – / как форменный жилет ему к усам. / И, закаленный в кассовых боях, / промолвил он, держа рукою кофе: / – Когда читает мэтр, меня по сердцу / лобзает пилкой сладостная лира, / обмокнутая, кажется, в мышьяк! – / Я возразил: / – Он выше Пастернака! / Он наш колосс твардосский, – я сказал. / – О да! – ответил он и от восторга / кусал свой утонченный бутерброт » [42. С. 41].

В приведенном фрагменте ироническому травестированию подвергаются как «атрибуты власти», так и сам внешний облик увенчаемого поэта¹: прилагательное в сочетании «погонный мэтр» образовано от слова «погон» (указывающего как на военный опыт, так и на положение в литературной «табели о рангах»), однако конструкция в целом омонимична мере длины, чем «воспевающий» пафос высказывания серьезно корректируется. Количество

¹ См.: «В обряде увенчания и все моменты самого церемониала, и символы власти, которые вручаются увенчаемому, и одежда, в которую он облекается, становятся амбивалентными, приобретают оттенок веселой относительности, становятся почти бугафорскими (но это обрядовая бугафория); их символическое значение становится двуплановым (как реальные символы власти, то есть во внекарнавальном мире, они однопланны, абсолютны, тяжелы и монолитно-серыены) [38. С. 140–141].

ственний показатель, исподволь заданный вторым стихом, становится решающим при попытке определить значение «мэтра» на фоне его «коллег по цеху». Утверждение «Он выше Пастернака!» перестает быть похвалой, если актуализировать понятие, ставшее фамилией нобелевского лауреата (заметим, что разница между именами собственным и нарицательным при произнесении вслух утрачивается, а компаратив может прочитываться неметафорически). Овощная культура (являющаяся к тому же корнеплодом) едва ли претендует быть ориентиром с точки зрения физических параметров, равно как и упомянутый ниже «колосс твардосский»: наименование одного из чудес света («Колосс Родосский») накладывается на название скромного по размерам соцветия («колос»), а также фамилию советского поэта-классика А. Твардовского. Внутренне противоречиво и само впечатление, производимое на слушателей чтением «мэтра»: страдание и удовольствие представлены в нем нераздельно («...меня по сердцу / лобзает пилкой... лира...» [42], а внешним выражением восторга становится исступленное поедание бутерброда. Если увенчание-развенчание рассматривать как символическое воплощение рождения-смерти, то универсальной функцией карнавальной экспрессии оказывается преодоление бытийного дискомфорта: реальный мир с его тяжестью в стихах Левина профанируется, а язык – главный инструмент поэта – утверждается в качестве неиссякаемого источника жизни.

Сделанные наблюдения позволяют говорить о том, что синкетическая образность в поэтике модальности может служить разным целям. В лирике В. Строчкова она становится выражением дискретной, распадающейся на глазах реальности: подрыв прежних связей хоть и компенсируется установлением новых, но любой контакт с миром неизменно осмысливается субъектом как болезненный. В поэзии А. Левина с ее помощью создается мир, далекий от действительности, живущий по своим «веселым» законам: карнавальное мироощущение интерпретируется здесь как форма эскапизма, необходимого и автору и читателю. При этом лирика Строчкова и Левина едва ли может считаться полноценной «реинкарнацией» языковой архаики – перед нами лишь ее имитация средствами совершенно иной, позднейшей, эпохи; однако если древний синкетизм был предпосылкой познания и дифференциации явлений [10. С. 164], то его современный аналог – неосинкетизм – ставит под сомнение их познанность и свидетельствует о тотальной ревизии мира, предпринимаемой поэтическим сознанием.

Литература

1. Брайтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX века в свете исторической поэтики: (Субъектно-образная структура). М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1997. 307 с.
2. Брайтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений : в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. Т. 2. 368 с.
3. Брайтман С.Н. Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя – жизнь». М. : Прогресс-Традиция, 2007. 608 с.
4. Малкина В.Я. Модальности поэтика // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко]. М., 2008. С. 126–127.

5. Брайтман С.Н. Два стихотворения К. Случевского: (Образные языки позднеклассической поэзии) // Брайтман С.Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. М., 2008. С. 129–137.
6. Бахтин М.М. Марксизм и философия языка // Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка : статьи. М., 2000. С. 349–486.
7. Колесов В.В. Семантический синкretизм как категория языка // Колесов В.В. Слово и дело: Из истории русских слов. СПб., 2004. С. 44–56.
8. Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. 264 с.
9. Венгранович М.А. Семантический синкretизм фольклорного слова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2012. № 4 (22). С. 233–236.
10. Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М. : Новое лит. обозрение, 2000. 432 с.
11. Кулаков В. Предлог для предложения // Кулаков В. Постфактум. Книга о стихах. М., 2007. С. 96–109.
12. Левин А., Строчков В. Перекличка: Стихи и тексты. Москва : АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. 124 с.
13. Левин А., Строчков В. Лингвопластика. Полисемантика: Попытка анализа и систематизации // Левин А. Орфей необязательный: Стихотворения 1984–2001 годов. Москва ; Тверь, 2001. С. 169–184.
14. Строчков В. По ту сторону речи // Строчков В. Глаголы несовершенного времени: Избранные стихотворения 1981–1992 годов. М., 1994. URL: <http://www.vavilon.ru/texts/strochkov/strochkov1-11.html>
15. Строчков В. Небиография автора // 45-я параллель. 2009. № 27 (123). URL: https://45parallel.net/vladimir_strochkov/#biography
16. Зусева В. Угрюмый поэт (о стихах Владимира Строчкина) // Арион. 2007. № 1. URL: <http://magazines.russ.ru/arion/2007/1/zu26.html>
17. Константинова С.Л. «Больная Р.» Владимира Строчкина в контексте традиций русского классического авангарда: «сдвигология» А. Крученых и стихотворение М. Кузмина «Конец второго тома» // Вестник Псковского государственного педагогического университета. Серия: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. 2008. № 5. С. 74–81.
18. Константинова С.Л. Сдвиг и пересегментация как принцип построения текста: «За писк и сумма с шедшего» В. Строчкина // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. 2014. № 5. С. 170–174.
19. Житенев А.А. Поэзия неомодернизма. СПб. : ИНАПРЕСС, 2012. 480 с.
20. М.Г. Владимир Строчкин: Наречия и обстоятельства // Знамя. 2007. № 9. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/2007/9/mg16.html>
21. Зубова Л.В. Владимир Строчкин: странствия по семантическим полям // Зубова Л.В. Языки современной поэзии. М., 2010. С. 230–265.
22. Строчков В. Глаголы несовершенного времени: Избранные стихотворения 1981–1992 годов. М. : Диас, 1994. 416 с. URL: <http://www.vavilon.ru/texts/strochkov/strochkov1.html>
23. Строчков В. Наречия и обстоятельства. 1993–2004. М. : Новое лит. обозрение, 2006. 496 с.
24. Шекспир У. Король Лир // Полн. собр. соч. : в 8 т. М., 1967–1960. Т. 6. С. 427–568.
25. Черных Н. Открытая система: Владимир Строчкин // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 55–74.
26. Строчков В. <Стихи> // Арион. 2015. № 3. С. 46–49.
27. Петелина О.О. Поэтика Владимира Строчкина: «полисемантика» как способ организации поэтического текста : дис. ... канд. филол. наук. Н. Новгород, 2016. 161 с.

28. Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 2008. С. 125–199.
29. Строчков В. Бюллетень по уходу // Арион. 2006. № 2. URL: <http://maga-zines.russ.ru/arion/2006/2/str1.html>
30. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М. : Прогресс, 1986–1987.
31. Лосцилов И. Лингвистический лимб поэта Левина // Новая Сибирь. 1995. № 9 (94). URL: <http://www.levin.rinet.ru/ABOUT/Loscilov.htm>
32. Анпилов А. Отсеки печали // Новое литературное обозрение. 2006. № 78. URL: <https://tschausy.livejournal.com/41301.html>
33. Шевелев И. Александр Левин. Орфей необязательный: Вторая книга стихов // Время МН. № 870. 7 февраля 2002. URL: <http://web.archive.org/web/20030706160804/http://www.vremyamn.ru/cgi-bin/2000/870/7/5.html>
34. Скворцов А.Э. Игра в современной русской поэзии. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2005. 364 с.
35. Оборин Л. Александр Левин. Песни неба и земли // Знамя. 2008. № 12. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/2008/12/ob18.html>
36. Урицкий А. Вылезает из болота накрахмаленный кукух: О стихах и песнях нео-обрюгута Левина // Независимая газета. № 121 (1048). 16 ноября 1995. URL: http://www.levin.rinet.ru/ABOUT/Uricki_Nezavisimaya.htm
37. Зубова Л.В. Александр Левин: грамматический театр // Зубова Л.В. Языки современной поэзии. М., 2010. С. 267–314.
38. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Собр. соч. : в 7 т. М., 1997–2012. Т. 6. С. 6–300.
39. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса // Собр. соч. : в 7 т. М., 1997–2012. Т. 4 (2). С. 7–508.
40. Левин А. Орфей необязательный: Стихотворения 1984–2001 годов. Москва : АРГО-РИСК ; Тверь : Колонна, 2001. 192 с.
41. Скубачевская-Пневска А. Карнавализация // Поэтика: слов. актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко]. М., 2008. С. 91–93.
42. Левин А. Песни неба и земли: Избранные стихотворения 1983–2006 годов. М. : Новое лит. обозрение, 2007. 275 с.
43. Тютчев Ф.И. Сочинения : в 2 т. М. : Правда, 1980. Т. 1. 384 с.
44. Левин А. Биомеханика. М., 1995. 96 с.

Syncretic Imagery in the Poetry by Vladimir Strochkov and Aleksandr Levin

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 225–240. DOI: 10.17223/19986645/66/12

Aleksei S. Bokarev, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky (Yaroslavl, Russian Federation). E-mail: asbokarev@mail.ru

Keywords: Vladimir Strochkov, Aleksandr Levin, archaic word, semantic syncretism, disintegration of reality, carnivalisation of literature.

This article considers imaginative syncretism, ascending to the language archaic, as a complex presentation of several semantic features in a single word. This concept incorporates phenomena such as polysemy, homonymy, compounding, blending, conversion, and other cases of language compression. Its main feature is implementing different meanings of a word or a form in a single speech act, in which the context does not eliminate, but, on the contrary, produces uncertainty. The object of the study is the specifics of the picture of the world in the lyrics of modern poets Vladimir Strochkov and Aleksandr Levin, namely, the complex of motifs represented using syncretic imagery. The article shows that Strochkov's syncretism manifests the motif of reality disintegration, which is invariant in his poems: the author thematises the end of existence, the feeling of exhausted time, and the extinction of the poetic

talent. To fix the discrete world that constantly changes its image, Strochkov uses specific language means: text re-segmentation, blending, homonymy, paronymy, enantiosemes (the latter can be both linguistic and occasional). This results in illusiveness, the true or imaginary unreality of everything directly visible. The author always interprets the contact of the lyrical character with the reality as painful. In Levin's lyrics, the syncretic imagery serves the motifs coming back to Bakhtin's theory of carnival and carnivalisation of literature. The most frequent motif—the continuous “formation of life”—is understood as the emergence of new entities immediately from the language (by compounding, blending, substantivation, rethinking of stable concepts). The characters' behaviour resembles the carnival mesalliances Bakhtin described: due to grammatical transformations, the border between man and nature, organics and inorganics becomes extremely unsteady. In Levin's lyrics, the real world with its burden is profaned, whereas language is asserted as the inexhaustible source of life. The detailed analysis of poems by Strochkov and Levin allows claiming that syncretic imagery in the poetics of modality can serve different tasks; however, if ancient syncretism was a premise of knowledge and of phenomena differentiation, its modern counterpart—neo-syncretism—casts doubt on knowing phenomena and points to the total revision of the world undertaken by poetic consciousness.

References

1. Broytman, S.N. (1997) *Russkaya lirika XIX – nachala XX veka v svete istoricheskoy poetiki. (Sub)"ektno-obraznaya struktura)* [Russian Lyric Poetry of the 19th – Early 20th Centuries in Relation to Historical Poetics. (Subject-shaped structure)]. Moscow: Russian State University for the Humanities.
2. Broytman S.N. (2004) Istoricheskaya poetika [Historical poetics]. In: Tamarchenko, N.D. (ed.) *Teoriya literatury* [Theory of Literature]. Vol. 2. Moscow: Izdatel'skiy tsentr "Akademiya".
3. Broytman, S.N. (2007) *Poetika knigi Borisa Pasternaka "Sestra moya – zhizn"* [Poetics of Boris Pasternak's Book "My Sister – Life"]. Moscow: Progress-Traditsiya.
4. Malkina, V.Ya. (2008) *Modal'nosti poetika* [Poetics of modality]. In: Tamarchenko, N.D. (ed.) *Poetika: slovar' aktual'nykh terminov i ponyatiy* [Poetics: Dictionary of relevant terms and concepts]. Moscow: Izdatel'stvo Kulaginoy; Intrada. pp. 126–127.
5. Broytman, S.N. (2008) *Poetika russkoy klassicheskoy i neklassicheskoy liriki* [Poetics of Russian Classical and Non-Classical Lyrics]. Moscow: Russian State University for the Humanities. pp. 129–137.
6. Bakhtin, M.M. (2000) *Freydizm. Formal'nyy metod v literaturovedenii. Marksizm i filosofiya yazyka. Stat'i* [Freudianism. Formal method in literary criticism. Marxism and philosophy of language. Articles]. Moscow: Labirint. pp. 349–486.
7. Kolesov, V.V. (2004) *Slovo i delo: Iz istorii russkikh slov* [Word and Deed: From the History of Russian Words]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University. pp. 44–56.
8. Zubova, L.V. (1989) *Poeziya Mariny Tsvetaevoy: Lingvisticheskiy aspekt* [Poetry of Marina Tsvetaeva: Linguistic Aspect]. Leningrad: Leningrad State University.
9. Vengranovich, M.A. (2012) Semantic syncretism of folklore word. *Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta – Science Vector of Togliatti State University.* 4 (22). pp. 233–236. (In Russian).
10. Zubova, L.V. (2000) *Sovremennaya russkaya poeziya v kontekste istorii yazyka* [Contemporary Russian Poetry in the Context of the History of Language]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
11. Kulakov, V. (2007) *Postfaktum. Kniga o stikhakh* [Postfactum. A book about poetry]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 96–109.
12. Levin, A. & Strochkov, V. (2003) *Pereklichka: Stikhi i teksty* [Roll call: Poems and texts]. Moscow: ARGO-RISK; Tver: Kolonna.

13. Levin, A. & Strochkov, V. (2001) Lingvoplastika. Polisemantika. Popytka analiza i sistematizatsii [Linguoplasty. Polysemantics. Attempt to analyse and systematise]. In: Levin A. *Orfej neobyazatel'nyy: Stikhovoreniya 1984–2001 godov* [Orpheus Optional: Poems of 1984–2001]. Moscow: ARGO-RISK; Tver: Kolonna. pp. 169–184.
14. Strochkov, V. (1994) *Po tu storonu rechi* [Beyond the Speech]. [Online] Available from: <http://www.vavilon.ru/texts/strochkov/strochkov1-11.html>.
15. Strochkov, V. (2009) Neobiografiya avtora [Nonbiography of the author]. 45-ya parallel'. 27 (123). [Online] Available from: https://45parallel.net/vladimir_strochkov/#biography.
16. Zuseva, V. (2007) Uglyumyy poet (o stikhakh Vladimira Strochkova) [Gloomy poet (about the poetry of Vladimir Strochkov)]. *Arion*. 1. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/arion/2007/1/zu26.html>.
17. Konstantinova, S.L. (2008) “Bol'naya R.” Vladimira Strochkova v kontekste traditsiy russkogo klassicheskogo avantgarda: “sdvigologiya” A. Kruchenykh i stikhovorenie M. Kuzmina “Konets vtorogo toma” [“Patient R.” By Vladimir Strochkov in the context of the traditions of the Russian classical avant-garde: “shiftology” of A. Kruchenykh and M. Kuzmin’s poem “The end of the second volume”]. *Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnye i psichologopedagogicheskie nauki*. 5. pp. 74–81.
18. Konstantinova, S.L. (2014) Shift and over-segmentation as the method of text building: “Za pisk i summa s sheshego” by v. Strochkov. *Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnye i psichologopedagogicheskie nauki*. 5. pp. 170–174. (In Russian).
19. Zhitenev, A.A. (2012) *Poeziya neomodernizma* [Poetry of Neomodernism]. Saint Petersburg: INAPRESS.
20. M.G. (2007) Vladimir Strochkov. Narechiya i obstoyatel'stva [Vladimir Strochkov. Adverbs and adverbial modifiers]. *Znamya*. 9. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/znamia/2007/9/mg16.html>.
21. Zubova, L.V. (2010) *Yazyki sovremennoy poezii* [Languages of Modern Poetry]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 230–265.
22. Strochkov, V. (1994) *Glagoly nesovershennogo vremeni: Izbrannye stikhovoreniya 1981–1992 godov* [Verbs of Imperfect Tense: Selected poems of 1981–1992]. Moscow: Dias. [Online]. Available from: <http://www.vavilon.ru/texts/strochkov/strochkov1.html>.
23. Strochkov, V. (2006) *Narechiya i obstoyatel'stva. 1993–2004* [Adverbs and Adverbial Modifiers. 1993–2004]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
24. Shakespeare, W. (1960) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 6. Moscow: Iskusstvo. pp. 427–568.
25. Chernykh, N. (2011) Otkrytaya sistema. Vladimir Strochkov [Open system. Vladimir Strochkov]. *Voprosy literatury*. 4. pp. 55–74.
26. Strochkov, V. (2015) <Stikhi> [<Poems>] *Arion*. 3. pp. 46–49.
27. Petelina, O.O. (2016) *Poetika Vladimira Strochkova: “polisemantika” kak sposob organizatsii poeticheskogo teksta* [Poetics of Vladimir Strochkov: “Polysemantics” as a way of organising a poetic text]. Philology Cand. Diss. Nizhniy Novgorod.
28. Veselovskiy, A.N. (2008) *Istoricheskaya poetika* [Historical Poetics]. Moscow: Izdatel'stvo LKI. pp. 125–199.
29. Strochkov, V. (2006) *Byulleten' po ukhodu* [Sick leave to care for a sick]. *Arion*. 2. [Online]. Available from: <http://maga-zines.russ.ru/arion/2006/2/str1.html>. (In Russian).
30. Vasmer, M. (1986–1987) *Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Etymological Dictionary of the Russian Language]. Translated from German by O.N. Trubacheva. Moscow: Progress.
31. Loshchilov, I. (1995) Lingvisticheskiy limb poeta Levina [Linguistic limbo of the poet Levin]. *Novaya Sibir'*. 9 (94). [Online] Available from: <http://www.levin.rinet.ru/ABOUT/Loschilov.htm>.

32. Anpilov, A. (2006) *Otseki pechali* [Compartments of sorrow]. *Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer*. 78. [Online] Available from: <https://tschausy.livejournal.com/41301.html>.
33. Shevelev, I. (2002) Aleksandr Levin. *Orfey neobyazatel'nyy. Vtoraya kniga stikhov* [Alexander Levin. Orpheus optional. The second book of poems]. *Vremya MN*. 870. 7th February. [Online] Available from: <http://web.archive.org/web/20030706160804/http://www.vremyamn.ru/cgi-bin/2000/870/7/5.html>.
34. Skvortsov, A.E. (2005) *Igra v sovremennoy russkoy poezii* [Game in Modern Russian poetry]. Kazan: Kazan State University.
35. Oborin, L. (2008) Aleksandr Levin. *Pesni neba i zemli* [Alexander Levin. Songs of Heaven and Earth]. *Znamya*. 12. [Online]. Available from: <http://magazines.russ.ru/znamia/2008/12/ob18.html>.
36. Uritskiy, A. (1995) *Vylezaet iz bolota nakrakhmalennyy kukukh. O stikhakh i pesnyakh neo-oberiuta Levina* [A starched kukukh emerges from the swamp. On the poems and songs of the neo-oberiut Levin]. *Nezavisimaya gazeta*. 121 (1048). 16th November. [Online] Available from: http://www.levin.rinet.ru/ABOUT/Uricki_Nezavisimaya.htm.
37. Zubova, L.V. (2010) *Yazyki sovremennoy poezii* [Languages of Modern Poetry]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 267–314.
38. Bakhtin, M.M. (2002) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Vol. 6. Moscow: Russkie slovari: Yazyki slavyanskoy. pp. 6–300.
39. Bakhtin, M.M. (2008) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Vol. 4 (2). Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur. pp. 7–508.
40. Levin, A. (2001) *Orfey neobyazatel'nyy: Stikhotvoreniya 1984–2001 godov* [Orpheus Optional: Poems 1984–2001]. Moskva: ARGO-RISK; Tver: Kolonna.
41. Skubachevska-Pnevska, A. (2008) *Karnavalizatsiya* [Carnivalisation]. In: Tamarchenko, N.D. (ed.) *Poetika: slovar' aktual'nykh terminov i ponyatiy* [Poetics: Dictionary of relevant terms and concepts]. Moscow: Izdatel'stvo Kulaginoy; Intrada. pp. 91–93.
42. Levin, A. (2007) *Pesni neba i zemli: Izbrannye stikhotvoreniya 1983–2006 godov* [Songs of Heaven and Earth: Selected Poems of 1983–2006]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
43. Tyutchev, F.I. (1980) *Sochineniya* [Works]. Vol. 1. Moscow: Pravda.
44. Levin, A. (1995) *Biomekhanika* [Biomechanics]. Moscow: [s.n.].

УДК 821.161.1+271.2 (571)
DOI: 10.17223/19986645/66/13

С.В. Мельникова, Е.В. Жданова

**ПОЭТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА XVIII – НАЧАЛА XX в.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ)**

Рассматривается поэтическое творчество православного духовенства Восточной Сибири как явление церковной культуры и составляющая регионально-го литературного процесса XVIII – начала XX в. В научный оборот вводятся ранее неизвестные имена и тексты. Описывается жанрово-тематический ре-пертуар сочинений. Даются краткие очерки жизни и творчества наиболее зна-чительных поэтов. Исследование проведено на материалах Иркутских и Забай-кальских епархиальных ведомостей.

Ключевые слова: духовная поэзия, Восточная Сибирь, православное духо-венство, епархиальные ведомости.

Представителями восточносибирского православного духовенства XVIII – начала XX в., только на основе подсчета публикаций в Иркутских и Забайкальских епархиальных ведомостях, было создано более 100 оригинальных поэтических текстов. В ходе дальнейших исследований и расширения круга источников за счет других периодических изданий и привлечения архивных документов количество подобных текстов может существенно возрасти. Но уже сейчас очевидно, что поэзия духовенства представляет достаточно значимый, в масштабах дореволюционной областной литературы, пласт сочинений. Однако он до сих пор не включен в общую историю сибирской литературы и не стал предметом специальных библиографических и литературоведческих исследований¹. Данная ситуация касается не только поэзии и не только Восточной Сибири: творческая и научная деятельность православного духовенства синодального периода,

¹ Первые исследования по истории русской духовной литературы и ее библиографические обзоры появляются в XIX в., наиболее значительные из них – труды митрополита Евгения (Болховитинова) [1] и архиепископа Филарета (Гумилевского) [2]. Сведения об авторах из среды духовенства также включаются в общие словари писателей и ученых, например словарь С.А. Венгерова [3], и энциклопедии. Однако сибирские авторы во всех изданиях представлены весьма неполно, например в «Обзоре русской духовной литературы» Филарета из 425 персоналий сибирские только 14 и среди нет ни одного поэта. В сибирской библиографии В.И. Межова удалось обнаружить ссылку только на одно из описанных в настоящей статье стихотворений – «Думу» С.С. Попова [4. Т. 3. С. 239], при этом общее количество ссылок на поэтические тексты не превышает 40. Систематическое библиографирование восточносибирской литературы начинается в советский период, однако имена духовенства не включаются в списки региональных авторов [5–7]. Исключение из известных нам изданий этого периода составляет библиографический указатель «Краеведы и литераторы Забайкалья», составленный Е.Д. Петряевым [8]: в нем упоминаются представители духовенства (в основном мемуаристы и ученые), однако творчество духовных поэтов в нем также не отражено.

в силу известных исторических причин, остается в целом недооцененной в отечественной гуманитарной науке, и ее изучение могло бы составить актуальный предмет исследований.

Первые дошедшие до нас оригинальные поэтические строки, созданные духовным лицом на территории Восточной Сибири, относятся к первой трети XVIII в. и с высокой долей вероятности принадлежат первому иркутскому епископу, святителю Иннокентию (Кульчицкому). Поэтические элементы содержались в проповедях, произнесенных епископом в период управления им Иркутской епархией, т.е. между 1727 и 1731 гг. Они были выявлены архимандритом Модестом (Стрельбицким) и описаны им в «Предании о проповедничестве св. Иннокентия» [9. 1871. № 11–14, 17–20, 23, 45; 1872. № 11–13, 33–35, 40, 49, 51; 1873. № 12–13, 15].

Модест обнаружил две небольшие сатирические зарисовки, обличающие пороки пьяницы и богача. «Описывая, например, безобразие пьяницы наш проповедник говорит как бы «стихами»:

В церковь приходишь пьян; Стоишь, аки истукан;
Устами позеваешь,
А очами насилиу прозираешь;
С ноги на ногу переступаешь,
Хребтом стены подпираешь,
Слюну умножаешь, часто плюешь.

Или вот еще юмористические стихотворные выражения, которые влачатся в уста умирающему богачу:

О смерте немилостивая!
Не слышишь ты гласа молящего тя.
Любви не имаши,
Дружбы не твориши.
Друзья мои от жалости плачут,
А недруги мои от радости скачут.
Вчера приятели мои ордами за мною,
А ныне при смерти ни единого нет со мною...

[9. 1872. № 51. С. 687–688].

Выпускник Киевской духовной академии и преподаватель словесности в московской Славяно-греко-латинской академии (1706–1708 гг.), Иннокентий, очевидно, был знаком с техникой силлабического стихосложения и традициями барочной поэзии. Однако его собственный стих нельзя назвать силлабическим в строгом смысле (не случайно архимандрит Модест определяет его «как бы стихи»): принцип повтора количества слогов соблюдается лишь в некоторых случаях, постоянной цезуры также нет. Однако интенция к созданию стихотворного ритма очевидна: доказательство тому – регулярная рифма. Использование в проповедях поэтических элементов было не случайным и своего рода новаторским. «Мы привели очевидные

доказательства, что наш проповедник во многом подражал Кириллу Транквилиону, Иоанникою Галятовскому и прочим, – пишет архимандрит Модест, – а равно, что во второй половине поучений он большею частью следовал новому проповедническому направлению, указанному архиепископом Феофаном Прокоповичем... который не любил ни отвлеченных, ни сухих рассуждений, ни школьных приступов и аргументаций, ни утомительной длинноты периодов; ясная, стройная и одушевленная речь – вот к чему стремился новый проповедник» [9. 1872. № 51. С. 685]. Сатирические строки, к тому же зарифмованные, а значит, легко запоминающиеся должны были сделать речь проповедника более эмоциональной и понятной его прихожанам, прежде всего, из числа простого народа.

Следующий, наиболее ранний поэтический текст, зафиксированный в «Иркутских епархиальных ведомостях», относится уже к первой трети XIX столетия. На него обратил внимание иркутский историк церкви и журналист протоиерей П.В. Громов. В статье «Первый, Первая, Первое в Иркутске» Громов упоминает в качестве «первого, из иркутских архиереев, заявившего себя поэтом» иркутского епископа Михаила II (М.И. Бурдукова), управлявшего епархией в 1816–1830 гг., и публикует его стихотворение, написанное по случаю рекреационного семинарского праздника. Приведем текст в сокращении:

Братцы! пойте и играйте
В милый сей свободы час,
Лес и горы повторяйте
Наш веселой песни глас! – Аз <...>
Друг! – Да, это шутка эха
Отзывается вот там?
Продолжай же, ну! для смеха
Нашим подражать стихам. – Вам <...>
Здесь не хуже Иппокрены
Движет дух наш Ангара
Вод журчаньем, как сирены
Пеньем. Пой же, уж пора! – Тра – ра – ра. <...>
Оживляй всесасно радость
Дух наш и теки в крови.
О! Живи невинна младость,
К счастью и наук к любви. – Живи.
Нет счастливей умных доли:
Без ученья свет – тюрьма.
Что плода с развратной воли?
Что нам будет без ума? – Сума! <...>

Публикация сопровождалась комментарием: «Стихи пелись при закате солнца среди рощи немногими отборными голосами. Остальные семинаристы, расставленные в разных местах рощи несколькими группами, выкрикивали один за другим после каждой строфы Эхо, которое, в свою оче-

редь, отражалось от прилегающих к Ангаре с восточной стороны гор и разносилось по распадкам и далеко вниз по реке. И все это вместе производило восхитительный эффект» [Там же. 1878. № 42. С. 475–476]. Написанное правильным хореем и являющееся основой театрального действия, стихотворение выглядит архаичным для своего исторического времени – эпохи расцвета русского романтизма. Скорее, оно соответствует поэтической традиции, сложившейся в духовной школе, которой и следует автор – выпускник, а затем ректор Тобольской (1799–1810 гг.) и Тверской (1810–1814 гг.) духовных семинарий. Примечательным кажется сравнение Ангары с Иппокреной. Возможно, оно является не отсылкой к античной мифологии («общим местом» классической поэзии, надежно усвоенным школьной пийтикой), но более индивидуально и опосредовано сибирским культурным контекстом: во время учебы и жизни Михаила в Тобольске, в 1789–1791 гг., в городе выходил журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», считающийся первым сибирским периодическим изданием.

Поэтические тексты XVIII – начала XIX в. единичны, а их публикация является ретроспективной. Возможно, местными священниками и миссионерами того времени было создано значительно больше произведений, но они не дошли до нас, так как отсутствовали условия для их публикации. Такие условия сложились только во второй половине XIX в., с появлением в 1863 г. у православной церкви в Восточной Сибири собственного печатного органа – «Иркутских епархиальных ведомостей» («Забайкальские епархиальные ведомости» стали выходить с 1900 г.). Выход «ведомостей» позволил обнародовать не только уже существующие тексты, но и способствовал написанию новых, благотворно повлияв на творческую активность местного духовенства. При этом разрыв между созданием текстов и временем их публикации сократился до минимума, что позволяет отследить картину живого историко-литературного процесса, а достаточный массив сочинений дает основания для их сопоставления и литературоведческого анализа.

Таким образом, основная масса поэтических произведений восточносибирского православного духовенства была создана во второй половине XIX в. Следует признать, что эти творческие опыты существенно разнятся по качеству. Значительная их часть представляет «стихи на случай», относящиеся к области наивной и подражательной поэзии. Но выявляются и авторские тексты более высокой степени оригинальности и художественного уровня, составляющие собственно духовную поэзию Восточной Сибири.

В первой группе – всевозможные поздравления, приветствия, эпитафии, донесения и рапорты в стихотворной форме, поэтические пересказы и прочее. Достаточно большое их количество объясняется, в частности, тем, что пийтика входила в обязательный семинарский курс и все выпускники имели базовые навыки стихосложения, которые и применяли с большим или меньшим успехом. Одной из ключевых поэтических семинарских практик было составление поздравлений и приветствий высшим лицам (архиерею, ректору), а также стихотворений к именинам, торжественным визитам:

Похвал, похвал наговорили
Тебе, достойный их отец!
Но только указать забыли
На золотой похвал венец:
Без пятнышка и без упрека
В Сибири жизнь чрез восемь лет
Оставит память человека,
Которого целуем след

[9. 1877. № 12].

Это стихотворение, напечатанное под названием «Стишки прот. Громова Его Высокопреподобию», интересно, главным образом, именем своего автора. Прокопий Васильевич Громов, уже упоминавшийся выше как публикатор стихотворения епископа Михаила, – известный сибирский историк церкви, первый редактор «Иркутских епархиальных ведомостей», автор порядка 200 церковно-исторических, публицистических и мемуарных сочинений. Для тех, кто знаком с литературным и научным наследием протоиерея и его языком, очевидно, насколько уступает всему написанному Громовым приведенный выше текст. Однако это не единственный его поэтический опыт. Громову принадлежит стихотворение «К академическим товарищам» [Там же. 1874. № 38], опубликованное за подписью «один из воспитанников Москов. дух. акад. III курса» и представляющее собой повествование в поэтической форме об однокурсниках иркутского протоиерея и их судьбах. Также с высокой долей вероятности именно Громов является автором подписанных одной буквой «Г.» поэтических переложений из Псалтири: «На реках Вавилонских» [Там же. 1869. № 7] и «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом» [Там же. № 8].

Великолепный образец наивной поэзии дает стихотворение некоего старца, настоятеля одного из сибирских монастырей. При публикации его «Донесения в поэтическом строе» редакция «Иркутских епархиальных ведомостей» из этических соображений не называет имени автора, так как адресует стихотворение «любителям курьезов»:

<...> В сей день кавказский добрый князь
Описывал наш монастырь,
Чтоб заселить его пустырь,
И произвест в нем с миром связь <...>
Князь оный с нами пообедал,
О нашей бедности уведал!
Погода пасмурна была –
Претрудны наши все дела.
Однако в доме очень ладно,
Хотя от малой топки хладно!..
Истопника нельзя купить,
И трудно печи здесь топить!.. <...>
Вельможа нас хоть посещает,
Но помоши не обещает!..

[Там же. 1870. № 4].

«Стихотворения на случай» отражали события епархиальной и в целом губернской жизни, а также субъективную рефлексию по их поводу. Примером может служить эмоциональный поэтический отклик священника с. Листвиничное на Байкале Евгения Литвинцева, завершающий его же статью «На крушение парохода «Иннокентий»:

Холодна в синем море волна
И глубоки пучины морских,
Но житейское море темней,
И пучиной его пожираются,
Словно жадно пастью чудовища.
Столько жертв, замученных сил,
Что в виду их могил
Ничтожными кажутся
Все наши сокровища

[9. 1870. № 7. С. 82].

Несмотря на поэтические несовершенства и даже описанные выше курьезы, эти и подобные им тексты имеют ценность как исторические источники и материал для социокультурных исследований.

В хронологической же перспективе обнаруживается устойчивая тенденция к повышению общего уровня поэтической культуры и мастерства духовенства: ближе к рубежу XIX–XX вв. «качество» многих его стихотворных опытов позволяет уже всерьез говорить о них как о поэзии. Одним из важных аргументов является увеличение доли собственно духовных стихотворений: поэтического пересказа библейских сюжетов, переложения псалмов и богослужебных текстов, вариаций на тему известных евангельских строк и молитв, стихотворений рождественского и пасхального циклов, лирики общего религиозно-философского содержания.

Появляются и первые духовные поэты, выделяющиеся по количеству и эстетическому уровню сочинений. Можно назвать, по крайней мере, имена четверых таких авторов: Алексея Романова, Василия Корнакова, Василия Никчемного и Степана Попова. В среднем каждому из них принадлежит от 10 до 25 опубликованных поэтических текстов, возможно, существуют не выявленные публикации, а также рукописи.

Алексеев и Корнаков – рядовые священники, биографические сведения о них раскрываются только на основе клировых ведомостей церквей, где они служили, и редких упоминаний в официальной части епархиальных ведомостей.

Относительно Романа Алексеева известно то, что в 1880-е гг. он обучался в Нерчинском духовном училище. Об этом свидетельствует его первое «Детское стихотворение (при поздравлении с праздником)» (*Сижу я за столом / Пишу я Вам письмо: / И как я радуюсь, / Что сделался писцом! / Но тем я не горжусь / И нечем тут гордиться, / Но ведь под старость лет / И это пригодится...*), опубликованное за подписью «Ученик II класса Нерчинского духовного училища Роман Алексеев. 13 января 1883» [Там же. 1883. № 9].

В конце 1880-х – начале 1890-х гг. Алексеев учился в Иркутской духовной семинарии: сведения о нем имеются в разрядных списках воспитанников за 1891 и 1892 гг. [10. 1891. № 27; 1892. № 27]. По окончании семинарии в 1892 г. был назначен псаломщиком в село Казачье Балаганского уезда Иркутской губернии, затем состоял в той же должности при Спасском соборе города Киренска, а также в нескольких церквях Балаганского уезда. В 1902 г. был рукоположен во священника и исправлял эту должность в нескольких сельских приходах Нижнеудинского уезда. Последняя о нем информация относится к 1905 г., тогда он являлся священником церкви Михаила Архангела в селе Шамановское.

Все дошедшие до нас стихотворения Алексеева относятся к периоду его обучения в семинарии и опубликованы в прибавлениях к «Иркутским епархиальным ведомостям»: «Единоборство Давида с Голиафом» [9. 1888. № 38]; «На реках Вавилонских тамо седохом и плакохом, внегда помянути нам Сиона. Подражание псалму 136» [Там же. № 20]; «Смерть Самсона» [Там же. № 13]; «Из ветхозаветной жизни» [Там же. 1889. № 38]; «На новый 1890 год: (Посвящ. моим товарищам)» [Там же. 1890. № 1]; «Посольский монастырь» [Там же. № 45].

В своих ученических стихах Алексеев следует традиции переложения псалмов, имеющей в русской литературе собственную богатую историю [11]. Примером может служить стихотворение «На реках Вавилонских тамо седохом и плакохом, внегда помянути нам Сиона. Подражание псалму 136»:

Мы с плачем сидели у рек Вавилона
И, полные горя, страданья, тоски,
Мы там вспоминали о нашем Сионе,
Повесив на ивах органы свои

[9. 1888. № 20. С. 190].

Псалом перелагается достаточно близко к тексту, поэтическую вольность автор допускает, домысливая чувства пленённых евреев.

Несмотря на ученический характер стихов Алексеева, сам факт публикации в епархиальном издании свидетельствует о достаточно высокой их оценке. Подтверждением может служить комментарий редакции к стихотворению «Смерть Самсона»: «Печатая это стихотворение молодого автора в видах поощрения его к занятою священной поэзией, мы бы советовали ему испробовать свои силы в переложении в стихотворную форму высоко поэтических стихотворений Григория Богослова, переведенных прозой на русский язык и помещенных в Творениях св. Отцев за 1843 год. Если эти переложения будут удачны, мы с удовольствием будем печатать их в Иркутских Епархиальных Ведомостях. Ред.» [Там же. № 13. С. 118].

Но безусловно лучшее стихотворение Алексеева – «Посольский монастырь» – является полностью оригинальным по своей тематике:

Давно затих он... Грустью лишь одной
Теперь от стен его печальных веет.

Он весь окутан мертвой тишиной,
 Он весь и разлагается, и тлеет.
 Угрюмый, он стоит передо мной
 И будто о былом своем жалеет...
 А там, вдали, еще надежд полна,
 Шумит, звенит байкальская волна.
 Все тихо здесь. Молчание кругом.
 Лишь зазвучит церковный звон порою.
 И стихнет сразу в небе голубом,
 Лишь пенье пронесется вдруг святое...
 Все тихо... Все объято мертвым сном...
 Все предано забвению и покою...
 Лишь там, вдали, еще надежд полна,
 Шумит, звенит байкальская волна

[9. 1880. № 45. С. 11].

В Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре находилась Забайкальская духовная миссия, и обитель была духовным центром всего региона, а ее здания – его архитектурной доминантой. Пережившая период расцвета в 1860-е гг., в 1880-е, после перенесения резиденции духовной миссии в Читу, обитель стала быстро приходить в упадок, и в 1890-е оказалась под угрозой закрытия. Именно этот момент и описан в стихотворении. В 1900 г. с целью спасения монастыря он был преобразован из мужского в одноименный женский¹.

К сожалению, сочинений Алексеева, опубликованных после окончания им семинарии, выявить не удалось.

Василий Андреевич Корнаков родился 18 января 1879 г. в селе Шергино Забайкальской области в семье протоиерея. С 1897 г., очевидно по окончании духовного училища, стал псаломщиком Казанской церкви в родном селе и учителем местной церковно-приходской школы. В 1899 г. был рукоположен во диакона при той же церкви. В 1904 г. переведен диаконом в собор г. Верхнеудинска, преподавал Закон Божий в церковно-приходской школе. В 1905 г. поступил в Иркутскую духовную семинарию, но из-за тяжелого материального положения семьи через два года был вынужден прервать обучение. Но даже неоконченный семинарский курс позволил ему получить священническое место. В 1908–1917 гг. служил свя-

¹ Истории монастыря посвящено известное произведение сибирской мемуаристики – «Письма из Посольского монастыря» [12] Вениамина (Благонравова), в 1860-е гг. епископа Селенгинского, начальника Забайкальской духовной миссии и настоятеля Посольского монастыря, в 1880–1890-е гг. – архиепископа Иркутского и Нерчинского. Письма включают одно из самых поэтических и известных описаний обители: «Поставленный на берегу моря (так здесь принято называть Байкал), монастырь кажется как бы плывающим по морю. А под сиянием вечерних лучей солнца, с своими белеющими церквями, он мне казался горним Иерусалимом, сходящим с небес» [Там же. С. 3]. Высока вероятность того, что Алексеев был хорошо знаком с трудами архиепископа Вениамина и использовал их в своем поэтическом творчестве.

щенником при нескольких церквях, расположенных на станциях железной дороги. В 1917 г. стал настоятелем церкви на ст. Оловянная. После революции был священником в Верхнеудинске. В начале 1930-х гг. его арестовали. Отбывал ссылку в Кустанае (Казахстан). В 1944 г. был освобожден и вернулся в Улан-Удэ. Служил в приходе Свято-Вознесенской церкви вплоть до своей кончины в 1958 г.

Корнаков стал одним из первых авторов «Забайкальских епархиальных ведомостей», в первые четыре года существования газеты в ее неофициальном отделе было опубликовано 15 его стихотворений: «Вход Господень во Иерусалим» [13. 1900. № 7]; «Рождество Христово» [Там же. 1901. № 1]; «Молитву пролию» [Там же. 1903. № 15]; «Житейское море» [Там же. № 17/18]; «Утро» [Там же. № 23]; «Иди к Нему» [Там же. № 23]; «Поэт» [Там же. 1904. № 1/2]; «Молитва Ангелу Хранителю» [Там же. № 3]; «Цветок» [Там же. № 4]; «О сердце, сердце!» [Там же. № 6]; «К Богу!» [Там же. № 7]; «К труженику» [Там же. № 7]; «Мать» [Там же. № 9]; «Любовь» [Там же. № 10 /11]; «Навстречу жизни» [Там же. № 10 /11].

Источником поэтического вдохновения для Корнакова служат библейские тексты: в основе стихотворения «Любовь» лежат слова из первого соборного Послания Иоанна Богослова «пребывающий в любви в Бозе пребывает» (4:16); стихотворения «Цветок» – слова Евангелия от Матфея (6:28), являющиеся частью Нагорной Проповеди и содержащие заповедь не заботиться о завтрашнем дне, подобно лилиям полевым; стихотворение «Утро» является переложением псалма 103 о происхождении мира – «Вся премудростию сотворил еси».

Особое место в творчестве поэта занимает жанр молитвы, именно в нем поэтические опыты Корнакова представляются наиболее удачными.

Молитву пролию

Молитву жаркую, Спаситель,
К Тебе я ныне пролию;
Тебе, Сладчайший мой учитель,
Я расскажу печаль мою!
Душа исполнена смущенья,
Её томит греха позор,
В ней ад кипучего мученья
И страшной смерти приговор.
Но Ты, Владыка мой Всесильный,
Воздвигни падшего душой!
Взвывая, верю я, бессильный,
Простишь меня, Спаситель мой!

[Там же. 1903. № 15. С. 254].

Корнакову присуще самоощущение как поэта. Размышляя о своем творческом пути, он говорит о «поэте нравственных начал» и утверждает ценность христианских истин в творчестве:

Поэт

<...> Но смолки струны звучной лиры
 В душе поэта. Думал он:
 Все тлен, всё ложные кумиры,
 И дух мой ложью заражён.
 Любовь и нравственность святая
 В делах поэта быть должна,
 И вера чистая, живая
 Должна быть в сердце возожжена.
 И облик истинный поэта,
 Поэта нравственных начал,
 Как луч небесного рассвета,
 Пред взором умственным предстал <...>

[13. 1904. № 1/2. С. 11–12].

Гимном человеку-христианину и факту его Богообщения звучат слова стихотворения «О сердце, сердце!»:

<...> О, человек, венец творенья,
 Разумный, славный царь земной!
 Ищи, по воле Провиденья,
 Незримый, чудный жребий свой.
 Он там – в Начале без начала,
 В бессмертном чудном бытии,
 И где Творца сияет слава –
 Там все желания твои <...>

[Там же. № 6. С. 76].

Поэтический язык Корнакова не всегда богат и правилен, что, однако, искупается экспрессивностью восприятия окружающей действительности и потребностью осмыслить её в христианских категориях.

Стихи Василия Никчемного также публиковались в неофициальном отделе «Забайкальских епархиальных ведомостей», за 1907–1915 гг. вышло 25 стихотворений: «Молитва грешника» [Там же. 1907. № 23]; «Свобода» [Там же. № 24]; «К Рождеству Христову» [Там же. 1908. № 1]; «Под Новый Год» [Там же. № 1]; «К другу» [Там же. № 5]; «Спаси его...» [Там же]; «Скажи мне...» [Там же. № 6]; «Ручей» [Там же. № 7]; «Пасхальный звон. Подражание И.И. Козлову» [Там же. № 8]; «Пойду, скажу сквозь слезы поесть...» [13. 1909. № 11]; «Я помню время детских дней...» [Там же. № 22/23 /24]; «На Новый Год» [Там же. 1910. № 1]; «По житейскому морю. Из Златоуста» [Там же. № 4]; «Где ты, сердце чистое...» [Там же. № 5]; «Под сильным влиянием житейских страстей...» [Там же. № 6]; «Под великопостный благовест» [Там же. № 7]; «Твою Божественную волю...» [Там же. № 16 / 17]; «Да придет Царствие Твоё!» [Там же. № 18]; «Где ты, сердце чистое, кроткое, незлобное...» [Там же. № 5]; «Лишь вера погаснет – светиль-

ник сердечный...» [13. 1914. № 7]; «Война» [Там же. № 19]; «К столетию со дня рождения М.Ю. Лермонтова» [Там же. № 21]; «Памяти отца Василия Петровича Лахина» [Там же. № 23]; «К Новому Году» [Там же. 1915. № 1]; «Война и мир. К Рождеству Христову» [Там же].

Вероятнее всего, Никчемный (другое написание Некчемный) – псевдоним. Фамилия Никчемный встречалась среди сосланных в Сибирь поляков, однако сведений о таком священнике обнаружить не удалось. Данные о поэте Никчемном на отражены и в наиболее полном на сегодняшний момент библиографическом указателе по дореволюционной литературе Забайкалья – справочнике «Краеведы и литераторы Забайкалья» [8], несмотря на то, что его составитель Е.Д. Петряев широко привлекает «Забайкальские епархиальные ведомости» в качестве источника. Василий Никчемный – поэт начала XX в. Сочинения печатались при жизни автора, и время их выхода практически совпадало со временем создания: доказательством служат стихи, посвященные Первой мировой войне, опубликованные в 1914–1915 гг. Большое количество текстов, выходивших в «ведомостях» в разные годы, свидетельствует о том, что они не были перепечаткой из других изданий, а их автор, скорее всего, жил в Забайкалье. Мы не знаем, был ли Никчемный священником или миссионером, но совершенно очевидно, что он был человеком православным и воцерковленным, а его поэзия – это собственно духовная поэзия. И, пожалуй, он наиболее талантливый из всех рассматриваемых нами поэтов.

В его стихах современная история соотносится с евангельскими событиями и время переживается литургически. Основные лирические темы: страсти человеческие и страх Господень, греховность и покаяние, свобода воли и воля Божья; любовь и вера; кризис современного мира и Церковь Христова как оплот и прибежище человека.

Приведем несколько отрывков из разных стихотворений как примеры развития этих тем:

Свобода

<...> Но как и где добыть свободу,
Как обуздать свою природу,
Как страсти все повергнуть в прах,
Чтоб в сердце веял Божий страх
И засиял свободы свет, –
Скажите, как найти ответ?

[13. 1907. № 24. С. 527].

Под великопостный благовест

<...> Ты слышишь, зовёт тебя медный глашатай
Под мирные своды в храм Божий святой;
Спеши же туда и бедняк, и богатый,
И грешник холодный с суровой судьбой.
Не медли, зовёт тебя церковь святая,

Зовёт, чтоб согреть тебя лаской своей;
Как к матери, ты припади и рыдая
Там все расскажи ей о жизни своей

[13. 1910. № 7. С. 173–174].

Да придет Царствие Твоё!

Утеряно светлое царство свободы <...>
То было блаженство счастливого века;
Но вскоре свершился позор роковой:
Забыт был Создатель в душе человека –
Мир внешний там занял все только собой <...>

[Там же. № 18. С. 489–490].

Лишь вера погаснет – светильник сердечный...

<...> Но только лишь вера в груди загорится,
Мир вдруг облечется в прекрасный покров,
В нём сила живая над тлением зрится,
И творчество жизни средь смертных оков.
До времени в мире царит перемена –
То жизни, то смерти закон роковой –
Мир сбросит оковы смертельный плена,
Залог тому вера – дар Бога святой

[Там же. 1914. № 7. С. 249].

Никчемный также создает поэтические вариации на тему ключевых текстов христианской традиции. Например, слова Иоанна Златоуста – «Мачтой пусть будет тебе Крест, якорем – вера, канатом – надежда, веслом – молитва, кормилом – правые помыслы, парусом – Христос, попутным ветром – Дух Святой, Кормчим – Отец всяческих» – положены в основу стихотворения «По житейскому морю»:

Пусть тебе мачтой крест будет святой,
Якорем вера в груди молодой,
Крепкий канат твой – надежда, мой друг,
Сильные весла – молитвенный дух.
Пусть парус твой будет Владыка Христос,
И чтоб тебя ветер противный не снёс,
Правые мысли пусть правят рулём
В море житейском твоим кораблём.
А ветром попутным пусть будет твоим
Тихое «веянье Духом Святым»,
И в пристани будешь ты, друг, наконец,
Где ждёт тебя Добрый Небесный Отец

[Там же. 1910. № 4. С. 77].

Интересный пример подражания авторскому литературному тексту – стихотворение «Пасхальный звон». В подзаголовке сам Никчемный указывает, что это «подражание И.И. Козлову», имея в виду его известное стихотворение «Вечерний звон»:

Пасхальный звон, пасхальный звон!
О чём напомнил ныне он?
О детских днях в краю родном,
Стоит где церковь – Божий дом,
И помню ясно, как сейчас,
Я был в нём с матерью не раз.
Как жаль мне светлых детства дней
И друга матери моей:
Её уж нет теперь в живых,
Она в обителях иных.
Не тайна где могильный сон –
Ей слышен там пасхальный звон.
Быть также мне в земле сырой!
Напев могучий надо мной
Бессмертный гений пронесёт,
Душа моя его поймёт:
И хоть могильный крепок сон,
Дойдёт ко мне Пасхальный звон!

[13. 1908. № 8. С. 181–182].

Полностью сохранен ритмический рисунок оригинала – размер стиха и все рифмы, много повторов лексики, вплоть до целых словосочетаний. Но тем значительнее выглядит изменение основной идеи и настроения стихотворения. У Никчемного, в отличие от Козлова, стихотворение посвящено не женщине, а матери; отчий дом становится домом Божиим; тема ухода, забвения, смерти и могильной тишины заменяется на тему преодоления смерти и обретения бессмертия души.

Если бы удалось установить подлинное имя автора, скрывающегося за псевдонимом Никчемный, и, возможно, разыскать другие его публикации, это существенно обогатило бы историю дореволюционной забайкальской литературы. На наш взгляд, его творчество и поэтический талант вполне сопоставимы с именем самого известного местного поэта XIX в. – Ф.И. Бальдауфа.

В настоящем исследовании критерием отбора авторов принята их принадлежность к духовному сословию. Сущность метода такова, что описывается весь массив созданных тем или иным духовным лицом сочинений – и уже в нем выделяется собственно духовная поэзия. То есть понятия «поэзия духовенства» и «духовная поэзия» признаются пересекающимися, но не тождественными. Однако возможен и иной подход – не от сословной принадлежности поэта, а от содержания его произведений, что позволит включить в круг духовных писателей и светских авторов. Первый подход

более значим с историко-краеведческой точки зрения, второй оправдан литературоведчески и направлен на раскрытие самой сущности духовной литературы.

Оба они применялись уже первыми историками и библиографами русской духовной литературы – митрополитом Евгением (Болховитиновым), автором «Словаря русских писателей духовного чина» [1], и архиепископом Филаретом (Гумилевским), автором «Обзора русской духовной литературы» [2]. Если митрополит Евгений учитывал только писателей «духовного чина» (для светских авторов им был создан отдельный словарь [14]), то архиепископ Филарет за основание принимал само содержание текстов и включал в свой обзор наряду с духовенством и светских писателей – Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова и др. Свою точку зрения он аргументировал следующим образом: «Кому ныне придет на мысль настаивать на том, что труд для Св. Евангелия – не духовный труд оттого, что это – труд Чеботарева?» [2. С. 278].

В Восточной Сибири XIX столетия таким светским духовным поэтом был выходец из купеческого сословия, известный в Иркутске своего времени общественный деятель и журналист – Степан Степанович Попов.

Дата рождения Попова определяется условно – около 1830 г. По свидетельству иркутского летописца Н.С. Романова, «...отец его был иркутский очень состоятельный и развитый купец, ставшийся дать своим детям хорошее воспитание и образование» [15. С. 514]. По матери Попов принадлежал к знаменитому в Сибири роду купцов Трапезниковых [9. 1887. № 10. С. 83]. Он учился в Иркутской гимназии Щукина и Седакова, но за смертью отца курса не кончил. Получив в наследство значительный капитал, некоторое время жил в Петербурге.

Вернувшись в Иркутск, Попов занялся общественной деятельностью, одной из ярких страниц которой стала попытка создания в начале 1850-х гг. публичной библиотеки в Иркутске. «С.С. Попов выписывал для библиотеки иностранные журналы, наиболее ценные издания по беллетристике, географии, истории. Библиотека имела 40 подписчиков, большая часть которых состояла из мелких чиновников и лавочников». Однако из-за дороговизны подписки, библиотека просуществовала всего несколько лет» [16. С. 30–31]. Значительную часть книг в 1856 г. Попов подарил научной библиотеке СО ИРГО, членом-соревнователем которого стал еще в 1853 г. и не прекращал сотрудничества с обществом до конца жизни. В начале 1860-х гг. он сблизился с либеральным областническим движением и в 1864 г. проходил по делу Г.Н. Потанина, связанному с появлением и распространением прокламаций «Сибирским патриотам» и «Патриотам Сибири» [17. С. 176–179].

Но с 1880-х гг. С.С. Попов обращается к Церкви. Об этом свидетельствует интерес, проявляемый им к религиозной и церковно-исторической проблематике. В 1885 г. в «Иркутских епархиальных ведомостях» выходит его трактат «Ложная надежда на спасение есть путь к погибели. Беседа мирянина с своими собратьями мирянами» [9. 1885. № 10–12]. В статье раскрываются основные положения учения о невозможности спасения человека вне церкви, Хри-

ста и Божественной Благодати, а также без приложения личных к тому усилий (синергизм). Свидетельством разысканий в области церковной истории является подготовленная Поповым публикация «Старинные рукописи об освидетельствовании и открытии св. мощей преподобного Феодосия Тотемского Чудотворца и пожертвования императора Павла I Спасосумарину монастырю, где сии мощи почивают» [9. 1887. № 10–12].

В сотрудничестве с епархиальными ведомостями раскрывается и поэтический талант Попова, на их страницах публикуются его стихотворения: «Теперь и после» [Там же. 1883. № 51]; «Переложение молитвы Господней» [Там же. 1884. № 21]; «Поклонникам золотого кумира» [Там же. № 43]; «Воскресение Христово» [Там же. № 15]; «Пасхальная песнь» [Там же. 1885. № 13]; «Слово Божие есть свет и жизнь» [Там же. № 14]; «На рождество Христово» [Там же. 1886. № 52]; «Кто грешнее?» [Там же. № 13]; «Его высокопреосвященству архиепископу Иркутскому и Нерчинскому Вениамину на отъезд его из Иркутска в Санкт-Петербург» [Там же. № 38]; «Песнь воскресению Христову» [Там же. 1887. № 15]; «Приветственная песнь высокопреосвященнейшему архиепископу Иркутскому и Нерчинскому Вениамину в день возвращения его в Иркутск 24 сентября 1887 года» [Там же. № 41]; «Рождество Иисуса Христа и первые годы его земной жизни. (Из сочинения: «Жизнь Иисуса Христа, изложенная в стихах по евангельскому тексту»)» [Там же. 1889. № 52]; «Сила молитвы к Иисусу Христу» [Там же. 1888. № 30]; «Богоматерь у креста Спасителя» [Там же. 1890. № 12]. Некоторые публикации подписаны псевдонимом «Сибирик-старожил», иногда используется двойная подпись «Попов Ст.Ст. Сибирик-старожил»).

Как видно из названий, у Попова есть «стихи на случай», имеются и примеры религиозно-дидактической поэзии – «Поклонникам золотого кумира».

Но основное место занимают стихотворения пасхальной и рождественской тематики, в которых автор говорит о смысле христианских праздников и пытается раскрыть некоторые богословские понятия. Источником вдохновения является для него храмовая литургическая поэзия, например пасхальная служба:

Пасхальная песнь

Христос воскрес из мертвых
И смертью смерть попрал,
И во гробах лежащим
Жизнь снова даровал.
Воскрес – и силу ада
Навеки сокрушил,
От тли воздвиг Адама
И падших воскресил <...>

Переложение молитвы Господней

Отец нас сущий в небесах!
 Твое в нас имя да святится,
 И в помышленьях, и в делах
 Для всех Твое да прийдет царство,
 Во всем Твоя да будет воля
 И на земле, как в небесах.
 Насущный хлеб в потребной доле
 Ты даруй нам на этот день.
 Прости нам наши прегрешенья,
 Как мы прощаем должникам.
 Не допусти до искушенья
 И от лукавого избавь.
 Предела нет Твой державе
 И силе с славою во век.

В авторском послесловии к публикации этого стихотворения говорилось о принципах и целях переработки евангельского текста: «Излагая в стихах молитву Господню, я старался, насколько мог, буквально держаться евангельского текста в русском переводе (Мтф. VI. 9–13; Лук. XI. 2–4), в необходимых же для рифмы и размера стиха добавочных словах я руководствовался катехизическим толкованием сей молитвы. Небольшой труд этот я решился предпринять с той целью, чтобы облегчить первоначальное знание молитвы Господней, особенно для детей, которые, как известно, лучше и легче удерживают в своей памяти прочитанное в стихах. В заключение прошу снисходительного отношения к моему посильному труду как к первому в этом роде опыту» [9. 1884. № 21. С. 251].

Помимо «Иркутских епархиальных ведомостей», С.С. Попов сотрудничал с общественно-политическими изданиями – газетой «Амур» и «Восточным обозрением». Его поэтическое наследие не исчерпывается сочинениями религиозной и церковно-исторической тематики, но включает образцы и гражданской лирики. Примером может служить стихотворение «Желанная пора», прочитанное 26 октября 1886 г. на вечере, на котором «четвертый раз молодая иркутская интеллигенция праздновала день покорения Сибири», и опубликованное в летописи Н.С. Романова [15. С. 140–142]:

Суров твой жребий, край изгнанья,
 И не заслужен твой позор,
 Но верь, что жребий испытанья
 К концу желанному пришел.
 И для тебя, наш край родимый,
 Приходит лучшая пора,
 И над тобой стеной незримой
 Восходит светлая заря <...>.

Важным, но не раскрытым в настоящей статье вопросом является изучение литературного контекста. Необходимо аргументированное соотне-

сение поэзии сибирского духовенства с высокими образцами современной им светской и духовной лирики. Благо основания для такого сопоставления дают сами «Ведомости»: стихотворения местных авторов соседствуют в них с произведениями известных русских поэтов: от Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.Н. Майкова до А.С. Хомякова, В.С. Соловьева и др. Изучением этого контекста могут быть заданы перспективы дальнейшего исследования. Далеко не завершенной, как отмечалось во вступлении к статье, является и работа по выявлению самих оригинальных поэтических текстов. Однако уже на данном этапе у нас есть достаточные основания говорить о поэзии восточносибирского православного духовенства как о самостоятельном феномене, являющемся частью не только церковной, но и литературной жизни региона. Интерес представляют поэтические опыты выдающихся церковных деятелей, дополняющие их уже сложившиеся исторические портреты. Можно назвать и несколько самобытных поэтов, чьи имена вполне заслуживают быть вписанными в историю русской духовной литературы.

Изучение поэтических сочинений духовенства ведется в рамках проекта по созданию биобиографического словаря «Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – начала XX века» [18]. Также авторами планируется издание антологии восточносибирской духовной поэзии досоветского периода, в которую войдут все обнаруженные в ходе исследования оригинальные поэтические тексты.

Литература

1. [Евгений (Болховитинов), митроп.] Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви : в 2 ч. 2-е изд., испр. и умнож. СПб., 1827. Т. 1. 343 с.; Т. 2. 333 с.
2. [Филарет (Гумилевский), архиеп]. Обзор русской духовной литературы. 862–1863. 3-е изд., с поправками и доп. автора. СПб., 1884. [Кн. 1 и 2]. 511 с.
3. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 1889–1904. Т. 1–6.
4. Межсов В.И. Сибирская библиография : указ. кн. и ст. о Сибири на рус. яз. и одних только книг на иностранных яз. за весь период книгопечатания : в 3 т. СПб., 1891–1892. Т. 1. 1891. 485 с.; Т. 2. 1891. 470 с.; Т. 3. 1892. 303 с.
5. Литературная Сибирь: Писатели Восточной Сибири : биобиблиогр. справ. / сост. В.П. Трушкин. Иркутск, 1971. 336 с.
6. Писатели Восточной Сибири : биобиблиогр. указ. / Зон. об-ние б-к Вост. Сибири, Иркут. обл. б-ка им. И.И. Молчанова-Сибирского. Иркутск, 1983. 256 с.
7. Литературная Сибирь : критико-биобиблиографический словарь писателей Восточной Сибири / сост. В.П. Трушкин, В.Г. Волкова. Иркутск, 1986–1988. Ч. 1. 1986. 303 с.; Ч. 2. 1988. 351 с.
8. Краеведы и литераторы Забайкалья : биобиблиогр. указ. Дореволюционный период / сост. Е.Д. Петряев. 2-е изд., испр. и доп. Чита, 1981. 128 с.
9. Иркутские епархиальные ведомости. Прибавления. 1863–1917.
10. Иркутские епархиальные ведомости. 1863–1917.
11. Псалтирь в русской поэзии XVIII–XX вв. М., 1995. 384 с.
12. Забайкальская миссия (письма из Посольского монастыря). СПб., 1865. 72 с.
13. Забайкальские епархиальные ведомости. Отд. неофиц. 1900–1919.

14. [Евгений (Болховитинов), митроп.] Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России, служащий дополнением к Словарю писателей духовного чина, составленному митрополитом Евгением. М., 1838. Т. 1: от А до Г. 367 с.
15. Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. / изд. подгот. Н.В. Куликаускене. Иркутск, 1993. 544 с.
16. Полищук Ф.М. История библиотечного дела в дореволюционном Иркутске (конец XVIII века – февраль 1917 года). Иркутск, 1983. 166 с.
17. Серебренников Н.В. Проблема авторства и датировки возвзваний об отделении Сибири от России // Вестник Томского государственного университета. 2003. № 276. С. 176–179.
18. Мельникова С.В., Крючкова Т.А. Биобиографический словарь православных духовных писателей Восточной Сибири второй половины XIX – начала XX в. как теоретическая и методологическая проблема // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. № 6 (44). С. 95–111.

Poetic Experiments of East Siberian Orthodox Clergy in the 18th – Early 20th Centuries (Based on the Materials of the Eparchial Press)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 241–260. DOI: 10.17223/19986645/66/13

Sofya V. Melnikova, Irkutsk Regional State Universal Scientific Library of I.I. Molchanov-Sibirsky (Irkutsk, Russian Federation), Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: memuaristika@yandex.ru

Elena V. Zhdanova, Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: princess_38rus@inbox.ru

Keywords: spiritual poetry, Eastern Siberia, Orthodox clergy, “eparchial journal”.

The article presents the results of a study of the poetic writings of the East Siberian Orthodox clergy in the 18th – early 20th centuries. Currently, the object of the study is more than 100 original texts composed during this period and collected from publications in the Irkutsk and Trans-Baikal “eparchial journals”. Most of the writings, as well as the names of their authors, are first introduced into scientific discourse. In subsequent studies, the number of texts may significantly increase, but it is already obvious that the poetry of the East Siberian clergy is a serious, on the scale of pre-revolutionary regional literature, layer of works that requires a special study. The study has established that the first original poetic texts were composed between 1727 and 1731. The chances are high that they belong to the pen of the first Irkutsk bishop, St. Innocent (Kulchitsky). Archimandrite Modest (Strelbitsky) found and described the poetic details in St. Innocent’s sermons in his “Tale about St. Innocent’s Preaching” (Irkutsk, 1873). However, the poetic texts dating back to the 18th – early 19th centuries, are few. The absolute majority of the original poems were written and published in the second half of the 19th and early 20th centuries. It must be admitted that many texts were naive and imitative poetry. It was occasional poetry: congratulations, epitaphs, poetic retellings, and reports in verse. These writings are important as a reflection of the historical and cultural facts of the eparchial life and as an example of the influence on the authors of a seminary poetry course. Authorial compositions of a higher degree of originality and artistic level are represented by genres of spiritual poetry: poetic retellings of biblical scenes; translations of psalms, liturgical texts and prayers in verse; lyrics of religious-philosophical content. These writings are the main object of the study. The material is grouped as essays on the life and work of four most significant poets distinguished by the number and quality of their works: Alexey Romanov, Vasiliy Kornakov, Stepan Popov, and Vasiliy Nikchemnyy (pen name). The essays include brief biographical notes about the poets based on the archival documents, bibliographies of their writings, and a literary analysis of selected poems. The “eparchial journals” themselves set the literary context for reading: the

local poets' works were published on their pages next to the outstanding samples of Russian spiritual poetry (poems by Derzhavin, Lomonosov, Pushkin, by Russian religious philosophers Solovyov and Khomyakov). The study of the poetic writings of the clergy is conducted within a project on the creation of a bio-bibliographic dictionary *Orthodox Spiritual Writers of Eastern Siberia of the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries*. The authors of the article also plan to publish an anthology of East Siberian spiritual poetry.

References

1. Bolkhovitinov, E., metropolitan. (1827) *Slovar' istoricheskiy o byvshikh v Rossii pisatelyakh dukhovnogo china Greko-Rossiyskoy Tserkvi* [Historical Dictionary of Russian Writers Who Were in Spiritual Ranks of the Greco-Russian Church: in 2 vols]. Vols 1–2. 2nd ed. Saint Petersburg: Tipografiya Glazunova.
2. Gumilevskiy, F., archbishop. (1884) *Obzor russkoy dukhovnoy literatury. 862–1863* [Review of Russian Spiritual Literature. 862–1863]. Vols 1–2. 3rd ed. Saint Petersburg: I.L. Tuzov.
3. Vengerov, S.A. (1889–1904) *Kritiko-biograficheskiy slovar' russkikh pisateley i uchenykh (ot nachala russkoy obrazovnosti do nashikh dney)* [Critical-biographical dictionary of Russian writers and scientists (from the beginning of Russian education to the present day)]. Vols 1–6. Saint Petersburg: Semenovskaya Tipo-Litografiya (I.A.Efron).
4. Mezhov, V.I. (1891–1892) *Sibirskaya bibliografiya: ukazatel' knig i statey o Sibiri na russkom yazyke i otdnikh tol'ko knig na inostrannyykh yazykakh za ves' period knigopechataniya* [Siberian Bibliography: Index of books and articles about Siberia in Russian and books in foreign languages for the entire period of printing]. Vols 1–3. Saint Petersburg: Tipografiya I.N. Skorokhodova.
5. Trushkin, V.P. (ed.) (1971) *Literaturnaya Sibir'. Pisateli Vostochnoy Sibiri* [Literary Siberia. Writers of Eastern Siberia]. Irkutsk: Vostochno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
6. Badmadorzhieva, R.Ts. et al. (1983) *Pisateli Vostochnoy Sibiri: biobibliograficheskiy ukazatel'* [Writers of Eastern Siberia: A bio-bibliographic index]. Irkutsk: Vostochno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
7. Trushkin, V.P. & Volkova, V.G. (eds) (1986–1988) *Literaturnaya Sibir': kritiko-biobibliograficheskiy slovar' pisateley Vostochnoy Sibiri* [Literary Siberia: A critical bio-bibliographic dictionary of the writers of Eastern Siberia]. Irkutsk: Vostochno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
8. Petryaev, E.D. (ed.) (1981) *Kraevedy i literatory Zabaykal'ya. Biobibliograficheskiy ukazatel'. Dorevoljutsionnyy period* [Local Historians and Writers of Transbaikalia. A Biobibliographic Index. Pre-revolutionary period]. 2nd ed. Chita: [s.n.].
9. Irkutskie eparkhial'nye vedomosti. *Pribavleniya*. (1863–1917).
10. Irkutskie eparkhial'nye vedomosti. (1863–1917).
11. Romanov, B.N. (ed.) (1995) *Psaltir' v russkoy poezii XVII–XX vv.* [Psalter in Russian Poetry of the 17th–20th Centuries]. Moscow: Svyato-Troitskaya Sergieva Lavra; Klyuch.
12. Anon. (1865) *Zabaykal'skaya missiya (pis'ma iz Posol'skogo monastyrya)* [Transbaikal Mission (letters from the Ambassadorial monastery)]. Saint Petersburg: Sinodal'naya tipografiya.
13. *Zabaykal'skie eparkhial'nye vedomosti*. (1900–1919). Unofficial part.
14. Bolkhovitinov, E., metropolitan. (1838) *Slovar' russkikh svetskikh pisateley, sootechestvennikov i chuzhestrantsev, pisavshikh v Rossii, sluzhashchiy dopolneniem k Slovaryu pisateley dukhovnogo china, sostavlennomu mitropolitom Evgenием* [Dictionary of Russian secular writers, countrymen and foreigners who wrote in Russian, a supplement to the Dictionary of Writers of spiritual rank, compiled by Metropolitan Evgeniy]. Vol. 1. Moscow: Izd. I.M. Snegireva.

15. Romanov, N.S. (1993) *Letopis' goroda Irkutska za 1881–1901 gg.* [Chronicle of the City of Irkutsk of 1881–1901]. Irkutsk: Vostochno-Sibirske knizhnoe izdatel'stvo.
16. Polishchuk, F.M. (1983) *Istoriya bibliotechnogo dela v dorevolyutsionnom Irkutske (konets XVIII veka – fevral' 1917 goda)* [The history of librarianship in pre-revolutionary Irkutsk (late 18th century – February 1917)]. Irkutsk: Irkutsk State University.
17. Serebrennikov, N.V. (2003) Problema avtorstva i datirovki vozvaniy ob otdelenii Sibiri ot Rossii [The problem of authorship and dating of appeals about the separation of Siberia from Russia]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal.* 276, pp. 176–179.
18. Mel'nikova, S.V. & Kryuchkova, T.A. (2016) The bio-bibliographic dictionary of Orthodox spiritual writers of Eastern Siberia of the second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries as a theoretical and methodological problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya.* – Tomsk State University Journal of Philology. 6 (44). pp. 95–111. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/44/7

UDC 82'282

DOI: 10.17223/19986645/66/14

Mariana S. Sargsyan¹, Evgeniya V. Zimina²

¹ Yerevan State University (Yerevan, Armenia)

E-mail: marianasargsyan@ysu.am / mariana.sargsyan80@gmail.com

² Kostroma State University (Kostroma, Russian Federation)

E-mail: ezimina@rambler.ru

SCOTS IN CONTEMPORARY PROSE AND POETRY: ISSUES AND CONTROVERSIES

The paper aims to represent the relevant issues concerning the status of Scots and its use in literature. It also covers a range of controversial interpretations concerning the status of Scots and its reputation. By drawing analogies and highlighting the differences, the paper seeks to reveal the range of shared and unshared attitudes towards Scots and its significance in the literary discourse. Our study shows that Scots is not regarded as a tool to be used to fight for a political cause, neither it is a means through which people identify themselves. In contemporary writing Scots performs a huge role in creating new meanings and associations, enriching the text with connotations and imparting special meaning to the text.

Key words: Scots, status, cultural and language identity, pluralism, contemporary Scottish prose and poetry.

Introduction

There is no denying the fact that the linguistic situation in Scotland is not a simple one and there is no clear prognosis what the situation will be in a ten- or twenty-year perspective. However, one point is obvious—there is no unique approach to the status of Scots shared by all. Looking back into the history of the problem, we learn that the roots of the controversial attitudes towards Scots and its status rest in the indisputable close relation between Scots (formed on the northern dialects) and English (developed on the east-central and southern dialects of Middle English). As a result of Scotland's acquisition of political and cultural independence in the 15th century, Scots started its functioning as an independent language and it was widely used not only as a means of everyday communication, but also in official settings. However, this period was not to last long, as English gradually supplanted it from the official sphere and the culmination was the Treaty of Union (1707), which resulted in equating the status of Scots to that of a dialect. However, later in the 18th century, the literary tradition in Scots revived, and this process continues till our days. The Treaty of 1707 sparked a reactionary movement led by a group of poets (Alan Ramsay, Robert Fergusson and Robert Burns), which is known as Vernacular Revival in Scots. This process was further increased in the 19th century when novelists (Walter Scott, Hogg, Robert Louis Stevenson) joined this movement by extensively in-

troducing Scots-speaking characters in their fictional works and the combination of English and Scots in the works of this period managed to bring the Scots language and Scottish literature to the attention of the international community. In the 20th century, a new radical renaissance of Scots was pioneered by Hugh MacDiarmid, whose contribution to the strengthening of the position of Scots as a literary language cannot be underestimated. MacDiarmid was especially passionate in creating literary Scots by means of the synthesis of the dialects. The language of poetry, known as Lallance, was an artificially created language which did not reflect the spoken language, thus it was complicated and not understandable for all. Later in the 20th century, writing in Scots became popular but many of the writers rejected the language of MacDiarmid, and instead returned to the language of Fergusson and Burns. Many writers created their works based on the city dialects which were more understandable and did not require special glossaries to translate them.

Contemporary Scottish dialects are not homogeneous, and the problem of the status of Scots is not yet solved. There are controversial attitudes among the scholars whether it can gain the status of an independent language or not, since, for a part of scholars, Scots remains a language which should not be described as an independent language, but rather a corrupted version of English which needs to be corrected [1]. This attitude accounts for the absence of the Standard Scottish, standardized orthography, and a huge number of English borrowings. Comparing the situation with Scots with that of Gaelic, it is understandable that although the number of Gaelic speakers (1.1%) is less than that of Scots (35%), the situation with the Gaelic language is much more favourable, in view of the fact that it is unarguably a separate language with specific grammar and vocabulary.

The promotion of Scots as an independent language remains one of the political priorities of the Scottish National Party, which initiated a number of actions towards the recognition of Scots as an important element of the cultural heritage of Scotland and also its recognition as one of the three historically local languages (along with Gaelic and English) of Scotland. One of the major players in the promotion and the support for the development of Scots is the Creative Scotland, a state organization, which provides support to the fields of art, literature, cinema, etc.

Like Scots with all the pluralities of forms and doubts concerning its status, the attitudes towards Scots, its use and the sphere of its influence as well as its reputation as a language are non-homogeneous. Thus, by drawing analogies and highlighting the differences, the paper seeks to reveal the range of shared and unshared attitudes towards Scots and its significance in the literary discourse. We will discuss in what ways Scots contributes to the richness of the work by adding new dimensions to the text, or what the basic arguments of those who claim that Scots belittles the literary value of the work are. To discuss the problem in the historical context, the research incorporates contemporary texts and poetry with several references to early 20th-century writing.

Poets on Scots: Discussing Language Through Poetry

In the context of the linguistic and cultural pluralism, contemporary Scottish literature, particularly poetry, has not remained indifferent to the problem of language. Discussing a range of poems by contemporary writers, it becomes clear that identity and language continue to be a central topic for contemporary Scottish literature. However, the formulation of the problem has undergone changes: language and identity in contemporary literature are no longer associated with political nationalism which was the main ideology and the driving force at the beginning of the 20th century. Language is not only a mere means of communication, it not only reflects the nation's history and culture, but it is what makes one feel a part of the community, it cultivates and at the same time questions the sense of belonging. Thus, the problem of language and identity in contemporary poetry has somewhat changed its framework. As noted by Roderick Watson "for contemporary literature if identity is an issue, it is more likely to be framed in the context of personal, existential, political or sexual being" [2]. Thus, in the context of the linguistic and cultural pluralism of Scotland, the question that naturally arises is in what ways the writer's individual language or voice is brought into literature. Texts of contemporary literature provide ample material for researchers to study how the issue of the linguistic identity finds its way in poetry. On the other hand, in this part of the paper, we seek to determine what makes a literary work truly Scottish and whether it is only the language that matters most in this respect. For the study of these issues, our choice has stopped on several contemporary Scottish poets, who pen their work both in English and Scots.

W.N. Herbert, who was born in Dundee, but spent his student years at Oxford and currently is a professor at Newcastle University, pens his work in both English and Scots and states that English is not an "either/or situation" for his work. As he notes: "I do not want to choose between them (English and Scots); I want both prongs of the fork. Are not we constantly hopping registers like? socially-challenged crickets? My motto is And not Or" [3].

He considers himself a "polystylist, obsessed by how different modes of writing interact—not just Scots or English, but also formal or free verse, poetry on the page or in performance, long poems, forty-line lyrics. Everything's a dialect" [4].

The poet has also mentioned that "Scots is a language capable of doing more than English, capable of doing something different from English that criticizes and, ultimately, extends English. That is the spirit in which I write Scots poetry" [5]. What is obvious is that, for Herbert, the status of Scots is not an end in itself. His position with respect to the language policy in Scotland can be discerned in his "Can't Spell, Won't Spell" poem published in *The Thing That Mattered Most: Scottish Poems for Children* in 2016. The poem deals with the ambiguity and distrust towards the efforts of the public authorities aimed at standardisation of Scots. The fact that there is no standardised orthography of Scots and the failure to come up with a unified system of

spelling has led to the launch of the Scots Spellchecker Programme, ‘Canny Scot’, which has aroused much concern. By the way, the name of the spellchecker program is a pun involving on one side the meaning of the word “*cannie/canny*”, which means “wise”; “clever” and the homonym “*cannae*”, which means “cannot”.

Cannae spell, winnae spell – lay it oan thi line:
when it come tae orthagraphic skills this laddie disnae shine.
Eh cannae spell ‘MaGonnagal’, Eh cannae spell ‘Renaissance’ –
hoo Eh feel aboot this flaw is becummin raw complaysance.
If Eh cannae spell in English dae Eh huvtae spell in Scots?
Is meh joattur filled wi crosses when thi proablem is wir nots?
Wir not a singul naishun and ther’s not a singul tongue:
we talk wan wey gin wir aalder and anither if wir young;
we talk diffrent in thi Borders than we dae up in thi Broch;
wir meenisters talk funny when they skate oan frozen lochs.
Huv ye seen hoo Lech Walensa’s Roabin Wulliums wi a tash?
Huv ye noticed hoo Pat Lally’s kinna nippy wi thi cash?
Well yi widnae if yir sittan wi yir heid stuck til a screen
trehin tae spell oot whit ye think instead o seyin whit ye mean [6].

The poem reflects the distrust towards the spellchecker program and the efforts to standardise something which can hardly be standardised. The author is quite frank in bringing his arguments: “*we are not a single nation, and there is not a single tongue/ older and young people speak differently/ the language is different from region to region/ ministers’ language is different depending whether they are in the office or outdoors*”. It can be inferred that the program is not a sufficient tool to standardise the language because of objective factors. With all the diversity and plurality of forms there is no chance for a spellchecker program to differentiate between thoughts and meanings: *trehin tae spell oot whit ye think instead o seyin whit ye mean*.

The poem is written in what is known as dense Scots¹ but entitled in English. The language is a medium which helps bring up a typically Scottish problem and impart the reactions against the problem of the status of Scots, the futility of the efforts to standardize it. We can just as well assume that for W.N. Herbert, the freedom of choice between English and Scots gives him a broader language spectrum and allows him to experiment with the language, thus introducing his voice in poetry.

Similar attitudes are shared by a vast majority of Scottish authors who are inclined to use both Scots and English in their works. For instance, Edinburgh Makar Christine De Luca, who pens her poetry in Shetlandic, a distinctive dia-

¹ The terms “dense” and “thin” Scots were suggested by J.D. McClure (1979) in his classification of the writings in Scots, i.e. how Scottish the text has to be to qualify as Scots rather than Scottish Standard English. According to his model, thin Scots contains few Scots words and other Scots features, and dense Scots has significant quantities of Scots lexis, contains orthographic forms, and has Scots grammar and idioms [7].

lect of Scots, and English, confesses that at the beginning of her career she wrote in Shetlandic when the location or theme of the poem seemed to fit and the more reflective type of poem she found sensible to write in the wonderfully rich, subtle, pliable English, this was necessary in particular because of the lack of abstract nouns in Shetlandic. However, when she moved to Edinburgh, she read her dialect poetry in Edinburgh literary circles, and it came to her as a big surprise when people told her that though they do not understand the words, they enjoy the sound of the language and it seems that they understand what the poem is about. So this helped the poet to break her personal linguistic barrier and not confine the Shetlandic dialect to parochial and local themes only [8].

On the one hand, it is understandable that the use of dialect in literature is an important factor for the preservation and transmission of a particular culture. Moreover, the poet's penchant for the use of the Scottish tongue or the mixture of English and Scots can be explained by the simple truth that the writer can write and express well only in the vernacular tongue. It will not be out of place to cite W.B. Yeats who lamented the fact that Ireland could not produce such a great poet as Burns simply because of the lack of the Irish writers in their mother tongue: "no man can write well except in the language he has been born and bred to, and no man, as I think becomes perfectly cultivated except through the influence of that language . . ." [9]. On the other hand, which is of no less importance, the simultaneous use of Scots and English is a means to view the issue of identity via language and highlight the ways of tackling the conflict of linguistic identities. Sometimes the use of English turns into a vehicle for exploring the issue of identity from the outside, the mixing of different voices contributes to the poet's self-understanding and defining where the poet belongs.

Contemporary Scottish poetry provides an ample material for the study of these questions. The dramatic voice of the author, the mixture of languages and dialects make it possible to view a set of poems from a Bakhtinian angle with the help of such notions as dialogism and heteroglossia¹. This kind of approach enhances a closer study of poems and helps reveal the internal conflict arising at the clash of two linguistic identities.

The clash of linguistic identities is a central theme of many poems by Jackie Kay's poems, an undeviating devotee of Scottish culture and nationalism. Somehow, Kay is also one of those Scottish poets who has undergone estrangement from Scotland and whose poetry, among other issues, dwells upon the issues of Scottishness and identity from a female perspective, by using a powerful

¹ It is worth mentioning that Bakhtinian theoretical tools have previously been applied for the study of Burnsian poetry, particularly, notable is D. Morris's "Burns and Heteroglossia" (1987), where, by comparing Burns and Pope, the author comes to the conclusion that the voices Burns incorporates in his verse represent a much wider social range, which extends even to the large illiterate and unliterary audience [10. P. 22]. Morris notes that "the freedom of speech which was one great aim of political revolution in Burns' age receives a larger—social and cultural—meaning in his work. For Burns, speech was itself a metaphor and arena for freedoms which politics cannot assure" [10. P. 23].

dramatic voice and a discernible tendency for the dialogic, expressed through the dramatic conflict of English and Scots voices. “Old Tongue” (2007) by Kay [11] combines the drama and the conflict of voices, which enables us to read the poem from a Bakhtinian angle.

This partially autobiographical poem is written in *thin* Scots, the prevalence of English being the background for the unveiling of the internal identity conflict involving both psychological and linguistic aspects.

Kay describes the miserable state of an eight-year-old girl forced to move to London, which made her face the loss of the vernacular tongue, as not long after she finds a strange change: *I lost my Scottish accent*. The poem goes on telling the strange changes that she experiences: *My own vowels started to stretch like my bones*, the comparison of the stretched vowels with the stretching of bones indicates the physiological change that she is to face and which is no easier than the psychological adaption that awaits her. The change of the location also resulted in the disappearance of the *dour* (dear) Scottish words (*eedyit, dreich, wabbit, rabbit/ stummer, teuchter, heidbanger,/ so you are, so am ur, see you, see ma ma,/ shut yer geggie or I'll gie you the malkie!)* as they were ousted while *new words marched in: ghastly, awful,/ quite dreadful . . .*”. It is conspicuous that this is not a mechanical shift of the vocabulary as the attitudes towards those new words and things denoted by them also undergo changes: *scones* said like *stones./ Pokey hats* into ice cream cones. *Scones and pokey hats* in the south get associated with *stone* and *ice*, hence that loss of the native tongue has entailed a loss of gustatory pleasure.

The second stanza of the poem places us immediately in a context of direct address: *Did you ever feel sad when you lost a word,/ did you ever try and call it back/ like calling in the sea?* where the speaker’s words imply a dialogic or reciprocal exchange, even when actual dialogue is absent.

The last stanza sounds the deep transformation that the girl has undergone on the English soil, as even her cry has lost its Scottish sound: *I cried one day with the wrong sound in my mouth.* The realization of the deep transformation, which is equal to the loss of one’s sense of belonging, makes the yearning for the lost old words even stronger:

Out in the English soil, my old words
buried themselves. It made my mother’s blood boil.
I cried one day with the wrong sound in my mouth.
I wanted them back; I wanted my old accent back,
my old tongue. My dour soor Scottish tongue.
Sing-songy. I wanted to gie it laldie.

Throughout the poem, the two voices clash and coalesce internally as English and Scots follow one another as the girl mourns and yearns for the old words. This is how the conflict of voices evolves.

We may also follow how the Bakhtinian notion of heteroglossia finds its way in this poem. Heteroglossia “represents the co-existence of socio-ideological

contradictions between the present and the past, between differing echoes of past, between different socio-ideological groups in the present, between tendencies, schools, circles, and so forth, all given a bodily form” [12]. The change of the native location and the difficulty of accepting the new environment with all the entailing consequences depicts the confrontation of the two realities—the past and the old cannot come in terms with the present, the new; the changes the girl finds in herself which is demonstrated in the mixed use of English and Scots provide the ground for revealing the conflict between linguistic identities with the help of the language itself.

Discussing other poems by Kay, also by Carol Ann Duffy, and many others, it becomes evident that the use of Scots is not a necessary condition in their poetry to touch upon the problems of identity and sense of belonging. W. R. Aitken claims: “There is a tendency for the Scots writer’s nationality to make itself felt, even when writing in English” [13].

For instance, in “Something Rhymed” [14], which celebrates the friendship with Scottish novelist Ali Smith, Kay’s female perspective on friendship gets intermingled with the love for Scotland. We can observe that female and national selves are subtly brought together in a small piece of text. The naturalistic description of the feelings is achieved through direct references to indigenous, not anglicised toponyms (*Tongland Bridge Solway Firth, Big Water of Fleet, Loch Doon, Galloway, Luce Bay, etc*), which expands it from a friendship poem into a deeply patriotic melody. The Scottish landscape and nature has a special claim on the author. The combination of friendship and country imparts lyricism, plays a patriotic rhythm, and provides a more intricate variety of experience. The associations of the friend with Scottish realia (*glens, cairns, lochs, forest, wild goat, beeswing, freshwater spring, red deer*) hints at the self-sufficiency of the author, a Scottish friend is more than a friend, it is closely connected with the feeling of home, and it is her essence: *This feeling inside me could never deny me*, and this is *Nothing old, nothing new, nothing ventured*.

Duffy’s “Originally” [15], written all in English, again questions the issues of linguistic identity and the sense of belonging. As a young child, Duffy had to move to the south, and this poem tells the despair of having to part with the native land and vernacular tongue:

< . . > I remember my tongue
shedding its skin like a snake, my voice
in the classroom sounding just like the rest. Do I only think
I lost a river, culture, speech, sense of first space
and the right place? Now, *Where do you come from?*
strangers ask. *Originally?* And I hesitate.

In the last stanza, Duffy correlates her sense of belonging with the native tongue, which has changed and transformed now. The comparison of the loss of tongue with the snake shedding its skin hints at the naturalness of the process, but this change has not resulted in full adaptation, and hence her voice is not

assimilated to the new setting, which in turn augments the need of defining her place: *my voice/ in the classroom sounding just like the rest*. The move to London caused a set of losses: of home, culture, speech and place and not only. She is now confused answering where she comes from “Originally?”.

In terms of the reflection of Scots, “Something Rhymed” and “Originally” are written in English. In the first poem, the lack of Scots is supplanted by the numerous references to the Scottish toponyms and realia imaging the sense of belonging, while in the second poem, the author tries to define her place of belonging by recalling her voice. Scottishness is indisputable in both poems, for English is only a medium for reflections from the outside. Scottishness is woven into the text macrolevel, combining the theme, the aim, the tone, and authorial attitude. The sense of belonging seems to be embedded in the messages hidden in between the lines, triggered by the mindset and the individuality of the author.

Scots: Identity, Reputation, Connotations

Although the topic of identity is well studied, there is always controversy about it, particularly, the controversy caused by the place of language in the concept of identity. Many authors [16] agree that identity without language is unimaginable; and yet language does not necessarily play the central role in a person’s understanding of self. This idea is also proved by the results of the survey we conducted in Kostroma State University. One hundred and three students from various backgrounds were asked which languages they spoke on a regular basis and how they would define their national identity. The results showed the direct correlation between language and identity in 46 cases. Therefore, we may draw a conclusion that language might not necessarily be the tool of self-expression and the ground for self-identification.

In our opinion, Scots can hardly be regarded as an exception, because we may see certain parallels with the language situation in Russia. Scots is spoken locally within a particularly territory; another language is used as official; Scottish people often come from mixed backgrounds. Besides, lack of standardisation prevents Scots from receiving an official status of a regional language (unlike Gaelic). According to the 2011 Census in Scotland, less than one-third of Scottish population reported the ability to speak Scots. At the same time, the question about national identity produced the following results.

62% of the total population stated their identity was ‘Scottish only’. That proportion varied from 71% for 10- to 14-year-olds to 57% for 30- to 34-year-olds. The second most common response was ‘Scottish and British identities only’, at 18%. This was highest in the 65 to 74 age group, at 25%. ‘British identity only’ was chosen by 8% of the population. The highest proportion stating this identity was the 50 to 64 age group (10%) [17].

These results demonstrate the absence of a clear correlation between language and identity. Despite this, the number of Scottish authors using Scots spelling and writing whole pages in Scots is growing. The traditional explana-

tion simplifies the understanding of this phenomenon. It is usually thought that Scottish words make the text more expressive and add national colours.

However, this point of view contradicts the contemporary Scottish understanding of national colours. Scottishness as seen by Robert Burns, Walter Scott, and, later, Robert Louis Stevenson, has undergone considerable changes in the past two decades. Many Scottish people, although grateful to Walter Scott for rekindling the interest in Scottish history, doubt whether the whole world should perceive Scotland as the land of haggis and tartan. In spring, many Edinburgh-based newspapers open a discussion on the need in souvenir shops on the Royal Mile. Critics of the shops wonder whether tourists indeed need a “Tartan tat” of Chinese manufacture and argue that Scotland has more to offer. Many people in Scotland seek to avoid association both with the 19th-century images created by Scott, and with the imperial past seen in Victorian, Georgian, and Regency architecture.

Contemporary literature in Scotland has firmly established itself among the new Scottish attractions. Scottish authors have become known outside Scotland. James Robertson, an outstanding contemporary writer, says Scotland is now the country where you can earn your living by writing. He attributes the phenomenon to the revival of political life in Scotland after the country was granted its own Parliament. Proud to be Scottish, he regularly resorts to Scots in his works. The whole passages and chapters in *The Testament of Gideon Mack*, *The Fanatic*, *And the Land Lay Still* are written in Scots with only minor explanations and comments. Yet he admits that it is the use of Scots that was an obstacle for the sales of his books in North America [18]. In these novels, national colours are so obvious that it seems unnecessary to write in Scots at all. We may assume, therefore, that the use of Scots in contemporary Scottish fiction aims at something different from national colours and the atmosphere of Tartan, mountains and bagpipes.

National identity in its rebellious manifestation may be one of the explanations. Liz Lochhead in the preface to the 2009 edition of *Mary Queen of Scots Got her Head Chopped Off* [19] says that the victory of the Tories in 1987 drove Scotland into a gloomy mood as Margaret Thatcher was strongly opposed by the Scottish electorate. That is why, although the play was not intended as a parallel between the story of Mary and the political situation in 1987, it was clear Scotland had a “need to tell our own stories and find our own language to tell it in” [20. P. x]. Lochhead describes the surge of emotions when the opening lines of the play—*Once upon a time there were twa queens on the wan green island*—sounded to her natural and accurate, and fitted the voice of Corbie, a character with the pan-Scotland overview. Before translating Tartuffe in 1985, Lochhead did not realise that she was able to communicate in Scots effectively, but in the process of writing, she understood her Scots developed into a rich language she later used to write Mary’s lines. The following example illustrates how effective Scots is when Knox speaks to Mary:

MARY. Ye are oversair for me!

She breaks down sobbing. He is astonished, even sorry.

KNOX. Madam, in God’s presence I swear that I never delightit in the weeping of ony o God’s creatures. As I can scarcely staun the tears o my ain wife or

ma ain young sons when ma ainhaund is forcit to correct them, faur less can I rejoice in the greetin and howlin and bawlin o Yir Majesty. (Act 1, Scene 4)

The thought that Scots served the purpose of writing fiction as effectively as English was well accepted by other Scottish writers. Irvine Welsh and his novels set in Edinburgh, and Glaswegian James Kelman have been using Scots in their fiction. However, this use of Scots had a visible side effect: after *Trainspotting* by Welsh [20] was published, Scots all over the world earned the reputation of the language spoken by drug-dealers, thugs and other criminals:

He wistakinnaemair notice though. Ah stoaped harassing him, knowing thit ah wisjistwastin ma energy. His silent suffering through withdrawal now seemed so intense that thirwisnaewey that ah could add, even incrementally, tae his misery. 'Mother Superior' wis Johnny Swan; also kent as the White Swan, a dealer whaewis based in Tollcross and covered the Sighthill and WesterHailes schemes. Ah preferred tae score fi Swanney, or his sidekick Raymie, rather than Seeker n the Muirhouse-Leith mob, if ah could.

The characters created by Kelman, who belong to the Glaswegian working class or the homeless, established the reputation of Scots as the language of the poorest layers of society. However, Scots as the language of law, philosophy, literature, schooling was used in Scotland less than 250 years ago, and was discouraged from public use as an attempt to destroy the memory of the Jacobite Risings. This idea of Scots used as an official language is emphasised in the novel *The Fanatic* by James Robertson [21], where the action takes place in contemporary Edinburgh and the Edinburgh in 1670. The legal discussions concerning the man charged with treason are written in Scots; they imitate the style of real Scottish legal papers of the 17th century. By a skillful combination of English and Scots to describe interrogation in court, the author makes it easier for the contemporary English-speaker reader to understand the text and at the same time creates the effect of the reader's presence among Scots-speaking people:

'John, ye are reckoned a good man, a kindly man,' Mackenzie said. 'Ye take a care over the unhappy persons that ye are responsible for. Did ye have friendly dealings with the panel, Maister Mitchel, when he was kept in the Tolbooth four year syne?'

'Aye, my lord. We'dhae a conversation noo and again.'

'And did ye discuss with him this matter of the shooting at the Archbishop?'

'Aye, my lord.'

'And did he acknowledge the deed to ye?'

'Aye, my lord.'

'And did he ever justify this deed?'

John Vanse looked over to the panel, but Mitchel studiously avoided his eye. Lauder watched them avidly. He thought of what Mitchel had told him on the Bass. Had Vanse ever connected the prisoner of 1674 with the man who had come to visit Major Weir four years before that, claiming to be his son? If he had, or if he did now, would that make him more or less likely to hurt Mitchel? Or would it make no difference at all?

'Did he ever justify this deed to ye?' Mackenzie repeated.

Vanse was staring at Mitchel, as if a clock or some such mechanism were clicking and whirring in his brain. Then he spoke.

I mind yince, we spakaboot evil, whit evil was, whether it was frae man or frae Satan. I'dkent aw kinds o men that had come through the Tolbooth, and it wasna clear tae me wi some o them where their badness cam frae. I mind I asked him how he could kill a man in cauldbluid. I mean, a man that hadnna done him ill. I asked him how ony man could be pairty tae saewickit an act.'

'And what was his reply?'

Vanse hesitated, looked again at Mitchel.

'He said it wasna in cauldbluid. He said the bluid o the saints was reekin at the cross o Edinburgh.'

The crowd stirred.

Although difficult to read at first, the pages written in Scots soon start showing the complexity and richness of the language and rid the reader of the idea that Scots is a primitive, broken form of English. (It should be mentioned, though, that according to Anne Nihtinen [22], speakers of Scots sometimes use words *accent, dialect or slang* to describe their native language).

Using Scots in fiction may also be prompted by the ideas of Scottish independence. Hugh MacDiarmid feared almost a century ago that Scottish writers would soon be writing in English and in 1925 produced several poems in Scots as, in his opinion, Scots can be compared with a Dostoevskian debris of ideas. His Scots masterpiece *A Drunk Man Looks at the Thistle* appeared several years later and was praised by those who found the ideas of Scottish independence attractive. However, MacDiarmid himself found Scots inadequate to the goal of making Scotland known beyond its own territory. He admitted that English is the only language through which Scotland should channel its image and ideas as Scots is not spoken anywhere else. Similar ideas were later expressed by many post-colonial writers: English enabled them to be heard all over the world whereas the use of their mother tongues was limited by the territory where they were spoken.

Edwin Morgan, one of the most outstanding Scottish poets of the 20th century, preferred not to use Scots at all. We may perceive it as a paradox: the poem written by Morgan to celebrate the Opening of Scottish Parliament and carved on the wall in Scottish Parliament was composed neither in Gaelic, nor in Scots, but in English. However, there is no paradox here. The poem, first of all, is an address of the electorate to parliamentarians. People in Scotland ask them to make wise, clever and unbiased decisions. However, the poem addresses not only Scottish politicians. It sounds like a subtle warning to England and it seems that it is directed straight across the road from Scottish Parliament to Holyrood Palace, the official residence of the Queen in Scotland.

Did you want classic columns and predictable pediments? A growl of old Gothic grandeur? A blissfully boring box?

Not here, no thanks! No icon, no IKEA, no iceberg, but curves and caverns, nooks and niches, huddles and heavens, syncopations and surprises. Leave symmetry to the cemetery. But bring together slate and stainless steel, black granite and grey granite, seasoned oak and sycamore, concrete blond and

smooth as silk – the mix is almost alive – it breathes and beckons – imperial marble it is not! [23].

The ideas of Scottish independence and Scottish identity expressed in *And the Land Lay Still* (2010) by James Robertson are again worded in English, although, as we have mentioned above, Robertson welcomes the revival of political life and parliamentarism in Scotland and uses Scots regularly in his works. *The Testament of Gideon Mack* (2006), written mostly in English, includes passages in Scots where the author tells the ancient legends. It seems, therefore, that Scots is not a political tool for Robertson; it is a technique used to travel between the last and the present as he did in *The Fanatic*.

Scots now seems a powerful literary tool; however, the attitude to Scots in reality may still be as to the language of lower classes. When Jackie Kay performed her functions as Edinburgh Makar, she made a project of putting her poem in Scots “Welcome Wee One” into boxes the Scottish government gives to mothers of newly born babies. This caused controversy among the mothers; one of the arguments against the poem was the low status of Scots in the country.

O ma darlin wee one
 At last you are here in the wurld
 And wi' aa your wisdom
 Your eenbright as the stars,
 You've filled this hoose with licht,
 Yer trusty wee haun, your globe o' a heid,
 My cherished yin, my hert's ain!
 O my darlin wee one
 The hale wurld welcomes ye:
 The muneglowes; the hearth wairms.
 Let your life hae luck, health, charm,
 Ye are my bonny blessed bairn,
 My small miraculous gift.
 I never kentluve like this [24].

At the same time, most women criticised the poem for telling them how to feel about their newborns and admitted they do not share the same feelings as they suffer from post-natal depression. That is why the language of the poem might not necessarily be connected with the outrage it caused. A resource however posted comments of mothers. One of the comments clearly states: *It's really not representative of 'my scotland'*. One more comment runs: *I have to say, while well intentioned, the fact that the poem is written in Scots means that it automatically feels exclusive and unwelcoming to those of us mothers in Scotland who are either not Scottish, or don't engage with/ understand Scots. While I enjoy listening to Scots songs or poetry, I would not have found this poem inspirational or soothing in my confused, hormonal state after my LO was born. All that being said, the last line is beautiful - and true* [25].

Some more radical comments from other online resources insist that the poem was an attempt to revive Scottish culture—the thing that does not exist [26].

Therefore, even from the comments on a well-meant poem to newborns, we can see the division of the Scottish society about using Scots as the language of literature, not the slang of streets. It seems that contemporary Scottish authors may influence this point of view by writing a word, a phrase, a line, a page in Scots. Gradually and unevenly, Scots may become what it used to be once—the language officially recognised and used. However, it will take a long time.

Conclusion

Both the linguistic and political situations in Scotland are characterised by complexity and intricacy of the relationships among the parties involved. The analysis of the poetry and prose made for the purpose of the study has shown the scope and scale of the problem. Lack of the official status and a long way to recognition as an official language has reduced Scots to the dubious position between a language and a regional dialect. Even speakers of Scots find it difficult to say whether they consider Scots a “proper” language; the same disagreement in academic circles does not clarify the situation.

The Independence Referendum of 2014 and the pre-referendum campaign by the Scottish National Party gave an unprecedented boost to the popularity of Scots. However, Scots cannot be regarded as a tool used to fight for a political cause. While many authors and poets highlight the importance of the language as part of national identity and emphasise their loyalty to the ideas of Scottish independence through use of Scots or Scotticisms, others resort to Scots in their works exclusively for the purpose of setting the tone and the mood of the narrative, thus following the tradition set by Sir Walter Scott almost two hundred years ago. Some authors avoid using Scots completely, either in the attempt to distance themselves from the “language of lower classes”, or, on the contrary, to make Scottish ideas heard beyond Scotland.

All this reflects the complexity of the language situation and the attitude of various groups of population to Scots. Opinions of people who are not engaged in literature and publishing also vary considerably. Identifying themselves as Scots, they, nevertheless, may not see the need of using Scots in many situations.

The future of Scots and its official status, however, does seem to be connected with politics. While voting to remain part of the UK, many people in Scotland did not foresee the Brexit conundrum and the threat it poses to the idea of Scotland as a truly European nation. While the political situation results in the controversy around the search for Scottish identity, Scottish writers and poets remain a powerful force to make Scots popular again so that it can be used as an official language and not an ornamental element in books and shops for tourists.

References

1. Häcker, M. (1999) *Adverbial Clauses in Scots. A Semantic-Syntactic Study*. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.

2. Watson, R. (2006) *Living with the double tongue: contemporary poetry in Scots* *The Edinburgh History of Scottish Literature*. Vol. 3. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 163–175.
3. Herbert, W.N. (1994) *Forked Tongue*. Hexham: Bloodaxe. pp. 5–12.
4. O'Rourke, D. (ed.) (1994) *Dream State: New Scottish Poets*. Edinburgh: Polygon. p. 144.
5. Kelly, S. (2009) *Headshook: Contemporary Novelists and Poets Writing on Scotland's Future*. Hachette Scotland. Scotland on Sunday.
6. Herbert, W.L. (2006) Can't Spell, Won't Spell. In: Johnstone, J. (ed.) *The Thing that Mattered Most: Scottish Poems for Children*. Scottish Poetry Library.
7. McClure, J. (1995) Scots and its Use in Recent Poetry. In: *Scots and its Literature*. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins Publishing Co. pp. 171–190
8. De Luca, C. (2010). 'Language and my poetry'. In: Millar, R.M. (ed.) *Northern Lights, Northern Words*. Aberdeen: Forum for Research on the Languages of Scotland and Ireland. pp. 107–121.
9. Crowley, T. (2000) *The Politics of Language in Ireland 1366–1922: A Source Book*. London; New York: Routledge.
10. Morris, D. (1987) Burns and Heteroglossia. *The Eighteenth Century*. 28 (1). pp. 3–27.
11. Kay, J. (2007) *Old Tongue*. [Online] Available from: <https://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poem/old-tongue/>.
12. Bakhtin, M.M. (1981) *The Dialogic imagination: Four Essays*. Austin, TX: University of Texas Press.
13. Aitken, W.R. (ed.) (1982) *Introduction. Scottish Literature in English and Scots: A Guide to Information Sources*. Detroit: Gale Research Co.
14. Kay, J. (2008) *Something Rhymed*. [Online] Available from: <https://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poem/something-rhymed/>.
15. Duffy, C.A. (2004) *Originally*. [Online] Available from: <https://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poem/originally/>.
16. Jackson, J. (2014) *Introducing Language and Intercultural Communication*. Routledge.
17. Scotland's Census. (n.d.) *Ethnicity, Identity, Language and Religion*. [Online] Available from: <https://www.scotlandscensus.gov.uk/ethnicity-identity-language-and-religion>. (Accessed: 02.04.2019).
18. Campbell, J. (2010) A Life in Writing: James Robertson. *The Guardian*. 14th August.
19. Lochhead, L. (2009) *Mary Queen of Scots Got Her Head Chopped Off*. London: NHB.
20. Welsh, I. (1993) *Trainspotting*. Secker & Warburg.
21. Robinson, J. (2001) *The Fanatic*. Fourth Estate.
22. Nihtinen, A.L. (2005) *Scotland's Linguistic Past and Present: Paradoxes and Consequences*. [Online] Available from: <https://journal.fi/scf/article/view/7411/5763>. (Accessed: 02.04.2019).
23. Morgan, E. (2007) *A Book of Lives*. Carcanet.
24. Kay, J. (2018) *Welcome Wee One*. [Online] Available from: <https://girlwithherheadinabook.co.uk/2018/10/saturday-poem-welcome-wee-one.html>
25. *Mumsnet*. [Online] Available from: <https://www.mumsnet.com/Talk/parenting/2816834-love-to-know-what-people-think-of-this-poem>. (Accessed: 02.04.2019).
26. Smith, I. (2017) Caledonian Culture War. *Blood and Porridge*. [Online] Available from: <https://bloodandporridge.co.uk/wp/?p=7404>. (Accessed: 02.04.2019).

Шотландский в современной прозе и поэзии: проблемы и противоречия*М.С. Саркисян, Е.В. Зимина*

Ключевые слова: скотс, современная шотландская литература, язык и политика, шотландское национальное самосознание.

Саркисян М.С., Зимина Е.В. Шотландский в современной прозе и поэзии: проблемы и противоречия // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2020. № 66. С. 261–275. DOI: 10.17223/19986645/66/14

В статье обобщаются результаты исследования использования языка скотс в современной шотландской прозе и поэзии. Целью исследования являлось выявление функций текстовых фрагментов, написанных на языке скотс и включённых в тексты, написанные на английском языке. Мы также предприняли попытку понять, чем руководствуются современные шотландские поэты, которые за последние десять лет всё чаще используют скотс для написания стихов. Наша гипотеза строилась на предположении, что существует прямая связь между увеличением числа текстов на скотс и политическим пробуждением страны с конца 1990-х гг. Следовательно, мы предположили, что вышеупомянутая литературная тенденция отражает возрождение интереса к шотландской истории и традициям, а также необходимость в новом образе Шотландии в мире. В исследование мы включили краткий исторический обзор, чтобы продемонстрировать, как этот образ и отношение к языку скотс менялись в течение нескольких веков и привели к нынешней сложной языковой и исторической ситуации. Мы выбрали ряд писателей и поэтов, которые используют скотс в своих работах. Так как число таких авторов постоянно растёт, мы ограничились Макарами Эдинбурга (аналог Поэтов-лауреатов), а также теми, кто получил престижные литературные премии или был выдвинут на них. Для того чтобы уравновесить наше субъективное мнение, сформировавшееся при чтении и анализе текстов на скотс, мы изучили интервью с этими авторами в британских и шотландских газетах, критические обзоры и читательские комментарии в социальных сетях, а также результаты Шотландской переписи населения 2011 г. Полученные нами результаты подтвердили нашу гипотезу лишь частично. Рост числа текстов на скотс действительно связан с ростом политической активности. Однако это не обязательно означает возрождение Шотландского Парламента в 1999 г. и кампанию по подготовке к референдуму о независимости в начале 2000-х гг. Корни явления лежат в 1980-х гг., когда Маргарет Тэтчер была избрана на повторный срок, что вызвало разочарование в Шотландии и побудило многих авторов дистанцироваться от Англии. Что касается нового образа Шотландии и использования скотс для пробуждения чувства национального самосознания, в этом вопросе, по нашим наблюдениям, существует много спорного. Некоторые писатели и поэты действительно рекламируют национальную идею, демонстрируя, как скотс может использоваться в сфере права, религии и истории. Другие используют скотс для создания речи необразованных слоёв населения. Некоторые поэты полагают, что скотс не подходит для того, чтобы представлять новую Шотландию, поскольку использование языка ограничивается территорией самой Шотландии. Исследование показало, что более частое использование скотс в прозе и поэзии, вызванное политическими изменениями, действительно способствует развитию интереса шотландцев к собственным корням. В то же время и авторы и читатели выражают сомнение, должен ли скотс играть ведущую роль в формировании нового образа Шотландии и может ли он возродиться в качестве официального языка.

УДК 821.161
DOI: 10.17223/19986645/66/15

Т.П. Шастина

«ГЕНИЙ МЕСТНОСТИ» – Г.Н. ПОТАНИН ОБ УСАДЬБЕ ХУДОЖНИКА Г.И. ГУРКИНА НА АЛТАЕ¹

Исследуется проблема «genius loci» на примере образа художника-алтайца Г.И. Гуркина в областнической трактовке. На основе перекрестного прочтения пепетиси Г.Н. Потанина с М.Г. Васильевой и публикаций Потанина в «Сибирской жизни» анализируется роль усадьбы Гуркина в Горном Алтае в культурной жизни Сибири. Автор приходит к выводу, что наделение Аносом ролью Гемтингена стало образом реализованной мечты областников о создании в Сибири собственных центров науки и искусства.

Ключевые слова: Гуркин Г.И., Потанин Г.Н., Васильева М.Г., Г. Гейне, Русский Алтай, село Анос, культурный центр, инородцы, газета «Сибирская жизнь», областничество.

Сибирский аспект изучения историко-культурного наследия России ныне активно развивается в проблемном поле «национальное, имперское, колониальное в русской литературе» [1]; в новейших сибироведческих исследованиях «казиатская (восточная) компонента представляется… ценностно-эстетической реальностью анализируемого материала» [2. С. 6]. Развитие в искусстве образа Алтая² – одной из типичных восточных окраин Российской империи (в Сибири этот регион «был в полном смысле слова окраиной Великой Окрайны» [7. С. 101]) – имеет свои особенности: в отличие от других окраин, в которых региональная литература выполняла презентирующую функцию – см. [8], т.е. представляла «свой народ, так сказать, внешнему наблюдателю» [9. С. 14], здесь эту функцию первоначально взяла на себя живопись.

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Алтай (грант № 18-412-040007 р_а).

² В отличие от современного нам словоупотребления топонимом *Алтай* традиционно называли *Русский Алтай*, т.е. принадлежавшую России часть Алтайской горной страны к северу от реки Бухтармы. «Этот русский Алтай не есть собственно горная окраина, а могучая передовая горная группа, вдающаяся от Алтайской системы в Барабинскую и Киргизскую степи; кроме востока, он со всех сторон окружен равнинами» [3. С. 480]. Составители новейшей антологии «Образ Алтая в русской литературе» про странственно объединяют топонимом Алтай территории современного Алтайского края и Республики Алтай (Горного Алтая) [4]. И историческое и мифопоэтическое наполнение топонима *Алтай* не предполагает подобного объединения: работая над эпическими сказаниями алтайцев, Потанин обнаружил, что «...в сказках не один Алтай, а иногда упоминаются три и даже девять Алтаев; и есть белые Алтай, и синие, и желтые, и черные» [5. С. 167–168]. См. объяснение этой особенности в фольклоре тюрко-монгольских народов [6. С. 282–286].

Творчество художника Григория Ивановича Гуркина (Чорос-Гуркин, 1870–1937) было первой самостоятельной заявкой территории о самой себе в культурном пространстве России. Несмотря на то, что в 1937 г. художник был обвинен в сепаратизме и расстрелян, в русской литературе на протяжении всего XX в. образ первого профессионального художника Сибири из инородцев рассматривался как символ Русского (Горного) Алтая. Осмысление русской литературой (а в конце XX в. и региональным сообществом Республики Алтай) образа Гуркина как гения места¹ происходило в Томской губернии в предреволюционный период под влиянием Г.Н. Потанина, идеолога сибирского областничества, поставившего вопрос о специфике сибирского искусства в общерусской культуре².

В первое десятилетие XX в. Томск³ полноправно начинает осознавать себя культурной столицей не только губернии (в состав которой входила тогда территория Русского Алтая), но и всей Сибири [13. С. 90–100, 337–344]. Геополитические факторы⁴, сдерживающие развитие культурной жизни в Сибири в предшествовавший период, Г.Н. Потанин называет «особенностями сибирской судьбы» и перечисляет их, готовя к изданию в Санкт-Петербурге книгу «Песни сибирячки» поэтессы из Барнаула М.Г. Васильевой. В частности, он пишет: «...Сибирь была и до сих пор остается большой тюрьмой. Печальная особенность этой области <...>, отчуждающая её от метрополии и не позволяющая идти с последней одним темпом⁵ жизни...», вызывающая «желание куда-то бежать, под другое

¹ Ныне имя Г.И. Гуркина играет значительную роль в позиционировании Республики Алтай как самодостаточного субъекта РФ, обладающего не только уникальной природой, но и богатыми культурными традициями (см. [10]).

² О постановке Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым проблем сибирского литературного регионализма см. в работе И.А. Айзиковой [11].

³ См. обзор литературы вопроса и описание исследовательских подходов к осмысливанию образа г. Томска в новейшей работе В.С. Киселева [12].

⁴ Об изменении к концу первого десятилетия XX в. административно-сдерживающих развитие культуры Сибири факторов свидетельствуют письма Г.Н. Потанина. В частности, он пишет Т.М. Фарафоновой (сент. – дек. 1908 г.), что Томск «...в нынешнем году вдруг превратился в настоящую умственную столицу Сибири. Только что кончились удущие, созданное бароном Нолькеном (целых три года царил!) <...> Теперь у нас новый губернатор Гондатти. После трехлетнего культурного голода город набросился на культурные удовольствия. Начались выставки садоводства, огородничества и художественные. Были три выставки картин: томских художников, барнаульского художника Никулина и приезжавшего художника Вучичевича. Потом пошли концерты (камерные, даже симфонические), юбилейные вечера (Толстого, Шевченко, Дарвина, Гоголя) и, наконец, лекции. В какой-то мере город повеселел...» [14. С. 95]. Позже в письме Л.Ф. Пантелееву от 6 февраля 1910 г.: «У нас теперь, благодаря Гондатти, такая оживленная деятельность, какой никогда в Томске не бывало... Сразу появилось до десятка новых обществ, и я во всех членом, а в некоторых и очень деятельным членом» [Там же. С. 101].

⁵ Для выравнивания темпов «в Сибири должна возникнуть своя оригинальная школа в искусстве, своя литературная школа, своя школа живописи, своя музыка», – писал Потанин Васильевой из Петербурга в марте 1901 г. и делился планами: «...я все мечтаю

небо. Ни одна область империи не страдает таким отливом своих лучших интеллигентных сил, как Сибирь» [15. С. II–III].

Этот традиционный для областнической литературы¹ тезис, открывающий сборник лирики, воспринимается как прием остранения, указывающий столичному читателю на неординарность самого факта проявления поэтического дара в «забытой, заброшенной» колонии, жители которой носят на себе «невидимые оковы»²; как способ привлечения внимания к окраинной территории, откуда молодежь и интеллигенция бежит «как из тюрьмы». Звучит это в предисловии Потанина вариацией «исповеди абсентеиста», которую другой идеолог сибирского областничества, Н.М. Ядринцев, тоже адресовал столичному читателю (см. [18. С. 13–14]). Подобная риторика была лишь одной стороной самопрезентации сибиряков на столичном уровне, другую сторону формировали утверждения, позволяющие периферии чем-либо гордиться перед столицей: например, вопреки расхожему представлению о неизученности *дикой* Сибири, академик Д.Н. Анучин, авторитетнейший антрополог и этнограф, один из корреспондентов Г.Н. Потанина, писал в «Восточном обозрении», что «в некоторых отношениях, можно сказать, Сибирь исследована теперь лучше, чем Европейская Россия», что в Сибири достаточно много истинно интеллигентных людей даже в крестьянской среде [19. С. 8].

Последнее утверждение ярко иллюстрировал факт возвращения из столичной Академии художеств на Алтай художника из алтайских инородцев Г.И. Гуркина. Благодаря Г.Н. Потанину он становится едва ли не самой популярной личностью в Томской губернии. Развитие образа художника в губернской периодике до 1917 г. шло в имагологическом ключе (от «алтайец Гуркин» до «родной художник Гуркин» [20]). Этноним *алтайец* в газетных публикациях того времени может быть заменен юридическим термином имперского периода *инородец* (к таковым относились «племена нероссийского происхождения»)³. Фигура художника-алтаяца была ответом на

составить в Иркутске артистический кружок из местных литераторов, художников, музыкантов, актеров, мечтаю об объединении этих местных сил с целью положить начало местному творчеству» [5. С. 24].

¹ Н.В. Серебренников, создавший «Схему причинно-следственных связей в русской областнической литературе», пришел к выводу: «Отличие областнической литературы от собственно литературы Сибири – в основе своей идеологическое» [16. С. 275].

² Добавим, что и в начале второго десятилетия XX в. мотивный комплекс «Сибирь – проклятое Богом место» еще активно функционировал в рассуждениях о современных сибирских писателях, но уже с оговорками: «На таком чувстве к Сибири воспиталось не одно поколение русских поэтов, пока жизнь создала новое положение, когда Сибирь могла встать с иной стороны, так, что природа её и любовь к ней вызвали уже целое литературное течение, целую группу так-назыв. «сибирских писателей», В их творчестве живы еще прежние переживания, но уже в новой окраске: их душа уже наполнена горечью за то, что бесконечно-дорогое для них – людьми проклинается» [17].

³ В инаковости (инородности) коренного населения Русского Алтая убеждают этнографическая информация, использовавшаяся еще при подготовке «Устава об управлении инородцами» 1822 г. (см. «Обычаи инородцев Бийского уезда: калмык и татар» [21. С. 1–3],

вопрос, решаемый областниками – «вопрос о культурных способностях инородческих племен и способности воспринять общечеловеческую цивилизацию» [22. С. 156]. Талант Гуркина расценивался как естественный дар могучей природы Алтая¹, а факт смерти на руках алтайского инородца его учителя – великого пейзажиста И.И. Шишкина обретал символическое значение передачи цивилизационного опыта.

Потанин, познакомившийся в Гуркиным в 1897 г., в письме от 20 ноября 1902 г. впервые связывает имя художника с конкретным местом на Алтае: «Чемал пришел мне в голову раньше, чем Вы упомянули это имя в своем письме. Имя это я давно знаю; туда ежегодно ездил из Петербурга улалинский² талантливый пейзажист Гуркин, чтобы писать этюды, и я видел чемальские виды и в альбоме Гуркина, и на академической выставке» [5. С. 46]. В нескольких верстах от Чемала, в селении Анос, Гуркин в 1903 г. начинает обустраивать усадьбу, возводить жилой дом и мастерскую. С этого года Потанин, окончательно поселившийся в Томске в 1902 г., целинаправленно формирует в газете «Сибирская жизнь» образ художника-алтайца, активного участника нарождающейся культурной жизни г. Томска и Томской губернии³. В скором времени тот круг общения, в который Г.Н. Потанин ввел художника в Томске⁴, начинает каждое лето перемещаться в это крошечное селение⁵, создавая в нем новый – принципиально

наблюдения и выкладки Н.М. Ядринцева [22. С. 92–109], статьи Г.Н. Потанина в «Живописной России» [23] и в базовой для губернского представления об Алтае книге В.В. Сапожникова «Пути по Русскому Алтаю» [24].

¹ Образ богатырской моши Алтая появляется и в лирике Васильевой:

Страны родной чудесный край
Красою гордою пленияет...
Могучий, царственный Алтай!
Он раны сердца исцеляет... [25].

Неоднократно ей вторит Потанин в «Сибирской жизни» (СЖ), акцентируя свой излюбленный тезис о взаимодействии науки и искусства в познании Алтая: «Величественный образ Алтая хотя и медленно, но с каждым годом все более и более обрисовывается перед нами благодаря трудам и усилиям его друзей, представителей науки и искусства. Его имя за последнее время стало гораздо известнее за пределами Сибири... господствующий тон в картинах Алтая – богатырская мощь...» [26]; алтайские картины «заставляют работать мысль» [27].

² Улала – место рождения Г.И. Гуркина, селение Бийского уезда Томской губернии, ныне г. Горно-Алтайск.

³ Пропаганда Г.Н. Потаниным творчества Гуркина рассматривается современными сибиреведами как одна из форм «проникновения областничества» в сибирскую жизнь [28. С. 25].

⁴ В полной мере этот круг можно очертить по автографам, оставленным на великолепно оформленном Гуркиным в духе алтайской этно-природной экзотики поздравительном адресе Потанину в связи с 80-летием от Томского общества изучения Сибири [29].

⁵ В окружении Потанина складывается устойчивое представление о том, что он сам каждое лето бывает на Алтае. «Почти каждый год, преимущественно летом, Гр. Ник. с супругой выезжают на Алтай, где проводят лето на курорте Чемал или в селении Анос, в усадьбе художника-алтайца Гр. Ив. Гуркина, с которым Гр. Ник-ча связывает не только дружба, но и горячая любовь обоих к Алтая и инородцам» [30].

светский – центр культуры на инородческой территории «во глубине России» (строки из стихотворения «В столицах шум, гремят витии...» Н. Некрасова были взяты Потаниным для эпиграфа к вышеуказанной статье об инородцах Алтая).

Томская губерния до этого времени знала о существовании в *диком Алтае* только очагов православной культуры – миссионерских станов, информация о просветительской деятельности которых регулярно появлялась в «Томских епархиальных ведомостях»¹. Отцы-миссионеры свой *воображаемый Алтай* представляли православному читателю в столичных изданиях через образ Афона [32, 33]². Миссионерский стан – это *своё в чужом*.

Усадьба же художника Гуркина в *Аносе* являла полную противоположность миссионерским отделениям: её по собственному замыслу с нуля возводит инородец на инородческой территории³; для него она – центр собственного мира, расположенный на границе *своего и чужого* пространств; из Аноса он отправляется в экспедиции вглубь Алтая и выезжает для организации персональных выставок в Томск и другие сибирские города. Судя по заметке Гуркина «Пасха в Аносе» [36], это весьма уютный мир, населенный крещеными инородцами. Селение Анос «ниже Чемала»⁴ как место пребывания Гуркина Потанин называет при первом публичном представлении томской публике алтайского самородка и его патриотических планов – «познакомить Россию с картинами Алтая» [38].

Об успешной реализации творческих планов художника свидетельствуют его персональные выставки (после экспонирования в Томске отправлявшиеся в Красноярск, Иркутск, Барнаул), подробнейшим образом освещавшиеся «Сибирской жизнью». В каталогах всех трех выставок Гуркина в Томске указывается аносский адрес художника: «Принимаются заказы на копии картин и этюдов по уменьшенным ценам. Адрес: Алтай, Улалинское почт. отд. Томской губ., Бийского уезд., село Анос. Гр. Ив. Гуркин» [39. Л. 122 а, об.]; «Постоянный адрес художника Гуркина: Алтай, с. Анос. Гр. Ив. Гуркину через Улалинское почт. отделение (Томск. губ. Бийского уезда собственный дом)» [40. Л. 94 а, об.]. Приложение «алтаец»

¹ См. характерный образец такой информации [31].

² Представление же о реальном Алтае, окормляемом Алтайской духовной миссией, позволяет сформировать подборка архивных документов, опубликованная историком Алтайской духовной миссии прот. Георгием Крейдуном, дающая в том числе сведения и о географии структурных подразделений миссии [34].

³ Это места кочевок 1-й алтайской дючины, дючина – административно-этническая единица, дючины, в отличие от волостей, «не имели определенной территории и объединялиaborигенов по родовому признаку»; в южном Алтае было 7 дючин и 2 Чуйские волости; жители 1-й дючины кочевали по правому берегу Катуни преимущественно в бассейне реки Маймы [35. С. 217].

⁴ Уточнение «ниже Чемала» многое говорило томичам – село Чемал на нижней Катуни к тому времени уже было излюбленным курортным местечком жителей губернской столицы; например, летом 1903 г., с которого мы ведем отсчет, там проживало около 90 семейств дачников, в 1904 г. поток отдыхающих склынулся из-за волнений бурханистов [37].

к имени Гуркина на первых страницах каталогов выставок зимы 1907–1908 гг. и 1910 г. воспринимается как рекламный ход: слово это можно толковать и как этноним¹, и как топографическую привязку – в любом случае подчеркивается экзотичность персоны художника. В каталоге же выставки 1915 г. этого уже не требуется – художник к тому времени хорошо известен сибирской публике как «певец Алтая».

После первой персональной выставки Гуркина в Томске зимой 1907/08 г.², подтвердившей, что «областная интеллигенция» действительно прибывает, а «зародыш, может быть, областного искусства», о котором Потанин писал в августе 1907 г. [5. С. 131], реально развивается, село Анос оказывается у всех на слуху. Названия более десятка работ в экспозиции содержали слово «Анос»: № 4 «Зимний вечер (р. Катунь близ Аноса)», № 6 «Этюд Кама Бачияка, прожив. по реч. Анос», № 14 «Сосновый лес (речка Анос)»; № 29 «Юрта в Аносе»; № 51 «Село Анос зимою»; № 111 «Вечер в Аносе»; № 179 «Скала в Аносе» и др. Отточенная пейзажная техника в шишкинском стиле, эффектный выбор натуры, этнографизм – всё это вместе создавало представление о местоположении усадьбы Гуркина – настоящей усадьбы настоящего сибирского художника (хорошо известны были к тому времени именно как центры культуры усадьбы «Пенаты» И. Репина и «Терем» Б. Кустодиева)³, что само по себе для Сибири было ново.

На второй выставке художника в Томске (1910 г.) число работ, в подпись к которым стоит слово «Анос», удваивается; некоторые из них в каталоге содержат помету «не прод.»⁴. На второй и третьей (1915 г., распорядитель В.Я. Шишков) выставках экспонируются работы, названия которых говорят о том, что продуманный еще на стадии проекта эстетический потенциал усадьбы активно осваивается художником («Утро. Садик в Аносе», «Уголок в саду», «Маральник у мастерской художника», «В саду художника»).

Усадьба гостеприимного художника в Аносе часто именуется Потаниным *резиденцией* (т.е. местом нахождения высокопоставленного лица), что свидетельствует об оценке масштаба личности её хозяина. Для самого Потанина она становится комфортным местом научной работы, к которой ему удается привлечь инородческое население (в том числе и

¹ «Алтайцы – те, кто живет к западу от Катуни... Живущие на левом берегу Катуни дают себе имя Алтай, на правом – Теленгит» [23. С. 253]. Современные идентификационные трактовки этнонима см. [41].

² Весть о которой как о значительном культурном событии дошла до столицы [42].

³ Следует отметить, что земля томского художника А.Э. Мако «Рыбнушка», расположенная совсем недалеко от Аноса, в селе Черга на Чуйском тракте, была частным владением, фермой; никакой информации о ней и о её владельце в прессу не проникало. Нам удалось обнаружить только объявление о её продаже (СЖ. 1904. № 192).

⁴ Экземпляр каталога этой выставки, хранящийся в ТОКМ, имеет карандашные пометы, свидетельствующие об интересе к аносским пейзажам друзей автора, например: № 9 «Р. Анос (сосновый лес)» – Боголепов; № 114 «В устье Аноса» – Анучин; № 154 «Юрта Сабанчихи (в Аносе)» – Вологодский [40. Л. 91, 93, 93 об.].

хозяина усадьбы, о чем свидетельствует, например, публикация в серьезном научном издании фольклорных записей Гуркина, сделанных в верховьях речки Аноса в 1912–1913 гг. [43]. В письме С.Ф. Ольденбургу от 24 апреля 1908 г. Потанин сообщает: «На это лето еду к алтайцам¹ в д. Анос, в резиденцию художника, моего друга Гуркина, местного инородца. Тут у меня компания сотрудников, которые помогут мне собирать алтайские сказки. Одну уже сказку об Алтай-Буши мои друзья аносские записали как текст...» [14. С. 93]². Крошечный, всего в 26 дворов, Анос постепенно становится своеобразным *селом творчества* (если можно так сказать по аналогии с *домом творчества*), куда едут писать с натуры художники из разных концов страны. Анос часто фигурирует в «Сибирской жизни» в заметках с характерным для этой темы названием «Художественные вести». Например, Потанин сообщает: «...в сел. Анос, где живет Гуркин, с успехом писала этюды акварелью и масляными красками Е.Г. Тюменцева, ученица художественной школы в Киеве. Культ, который она питает к Алтаю в одинаковой мере, как и Гуркин, позволяет ждать от неё в будущем значительного участия в пропаганде алтайских эффектов» [46].

Развитие аносской темы и процесс осмысления роли художника-алтаяца в интеллектуальной и культурной жизни губернии позволяют проследить публикации Потанина в «Сибирской жизни». Уже в сезоне 1908 г. (после зимней выставки Гуркина в Томске) в сложившийся уклад дачной жизни в Чемале вносятся корректизы – художник начинает приглашать отдыхающих в свою мастерскую. Селение Анос вписывается Г.Н. Потаниным в пределы дачного пространства, названного им «чемальским туриком». «К числу развлечений чемальских дачников принадлежит также посещение студии аносского художника, где они проверяют свои впечатления по произведениям красками» [47]. По наблюдениям Потанина, чемальские дачники (*воздушники, солнцепоклонники*) принадлежат к «действительной, а не сомнительной интеллигенции»; в основном это учителя и

¹ Следует добавить в качестве комментария к этой цитате потанинскую оценку алтайцев как этноса – самый кроткий в мире народ, «про который можно сказать, что он весь состоит из переодетых азиатами Мадонн и Аполлонов; это небольшое племя, населяющее долины Алтая, своими кроткими нравами напоминает тех мирных туземцев острова Гаити, которые очаровали спутников Колумба» [44].

² В этом письме интересны рассуждения о способах активизации сбора фольклора местными жителями. Книга, о которой идет речь в указанном письме (научно подготовленный фольклорный сборник, плод кропотливой совместной работы в Аносе Потанина и собирателя Никифорова над переводом с алтайского на русский), вышла в 37-м томе Записок Западно-Сибирского Отдела ИРГО [45]. Первоначально Потанин планировал поставить на обложке и имя Гуркина. Потанину-фольклористу работа над алтайскими сказками доставляла истинное удовольствие (см. в письме Васильевой из Онгудая от 3 июня 1909 г. «Стиль варварский... занимает меня иногда дикая и необузданная фантазия первобытного поэта... Картинки шокирующие, но забавные... мне еще ни разу не доводилось записывать сказок, столь богатых мифологическим материалом» [5. С. 168]).

учительницы, «пожелавшие за зиму от тесных и мрачных школьных помещений»¹.

Приведем описания объектов усадьбы художника, которые можно рассматривать как потанинскую рекламу для томичей (рекламу весьма эффективную (см. в письме из Томска от 19 марта 1911 г.: «Одна учительница пишет мне, что из барнаульского уезда собирается группа учительниц и учениц поехать в Анос. А отсюда собирается туда же группа курсисток, которые намерены заниматься там гербаризированием» [5. С. 368]). Вслед за Потаниным эти объекты будут описывать в очерках многие гости алтайского художника, но это тема отдельного исследования.

Мастерская – «это большая зала с обильным светом, который вливается в неё из трех окон; одно окно больше других; оно имеет четыре аршина ширины и около сажени высоты... По средине комнаты циклопическая постройка, небольшая печь с железной трубой, сложенная из дикого серого камня. Хотя ей придана симметрическая наружность, она обмазана глиной и на ней глубоко вырезаны цифры (год сооружения), но некоторые остряки, умышленно не стесанные строителем, т.е. Гуркиным, обличают материал, взятый для постройки, и указывают на намерение художника подражать не тому архитектору, который строил Троицкий собор в Томске, а тому, который созидал аносскую скалу Ит-Кая. На стенах висит дюжина рам, заготовленных для картин, – работа самого Григория Ивановича, как и печь; в качестве материала для орнамента художник воспользовался скульптурой сосновых шишек».

В саду «нет расчищенных дорожек, нет клумб с цветами, родина которых или берега Средиземного моря, или южная Азия. Пространство, окруженное решеткой, чтоб не зашел на него скот и не помешал сурепице, журавельнику и другим диким полевым растениям роскошно развить свой рост... в этом саду есть одно посаженное растение, но это прозаический репейник², которого, по мнению художника, недоставало этой компании, тот самый репейник, который служит неизбежным спутником наших томских тротуаров».

Дом: «К стенам дома, обращенным в сад, пристроены небольшие террасы с перилами, поднявшись по ступеням любой из них, вы упретесь не в дверь, ведущую в дом, а в глухую стену и почувствуете сразу, что эти террасы возвышаются не с практической, а с какой-то эстетической, загадочной для вас целью. Вообще здесь во всем эстетик преобладает над практиком. Через изящные крылечки попасть внутрь дома нельзя, а к двери, ко-

¹ Типы чемальских дачников художественно запечатлев Г. Вяткин. В примечании к своему сочинению, имеющему подзаголовок «Поэзия и проза курортной жизни» он пишет: «Курортная жизнь на Алтае, развивающаяся с каждым сезоном все больше и значительнее, до сих пор, насколько нам известно, не находила отражения в сибирской беллетристике. Предлагаемые вниманию читателя наброски представляют собою первую такого рода попытку, в которой все наиболее характерное срисовано с живой действительности» [48].

² Дифирамб Потанина «прозаическому репейнику» передает Г. Вяткин [49].

торая действительно служит входом в дом, через которую проникают все посетители мастерской, приходится идти по длинной доске, одним концом положенной на порог двери, а другим лежащей на земле».

Окрестности: «Из окон мастерской вид на устье Аноса; вы смотрите сверху на овраг, в котором кончается течение Аноса; виден небольшой клочок Катуни. Вправо и влево от оврага обывательские домики, вокруг которых чередуются дворы задние, покрытые «культурным» слоем, и передние, парадные, с таким улыбающимся газоном, которого, мне кажется, нигде не встретите в крестьянских дворах на равнине. На заднем плане картины терраса правого берега Катуни с сосновым лесом на ней, а над ней гора Калтак-таш с двумя ущельями по бокам, слева ущелье речки Уснезю, справа речка Куима».

Общая оценка: «Анос – это шалаш, поставленный в лесу. Вы тут даже не в деревне, а в тайге... Перелезли через прясла вашего двора, и сейчас же кусты маральника, смородины, крыжовника, на скале бадан и ревень... Тут не то культура вторгается в природу, не то природа в культуру» [47].

Собственные впечатления от пребывания в усадьбе Гуркина Потанин передает в письмах: «Два месяца на Алтае (в Аносе) я провел с большим удовольствием» [5. С. 136]. «Как тут хорошо! Как хотелось написать Вам, что я чувствую под действием природы окружающей! Это был бы дифрамб картины, которую вижу из окна...» [Там же. С. 284]. Схему усадьбы Потанин рисует в письме М.Г. Васильевой от 13 февраля 1910 г. Он сообщает адресату, что приехавший в Томск для обустройства выставки Гуркин предлагает на лето поселиться в его доме. По памяти Потанин воссоздает план усадьбы, помечая цифрами взаиморасположение студии, жилых помещений, кухонь, амбаров, «живописной хижины над прудом (фантазии художника)», не забывая про заросли конопли и канаву, снабжающую водой вырытый Гуркиным прудик [Там же. С. 253].

Второй очерк цикла Потанина о чемальском тупике («В Чемальском тупике. В аиле у шаманки Саатан». СЖ. 1910. № 141–142) посвящен описанию поездки, совершенной совместно с художницей Базановой¹ и местным учителем-переводчиком Никифоровым из Аноса (со двора художника) к шаманке, жившей в верховьях Аноса². В публикации подробно объ-

¹ Л. Базанова выезжала на Алтай в 1907–1909 гг. Знаток местных условий и ценитель таланта художника-алтайца, она перед первой выставкой Гуркина в Томске опубликовала статью о его творчестве в «Сибирской жизни» [50].

² См. репродукцию картины А.А. Ворониной-Уткиной «Портрет Саатан» [51. С. 70]. В описании поездки к шаманке на камланье, сделанном по свежим следам, Потанин упоминает имя Ворониной вкупе с другими членами *аносского общества* (этнограф Анохин с помощниками, переводчик Никифоров, студент Котляров и еще человек двадцать дачников) и «неожиданно» появившимся в Аносе членом Государственной думы Н.В. Некрасовым [5. С. 282]. О том, что депутаты-сибиряки проявляют интерес к творчеству Гуркина, свидетельствует следующая заметка в хронике «Томская жизнь»: «Картины художника Алтая Г.И. Гуркина вызывают к себе значительный интерес публики, посещающей мастерскую художника. На днях, перед отъездом в Петроград, мастерскую посетил депутат С.В. Востриков, который приобрел большую картину, ис-

ясняется «тупиковость» чемальского локуса, т.е. те природные особенности, которые обусловили сохранение здесь в нетронутом виде древнейших этнических традиций шаманистов. Этот текст можно использовать как дополнительную информацию к известной статье Потанина «Этнографическая часть выставки Гуркина» (СЖ. 1907. №198), комментирующей сюжеты картин и эскизов Гуркина из жизни алтайцев в экспозиции первой выставки.

Этнограф, фольклорист, тонкий ценитель искусства, социолог дополняют друг друга в заключительной статье Потанина «Той» из цикла «В Чемальском тупике» (СЖ. 1912. № 135). Описание поездки на алтайский свадебный пир¹, традиционно для *аносского общества* начинавшейся со двора художника, открывается рассуждением об особенностях горных пространств, объясняющим пристрастие Гуркина к изображению облаков; и по этому поводу Потаниным делаются прекрасные словесные картины горных окрестностей Аноса, не уступающие живописным пейзажам Гуркина. Нет сомнения в рекламном характере очерка – см. в письме Васильевой от 15 мая 1912 г.: «Я кончил описание поездки на алтайскую свадьбу и буду просить, чтоб поместили её до 1 июня, чтоб газета с этой статьей пришла в Чемал, когда там уже будут дачники» [5. С. 387].

«Сибирская жизнь» после второй выставки Гуркина в Томске (1910 г.) в хроникальных разделах «По Сибири» и «Томская жизнь» упоминает Чемал и Анос гораздо чаще, чем все другие периферийные места губернии, что позволяет сделать вывод о закреплении в общественном сознании их особого статуса: у первого – курортного², у второго – культурного центра. Потанину важно было показать, что процессы художественного и научного изучения Сибири развиваются параллельно и Аносу в них принадлежит одно из ведущих мест. Читатели постоянно информируются о том, кто приезжает летом в Анос, кто и куда отправляется по Алтаю из Аноса, в этих заметках мелькают имена столичных и сибирских художников и учеников, и, конечно же, газета пристально следит за творчеством Гуркина. Характерный пример такой информации:

«14 июля из Аноса художники гг. Никулин, Гуляев, ученики казанской рисовальной школы, и г. Кузнецов, ученик Гуркина, выехали в Онгудай,

полненную по мотиву известной картины художника «Озеро горных духов», и сделал заказ на ряд этюдов. Депутат от имени сибирской группы в Г.Д. предложил Г.И. Гуркину всяческое содействие, если бы он решил устроить свою выставку в столицах» (СЖ. 1915. № 11). Последнее позволяет сделать вывод, что творчество художника-алтайца трактуется как культурная ценность, которой можно гордиться перед столицей; как неотъемлемая часть территориальной сибирской идентичности.

¹ Репродукция с картины Л. Базановой «Со свадьбы», написанной по летним аносским впечатлениям, помещена на обложке каталога выставки, подготовленной к 90-летию Томского общества любителей художеств; там же см. биографическую справку об авторе [51. С. 14–15].

² В число алтайских курортов входили Белокуриха, Чемал, Тюдrala, Эликманар, Черный Ануй, Черга, Узлезя, Анос, Манжерок (см. подробнее [52]).

откуда перевалят через Теректинский хребет и попытаются из Катанды подняться до Белухи.

19-го из Аноса выехал в Петербург геолог С.А. Яковлев, окончивший свои работы в долинах Чемала и Кадрина.

Г. Анохин, объехав всех шаманов, живущих в системе Аноса, с вершин этой реки спустился на Катунь у дер. Апшийякту (30 верст выше д. Анос) и оттуда выехал в Анос. Его сотрудниками и им самим собран большой материал о шаманстве; г. Никифоровым записаны тексты шаманских молитв; художницей А.А. Ворониной вывезены многочисленные рисунки бубнов, шаманских мантей, курмежеков (идольчиков) и др. предметов» [53].

В этой алтайской деревне начинает развиваться не только пейзажная, но и давно ожидаемая Потаниным жанровая сибирская живопись. Томский художник Прохоров, писавший в Аносе в основном пейзажи и портреты местных жителей, выставил свои работы в доме, снятом на лето, получившись «вторая студия, после гуркинской, только уступающая первой по размерам и роду живописи. Гуркин пейзажист. Он пишет природу, среди которой лишь изредка фигурирует человек, тогда как Прохоров – жанрист, который окружающий фон зелени и леса пишет для того, чтобы рельефнее выделить в нем фигуру человека» [54].

В статьях и заметках из Аноса и об Аносе¹ указывается на пространственное расширение притягательной силы усадьбы Гуркина, например: «...в конце июля посетил Анос петербургский художник Цириготи, совершив небольшую поездку на Каракол, оттуда вывез два этюда, отправился выючным путем через Онгудай к подошве Белухи...» [Там же]; приезжие художники Ларионов, Чашечников, Курзин, Кузнецов, работая в Аносе главным образом над алтайским пейзажем, уделяют внимание алтайским жанру и быту (СЖ. 1913. № 171)².

У Потанина глубоко личное восприятие Аноса формируется под воздействием поэзии Г. Гейне – недаром популярный переводчик немецкого поэта М.Л. Михайлов утверждал, что «отголоски песен Гейне слышатся везде в современной лирике» [58. С. XIII]³. Лирика Гейне цитируется по-

¹ Сам же хозяин аносской усадьбы очень редко берет слово в газете, можно указать на практически единственную заметку Гуркина как художника-профессионала, в которой он отмечает фактическую неточность в обозначении авторства картины «Лесная глушь» в богато изданном в Париже альбоме, что, по его мнению, особенно недопустимо «с точки зрения интересов широкой провинциальной публики, которой приходится знакомиться с сокровищами русской живописи по литографированным снимкам» [55]. Точности ради отметим, что в это время Гуркин живет в Томске.

² Повышение интереса сибирских художников к Алтаю (и к Аносу в частности) можно проследить по каталогам периодических выставок картин томских художников начиная с первой (февраль – март 1909 г.) (см. работы Л.П. Базановой, А.С. Капустиной, Н.П. Ткаченко, Суховой [56]) и по девятую (см. также [57]).

³ В отличие от Н.М. Ядринцева, Потанин стихов об Алтае не писал, но и у него можно найти мысли о том, что Алтай позволяет «испытывать божеское, парнасское настроение», и тогда из-под пера выходят вполне поэтические строки: «Хвалю Алтая творческую мощь // Какие чудеса творит здесь теплый дощь» [5. С. 166–167].

русски в письмах Потанина и Васильевой с самого начала их эпистолярного романа [5. С. 45; 168]. В 1909 г. Потанин, отправляя ей письмо из Онгудая (на Чуйском тракте), для выражения переполняющих его чувств применяет к местным условиям образы стихотворения Гейне «Erklärung» (Herangedämmert kam der Abend...): «С каким бы удовольствием я сделал то же, что Гейне: вырвал бы сосну на Алтае, обмакнул её в лаву и огненными буквами написал на небе: Маня, я вас люблю» [Там же. С. 173–174] –ср.:

Мощной рукою в норвежских лесах
С корнем я вырву
Самую гордую ель, и её обмокну
В раскаленное Этны жерло,
И этим огнем-напоенным
Исполинским пером напишу
На темном своде небесном:
«Агнесса!
Я люблю тебя [59. С. 116].

Васильева: «Знаю, как крепко любит меня мой поклонник, так сильно, как Гейне любил Агнессу» [5. С. 209]. Следует уточнить, что в Онгудае сосновых лесов нет, зато в Аносе был великолепный сосновый бор, тянущийся вдоль берега Катуни, – излюбленное место художников-пейзажистов; сосны любил рисовать Гуркин. Тема Гейне в переписке могла возникнуть из факта знакомства Васильевой с переводчиком Гейне Петром Исаевичем Вейнбергом (отец Бориса Вейнберга, с 1909 г. преподававшего в Томском технологическом институте, активного сотрудника Общества изучения Сибири, поклонника таланта Гуркина), чей псевдоним говорил за себя – *Гейне из Тамбова*¹; П.И. Вейнберг считал лучшим переводчиком Гейне на русский язык М.Л. Михайлова [61. С. 14].

Из университетского Геттингена, которому в книге-балагане Гейне «Путешествие по Гарцу» (Die Harzreise, 1826) отводится несколько весьма ироничных страниц, начинается маршрут автора-путешественника (прозаическая часть) и лирического героя (стихотворная часть книги). Гарц как горная область мог быть на слуху Потанина со времени заграничного путешествия Н.М. Ядринцева (1885 г). Алтай в «Письмах сибиряка из Европы» [62] Ядринцева – постоянный объект сравнения *своего и чужого* при описании географических и культурных особенностей посещаемых горных пространств; немецкая мифология положена в основу стихотворения Ядринцева «На Гарце» [63. С. 207]; в известном и Ядринцеву и Потанину Барнаульском горном музее хранилась коллекция горных пород Гарца; на Гарц указывает и образ брокенского призрака в очерке Ядринцева «Странник на золотом озере» [64].

Геттинген как объект сравнения появляется в письме Потанина М.Г. Васильевой от 20 июня 1910 г.:

¹ О популярности творчества Гейне в Сибири свидетельствует тот факт, что «один из фельетонистов «Сибирских отголосков» берет себе псевдоним «Гейне из Томска» [60. С. 16].

Анос превратился в какой-то Гельдерберг или Геттинген, тогда как Чемал – это наш Париж¹. Там куча лже-интеллигенции, улица кишит дачниками; там даже есть ресторан или столовая, обеды в три блюда и газеты. Из села там выезжают кавалькады флиртующих, а здесь в Аносе вы видите даму с финским ножом на поясе для рытья растений, с берестяной коробкой на бедре для выкопанных растений; или выходит из села джентльмен с мальчиком, идущий в лес отыскивать личинки и бабочки <...>

Кругловский очень доволен тишиной нашего села. Вейнберги в восторге от местных условий, от внешнего вида природы. Они находят, что долина Катуни напоминает Тироль. Воронина сначала была недовольна, потому что местные жители усвоили русскую внешность и не представляют материала для стилизации; нет народного алтайского орнамента; но теперь ей улыбнулась судьба в виде поездок с Анохиным по стойбищам кочевых алтайцев [5. С. 280].

А в обзорной газетной статье 1911 г. звучит имя Гейне:

Общество (любителей художеств. – Т.Ш.) приняло под свое покровительство выставку алтайского художника Г.И. Гуркина (на маслянице)... На выставке Гуркина было 3773 посетителя; картин было выставлено 224 номера. Лица, видевшие прежние работы, нашли, что художник не застыл на месте, что он делает шаги вперед. Лучшими по технике признаны те картины, которые трактуют не романтические сюжеты в рамках из высоких гор с грандиозными далями, а более прозаические – скромные – полынь на реке (оз. Каракол), луг, поросший высокой травой, но самой богатой поэтическим содержанием картиной нужно назвать «Озеро Денидере». Как и на предыдущей выставке, г. Гуркин выступил, как поэт высоких горных вершин, окруженных чистым воздухом, стерилизованным от микробов, куда Гейне стремился убежать от суеты долин, от «полированных зал» и от «полированных лиц», где человек теряет потребность грешить и прощает себе свои прошлые грехи [66].

В этом тексте, предназначенному для широкой публики, закавычены слова стихотворения Гейне «Aus der Harzreise. Prolog»² (известного в переводе Михайлова как «Фраки, белые жилеты...»):

Полированные залы...
Полированные гости...

¹ Подобный «акт присвоения имени» — характерная черта восточного травелога русской литературы XIX в., на которую обратил внимание К. Анисимов, в частности, он отметил: «...ориентация на широко понимаемую культурную традицию и фактор переноса имени на основе «сходства» обусловливали идентификацию <...> координат хронотопических, в которых создатель травелога «размещал» события своего рассказа» [65. С. 7].

² По данным Н.Е. Никоновой, сибирская читающая публика была неплохо осведомлена о немецкой литературе, по частоте переводов в сибирской периодике она стояла на втором (после французской) месте (более 180 текстов) [67. С. 31].

В горы! в горы! Я оттуда
Улыбнуся вам без злости [58. С. 21–22].

Несколько позже в письме профессору Б.П. Вейнбергу от 31 мая 1911 г. Потанин вновь процитирует это стихотворение:

Анос и Чемал удерживают свои роли: Чемал – Париж, Анос – Геттинген или Мюнхен. В Чемале – «полированные залы и полированные лица», в Аносе процветают наука и искусство. Тут Гуркин, тут Прохоров, который пишет и пейзажи, и портреты. Уже написан портрет с Чолтуша, рапсода, от которого Николай Яковлевич (в доме которого жил Крутовский) записал до десяти алтайских былин. Одна барышня, Богатырева, учится рисованию, усердно ходит в горы и в лес за сбором растений и определяет их по Крылову... Не так, правда, здешнее общество богато и авторитетно наукой противу прошлого лета, а все же не чета Чемалу [14. С. 108].

В третий раз та же цитата встречается в рецензии Г.Н. Потанина на книгу В.В. Сапожникова «Пути по Русскому Алтаю»:

Алтайские горы каждое лето привлекают в свои долины до 500 дачников, приезжающих подышать горным воздухом и полюбоваться красотою долин. Горы производят благотворное действие и на физический, и на духовный организм их посетителей. Гейне от «полированных зал» и «полированных лиц», т.е. от людской фальши и пошлости, зовет их в горы, там, на горных высотах, потерянное равновесие восстанавливается, и человек начинает смотреть на жалких людей, оставшихся внизу, с доброй улыбкой. Дух горных высот... чудотворец. Счастлив тот человек, который хоть раз побывал в этих святых пустынях... [27].

Мы приходим к выводу, что для Потанина-путешественника, Потанина-ученого «Пролог» Гейне – лейтмотив глубоко личного восприятия Алтая; это символические ворота не в сказочный Гарц с его овеянным легендами Брокеном, а вход в альпийскую горную область Русского Алтая. Алтайское высокогорье для ученых круга Потанина, для формирующихся научных школ университетского Томска в начале XX в. – то же, что и Альпы для ученых Европы в XVIII–XIX вв.; а усадьба художника Гуркина – место начала многих летних экспедиций. В этом контексте наделение крошечного инородческого селения Аноса ролью Геттингена не художественное преувеличение, а, скорее, образ реализованной мечты о создании в Сибири собственных центров науки и искусства.

Мощь горного пространства Алтая и мощь таланта Гуркина в хорошо продуманной Потаниным системе формирования образа художника-инородца слились воедино: «Гуркин и Алтай стали для Сибири синонимами» [68]; «Гуркин и Алтай неотделимы» [69]. Усадьба художника – это уникальный артобъект, при непосредственном участии томских профессо-

ров создававшийся Гуркиным и запечатлевший «следы его гения, его вкусов, его художественных капризов» [47]. Это Алтай в миниатюре, где вдали от всех и всяческих столиц, вне политики и полицейского надзора одна из «святых пустынь» Алтая позволяла ученым и художникам не «угождать пошлым вкусам», не делать «никаких уступок раболепному подражанию «модным течениям», не стараться «заставить говорить о себе, выдвинуться во что бы то ни стало, быть реформатором хотя бы и бутафорского масштаба» [69], а честно служить науке и искусству.

В Аносе алтайцем Гуркиным были созданы на русском языке стихотворения в прозе «Плач алтайца на чужбине» (СЖ. 1907. № 196), «Алтайцы и Катунь» (Жизнь Алтая. 1911. № 36), «Праздник реки Катуни» (Жизнь Алтая. 1912. № 70), «Озеро Кара-Кол» (Жизнь Алтая. 1913. № 97), признанные ныне классикой алтайской литературы. И сам первый сибирский художник-инородец благодаря Г.Н. Потанину через столетие стал образом классика-основоположника со всем набором присущих этому образу символических функций¹ и культурных коннотаций.

Литература

1. Хомук Н.В. Международная научная конференция «Национальное, имперское, колониальное в русской литературе // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 45. С. 225–232.
2. Комаров С.А., Лагунова О.К. Литература Сибири: миссия, этничность, аксиология. Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2016. 200 с.
3. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрана. Т. 1: А – Алтай. СПб., 1890. 480 с.
4. Образ Алтая в русской литературе XIX–XX вв.: антология : в 5 т. Барнаул, 2012.
5. Г.Н. Потанин, М.Г. Васильева. «Мне хочется служить Вам, одеть Вас своей любовью»: переписка. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 418 с.
6. Казагачева З.С. Алтайские героические сказания «Очи-Бала», «Кан-Алтын»: аспекты текстологии и перевода. Горно-Алтайск, 2002. 352 с.
7. Новоселов А. Задачи сибирской этнографии // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Т. 38: Посвящается Григорию Николаевичу Потанину по случаю 80-летию его жизни (1835–1915). Омск, 1916. С. 86–104.
8. Отчество. Пути и достижения национальных литератур России. Национальный вопрос. Пг., 1916. Т. 1. 482 с.
9. Киселева Л. Литературная составляющая имперского национального проекта // «Идеологическая география» Российской империи: пространство, границы, обитатели. Тарту, 2012. С. 12–70.
10. Алексеев П.В. Г.И. Чорос Гуркин как *genius loci* в современных дискурсах национальной и региональной идентичности (случай с наименованием аэропорта в Республике Алтай) // Диалог культур: поэтика локального текста : материалы VI Междунар. науч. конф. Горно-Алтайск, 2018. С. 291–304.
11. Айзикова И.А. Образ сибирского писателя в литературной критике и публицистике Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева(1870–1900-е гг.) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 49. С. 83–91.

¹ Таковые обозначены М.А. Литовской в статье, посвященной удмуртскому классику Кедре Митрею [70. С. 132–133].

12. Киселев В.С. Томск в русской литературе: проблемы и перспективы изучения // Имагология и компаративистика. 2017. № 2 (8). С. 36–61.
13. Город Томск. Томск, 1912. 348 с.
14. Письма Г.Н. Потанина : в 5. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1992. Т. 5. 272 с.
15. Васильева М.Г. Песни сибирячки. СПб., 1901. 187 с.
16. Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 308 с.
17. Е. В-нъ. Современные сибирские писатели. III. П. Драверт // Жизнь Алтая. 1912. № 72.
18. Ядринцев Н.М. (Добродушный Сибиряк). На чужбине (из исповеди абсентеиста) // Восточное обозрение. 1883. № 29.
19. Анучин Д. Об антропологических исследованиях в Сибири // Восточное обозрение. 1883. № 29.
20. Шастина Т.П. Медийная личность в культурном пространстве Томской губернии начала ХХ века: художник Г.И. Гуркин // Вопросы журналистики. 2018. № 4. С. 118–136.
21. Самоквасов Д.Я. Сборник обычного права сибирских инородцев. Варшава, 1876. 312 с.
22. Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение: этнографические и статистические исследования с приложением статистических таблиц. СПб., 1891. 308 с.
23. Потанин Г.Н. Инородцы Алтая // Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Т. 11: Западная Сибирь. СПб. ; М., 1884. С. 253–272.
24. Потанин Г.Н. Население // Сапожников В.В. Пути по Русскому Алтаю. Томск, 1912. С. 15–24.
25. Васильева М.Г. Из воспоминаний об Алтае // Восточное обозрение. 1904. № 140.
26. Потанин Г. Алтай в фотографиях // Сибирская жизнь. 1911. № 117.
27. Потанин Г. Алтай. Проф. В.В. Сапожников «Пути по Русскому Алтаю». Томск, 1912 // Сибирская жизнь. 1912. № 236.
28. Жилякова Н.В., Шевцов В.В., Евдокимова Е.П. Периодическая печать Томской губернии (1857–1916): становление журналистики и формирование регионального самосознания : учеб. пособие. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. Т. 1. 292 с.
29. Потанин Г.Н. Поздравительный адрес в связи с 80-летием от Томского общества изучения Сибири. 21 сент. 1915 г. // НБ ТГУ. Архив Г.Н. Потанина. Ф. 1. Оп. 1.
30. Г.В. (Георгий Вяткин). Г.Н. Потанин // Сибирская жизнь. 1915. № 205.
31. Петр Мстиславский, прот. Религиозно-нравственная и просветительная деятельность Алтайской миссии по отношению к инородцам Алтая // Томские епархиальные ведомости. 1901. № 1.
32. Стефан Ландышев, прот. Алтайская духовная миссия. М., 1864. 22 с.
33. Алтай / сост. Михаил Путинцев, прот. 2-е изд. М. : Изд. Афонского русского Пантелеимонова монастыря, 1891. 72 с.
34. Миссионерские записки и дневники сотрудников Алтайской духовной миссии: Сборник архивных документов / сост. Георгий Крейдун, прот. Барнаул: Барнаульская духовная семинария. Барнаул : Алтайский дом печати, 2016. 204 с.
35. Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические и культурные отношения (XVII–XIX вв.). Горно-Алтайск : Изд-во Горно-Алтайск. ун-та, 1996. 400 с.
36. Гуркин Г. Пасха в Аносе // Жизнь Алтая. 1912. № 89.
37. Вал. Буя. С Алтая // Сибирская жизнь. 1904. № 129.
38. Г. П. (Потанин Г.) Живопись в Сибири // Сибирская жизнь. 1903. Ил. прилож. к № 195.
39. Каталог выставки картин Г. Гуркина // ТОКМ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 102.

40. Указатель выставки картин Алтайца Гуркина 1910 года // ТОКМ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 102.
41. Голикова Т.А. Алтайцы: словарь этнолингвокультуры. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 346 с.
42. Дальевич М.М. Г.И. Гуркин // Нива. 1908. № 49.
43. Гуркин Гр. Алтайские сказания о Сартакпае // Записки Западно-Сибирского отдела ИРГО. Т. 38. Посвящается Григорию Николаевичу Потанину по случаю 80-летия его жизни (1835 – 22/IX 1915 г.). Омск, 1916. С. 145–148.
44. Потанин Г.Н. Инородческие музыкальные мотивы // Сибирская жизнь. 1908. № 59.
45. Никифоров Н.Я. Аносский сборник: собрание сказок алтайцев. Омск, 1915. 293 с.
46. Потанин Г. Художественные вести // Сибирская жизнь. 1909. № 243.
47. Потанин Г. Чемальский тупик, с. Анос // Сибирская жизнь. 1909. № 162.
48. Вяткин Г. В горах Алтая // Сибирская жизнь. 1909. № 161, 166, 172.
49. Вяткин Г. Из дневника. Анос // Сибирская жизнь. 1915. № 205.
50. Базанова Л. Выставка картин художника Гуркина // Сибирская жизнь. 1907. № 197, 199.
51. Томск художественный: начало XX века: каталог выставки / отв. ред. И.П. Тюрина. Томск : Раско, 2002. 88 с.
52. Катунин Ф. Посещаемость алтайских курортов // Сибирская жизнь. 1911. № 235.
53. Г. П-нъ (Потанин Г.) Селение Анос, Бийского уезда (Экспедиции и курорты) // Сибирская жизнь. 1910. № 170.
54. П-а. Анос (Изучение Сибири. – Сибирские художники) // Сибирская жизнь. 1911. № 182.
55. Гуркин Гр. О художественном альбоме картин музея Александра III (Письмо в редакцию) // Сибирская жизнь. 1915. № 3.
56. I периодическая выставка картин Томских художников (февраль – март 1909 г.) // ТОКМ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 98. Л. 60.
57. Каталог художественной фотографической выставки. С 11 по 17 апреля 1911 г. в Гоголевском доме // ТОКМ. Оп. 6. Д. 152. Л. 24.
58. Песни Гейне в переводе М.Л. Михайлова. СПб., 1858. 144 с.
59. Гейне. Признание / пер. М.Л. Михайлова // Русское слово. 1859. № 11. Отд. 1. С. 116–117.
60. Никонова Н.Е., Серягина Ю.С., Олицкая Д.А. Переводы немецкой литературы в дореволюционной периодике Сибири : хрестоматия. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. 204 с.
61. Вейнберг П.И. Песни Гейне в переводе М.Л. Михайлова // Библиотека для чтения. 1858. Т. 150. С. 11–17.
62. Ядринцев Н.М. Письма сибиряка из Европы // Восточное обозрение. 1885. № 36, 39, 42, 44, 48.
63. Ядринцев Н.М. На Гарце // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1980. Т. 5. 408 с.
64. Ядринцев Н.М. Странник на золотом озере // Восточное обозрение. 1882. № 1.
65. Анисимов К.В. Восточный травелог русской литературы XIX в.: «вдохновение» имперских окраин и поэтика повествования (предварительные замечания) // Имагология и компаративистика. 2014. № 1. С. 5–21.
66. Потанин Г. Зимний сезон 1909–1910 г. в Томске // Сибирская жизнь. 1911. № 2.
67. Никонова Н.Е. Перевод и переводчики в литературной периодике Томска конца XIX века (И.И. Почекас, П.А. Грабовский, А.О. Станиславский и П.Л. Черневич) // Имагология и компаративистика. 2018. № 9. С. 30–52.
68. Красочный певец Алтая // Сибирская жизнь. 1916. № 79.

69. Вс. К. (Круговский). Выставка картин Г.И. Гуркина // Сибирская жизнь. 1915. № 60.

70. Литовская М.А. Кедра Митрей: образ классика-основоположника в современной словесности // Дергачевские чтения-2011. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности : материалы X Всерос. науч. конф. Екатеринбург, 2012. Т. 3. С. 132–141.

The “Genius Loci”: Grigory Potanin on Artist Grigory Gurkin’s Manor in Altai

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 276–297. DOI: 10.17223/19986645/66/15

Tatyana P. Shastina, Gorno-Altaisk State University (Gorno-Altaisk, Russian Federation). E-mail: tshliteratura@mail.ru

Keywords: Grigory Gurkin, Grigory Potanin, Maria Vasilyeva, Heinrich Heine, Russian Altai, Anos Village, cultural center, indigenous nation, *Sibirskaya Zhisn'* newspaper, oblastnichestvo (regionalsim).

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Government of the Altai Republic, Project No. 18-412-040007.

The article studies the problem of a “genius loci”. The initial statement of the research is that the creative work of Grigory Gurkin, a famous artist, became the first individual declaration of the Russian (Gorny) Altai about itself in the cultural space of the Russian Empire. Unlike in other peripheries of the Empire, painting, not literature, performed the function of the region’s representation. Still, the image of the artist, who was a person from the indigenous community of the region, purposefully designed in the media space of Tomsk Province was a literary and regionalist construct created by Grigory Potanin. The construct embodied the idea of the high intellectual potential of the Siberian peripheral areas. The article aims to reveal the significance of Gurkin’s manor in the cultural life of Siberia in 1900–1917. The material for the study was correspondence between Potanin and Maria Vasilyeva, documents from Potanin’s archive in the Research Library of Tomsk State University, publications in the newspaper *Sibirskaya Zhisn'*, and archival materials from the Tomsk Regional Museum of Local Lore belonging to the period from 1901 to 1917. Using a cross-reading method, the author collected texts which describe or mention Gurkin’s manor located in a tiny picturesque Altai settlement, Anos, “the edge of the Great Edge” (A. Novosyolov). The author analyses and interprets these texts by methods of imagology studies, geopolitics, and ethnopoetics. The information from the texts proves the hypothesis that the figure of the Altai artist was a positive reply to the question “of the cultural abilities of indigenous tribes and their abilities to perceive the common human civilisation” (Yadrinsev) that the oblastniki (regionalsits) tried to answer. Potanin assessed Gurkin’s talent as a natural gift of the powerful nature of Altai. That is why he would add “Altai” to the artist’s name, which served the purpose of drawing a link between the genius and the locus on the level of space and ethnicity. The artist’s manor with its elaborated topography was built as Altai in miniature. It became the first secular (in opposition to missionary) cultural centre of the Russian Altai that attracted the local population to the exploration of the region. It also was a summer residence for researchers from “Potanin’s Circle” and for artists, who would come to Anos from around the country. The study showed a specific feature in the reception and representation of Gurkin’s Anos in Potanin’s opinion pieces and egodocuments—through the system of images of *The Harz Journey* by Heinrich Heine. The author of the article concludes that the ascription of the role of Göttingen to Gurkin’s Anos became the oblastniki’s dream of forming research and art centres in Siberia come true.

References

1. Khomuk, N.V. (2017) International academic conference “The National, the Imperial and the Colonial in Russian Literature” (Russian Federation, Tomsk, Tomsk State University, September 22–23, 2016). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya.* – Tomsk State University Journal of Philology. 45. pp. 225–232. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/45/17
2. Komarov, S.A. & Lagunova, O.K. (2016) *Literatura Sibiri: missiya, etnichnost', aksilogiya* [Literature of Siberia: mission, ethnicity, axiology]. Tyumen: Tyumen State University.
3. Andreevskiy, I.E. (ed.) (1890) *Entsiklopedicheskiy slovar'* [Encyclopedic Dictionary]. Vol. 1. Saint Petersburg: F.A. Brokgauz, I.A. Efron.
4. Kulyapin, A.I. et al. (eds) (2012) *Obraz Altaya v russkoy literature XIX–XX vv.* [The image of Altai in Russian literature of the 19th–20th centuries]. Barnaul: Izdatel'skiy Dom “Barnaul”.
5. Potanin, G.N. & Vasil'eva, M.G. (2004) “*Mne khochetsya sluzhit' Vam, odet' Vas svoey lyubov'yu*”: *perepiska* [“I want to serve you, dress you with my love”: correspondence]. Tomsk: Tomsk State University.
6. Kazagacheva, Z.S. (2002) *Altayskie geroicheskie skazaniya “Ochi-Bala”, “Kan-Altyn”:* aspekty tekstoplogii i perevoda [Altai heroic legends “Ochi-Bala”, “Kan-Altyn”: aspects of textual criticism and translation]. Gorno-Altaisk: Gorno-Altayskaya tipografiya.
7. Novoselov, A. (1916) Zadachi sibirskoy etnografii [Objectives of Siberian ethnography]. *Zapiski Zapadno-Sibirskogo otdela Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva.* 38. pp. 86–104.
8. Baudouin de Courtenay, I.A. (ed.) (1916) *Otechestvo. Puti i dostizheniya natsional'nykh literatur Rossii. Natsional'nyy vopros* [Fatherland. Ways and achievements of national literatures of Russia. National issue]. Vol. 1. Petrograd: Tipto-litografiya Aktions. O-va “Samoobrazovanie”.
9. Kiseleva, L. (2012) Literaturnaya sostavlyayushchaya imperskogo natsional'nogo proekta [Literary component of the imperial national project]. In: “*Ideologicheskaya geografiya*” Rossiiyskoy imperii: prostranstvo, granitsy, obitatelyi [“Ideological geography” of the Russian Empire: Space, borders, inhabitants]. Tartu: Univerisity of Tartu. pp. 12–70.
10. Alekseev, P.V. (2018) [G.I. Choros Gurkin as a genius loci in modern discourses of national and regional identity (the case with the name of the airport in the Altai Republic)]. *Dialog kul'tur: poetika lokal'nogo teksta* [Dialogue of Cultures: Poetics of local text]. Proceedings of the VI International Conference. Gorno-Altaysk. 26–29 May 2018. Gorno-Altaisk: Gorno-Altaisk State University. pp. 291–304. (In Russian).
11. Ayzikova, I.A. (2017) The image of a siberian writer in literary criticism and journalism of G. N. Potanin and N. M. Yadrintsev (the 1870s – 1900s). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya.* – Tomsk State University Journal of Philology. 49. pp. 83–91. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/49/6
12. Kiselev, V.S. (2017) Tomsk in Russian literature: problems and prospects of research. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies.* 2 (8). pp. 36–61. (In Russian). DOI: 10.17223/24099554/8/3
13. Sibirskaya zhizn'. (1912) *GOROD TOMSK* [The city of Tomsk]. Tomsk: Izdatel'stvo Sibirskogo tovarishchestva Pechatnogo dela v Tomske.
14. Kozlov, Yu.P. (ed.) (1992) *Pis'ma G.N. Potanina* [Letters by G.N. Potanin]. Vol. 5. Irkutsk: Irkutsk State University.
15. Vasil'eva, M.G. (1901) *Pesni sibiryachki* [Songs of a Siberian Woman]. Saint Petersburg: Izdanie Al.A. Kobycheva.
16. Serebrennikov, N.V. (2004) *Opyt formirovaniya oblastnicheskoy literatury* [Experience in the Formation of Regional Literature]. Tomsk: Tomsk State University.
17. V-n”, E. (1912) Sovremennye sibirskie pisateli. III. P. Dravert [Contemporary Siberian Writers. III. P. Dravert]. *Zhizn' Altaya.* 72.

18. Yadrintsev, N.M. (Dobrodushnyy Sibiryak). (1883) Na chuzhbine (iz ispovedi absenteista) [In a foreign land (from the confession of an absentee)]. *Vostochnoe obozrenie*. 29.
19. Anuchin, D. (1883) Ob antropologicheskikh issledovaniyakh v Sibiri [About anthropological research in Siberia]. *Vostochnoe obozrenie*. 29.
20. Shastina, T.P. (2018) A media person in the cultural space of Tomsk Province in the early 20th century: The artist G. I. Gurkin. *Voprosy zhurnalistiki – Russian Journal of Media Studies*. 4. pp. 118–136. (In Russian). DOI: 10.17223/26188422/4/6
21. Samokvasov, D.Ya. (1876) *Sbornik obychnogo prava sibirskikh inorodtsev* [Collection of customary law of Siberian foreigners]. Varshava: Tipografiya Ivana Noskovskago.
22. Yadrintsev, N.M. (1891) *Sibirskie inorodtsy, ikh byt i sovremennoe polozhenie: etnograficheskie i statisticheskie issledovaniya s prilozheniem statisticheskikh tablits* [Siberian foreigners, their way of life and the current situation: ethnographic and statistical studies with the application of statistical tables]. Saint Petersburg: Izdanie I.M. Sibiryakova.
23. Potanin, G.N. (1884) Inorodtsы Altaya [Foreigners of Altai]. In: Semenov, P.P. (ed.) *Zhivopisnaya Rossiya: Otechestvo nashe v ego zemel'nom, istoricheskom, plemennom, ekonomicheskom i bytovom znachenii* [Picturesque Russia: Our Fatherland in its land, historical, tribal, economic and everyday significance]. Vol. 11. Saint Petersburg; Moscow: M.O. Vol'f. pp. 253–272.
24. Potanin, G.N. (1912) Naselenie [Population]. In: Sapozhnikov, V.V. *Puti po Russkomu Altayu* [Paths across the Russian Altai]. Tomsk: Tipo-litografiya. Sibirskogo T-va Pechatnogo Dela. pp. 15–24.
25. Vasil'eva, M.G. (1904) Iz vospominaniy ob Altai [From memories of Altai]. *Vostochnoe obozrenie*. 140.
26. Potanin, G. (1911) Altay v fotografiyakh [Altai in photographs]. *Sibirskaya zhizn'*. 117.
27. Potanin, G. (1912) Altay. Prof. V.V. Sapozhnikov “Puti po Russkomu Altayu”. Tomsk, 1912 [Altai. Prof. V.V. Sapozhnikov “Paths across the Russian Altai”]. Tomsk, 1912]. *Sibirskaya zhizn'*. 236.
28. Zhilyakova, N.V., Shevtsov, V.V. & Evdokimova, E.P. (2015) *Periodicheskaya pechat' Tomskoy gubernii (1857–1916): stanovlenie zhurnalistiki i formirovanie regional'nogo samosoznaniya* [Periodical press of the Tomsk province (1857–1916): the formation of journalism and the formation of regional identity]. Vol. 1. Tomsk: Tomsk State University.
29. Research Library of Tomsk State University. Potanin, G.N. G.N. Potanin's Archive. Fund 1. List 1. (1915) *Pozdravitel'nyy adres v svyazi s 80-letием ot Tomskogo obshchestva izucheniya Sibiri. 21 sent. 1915 g.* [Congratulatory address on the occasion of the 80th anniversary of the Tomsk Society for the Study of Siberia. 21 September 1915].
30. G.V. (Georgiy Vyatkin). (1915) G.N. Potanin. *Sibirskaya zhizn'*. 205.
31. Mstislavskiy, P., protopriest. (1901) Religiozno-nravstvennaya i prosvetitel'naya deyatel'nost' Altayskoy missii po otnosheniyu k inorodtsam Altaya [Religious, moral and educational activities of the Altai mission in relation to the foreigners of Altai]. *Tomske eparkhial'nye vedomosti*. 1.
32. Landyshev, S., protopriest. (1864) *Altayskaya dukhovnaya missiya* [Altai spiritual mission]. Moscow: Tipografiya Bakhmet'eva.
33. Putintsev, M., protopriest. (ed.) (1891) *Altay* [Altai]. 2nd ed. Moscow: Izdatel'stvo Afonskogo russkogo Panteleimonova monastyrya.
34. Kreydun, G., protopriest. (ed.) (2016) *Missionerskie zapiski i dnevnniki sotrudnikov Altayskoy dukhovnoy missii: Sbornik arkhivnykh dokumentov* [Missionary notes and diaries of employees of the Altai spiritual mission: Collection of archival documents]. Barnaul: Barnaul'skaya dukhovnaya seminariya; Altayskiy dom pechati.
35. Modorov, N.S. (1996) *Rossiya i Gornyj Altay: politicheskie, sotsial'no-ekonomicheskie i kul'turnye otnosheniya (XVII–XIX vv.)* [Russia and Altai Mountains: Political, Socio-Economic and Cultural Relations (17th–19th centuries)]. Gorno-Altaisk: Gorno-Altaisk State University.
36. Gurkin, G. (1912) Paskha v Anose [Easter in Anos]. *Zhizn' Altaya*. 89.
37. Bulya, Val. (1904) S Altaya [From Altai]. *Sibirskaya zhizn'*. 129.

38. Potanin, G. (1903) *Zhivopis' v Sibiri* [Painting in Siberia]. *Sibirskaya zhizn'*. 195. Illustrated supplement.
39. *Katalog vystavki kartin G. Gurkina* [Catalog of the exhibition of paintings by G. Gurkin]. Tomsk Regional Museum of Local Lore (TOKM). Fund 1. List 6. File 102.
40. Tomsk Regional Museum of Local Lore (TOKM). Fund 1. List 6. File 102. *Ukazatel' vystavki kartin Altaytsa Gurkina 1910 goda* [Index of the exhibition of paintings by Altaian Gurkin of 1910].
41. Golikova, T.A. (2015) *Altaytsy: slovar' etnolingvokul'tury* [Altaians: Dictionary of Ethnolinguoculture]. Moscow; Berlin: Direkt-Media.
42. Dal'kevich, M.M. (1908) G.I. Gurkin. *Niva*. 49.
43. Gurkin, G. (1916) Altayskie skazaniya o Sartakpae [Altai legends about Sartakpay]. *Zapiski Zapadno-Sibirskogo otdela Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva*. 38. pp. 145–148.
44. Potanin, G.N. (1908) Inorodcheskie muzykal'nye motivy [Foreign musical motifs]. *Sibirskaya zhizn'*. 59.
45. Nikiforov, N.Ya. (1915) *Anosskiy sbornik: sobranie skazok altaytsev* [Anos collection: collection of tales of the Altaians]. Omsk: Tipografiya shtaba Omskogo voennogo okruga.
46. Potanin, G. (1909) Khudozhestvennye vesti [Artistic news]. *Sibirskaya zhizn'*. 243.
47. Potanin, G. (1909) Chemal'skiy tupik, s. Anos [Chemal deadlock, Anos village]. *Sibirskaya zhizn'*. 162.
48. Vyatkin, G. (1909) V gorakh Altaya [In the mountains of Altai]. *Sibirskaya zhizn'*. 161, 166, 172.
49. Vyatkin, G. (1915) Iz dnevnika. Anos [From the diary. Anos]. *Sibirskaya zhizn'*. 205.
50. Bazanova, L. (1907) Vystavka kartin khudozhnika Gurkina [Exhibition of paintings by Gurkin]. *Sibirskaya zhizn'*. 197, 199.
51. Tyurina, I.P. (ed.) (2002) *Tomsk khudozhestvennyy: nachalo XX veka: katalog vystavki* [Artistic Tomsk: Early 20th century: Exhibition catalog]. Tomsk: Rasko.
52. Katunin, F. (1911) Poseshchaemost' altayskikh kurortov [Attendance of Altai resorts]. *Sibirskaya zhizn'*. 235.
53. Potanin, G. (1910) Selenie Anos, Biyskogo uezda (Ekspeditsii i kurorty) [The village of Anos, Biysk district (Expeditions and resorts)]. *Sibirskaya zhizn'*. 170.
54. P-a. (1911) Anos (Izuchenie Sibiri. – Sibirskie khudozhniki) [Anos (Study of Siberia. – Siberian artists)]. *Sibirskaya zhizn'*. 182.
55. Gurkin, G. (1915) O khudozhestvennom al'bome kartin muzeya Aleksandra III (Pis'mo v redaktsiyu) [About the art album of paintings of the Alexander III Museum (A letter to the Editor)]. *Sibirskaya zhizn'*. 3.
56. Tomsk Regional Museum of Local Lore (TOKM). Fund 1. List 6. File 98. Page 60. *I periodicheskaya vystavka kartin Tomskikh khudozhnikov (fevral' – mart 1909 g.)* [1st periodic exhibition of paintings by Tomsk artists (February – March 1909)].
57. Tomsk Regional Museum of Local Lore (TOKM). List 6. File 152. Page 24. *Katalog khudozhestvennoy fotograficheskoy vystavki. S 11 po 17 aprelya 1911 g. v Gogolevskom dome* [Catalog of an art photographic exhibition. 11–17 April 1911 in the Gogol House].
58. Heine, H. (1858) *Pesni Geyne v perevode M.L. Mikhaylova* [Heine's songs translated by M.L. Mikhaylov]. Saint Petersburg: Tipografiya Yakova Treya.
59. Heine, H. (1859) *Priznanie* [Confession]. Translated from German by M.L. Mikhaylov. *Russkoe slovo*. 11. Pt. 1. pp. 116–117.
60. Nikanova, N.E., Seryagina, Yu.S. & Olitskaya, D.A. (2016) *Perevody nemetskoy literatury v dorevolyutsionnoy periodike Sibiri* [Translations of German Literature in Pre-Revolutionary Periodicals in Siberia]. Tomsk: Tomsk State University.
61. Veynberg, P.I. (1858) *Pesni Geyne v perevode M.L. Mikhaylova* [Heine's songs translated by M.L. Mikhaylov] *Biblioteka dlya chteniya*. 150. pp. 11–17.
62. Yadrintsev, N.M. (1885) *Pis'ma sibiryaka iz Evropy* [A Siberian's Letters from Europe]. *Vostochnoe obozrenie*. 36, 39, 42, 44, 48.

63. Yadrinsev, N.M. (1980) Na Gartse [On the Harz]. In: Yanovskiy, N.N. (ed.) *Literaturnoe nasledstvo Sibiri* [Literary heritage of Siberia]. Vol. 5. Novosibirsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
64. Yadrinsev, N.M. (1882) Strannik na zolotom ozere [Wanderer on the Golden Lake] *Vostochnoe obozrenie*. 1.
65. Anisimov, K.V. (2014) The Eastern travelogue of the 19th-century Russian literature: “imagination” of imperial peripheries in the perspective of narrative poetics (introductory observations). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1. pp. 5–21. (In Russian). DOI: 10.17223/24099554/1/1
66. Potanin, G. (1911) Zimniy sezond 1909–1910 g. v Tomske [Winter season 1909–1910 in Tomsk]. *Sibirskaya zhizn'*. 2.
67. Nikanova, N.E. (2018) Translation and translators in Tomsk literary periodicals at the late 19th century (I.I. Pochekas, P.A. Grabovsky, A.O. Stanislavsky and P.L. Chernevich). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 9. pp. 30–52. (In Russian). DOI: 10.17223/24099554/9/3
68. Sibirskaya zhizn'. (1916) Krasochnyy pevets Altaya [The colourful singer of Altai]. *Sibirskaya zhizn'*. 79.
69. Vs. K. (Krutovskiy) (1915) Vystavka kartin G.I. Gurkina [Exhibition of paintings by G.I. Gurkin]. *Sibirskaya zhizn'*. 60.
70. Litovskaya, M.A. (2012) [Kedra Mitrei: the image of the classic and founder father in modern literature]. *Dergachevskie chteniya – 2011. Russkaya literatura: natsional'noe razvitiye i regional'nye osobennosti* [Dergachev readings–2011. Russian literature: National development and regional features]. Proceedings of the 10th All-Russian Conference. Yekaterinburg. 6–7 October 2011. Vol. 3. Yekaterinburg: Ural State University. pp. 132–141. (In Russian).

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/66/16

Ю.В. Шатин, И.В. Силантьев

ДРАМА Г. ЧУЛКОВА «ТАЙГА»: РЕЦЕПТИЯ СИБИРСКОГО ТЕКСТА В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА¹

Рассматривается мифопоэтика драмы Г. Чулкова «Тайга» (1907) и её специфическое место в контексте русского символизма. Показывается, что драматург существенно модернизировал традиционные представления о Сибири в русской литературе, опираясь при этом на основные концепты созданного им учения о мистическом анархизме. Разгоревшаяся вокруг пьесы полемика позволяет говорить о ней как об оригинальном феномене в составе сибирского текста русской литературы начала XX в.

Ключевые слова: Г. Чулков, драма «Тайга», сибирский текст, мифопоэтика, русский символизм.

В широком понимании сибирский текст русской литературы включает весь корпус произведений, относящихся к сибирскому региону и охватывающих временной промежуток от XVII в. до наших дней. «Сибирский текст... – справедливо пишут авторы коллективной монографии «Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве», – выходит за рамки провинциального мотивного субстрата русской культуры, и если сразу вынести за скобки ненужные претензии на центральность (как ожидаемую альтернативу провинциальности), то уместнее всего будет проецировать сибирский текст на концепт *периферии*» [1. С. 4].

Такой концепт наряду с художественными произведениями будет включать и произведения «промежуточных жанров» (термин Л.Я. Гинзбург), таких как мемуары, письма, травелоги и т.п. В узком смысле говорить о сибирском тексте можно как о коллекции знаковых произведений, где знак обнаруживает отклонение от общепринятых тенденций и демонстрирует обращение к нереализованным до сей поры принципам художественного языка, т.е. текстов, отклоняющихся от общей тенденции и демонстрирующих обращение к нереализованным до сей поры средствам художественного языка. К числу таких знаковых текстов мы относим символистскую драму Г. Чулкова «Тайга» (1907).

Историко-литературную и теоретическую значимость пьесы Г. Чулкова представляет по нескольким причинам. Во-первых, «Тайга» – одно из не-

¹ Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, языко» по гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (соглашение № 075-15-2019-1884).

многих произведений драматического рода начала XX в., связанное с сибирским текстом. Во-вторых, Чулков, хотя и не входил в первый круг русских символистов, занял в системе этого направления специфическое место благодаря созданной им теории «мистического анархизма». Хронологическое совпадение выхода манифеста мистического анархизма со временем написания драмы «Тайга» едва ли было случайным. В-третьих, несмотря на отсутствие сколько-нибудь явного читательского интереса, драма оказалась в эпицентре литературной полемики противоположных литературных направлений. Реалисты во главе с В.Г. Короленко обрушились на неё за мистицизм, символизм и декадентство. Союзники-младосимволисты, прежде всего А. Белый и в меньшей степени А.А. Блок, считавшийся близким другом Чулкова, осудили пьесу за отсутствие в глубокое проникновение в тайны человеческого бытия и способов его художественного выражения. Эти три обстоятельства позволяют говорить об актуальности пьесы, сохранившей интерес для филологической науки наших дней.

Интерес к сибирской тематике в творчестве Чулкова во многом был вызван фактами его биографии. За участие в революционном движении в 1902 г. недоучившийся студент был сослан в Якутию в селение Амга, где в своё время отбывал ссылку В.Г. Короленко. Чулков прожил в Якутии около года. Несмотря на относительную краткость, якутская ссылка оставила глубокий след в духовном мире писателя, став на несколько лет важнейшей частью его персонального мифа. «Конструирование сибирского ландшафта в русской культуре представляло собой сложный процесс постоянного колебания базовой оценки наблюдателя, словно раздваивающегося между задачей дальнейшего отчуждения Сибири и противоположной установкой, которая заключалась в символическом освоении / присвоении, включении Сибири в контур национальной жизни» [1. С. 6]. Подобные колебания были характерны и для Чулкова, который, с одной стороны, позиционировал себя человеком Тайги, а с другой – претендовал на роль демиурга, создающего принципиально новую картину сибирского текста. Без такого противоречия трудно было бы говорить о понимании художественного смысла пьесы. Характерно, что восприятие Чулкова, человека и писателя, через мифологему Тайги разделялось его ближайшим окружением из лагеря символистов. Недаром свой сонет, посвящённый Чулкову, Вяч. Иванов озаглавил «Таёжник» (1904), в котором прямо заявлял:

Беглец в тайге, безнорный зверь пустынь.
Безумный жрец, приникший бредным слухом
К Земле живой и к немоте святынь,
В полуночи зажжённых страшным Духом!

[2. С. 295].

Таёжный образ сохраняется и в характеристике творчества писателя, данной И.Ф. Анненским в его статье «О современном лиризме» (1909): «Ключ к поэзии Георгия Чулкова не в двух его стихах, а в его художественной прозе. Тайга серёзна и сурова. Она не любит лирного звона» [3. С. 374].

Символистов, современников Чулкова, мало смущал тот факт, что тайга в его изображении имела мало сходства с реальной якутской тайгой, подчиняясь общим правилам сибирского мифотворчества. Как справедливо заметил В.И. Тюпа, «Сибирь с её каторгами, пересыльными тюрьмами, принудительными поселениями и одновременно искателями счастья (переселенцами) в национальном сознании мифологизировалась, стала достоянием «доксы», общепонятным хронотопическим образом некоторого способа присутствия человека в мире [4. С. 27]. Не менее важной для сибирского текста русской литературы оказывается специфика его семиотических границ. Как справедливо заметила Н.Е. Меднис, базовые признаки сибирского сверхтекста: географические, политические, исторические, культурные и т.п. – в сравнении с традиционными для русской литературы образовали специфические художественные коды, «символизация которых в сознании людей, въезжающих в Сибирь, приводила часто к различного рода смещениям относительно реальности» [5. С. 121]. Благодаря этим кодам автор точно определила специфику художественного времени, в той или иной мере характерную для множества сибирских текстов. Время здесь останавливает ход, оказывается обременённым мотивом безвременья, «обозначаемым словом “навсегда”» [Там же. С. 124]. В этом плане «сибирская граница по аналогии с пограничными процессами в физике может быть определена как зона плавного перехода, как зона постоянного накопления нового качества, взрывной силой проявляющего себя в пиковой точке разграничения» [Там же. С. 127].

К сказанному следует добавить, что именно обращение к сибирскому тексту позволило Чулкову соединить общепонятную мифологему Сибири с персональным мифом автора, включившим столь противоречивые элементы, как неизбыточное отчаянное, безудержное стремление к свободе и патологическое желание выйти за пределы общечеловеческих правил общежития. Уже год спустя после возвращения из ссылки Чулков публикует рассказ «Тайга» (1904). В рассказе повествование ведётся от первого лица, создавая тем самым атмосферу автобиографичности и автопсихологичности рассказываемой истории. В этом одном из первых беллетристических произведений писателя обнаруживается главная черта его поэтики, о которой пишут исследователи. «В малой прозе Г. Чулкова распространён тип повествования, – замечает Д.Г. Исеналиева, – при котором создаётся иллюзия идентичности повествователя и образа автора. Основной задачей становится психологическое самораскрытие повествователя, который представляется двойником автора и по своему мировоззрению, и по речи, что и оправдывает особенности повествовательной структуры» [6. С. 11].

Рассказ начинается с поэтического описания тайги и летней охоты, когда герою не хочется ничего, кроме неба тайги и мыслей. 17 августа к нему приезжает жена, нарушая привычный ход существования героя. Его одолевают сомнения в истинности мира, когда и мир, и женщина, и бездонное небо, и пьяный свет сладострастной луны кажутся иллюзией и обманом. Когда же приходит зима, наступает жажда уединения. В маниакальном

состоянии герой убивает жену, ощущая, как в это время тайга надвигается на юрту, чтобы раздавить и поглотить его.

Через три года Г. Чулков пишет драму с одноимённым названием. Драма «Тайга» активно наследует основные мотивы рассказа: жизнь героя в юрте, приезд жены, начавшееся отчуждение супругов. Вместе с тем трансформация двухстороничного рассказа в трёхактную драму потребовала существенного изменения основных принципов художественной структуры. Прежде всего Чулков вводит параллельную линию – наряду с главным героем Юрием, к которому приезжает жена, значимыми оказываются фигуры Доктора и его жены – якутки Сулус.

Фабула «Тайги», если отвлечься от её мистического, эзотерического смысла, довольно проста, если не сказать примитивна. Приезд жены к Юрию и последовавшая отчуждённость рождают любовь к нему в сердце Сулус. Она вступает в мистический контакт с шаманом с целью приворожить Юрия. Узнав об измене жены и контакте с тёмными силами, Доктор убивает её. Перекодирование системы действующих лиц и передачи главного мотива – убийства от одного персонажа другому расширяет текстовый объём произведения в сравнении с ранним рассказом, но не исчерпывает художественного потенциала драмы, которая наряду с эзотерическим кодом формирует противоположный – эзотерический, обусловленный мистическим анархизмом создателя.

Каковы же приёмы, создающие этот второй код? Прежде всего, следует обратить внимание на особенности ремарок. Если в традиционной драматургической структуре ремарки выполняют чисто техническую функцию, управляя сменой лиц и положений в ходе действия, то символистская драма пытается наполнить ремарку суггестивным смыслом. Такая ремарка не может быть сыграна на сцене, но при чтении точно передаёт смену настроения действующих лиц и создаёт своеобразную партитуру смысла, не сводимого к обычной житейской логике. «За окном стынет осенняя тайга» [7. С. 139]. «Сестра Любовь делает шаг навстречу Доктору. Волосы её распустились, прекрасные волосы тёмно-червонного цвета» [Там же. С. 139]. «Любовь и Юрий освещены красным огнём камелька» [Там же. С. 134]. «Большой оранжевый месяц странно выделяется на тёмном густом небе. Немного повыше – две оранжевые полосы. Широкогрудая земля придвигнулась к небу. И как будто месяц не светит: темно вокруг, и только кое-где лежат нелепые белые пятна» [Там же]. «Скоро туман непроницаемой стеною закрывает и якутов, и охотников. Только смутный гул доносится откуда-то, и погребально и тускло звучит рог» [Там же]. «Туман расходится, и рождается Солнце, обагрённое кровью» [Там же. С. 157]. Наряду с партитурой суггестивных ремарок роль нагнетаемой безысходности и беспредельного ужаса создаёт песня старого якута с постоянными повторами:

Ушли олени в тайгу, в тайгу,
И плачет сердце в тоске, в тоске.
На белом, белом снегу
Чернеет след на реке, на реке.

Песня якута, которой и открывается драма, предваряет игру Доктора на скрипке, усиливая мотив тоски как основного настроения обитателей юрты. З.Р. Жукоцкая, говоря о роли музыки в текстах Г. Чулкова, отмечает: «Размышляя над вопросом – Что есть музыка? – можно вывести две формулы. Первая – искусство звуковых модуляций, вызывающих художественный образ; вторая – символ стихийности (неформальной упорядоченности) эмоционального ряда – тогда можно различать музыку слова, цвета (светотени), музыку пластики, музыку прикосновений» [8. С. 101]. Благодаря такой дифференциации Г. Чулков, как и другие младосимволисты, различает музыку как феномен и как ноумен, и в этом последнем качестве музыка отлично выполняет роль сокрытого двигателя эзотерического кода «Тайги».

Своебразными знаками смысла становятся имена героинь – сестры милосердия Любови и якутки Сулус (Звезда), в крещении Софии. Любовь одной к Юрию оказывается милосердием. Любовь же второй, полная таинственной мудрости, идущей из глубин шаманизма, оказывается утренней звездой, неизбежной жертвой, как определяет её Любовь, предваряющей восход кровавого Солнца.

Фигуры героев «Тайги» во многом скроены по лекалам мистического анархизма. Это они «жадно приникли устами к чаше с ядом... быть может, они погибнут; быть может, он исцелит их. Но возврата нет. Я говорю о тех, кто искусился: я говорю о тех, кто преодолел мещанский скептицизм» [9. С. 36]. Подобно ницшеанскому Заратустре именно таким героем суждено совершить отчаянный прыжок от человека к сверхчеловеку.

С точки зрения фабулы действия персонажей сведены к минимуму. Зато речи их полны глубокого смысла, не поддающегося логической расшифровке. Но еще более глубоко их молчание, каждый раз обозначаемое ремаркой. Ремарка «молчание» повторяется 19 раз, причём 17 из них приходятся на два первых акта, в которых действие практически не развивается. Именно механизм ретардации усиливает суггестию текста, придаёт ему многозначность с явными элементами мистики. Как заметил М. Мерло-Понти, «что касается языка, из латентного отношения к знаку, сохраняющего каждый из них означивающим, следует, что смысл зарождается в точке их соприкосновения, как бы в интервале между словами» [10. С. 47]. В добавление к словам философа следует заметить, что каждый интервал обладает собственной длительностью, заполняющей в тексте «Тайги» либо пустоту, либо звучание музыкальной фразы. Как раз здесь количественный показатель обусловливает качественный смысл последующего высказывания, его удельный вес. Эзотерика драматургического действия в символистской драме (и «Тайга» лишний раз подтверждает это правило) в противоположность экзотерике апеллирует не столько к значению отдельно взятой фразы, сколько к организующей роли ритма, как бы подготавливающего ритуальное убийство. Вот почему нарастающая энергия суггестии находит своё завершение в финальной фразе сестры Любови, объясняющей убийство Сулус Доктором. «Не надо бояться. Не надо. Это – жертва» [7. С. 157].

Таким образом, создавая в рамках сибирской темы миф о Тайге, Г. Чулков использовал общую схему мифа, как её в своё время описал В.Я. Пропп, и одновременно существенным образом модернизировал её. Как известно, проповская схема, постулирующая стадии комплекса инициации, включает четыре элемента: отлучка – испытание – лиминаяция – трансформация (преображение). Универсальность такой схемы обусловлена тем, что «связность функций в сюжете мыслится Проппом как их однолинейная последовательность (а, затем б, затем с и т.д.), так что сущность каждой из них заключается в том, чтобы вводить последующую» [11. С. 430].

Естественно, что при переходе от повествовательной схемы к драматургической структуре Чулкову пришлось существенно изменить её, обогатив новыми элементами. Так, отлучке Сулус предшествует прибытие сестры Любови (вторжение в магическое пространство Тайги). Благодаря такому вторжению возникает новая оппозиция двух героинь, влюблённых в Юрия, из-за чего усиливается напряжённость действия, обычно не свойственная фольклорным текстам. Подобно тому, как мотив отлучки осложняется мотивом вторжения другой женщины, мотив испытания соседствует с другим мотивом – безумия, в котором оказывается Сулус после магической встречи с шаманом. На страстный призыв любить её Юрий отвечает: «Вы безумны, Сулус, Вы – больны. У Вас лихорадка. Я отведу Вас домой?» [7. С. 149].

Особо следует сказать о характере лиминальности в «Тайге». Как спрашивливо заметил В.И. Тюпа, лиминальность играет значительную роль в формировании сибирского текста. «Мифологизация Сибири как лиминального пространства русской культуры окончательно сложилась благодаря отправке на каторгу декабристов, что стало парадигмальным явлением российской истории. Однако соответствующий хронотопический образ зауральских просторов колонизации, где телесное умирание может оказаться залогом духовного рождения заново, начал складываться задолго до этого исторического события» [4. С. 29].

Основные черты сибирского лиминального пространства, обозначенные Тюпой, широко представлены в чулковской драме. Холод, темнота, деревья, вывороченные с корнями, словно предваряют драматический финал «Тайги». В словах одного из охотников чётко обозначается и главная цель преодоления лиминальности: «Старики-якуты сказывают, что будет время, когда все научатся плясать под бубны, тогда загорятся сердца, и весь мир сгорит в весёлом огне» [7. С. 147].

Однако именно в ожидаемой точке преодоления происходит значимая трансформация мифологической схемы. Драматург вводит чуждый основной мифологеме Сибири мотив танатоэротики. После того как чары шамана оказываются безрезультатными, безответная любовь Сулус к Юрию соединяется с желанием смерти. Именно о ней Сулус молит своего мужа Доктора: «У тебя твёрдая рука и хороший глаз. Душа у тебя суровая. Ты один можешь спасти меня. Освободи меня от жизни!» [7. С. 151]. Таким

образом, преображение переформатируется в финале пьесы в типичную для символизма ситуацию нераздельности любви и смерти. Убийство Сулус оказывается спасительной жертвой, символом которой становится восходящее обагрённое кровью Солнце.

Как уже было замечено, пьеса Чулкова вызвала резкую отповедь двух противоположных лагерей. В журнале «Русское богатство» за 1907 г. (кн. 5) была опубликована рецензия В.Г. Короленко на драму «Тайга». Статья пронизана духом иронии, которая достигается довольно простым приёмом – переводом эзотерических смыслов на язык бытового общения. «Это значит, что к простому понятию прибавлено «настроение», столь интенсивное, что для нервных московских дам оно становится даже нестерпимым. По-видимому, и тайга даёт г. Чулкову «настроение» лишь тогда, когда она является не тем, что она есть в действительности, а только с прибавлением к ней «земли в священной пустынности» и разных небывалых жупелов» [12. С. 331].

Отсюда и категорический вывод рецензента: «...не очевидно ли вам, что г. Чулков никогда у г-жи Тайги не бывал и что его показания об её причастности к этому делу столь же облыжны, как показания о носорогах и лебедях. Ни в какого Доктора она не влюблялась... а значит – не было причины к подстрекательству на убийство почтенной докторши. И если есть здесь какое бы то ни было преступление, то – разве издевательство над здравым смыслом бедного читателя» [Там же. С. 333–334].

Если реакция трезвого реалиста Короленко на символизм Чулкова была вполне предсказуемой (с учётом негативных отзывов даже о таких шедеврах, как «Вишнёвый сад» Чехова), то резкие отзывы собратьев по символизму связывались не столько с отдельно взятой пьесой, сколько с изменившейся атмосферой самого символизма, потребовавшей деконструкции героического мифа о создателе пьесы. В тексте «Тайги» художественный вымысел причудливо соединился с философией мистического анархизма, и теперь уже трудно было сказать, где заканчивалось неприятие одного и начиналось неприятие художественной структуры драмы.

Как отмечает М.В. Михайлова, в 5-м номере журнала «Весы» за 1907 г. З.Н. Гиппиус под псевдонимом Товарищ Герман публикует ядовитый фельетон «Трихин», полностью совпадающий «с досконально продуманной, тщательно выверенной и безукоризненно исполненной политикой «Весов», где важное место отводилось дискредитации личности и творческой позиции Г. Чулкова» [13. С. 307]. Продолжая исследование фельетона З.Н. Гиппиус, М.В. Михайлова приходит к выводу: «Действительно, «миф» о Чулкове был едва ли не самым устойчивым житейским символистским мифом. Можно подумать, что символизму нужен был “мальчик для битья”. И он был создан» [Там же. С. 318].

Ядовитый тон в отношении философии Чулкова З.Н. Гиппиус, видимо, сохранила до конца жизни. Даже в некрологе она не смогла удержаться от сарказма: «Если, по общим отзывам, способности Чулкова, литературные и умственные, были весьма средние, при отсутствии к тому же самостоя-

тельности – сам он никогда этого не подозревал. С подкупающей искренностью говорит он – в «Книге странствий» – о себе, каким действительно себя видит, мечтая: сначала пылким революционером, потом известным писателем, критиком, драматургом, руководителем журналов, идейным новатором («мистический анархизм»), истинным другом «знаменитых» современников. Даже передавая неверные факты – он не лжёт; он верит, что так было... Повторяю: дар “самомечтания” – большой дар, потому что это дар счастья» [14. С. 462–463].

Более взвешенную позицию по отношению к мистическому анархизму занял Д.В. Философов, который в статье «Мистический анархизм» заметил, что «статьи двух мистических анархистов (Чулкова и Иванова. – Ю.Ш., И.С.) важны не сами по себе, а как интересный показатель той остроты, которой достиг внутренний разлад в душе современных людей. Это психологический документ глубочайшей важности» [15. С. 59–60].

Смягчённый, но всё же не лишённый негативных коннотатов отзыв о драме дал А.А. Блок, находившийся в то время в дружеских отношениях с Чулковым. «Георгию Чулкову не удалась драма «Тайга». По-видимому, это должна была быть лирическая драма, именно такая, в которой над действием господствует туман, и из тумана выделяются действующие лица – двойники, подобные друг другу. По крайней мере Доктор похож на Юрия, а сестра Любовь на якутку Сулус. И сверх того все действующие лица обмениваются только «значительными» фразами и всё время переспрашивают друг друга и удивляются. Но лирические пророчества холодны, отвлечёны и непонятны... «Тайга» уступает некоторым рассказам Чулкова, но риторики в ней меньше, чем в иных его стихах» [16. С. 93].

Вполне вероятно, что неудача «Тайги» заложена была уже в самом замысле – проиллюстрировать основные тезисы мистического анархизма, перенеся их в якутскую юрту. Вряд ли было возможно соединить экзотику якутской жизни с рафинированной эзотерикой, характерной для символизма. Вместе с тем события 1907 г. и наметившийся кризис символизма как ведущего литературного направления сыграли злую шуту с Чулковым. Подобно убитой якутке Сулус, он сам оказался сакральной жертвой, принесённой на алтарь словесности вместе с дорогим для него мистическим анархизмом.

Литература

1. Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве. Красноярск : СФУ, 2010.
2. Иванов Вяч.И. Стихотворения. Поэмы. Трагедии. СПб., 1995. Кн. 1.
3. Анненский И.Ф. О современном лиризме // Анненский И.Ф. Книга отражений. М., 1979.
4. Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте русской литературы» // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1.
5. Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М., 2011.
6. Исеналиева Д.Г. Проза Г.И. Чулкова: Проблематика и поэтика : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Астрахань, 2011.

7. Чулков Г.И. Сочинения. СПб., 1911. Т. 4.
8. Жуковская З.Р. Философия музыки в мистическом анархизме Г.И. Чулкова: социально-психологический аспект // Философия и общество. 2003. Вып. № 1 (30).
9. Чулков Г.И. О мистическом анархизме. Б. м., 1906.
10. Мерло-Понти М. Косвенный язык и голоса безмолвия // Мерло-Понти М. Знаки. М., 2001.
11. Бремон К. Структурное изучение повествовательных текстов // Семиотика. М., 1983.
12. Короленко В.Г. Георгий Чулков – «Тайга» // Собр. соч. : в 10 т. М., 1955. Т. 8.
13. Михайлова М.В. Зинаида Гиппиус и Г.И. Чулков // З. Гиппиус: Материалы и исследования. М., 2003.
14. Гиппиус З.Н. О счастливости (Г.И. Чулков) // Современные записки. 1939. № 68.
15. Философов Д.В. Мистический анархизм // Золотое руно. 1906. № 10.
16. Блок А.А. О драме «Тайга» // Полн. собр. соч. : в 20 т. М., 2003. Т. 7.

Georgy Chulkov's Play *The Taiga*: Reception of the Siberian Text in the Context of Russian Symbolism

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 298–307. DOI: 10.17223/19986645/66/16

Yuriy V. Shatin, Igor V. Silantev, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: shatin08@rambler.ru / silantev@philology.nsc.ru

Keywords: Georgy Chulkov, *The Taiga*, Siberian text, mythopoetics, Russian symbolism.

The study is supported by the grant of the Government of the Russian Federation for state support of research conducted under the supervision of leading scientists, Agreement No. 075-15-2019-1884.

The article discusses the mythopoetics of Georgy Chulkov's drama *The Taiga* (1907) and its specific role in the context of Russian symbolism. Chulkov significantly modernised traditional ideas about Siberia in Russian literature while relying on the basic concepts of the doctrine of mystical anarchism that he created. The play is considered against the background of the same-name story preceding it. The transformations of the plot in the two texts are analysed. It is established that the recoding of the system of actors and the transfer of the motif of killing from one character to another in the drama extends its volume in comparison with the earlier story, but does not exhaust its artistic potential. Along with the exoteric code, the drama forms the opposite, esoteric one due to its author's mystical anarchism. In this regard, the role of the remark in Chulkov's drama is determined. The remark is filled with suggestive meaning. It cannot be played on stage, but, when reading it, it conveys a change in the mood of the characters and creates a peculiar score of meaning that cannot be reduced to ordinary logic. Creating the myth of the Taiga within the framework of the Siberian theme, Chulkov uses the general scheme of the myth, as V.Ya. Propp described it, and at the same time significantly changes it. Propp's scheme postulating the stages of the initiation complex includes four elements: leaving, test, limination, and transfiguration (transformation). In the transition from a narrative scheme to a dramatic structure, Chulkov had to significantly change this scheme, enriching it with new elements. So, the motif of leaving is complicated by the motif of another woman's invasion, the motif of test is adjacent to the motif of madness, in which the heroine finds herself after a magical meeting with the shaman. The most important is the significant transformation of the mythological scheme at the expected point of transfiguration. Chulkov introduces a thanatoerotic motif, which is alien to the main mythologem of Siberia. Thus, the transformation is reformatted at the end of the play into a typical symbolic situation of the inseparability of love and death. The controversy surrounding the play allows speaking about it as an original phenomenon in the Siberian text

of Russian literature of the early twentieth century. Despite the absence of any obvious reader interest, Chulkov's drama was at the epicentre of the literary polemic of opposing literary movements. Realists led by V.G. Korolenko criticised it for mysticism, symbolism, and decadence. Young Symbolists, primarily A. Bely and A.A. Blok, condemned the play for its lack of a deep insight into the secrets of human life and ways of its artistic expression. Thus, the interpretation of the drama *The Taiga* as an original link of the Siberian text is highly relevant.

References

1. Anisimov, K.V. (ed.) (2010) *Sibirskiy tekst v natsional'nom syuzhetnom prostranstve* [Siberian text in the national narrative]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University.
2. Ivanov, V.I. (1995) *Stikhvoreniya. Poemy. Tragedii* [Poems. Narrative Poems. Tragedies]. Vol. 1. Saint Petersburg: Akademicheskiy proekt.
3. Annenskiy, I.F. (1979) *Kniga otrazheniy* [Book of Reflections]. Moscow: Nauka. pp. 328–382.
4. Tyupa, V.I. (2002) Mifologema Sibiri: k voprosu o “sibirskom tekste russkoy literatury” [Mythologem of Siberia: on the question of the “Siberian text of Russian literature”]. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 1. pp. 27–35.
5. Mednis, N.E. (2011) *Poetika i semiotika russkoy literatury* [Poetics and Semiotics of Russian Literature]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
6. Isenalieva, D.G. (2011) *Proza G.I. Chulkova. Problematika i poetika* [Prose of G.I. Chulkov. Problematics and Poetics]. Abstract of Philology Cand. Diss. Astrakhan.
7. Chulkov, G.I. (1911) *Sochineniya* [Works]. Vol. 4. Saint Petersburg: Shipovnik.
8. Zhukotskaya, Z.R. (2003) Filosofiya muzyki v misticheskem anarkhizme G.I. Chulkova: sotsial'no-psichologicheskiy aspekt [The philosophy of music in G.I. Chulkov's mystical anarchism: A social and psychological aspect]. *Filosofiya i obshchestvo*. 1 (30). pp. 98–114.
9. Chulkov, G.I. (1906) *O misticheskem anarkhizme* [On Mystical Anarchism]. Saint Petersburg: [s.n.].
10. Merleau-Ponty, M. (2001) *Znaki* [Signs]. Translated from French by I.S. Vdovin. Moscow: Iskusstvo. pp. 44–94.
11. Bremond, C. (1983) Strukturnoe izuchenie povestvovatel'nykh tekstov [Structural Study of Narrative Texts]. In: Stepanov, Yu.S. (ed.) *Semiotika* [Semiotics]. Moscow: Raduga.
12. Korolenko, V.G. (1955) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Vol. 8. Moscow: Goslitizdat.
13. Mikhaylova, M.V. (2002) Zinaida Gippius i G.I. Chulkov [Zinaida Gippius and G.I. Chulkov]. In: Koroleva, N.V. (ed.) *Zinaida Gippius. Novye materialy. Issledovaniya* [Zinaida Gippius. New Materials. Research]. Moscow: IWL RAS. pp. 307–319.
14. Gippius, Z.N. (1939) O schastlivosti (G.I. Chulkov) [About happiness (G.I. Chulkov)]. *Sovremennye zapiski*. 68.
15. Filosofov, D.V. (1906) Mistichескиy anarkhizm [Mystical anarchism]. *Zolotoe runo*. 10.
16. Blok, A.A. (2003) *Polnoe sobraniye sochineniy* [Complete Works]. Vol. 7. Moscow: Nauka. pp. 83–100.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 070:93/94 (571.1)
DOI: 10.17223/19986645/66/17

А.Е. Мазуров, Н.В. Жилякова

«КАРТИНКА МЕСТНОГО НАСТРОЕНИЯ»: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАПРЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ФЕЛЬЕТОНА «СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ» (1881)¹

Впервые анализируется содержание первого фельетона «Сибирской газеты» под названием «Очерки и картинки провинциальной жизни», который был запрещен к публикации в 1881 г., но сохранился в типографских оттисках газеты, представленных в Главное управление по делам печати. Выявляются обстоятельства запрещения фельетона, делается вывод о том, что этот сюжет повлиял на дальнейшую политику «Сибирской газеты» в отношении фельетонов.

Ключевые слова: «Сибирская газета», фельетон, цензура, сатирические жанры, художественно-публицистические жанры.

История дореволюционной сибирской журналистики постоянно находится в центре исследовательского внимания, о чем свидетельствует появление монографических работ, учебников и учебных пособий (см., например, [1–4] другие работы). Исследователями определены периоды развития журналистики Сибири конца XIX – начала XX в., выявлены основные тенденции развития, охарактеризованы ведущие издания этого периода. Тем не менее история сибирской журналистики время от времени дополняется новыми сюжетами, связанными с открытием новых изданий – таких, как, например, семинарские журналы [5], или с выяснением цензурных практик в отношении официальных сибирских газет – «Губернских ведомостей» [6] и т.д. К таким вновь выявленным фактам относится и сюжет, связанный с запрещением публикации первого фельетона «Сибирской газеты», который рассматривается в настоящем исследования.

Целью работы является выяснение обстоятельств запрещения фельетона «Очерки и картинки провинциальной жизни» (Сибирская газета. 1881. № 11 – не опубликован) и анализ его содержания, возможный благодаря тому, что текст фельетона сохранился в типографском оттиске. Этот оттиск был предоставлен в Главное управление по делам печати и сохранился в материалах архивного дела «Об издании в Томске «Сибирской газеты»

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-012-00352А «“Секретно. Конфиденциально”: цензурная история провинциальной журналистики (на материалах периодической печати дореволюционной Томской губернии)».

[7]. Изучение этого сюжета проясняет редакционную политику «Сибирской газеты» в отношении публикации других фельетонов.

Краткая характеристика «Сибирской газеты»

«Сибирская газета», первая крупная частная газета Западной Сибири, издававшаяся в Томске в 1881–1888 гг., неоднократно становилась предметом исследовательского внимания. Ее история рассматривалась в контексте развития сибирской журналистики Л.С. Любимовым и Л.Л. Ермолинским [1, 8], взаимодействие «Сибирской газеты» с цензурным ведомством привлекало внимание Ю.Л. Мандрики [9], отдельные статьи посвящены известным участникам «Сибирской газеты» – Ф.В. Волховскому, К.М. Станюковичу, А.В. Адрианову [10, 11] и т.д.

Исследователи отмечают, что у «Сибирской газеты» имелся ряд особенностей, которые обусловили ее ведущее положение среди сибирских органов печати 1880-х гг. Прежде всего, это сильный авторский состав: в редакции газеты участвовали как представители местной сибирской интеллигенции (А.В. Адрианов, Г.Н. Потанин и др.), так и многочисленные политические ссылочные (Ф.В. Волховский, Д.А. Клеменц, С.Л. Чудновский и др.), и известные русские писатели, чьи судьбы оказались связанными с Томском (К.М. Станюкович, Г.И. Успенский, В.Г. Короленко, Г.А. Мачтет). «Сибирская газета» с первого года существования и до закрытия в 1888 г. «за вредное направление» была оппозиционным органом печати, она поддерживала областническое направление и следовала демократическим традициям российской журналистики. Газета считала своими ключевыми задачами формирование регионального самосознания и эстетическое развитие своего читателя.

Важной особенностью издания была «литературоцентричность», проявлявшаяся, с одной стороны, в постоянном внимании к вопросам литературы и искусства, с другой – в «литературности» самого газетного материала, в сочетании жанров публицистических, художественно-публицистических и художественных. Они встречались почти в каждом номере газеты: на страницах газеты публиковались стихотворения, рассказы, очерки, даже романы – роман-фельетон К.М. Станюковича «Не столь отдаленные места». Добавим, что художественные элементы – диалоги, метафоры, детали – встречались даже в новостных журналистских жанрах.

Одним из самых значимых для «Сибирской газеты» жанров был фельетон. Однако он далеко не сразу занял ведущее место в издании.

Фельетоны «Сибирской газеты»: неудачный «старт»

В 1881 г. «литературоцентричная» модель «Сибирской газеты» еще только формировалась, и в течение года в ней размещались в основном жанры информационные (телеграммы, хроники, корреспонденции) и аналитические (статьи, обзоры). Из художественно-публицистических жанров

был наиболее востребован очерк. Что же касается фельетонов, то в 1881 г. с большой долей условности к этому жанру можно отнести только материал «Игнатьй Никитич (сибирский тип)» (СГ. 1881. № 22).

Несмотря на то, что фельетон был изначально заявлен в программе «Сибирской газеты», фельетонная рубрика появилась в ней только на втором году издания – и сразу же стала одной из самых популярных и востребованных среди читателей. Всего в «Сибирской газете» за время существования было опубликовано более 140 фельетонов, которые стали наиболее резонансными и обсуждаемыми материалами, сформировали своеобразное «лицо» издания.

Однако это только «видимая» часть фельетонной истории «Сибирской газеты». Изучение архивов Главного управления по делам печати, а именно дела «Об издании в Томске «Сибирской газеты», показало, что в действительности в 1881 г. была сделана попытка опубликовать фельетон. Он должен был войти в состав № 11 «Сибирской газеты», однако столкновение с местным цензором М.А. Гиляровым привело к тому, что этот выпуск газеты не вышел (подробнее об этой истории см.: [12]). В результате активной переписки с Главным управлением по делам печати в Петербург из Томска были отправлены типографские оттиски с правками М.А. Гилярова для оценки верности его действий.

Томским цензором были вычеркнуты из номера циркуляр нового министра, статья об инспекции народных училищ, отчет судебного заседания, перепечатки из изданий «Порядок» и «Правительственный вестник». В другие материалы М.А. Гиляровым были внесены правки, а на полях подписаны язвительные замечания, касающиеся содержания текстов. В число полностью вычеркнутых материалов попал и фельетон под названием «Очерки и картинки провинциальной жизни».

Редакция пыталась отстоять свой первый фельетон. Обратив внимание на то, что М.А. Гиляров подписал на корректуре рядом с ним «минуты вольного раздумья», редактор А.И. Ефимов и издатель П.И. Макушин писали начальнику Главного управления по делам печати: «...если даже смотреть на него так, как взглянул г. Гиляров, то есть как на написанный “в минуты вольного раздумья”, он не заслуживает запрещения по крайней мере безобидностью своего содержания. Это – картинка местного настроения, и можно не разделять наблюдений автора, но мешать ему высказать это наблюдение, по нашему мнению, не представляет никаких оснований» [7. Л. 18].

Однако это не привело к положительному результату. Фельетон не был опубликован ни в запрещенном № 11, ни в дальнейших номерах «Сибирской газеты».

Можно предположить: именно этот неудачный фельетонный «старт» привел к тому, что авторы газеты долгое время не решались вновь попробовать свои силы в этом жанре. Известно, что когда А.В. Адрианов уже в 1882 г. писал фельетонный цикл «По Сибири» (СГ. 1882. № 27, 30, 35), в редакции этот жанр воспринимался как опасный и чуть ли не революцион-

ный. В письме к Г.Н. Потанину от 17 июля 1882 г. Адрианов писал: «Мои фельетоны неохотно пропускаются редакцией, говорят, что годятся для «Земли и воли». Вот чудаки!» [13. С. 137]. Тем не менее со временем фельетон занял свое место в жанровой палитре «Сибирской газеты».

Автор неизданного фельетона «Сибирской газеты» пожелал сохранить анонимность – материал не был подписан. Определение автора также затруднено тем, что больше подобных материалов в газете в 1881 г. не было. Из редакторского состава в 1881 г. фельетон вполне мог принадлежать А.В. Адрианову, который спустя год заложил традицию освещения сибирской темы в сатирических жанрах. Также фельетон мог принадлежать и внештатному автору газеты Н.М. Ядринцеву, который в других своих работах часто делил местную публику на единичных носителей прогресса и обычных людей, а провинциальным городам давал говорящие названия (Отдаленск).

Сюжет запрещенных «очерков и картинок»

Фельетон «Сибирской газеты», предназначенный к публикации в № 11, на первый взгляд не содержал в себе ничего особенно «кriminalного». Он носил нейтральное название «Очерки и картинки провинциальной жизни», имел подзаголовок «I»: вероятно, автором был задуман целый цикл подобных произведений.

Текст фельетона начинался с описания времен, «когда Россия переживала первые «трудные годы»... когда о новых веяниях еще не было ни слуху, ни духу» [7. Л. 24]. Автор подчеркивал: «Если я говорю: Россия переживала, то это значит, что «трудные годы» отразились и на многомиллионной провинции, и не только внутренних, а на всех вообще губерниях и областях» [Там же].

Автор фельетона выделял отличия «трудных годов» в «центре» и «в межах отдаленных». В центре «они протекали лихорадочно быстро, по-военному – пиф! паф!.. и готово» [Там же]. Дальше от центра «военный элемент» уступал место «гражданскому», с опозданием и «ворчливым брюзжанием отставного лейб-компанца» [Там же].

Далее фельетонист обращался к общественной жизни некоего вымысленного города Отдаленска, «тоже по-своему прикоснувшегося к «трудным годам» [Там же]. До «трудных лет» в нем не было политических партий, «жизнь протекала вяло, монотонно»: «...вражда местных партий не мешала обычайкам жить на мирном положении, состоять каждому при своих делах... разнообразясь «клубными историями» или невинными пререканиями женской половины правящих классов, или приездом какого-либо ловкого червонного валета, который сейчас же становился общим любимчиком прекрасного пола» [Там же].

По дальнейшему описанию «трудных лет» можно было предположить, что речь шла о 1880-х гг., о том кризисном состоянии российского общества, в которое оно погрузилось после цареубийства 1 марта 1881 г. Как писал автор, «но вот, сначала телеграф, а потом и почты начали приносить из цен-

тров известия о наступлении «трудных годов» [7. Л. 24], т.е. в Сибирь доносились новости о смерти Александра II от рук народовольцев.

Несмотря на отдаленность российских провинций от центра событий, местные жители были поставлены перед вопросом:

Как тут быть?.. Оставаться по-прежнему в мирном положении сочли – одни не патриотичным, другие не практичным – и порешили из мирных обывателей стать охранителями! Но кого охранять? Что охранять? От кого охранять? [Там же].

Автор констатировал: недоумение прошло быстро, «патриоты» и «практичные люди» решили охранять в Отдаленске «ту плесень и затхлость дореформенного порядка, которой сверху донизу переполнены все учреждения» для сокрытия «темных делишек» [Там же]. И те и другие нашли своего «врага», причем на этот вопрос, подчеркивал фельетонист, «отвечали разноречиво»:

Одни, любители выпивок, увеселений, карточных игр, указывали на какого-нибудь члена суда и шептали: «дичится всех, сидит дома, ни он водки выпить, ни он в картишки поиграт! Уж что-нибудь да это значит, что-нибудь да не так!..

Практичные люди, прежде всего ненавидящие гласность и обличения, начали шариться вокруг и разыскивать корреспондентов, а так как на лбу ни у кого не изображено, что сей человек есть корреспондент, то практические люди причислили в лику врагов всех грамотных обывателей Отдаленска, читающих, думающих и, главное, не грабящих [Там же].

Характеристике «практичных людей» автор уделил значительное место в фельетоне. Он подчеркнул их дружбу с «особенными целями», принятую у практических людей с «людьми сановными» и «крупными коммерсантаами». Также автор отметил, что в Отдаленске практических людей «один-другой, да и обчелся», но при этом в «глухой провинции» они могут играть существенную роль:

...они воспользовались «трудными годами» по-своему; прежде всего они начали нащептывать «сановным» друзьям (когда это было кстати и во время): «Слышали, Ваше-ство, такой-то написал корреспонденцию в Петербургскую газету об исправнике Нахрапове? Я Ваше-ство давно подозреваю, что он социалист!..» или: «Знаете, Михаил Иванович, ведь у нас в Отдаленске неспокойно, – и сам могу насчитать до сорока социалистов!..» и начинает перечислять всех, на кого почему-то имеет зуб [Там же].

Подводя итоги, автор давал неутешительный прогноз разворачивающейся ситуации, но все-таки завершал фельетон надеждой на проницательность «сановников» и населения:

Чем дальше продолжаются «трудные годы», тем известия из центров становились мрачнее, тем отважнее становились практические люди, тем выше поднимали они головы, тем клевета их делалась громче и наглее, – наконец им захотелось воспользоваться моментом и половить в мутной воде рыбку, они решились броситься на составление проектов к «умиротворению». Но жалкими лохмотьями напускной благонамеренности им

трудно было прикрыть свои грязные развращенные душонки... и рыбка пока не пошла на уду [7. Л. 24].

Таким образом, становилось понятно, что текстом фельетона автор отсылал читателя к репрессиям, вызванным убийством Александра II. Известно, что А. Желябов, С. Перовская, Н. Рысаков, Т. Михайлов и Н. Кibalchich были публично повешены, а в Российской империи начал устанавливаться полицейский режим, опиравшийся на Положение об усиленной и чрезвычайной охране. Газета освещала эти события в основном по перепечаткам из столичной прессы, в фельетоне же попыталась сформулировать свое видение «злобы дня».

Приемы и методы сатиры в фельетоне «Сибирской газеты»

Неизвестный автор «Очерков и картинок провинциальной жизни» приложил немало сил для того, чтобы «замаскировать» злободневность своего фельетона. Только при определенных аналитических усилиях читатели могли понять, что фельетонист, рассказывая о неких давно прошедших «трудных годах», в действительности апеллировал к событиям, произошедшим в год написания материала – убийству императора Александра II и реакции на это со стороны обывателей и власти.

Исследуемый материал «Сибирской газеты» можно отнести к проблемному (публицистическому) и прозаическому фельетону. В нем описывались события, происходившие в Отдаленске – городе, на месте которого мог бы быть любой провинциальный город. Это, безусловно, было подражанием Салтыкову-Щедрину, создателю образа города Глупова как олицетворения российского дореволюционного города.

Автор в тексте не называл конкретных людей, он описывал типы – обывателей, «патриотов», «практичных людей», давая им развернутые характеристики. Так, автор видел опасность «практичных людей» с их стремлением все подчинить своей выгоде, ограниченностью и готовностью действовать, радикальным консерватизмом. Опасными были и их «сановные друзья», разделявшие с «практичными людьми» их идеи.

Публицистичность фельетону придавали оперативность – он должен был выйти буквально через месяц после цареубийства – и открытая авторская позиция. В конце фельетона автор почти прямо озвучивал надежду на проницательность читателя.

В «Очерках и картинках провинциальной жизни» можно было выделить два направления сатиры – широкое и узкое.

Объектом сатиры в широком смысле слова служили ограниченность жителей Отдаленска, существующие в городе «плесень и затхлость дореформенного порядка». Этот объект являлся лейтмотивом не только данного фельетона «Сибирской газеты», но и ее публицистики в целом. Редакция прямо говорила об этом в первом номере издания: «Народное просвещение в Сибири, положение и нужды сибирского крестьянина и инородца и скорейшая перестройка старого, дореформенного порядка, начатая в Си-

бири с введением нового городового положения, будут главными задачами, над которыми «Сибирская газета» будет, преимущественно, трудиться» (СГ. 1881. № 1).

А пока главная задача – перестройка старого порядка – не решена, в жизни Отдаленска царят игра в карты, выпивка, ссоры дам, обсуждение остряков, «увеселительные прогулки за городом, где свободнее пилось и вольнее говорилось» [7. Л. 24].

Вторым, более узким объектом сатиры в фельетоне являлись «практические люди» и их доносы для сохранения «темных делишек». Автор описывал их манеру знакомства:

Практичный человек всегда сумеет втереться в знакомство и дружбу с людьми сановными, крупными коммерсантами, с которыми он держится хотя и почтительно, но в тоже время на короткой ноге. Надо отдать должное практичному человеку в ловкости обхождения: он умеет вовремя хохотать до упаду, когда беседующий с ним крупный коммерсант чувствует позыв на остроумие, он готов плакать горькими слезами, когда генерал рассказывает трогательный эпизод из своей жизни [Там же].

В фельетоне автор прибегал практически ко всем существующим сатирическим приемам. Он часто использовал гиперболу, гротеск, тропы. Больше всего в фельетоне иронии, также в тексте часто встречаются риторические вопросы: «Как тут быть?», «Но кого охранять?», «Кто враги?» и др. [Там же].

Аллюзии и их расшифровки являлись основной частью текста. Читателю предстояло понять, что же за «трудные годы» описывает автор, какие события современности подразумевает. Много в тексте и аллегорий. В фельетоне автор также создавал собирательные образы – патриоты, практические люди, корреспонденты. Стоит отметить, что расшифровка аллюзий усложнялась постоянно меняющимся временем «трудных годов», о которых автор говорил то в прошлом, то в настоящем времени.

Несмотря на аллюзии, вводимые автором, и намеренную обезличенность, фельетон освещал резонансную тему, был «острым» материалом, который должен был оперативно отреагировать на важное общественно-политическое событие и последствия – смерть императора Александра II и следующие за этим репрессии.

Выводы

Первый фельетон «Сибирской газеты», несмотря на усилия редакции представить его просто «картинками местного настроения», в действительности был злободневным, оперативным и острым откликом публициста на резонансные общественно-политические события России 1881 г. Все усилия фельетониста «зашифровать» его злободневность – отнести время фельетона к давно прошедшим «трудным годам», обозначить местом действия некий абстрактный город Отдаленск – не привели к желаемому результату. Можно констатировать, что М.А Гиляров как цензор оказался в

этом случае «на высоте»: он смог увидеть потенциально «вредное» содержание фельетона и даже не стал пытаться исправить какие-то отдельные части текста – он вычеркнул его целиком из № 11 «Сибирской газеты».

Для редакции «Сибирской газеты» история с запрещением № 11 в целом и с запрещением публикации фельетона в частности оказалась довольно болезненным, но в дальнейшем ценным уроком. Она вынесла из него понимание границ дозволенного во взаимодействии с цензурой – и осознание необходимости более аккуратной работы с фельетонным текстом. Запрещенный фельетон «Сибирской газеты», хотя так и не увидел свет, но именно он во многом дал толчок и определил развитие жанра на страницах издания в дальнейшем. Опираясь на полученный опыт, фельетонисты «Сибирской газеты» А.В. Адрианов, а затем Ф.В. Волховский, Д.А. Клеменц, К.М. Станюкович смогли выйти на новый уровень фельетонной сатиры, который смог преодолеть «цензурный барьер».

Литература

1. Любимов Л.С. История сибирской печати : учеб. пособие. Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 1982. 79 с.
2. Шинкарева А.П. Очерки истории издательского дела и печати Иркутска (1785–1920). Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. 433 с.
3. Евдокимова Е.В. История сибирской журналистики (конец XVIII – начало XXI вв.) : учеб. пособие. Новосибирск : НГПУ, 2013. 136 с.
4. Андреева А.А., Петрова О.А. История журналистики Тюменского региона (1789–1929) : учеб. пособие. Тюмень : ТюмГУ, 2013. 487 с.
5. Есипова В.А. Ученый журнал «Семинарская заря»: опыт типологического анализа по косвенным данным // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 60. С. 234–246.
6. Шевцов В.В. Цензурная практика в отношении губернских ведомостей Сибири // Цензура в России: история и современность. СПб., 2015. С. 192–205.
7. РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1880 г. Д. 71. 271 л.
8. Ермолинский Л.Л. Сибирские газеты 70–80-х годов 19 века. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1985. 134 с.
9. Мандрика Ю.Л. Провинциальная частная печать: спорные вопросы становления периодики Сибири. Тюмень : ТГАКИ, 2007. 104 с.
10. Русские писатели в Томске. Томск : Водолей, 1996. 192 с.
11. Александр Васильевич Адрианов // Сибирское областничество: биобиблиогр. справ. Томск ; Москва, 2002. С. 211–226.
12. Жилякова Н.В. Злой цензор, добрый цензор: специфика цензурирования первой частной газеты в Томске («Сибирская газета», 1881–1888 гг.) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 61. С. 256–270.
13. «Сибирская газета в воспоминаниях современников» / вступ. ст., подгот. текста и comment. Н.В. Жиляковой ; науч. ред. Н.М. Дмитриенко. Томск : Изд-во НТЛ, 2004. 200 с.

“The Picture of the Local Sentiment”: The Circumstances of the Ban and the Content of the First Feuilleton of *Sibirskaya Gazeta* (1881)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 308–317. DOI: 10.17223/19986645/66/17

Alexander E. Mazurov, Natalia V. Zhilyakova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: rumamatonteg@gmail.com / retama@yandex.ru

Keywords: *Sibirskaya Gazeta*, feuilleton, censorship, satirical genres, artistic and journalistic genres.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 19-012-00352A.

The aim of the study is to clarify the circumstances of banning the feuilleton “Essays and Pictures of Provincial Life” and to analyse its content. This is possible due to the fact that the text of the feuilleton was preserved in a typographic copy. This print was sent to the General Directorate of Press and is preserved in the archival materials “On the Publication of *Sibirskaya Gazeta* in Tomsk”. The study of this plot clarifies the editorial policy of *Sibirskaya Gazeta* [Siberian Newspaper] regarding the publication of other feuilletons. In 1881, the “literature-centric” model of *Sibirskaya Gazeta* was only being formed, and during this year the newspaper mainly published informational (telegrams, chronicles, correspondence) and analytical (articles, reviews) genres. Essays were most in demand among the artistic and journalistic genres. As for feuilletons, in 1881, with a great deal of conventionality, only “Ignatiy Nikitich (A Siberian Type)” can be attributed to this genre. Feuilletons were originally announced in the programme of *Sibirskaya Gazeta*, but the feuilleton section appeared only in the second year of the periodical. It immediately became one of the most popular and demanded among readers. In total, over 140 feuilletons were published in *Sibirskaya Gazeta*; they became the most resonant and discussed materials, and formed a kind of a “face” of the periodical. The study of the archives of the General Directorate of Press, namely, the file “On the Publication of *Sibirskaya Gazeta* in Tomsk”, found that, in 1881, an attempt was made to publish a feuilleton. It was supposed to be published in No. 11 of *Sibirskaya Gazeta*, but after a clash with the local censor M.A. Gilyarov this issue of the newspaper was not released. The editors tried to defend their first feuilleton, yet they failed. The feuilleton was not published in the banned No. 11 and in the subsequent issues of *Sibirskaya Gazeta*. The material was not signed. Its attribution is also complicated by the fact that there were no more such publications in the newspaper in 1881. From the editorial staff in 1881, the feuilleton could belong to the pen of A.V. Adrianov, who laid the tradition of covering the Siberian theme in satirical genres, or to the pen of N.M. Yadrintsev, who often divided residents into single carriers of progress and ordinary people in his other works. The first feuilleton of *Sibirskaya Gazeta*, despite the editorial efforts to present it simply as “pictures of the local sentiment”, was in fact the burning, prompt and keen response of its author to the resonant sociopolitical events of Russia in 1881—the death of Emperor Alexander I. For the editors of *Sibirskaya Gazeta*, the story of banning No. 11 in general and publishing the feuilleton in particular came to be a rather painful and valuable lesson. The editors learnt the boundaries of what is permissible in interaction with censorship and the need for a more accurate work with feuilleton texts.

References

1. Lyubimov, L.S. (1982) *Istoriya sibirskoy pechati* [History of the Siberian Press]. Irkutsk: Irkutsk State University.
2. Shinkareva, A.P. (2009) *Ocherki istorii izdatel'skogo dela i pechati Irkutska (1785–1920)* [Essays on the History of Publishing and Printing of Irkutsk (1785–1920)]. Irkutsk: Irkutsk State University.
3. Evdokimova, E.V. (2013) *Istoriya sibirskoy zhurnalistiki (konets XVIII – nachalo XXI vv.)* [History of Siberian journalism (late 18th – early 21st centuries)]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.
4. Andreeva, A.A. & Petrova, O.A. (2013) *Istoriya zhurnalistiki Tyumenskogo regiona (1789–1929)* [History of Journalism in the Tyumen Region (1789–1929)]. Tyumen: Tyumen State University.

5. Esipova, V.A. (2019) The Seminarskaya Zarya student magazine: an experience of typological analysis by indirect data. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. – Tomsk State University Journal of Philology.* 60. pp. 234–246. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/60/15
6. Shevtsov, V.V. (2015) Tsenzurnaya praktika v otnoshenii gubernskikh vedomostey Sibiri [Censorship practice in relation to the provincial statements of Siberia]. In: Konashev, M.B. et al. (eds) *Tsenzura v Rossii: istoriya i sovremennost'* [Censorship in Russia: History and Modernity]. Saint Petersburg: RNB. pp. 192–205.
7. Russian State Historical Archive (RGIA). Fund 776. List 12. File. 71. Pages 1–271.
8. Ermolinskiy, L.L. (1985) *Sibirskie gazety 70–80-kh godov 19 veka* [Siberian newspapers of the 1870s–1880s]. Irkutsk: Irkutsk State University.
9. Mandrika, Yu.L. (2007) *Provintsial'naya chastnaya pechat': spornye voprosy stanovleniya periodiki Sibiri* [Provincial Private Press: Controversial issues of the formation of periodicals in Siberia]. Tyumen: Tyumen State Institute of Culture.
10. Yanushkevich, A.S. (ed.) (1996) *Russkie pisateli v Tomske* [Russian Writers in Tomsk]. Tomsk: Vodoley.
11. Bykova, S.S. et al. (ed.) (2002) *Sibirskoe oblastnichestvo: biobibliograficheskiy spravochnik* [Siberian Regionalism: Biobibliographic reference book]. Tomsk; Moscow: Vodoley. pp. 211–226.
12. Zhilyakova, N.V. (2019) Bad censor, good censor: the specificity of censoring of the first private newspaper in Tomsk (Sibirskaya Gazeta, 1881–1888). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. – Tomsk State University Journal of Philology.* 61. pp. 256–270. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/61/15
13. Zhilyakova, N.V. (ed.) (2004) “*Sibirskaya gazeta*” v vospominaniyakh sovremennikov [“Sibirskaya gazeta” in the memoirs of contemporaries]. Tomsk: Izdatel'stvo NTL.

УДК 32.019.51; 070.1
DOI: 10.17223/19986645/66/18

В.А. Сидоров

КОММУНИКАТИВНЫЕ АГРЕССИИ И НЕГАТИВНЫЕ КОНЦЕПТЫ ПРОПАГАНДЫ

Исследуется проблема коммуникативных агрессий, которые понимаются как свойство конфликтогенных медиадискурсов массового общества. С этой целью анализируются результаты опросов студенчества как медийной аудитории в контексте взаимоотношений России и Польши: определяется социальная опасность повышения частотности применения в медийных текстах маркеров с негативной коннотацией, в связи с чем особо подчеркивается значение негативного маркера «русофобия» в качестве концепта агрессивной пропаганды.

Ключевые слова: коммуникативные агрессии, медиа, СМИ, русофобия, общественное сознание, студенчество, информационные войны, Интернет, российско-польские отношения.

Коммуникативные агрессии как феномен XXI в.

Мы живем в эпоху «перехода от вертикальной модели распространения политической информации в традиционных СМИ к сетевым моделям распространения политического контента на основе активного использования горизонтальных связей между интернет-пользователями» [1. С. 242], а также массовизации медийных процессов – «информационного изобилия» [2. С. 30]. В результате, как пишет Джанни Ваттимо, «к микрофону прорвались меньшинства всех видов» [3. С. 341–343], непосредственно вступая в медийные конфликты. Однако массовый характер участия в них определяет не число СМИ, а социальная неопределенность новых «рекрутов» – журналисты и профессиональные идеологи растворились среди интернет-пользователей, ставших добровольцами информационных войн массового общества. Так проявилось принципиальное отличие медийной ситуации XXI в. от условий функционирования массовых коммуникаций в прошлом столетии.

В мире медиа XXI в. ознаменовался новым феноменом общественной жизни – *коммуникативными агрессиями*. Если в прошлом столетии смысл термина характеризовал наиболее активную фазу информационной войны, то сегодня – иное качество медийного противоборства. Если в XX в. субъектами информационных войн становились политики, профессиональные идеологи и журналисты, а коммуникации были односторонними – сверху вниз, от коммуникатора к его аудитории, то теперь на авансцене коммуникации по всем направлениям межинституциональных информационных отношений в обществе, потому что изменилась сама модель этих отношений. Прежняя модель, говоря условно, во многом походила на пи-

рамиду, вершину которой, в полном соответствии с теорией политических полей П. Бурдье [4. С. 40, 80, 108–109, 140], занимали политики, эксперты-политологи и социологи, журналисты. В настоящее время новые информационные технологии за счет массовизации медийных процессов «утопили» вершину пирамиды, заставив былых акторов медийных процессов не «вещать» с недосягаемых для рядового гражданина высот СМИ, а встраиваться в общий поток массовой информации. Новая сетевая среда информации включила в себя разные социальные страты, хотя и сохранила в медийных столкновениях ключевые позиции за профессиональными субъектами медиа.

Коммуникативные агрессии возникают / организуются с целью нанести оппоненту / противнику максимальный идеино-политический и культурно-нравственный ущерб; представляют собой острую fazu борьбы ценностей, когда результатом воздействия на общественное сознание должна стать замена общепринятых смыслов бытия на новые. С одной стороны, это планируемая и целенаправленная деятельность ранее находившихся на вершине информационных отношений в обществе акторов, с другой – это выражаемые непосредственно в современной медийной среде реакции социума на ценностные раздражители в сферах политики, культуры, религии, экономики. Коммуникативные агрессии наследуют содержание, формы и методы идеино-политической борьбы между социальными системами XX в., в которой использовались все доступные на тот период средства и каналы коммуникации – радиовещание и симпозиумы ученых, спортивные олимпиады и симфонические концерты, кинофестивали и выставки шедевров из лучших музеев мира. Цель придавала смысл коммуникативным акциям – продемонстрировать превосходство своей политической системы, тем самым низводя к нулю идеологию оппонента. «Политическая пропаганда – это использование средств связи и информации в интересах власти. ... Цель заключается в экономии материальных затрат на мировое господство», – еще в середине прошлого столетия писал Г. Лассуэлл. В новом веке изменения коснулись всех известных практик идеологической борьбы, и в этом смысле коммуникативные агрессии явились особенным отражением социальных противоречий современности.

Концепция апробирована в статьях [5–8] и дискуссиях на международных научных конференциях в Познани, Санкт-Петербурге, Хельсинки¹,

¹ Международная научная конференция «Culture and russian society», Университет Хельсинки, Александрийский институт, 21–23 октября 2015 г.; Международная научная конференция «Europa XXI wieku» 1–5 февраля 2017 г.: Университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша); Междунар. научная конференция «Europa XXI wieku» 1–2 февр. 2018 г.: Университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша); Международный научный Форум «Медиа в современном мире. 56-е Петербургские чтения», 13–14 апр. 2018 г.: СПбГУ, Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»; Международный научный форум «Медиа в современном мире. 57-е Петербургские чтения», 19–20 апр. 2018 г.: СПбГУ, Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций».

научно-практической конференции в Белградском университете¹, последняя в целом была посвящена обсуждению феномена коммуникативных агрессий.

Агрессивность медиа в представлениях студенчества

Сегодня в информационные войны включается аудитория медиа – читатели газет, телезрители, пользователи Интернета. Такова оборотная сторона «коммуникативных действий» с их «рациональными мотивами» к социальному диалогу [9. С. 92]. На обороте коммуникативных интеракций – коммуникативные агрессии, в основе которых неодинаковость восприятия субъектами коммуникаций фактов истории и политики. Факты «подвергаются переоценке в терминах “мы” против “них”. ... Возникает “динамика ненависти”, в которой взаимные опасения, недоверие и ненависть подпитывают друг друга. Каждая сторона, сгущая краски, драматизирует и преувеличивает различие между силами добра и зла» [10. С. 432–433].

Сказанное американским политологом совпадает с медийной картиной современных российско-польских отношений. Если в 2013 г. специалист с удовлетворением констатировал их улучшение [11. С. 124], то через четыре года ситуация меняется. В 2017 г. дипломат заявляет, что «Польша ведет отношения с Россией к опасной черте» [12], а публицист и политолог из аналитического центра Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага в газете «Rzeczpospolita» убеждает читателя в том, что «Россия может быть авторитарной или либеральной, но никогда не станет дружественной Польше. Геополитика обрекла нас на вечный конфликт» [13].

Информационная картина в общественном сознании российского и польского социумов формируется под воздействием СМИ, но с участием их аудитории, в связи с чем в Международном исследовательском проекте «Коммуникативные агрессии XXI века» (СПбГУ, Россия и Университет им. Адама Мицкевича, Познань, Польша) изучался фрагмент сознания аудитории СМИ, представленный студенчеством. В Познани (науч. рук. проф. В. Новяк) анкетировали студентов – будущих журналистов и политологов (1,5 тыс. анкет) и аналогично в СПбГУ (науч. рук. проф. В.А. Сидоров; 400 анкет). К проекту подключились сербские коллеги (рук. проф. В. Кляич). Выводы коллег из Белграда подтверждают результаты опросов в Познани и Санкт-Петербурге².

Кратко характеризуя методологию исследования и выборку, отметим, что «количество респондентов составило 400 человек, – пишут принявшие

¹ Международная научная конференция «Communicative aggression of the XXI century» 12 окт. 2017 г.: Белградский университет, факультет политических наук (Сербия).

² В настоящем анализе мы опираемся на данные исследований наших коллег, которые были опубликованы в тезисах и докладах при проведении круглых столов по коммуникативным агрессиям в научных конференциях в Александровском институте (Хельсинки, 2015), СПбГУ (2017, 2018) и Университете им. Адама Мицкевича (Познань, 2017, 2018).

участие в этом исследовательском проекте политологи. – Соответственно, количество респондентов-политологов и респондентов-журналистов составило по 200 человек ровно, из которых большую долю составили бакалавры: среди журналистов – 88,5%, среди политологов – 79%. Также большую часть опрашиваемых составили респонденты женского пола – 70,5%. На наш взгляд, такое гендерное распределение связано со спецификой гуманитарных специальностей, что также говорит о репрезентативности выборки. Опрос проводился в течение осеннего семестра 2017 г. Основные гипотезы исследования были сформулированы следующим образом: 1) студенты программ обучения «журналистика» и «политология» в равной степени используют одни и те же источники политической информации (в наибольшей степени – Интернет); 2) студенты обоих направлений полагают, что коммуникативная агрессия скорее присутствует в СМК, чем нет; 3) по мнению студентов обоих направлений, язык общения в СМК ведёт к формированию более радикальных мнений, поляризации общественного мнения, что, в свою очередь, повышает уровень агрессии» [14. С. 95–96]. Для проверки сформулированных гипотез в первой части анкеты были поставлены вопросы, касающиеся сферы медийных интересов студенчества – каналов и источников информации, влияния Интернета, языка ненависти в СМИ, агрессивных интенций в политическом медиадискурсе. Вторая часть анкеты отведена под выяснение знаний студентов в области истории и культуры Польши, складывающихся под влиянием журналистских публикаций впечатлений об этой стране.

Результаты анкетирования студентов СПбГУ¹ показали, что молодежь знакомится с политикой, прежде всего, в интернет-СМИ (68%); в контексте польско-российских отношений на вопрос о языке ненависти и агрессии в СМИ отвечает утвердительно (55%); отмечает проявления языка ненависти и агрессии, прежде всего, в интернет-СМИ, социальных сетях и блогосфере (58%). По мнению опрошенных (56%), агрессивность суждений в Интернете переходит в повседневную практику массового / межличностного общения вне сетевой среды. Эту оценку подтверждают лингвисты: «наблюдается лояльность российского общества к речевой агрессии» [15. С. 132–133].

В этой части полученные в СПбГУ данные надежно коррелируются с результатами опроса² в Университете им. Адама Мицкевича. Опрошенные (42%) польские студенты, как и российские, констатируют, что дискуссии в

¹ Авторы и исполнители проекта «Польша глазами молодой России: медийные оценки в интерпретации студенчества»: д-р филос. наук проф. В.А. Сидоров (рук.), д-р полит. наук доц. И.А. Быков, менеджер научного отдела А.Н. Марченко, канд. полит. наук. С.В. Курушкин, аспиранты А.Н. Жаворонкова и И.А. Гладченко.

² В составе исследовательской группы проф. Войцех Новяк (рук.), проф. Пётр Павелчик, преподаватели генерал Анатоль Чабан, Вальдемар Ярчевски и др. Отдельные результаты исследования изложены на основании выступлений проф. В. Новяка на круглых столах (2015–2018 гг.) при обсуждении вопросов изучения коммуникативных агрессий XXI в.

Интернете влияют на стиль массового поведения в повседневной жизни; на вопрос о языке вражды и ненависти в медиа отвечают утвердительно. Как считает больше половины (52%) опрошенных, особенности информирования общества через Интернет усиливают динамику агрессивности, тем более если пользователи сами желают усиления агрессивности в медийном пространстве.

Полученные результаты находят подтверждение и в исследовании ученых Белградского университета¹. Они считают, что изучение экспрессии в отражении СМИ и сознании студенчества позволяет увидеть проявления медийных агрессий в стране, в которой по экспоненте растет число граждан, прежде всего молодых людей, использующих интернет-медиа как основной источник информации. Студенты уверены, что в сетевой среде формируется особый агрессивный стиль коммуникации и что его язык переносится в жизнь. 75% респондентов отмечают язык ненависти и агрессии авторов сербских СМИ, в особенности онлайн-изданий, социальных сетей, блогов и т.д.

Студенты СПбГУ (32,2%) констатируют наличие в российских СМИ интонаций недоверия, недоброжелательства в вопросах взаимоотношений с Польшей. В анкете был обойден прямой вопрос об отношении респондентов к Польше, так как большинство из них не имеет личных впечатлений об этой стране и суждения о ней основывает на информации из каналов массовой коммуникации. Не отказываясь от задачи понять отношение молодых людей к Польше, представление о нем составляем на основе близких по значению данных. В их числе оценка тональности высказываемых в российских СМИ мнений о Польше – насколько она противоречит / совпадает с их собственной позицией. Студенты (табл. 1), критически отнеслись к работе СМИ по «польскому вопросу». Сами же проявили, как показали другие итоги анкетирования, уважение к истории и культуре этой страны. Все это в совокупности позволяет предположить позитивное отношение российского студенчества к Польше.

На этом фоне настораживает непосредственное проявление польскими студентами (31% от общего числа опрошенных) негативного отношения к России. Часть опрошенных (38%) считает, что отрицательные высказывания о России инспирированы политиками. Половина анкетируемых (55%) видит влияние политических дискуссий / пропаганды в Интернете, в результате чего происходит радикализация политической определенности аудитории, и это влияние более значительно, чем воздействие действительности. Отметим, что большинство российских респондентов (72%) также считает, что авторы публикаций во многом воздействуют на аудиторию, которая доверчива к мнениям СМИ.

¹ В составе исследовательской группы проф. Веселин Кляйич и ассистент Марко Неделькович. Отдельные результаты проведенного ими в 2017 г. анализа прозвучали в выступлении В. Кляйича на круглом столе экспертов по вопросам коммуникативных агрессий на Международном научном форуме «Медиа в современном мире. 57-е Петербургские чтения», 19–20 апр. 2018 г.

Таблица 1

Варианты ответов на вопрос в анкете «Определите тональность высказываемых в российских СМИ мнений о Польше»	Полученные результаты, % от числа опрошенных
Подчеркнуто позитивная (демократическая Польша как пример для России)	0,8
Позитивная (доброжелательная, устанавливающая равенство отношений народов и стран)	4,2
Доброжелательно-критическая	7,8
Нейтральная (информационная, дипломатически протокольная)	28,5
Критическая, с интонациями недоброжелательства и недоверия	27,2
Подчеркнуто негативная, с оттенками разной силы враждебности (отношение свысока)	5,0
Затрудняюсь ответить	23,8
<i>Анкету не заполнили</i>	2,8

Результаты опроса 2017 г. коррелируются с итогами проведенного нашими коллегами из Благовещенска и Krakова анкетирования студентов (по 100 респондентов с каждой стороны): позитивный настрой к другой стране выше у российских студентов (47% в Благовещенске против 24% в Krakове); негативный – среди польских (53% в Krakове против 13% в Благовещенске). Ученые полагают это «результатом беспрецедентного по масштабам воздействия СМИ на состояние массового сознания, вследствие чего в последние 2–3 года в Польше сформировался устойчивый негативный образ России» [16. С. 29].

Русофobia: от негативного смысла к медийной агрессивности

Полученные в ходе анкетирования результаты выявили важные в целом для исследования зоны неизвестного. Их наличие не позволяет дать корректные заключения относительно замысла всего Международного проекта: препятствует анализу эмоций студенческой аудитории, вызываемых журналистскими публикациями по «польскому вопросу», и выявлению индикаторов (триггеров), возбуждающих у студента-читателя негативизм восприятия текстов и их носителей.

Для заполнения образовавшихся лакун было проведено девять тематически сфокусированных собеседований с участниками анкетного опроса. Выборка повторного опроса носила случайный характер по критерию проявленного интереса к исследованию со стороны студента. В интервью стандартизованные вопросы-предположения строились как просьбы исследователя: «Пожалуйста, попробуйте описать Ваши чувства / впечатления от публикаций о взаимоотношениях России и Польши» или то же, но уже насчет эмоций по поводу политиков Польши, ее народа, истории и культуры, российских политиков. Здесь следует подчеркнуть, что перед собеседованием априори предполагалось, что ни один из интервьюируемых не пом-

нит названия публикаций, их авторов, а выражает только сложившееся в его сознании впечатление. Вместе с тем произвольная форма собеседования позволяла ведущему интервью при необходимости задавать студенту уточняющие вопросы, подводящие его ответы под общий знаменатель с ответами других опрошенных. Каждое собеседование длилось от 20 до 30 минут. Также отметим, что результаты собеседований много шире, чем задумывалось, за счет наблюдений студентов над жанровым своеобразием журналистских произведений, мерой доказательности их утверждений, лексикой участников массовой коммуникации и т.д. В данном случае остановимся на результатах, точнее всего ведущих к намеченной в статье цели.

Как было установлено в ходе интервью, уверенность студентов в агрессивности СМИ связана с чувством повышенной тревоги, которое вызвано заложенным в медийные тексты неприятием «несправедливости по отношению к России». «Нас не любят», «нас обвиняют», «нам угрожают» – впечатления молодых людей от прочитанного / увиденного в СМИ. В Интернете опрошенные обращают внимание на комментарии к публикациям, и впечатления от прочитанного усиливаются. В конечном счете впечатления интервьюируемых о негативных настроениях в мире по отношению к России выразились в обобщающем понятии, которое активно употребляется в медийной среде ее акторами – политиками, представителями общественных наук и журналистами. Таким понятием стала *русофобия*. Отсылки в текстах к «русофобии» побуждают читателя / зрителя быть настороже, с подозрением воспринимать всех, кто потенциально готов относиться к России недружественно. Так формируется целый комплекс негативных ассоциаций и эмоций аудитории современного медийного пространства.

Опрошенные убеждены, что в настоящее время в медиа присутствуют тенденции агрессивной подачи информации. Эта уверенность основана на интуиции, следовательно, не подлежит верификации, так как «высказать интуитивное суждение просто. Но сделать его убедительным сложнее» [17. С. 654]. Мнение анкетируемых об агрессивности российских СМИ – либо итог повседневных наблюдений за медийным пространством, либо результат пропаганды, т.е. внушенное представление связано с тем, что в наши дни в политическом мейнстриме нет выражения агрессивности в виде прямых призывов к насилию – духовному, физическому; призыв к агрессии маргинален, скрыт. В этом контексте интуитивное мнение опрошенных об агрессивности российских СМИ не может быть оставлено без внимания, так как всегда «в основе интуитивного мнения есть нечто рациональное» [18. С. 26]. По результатам повторного опроса студентов для обнаружения латентной агрессивности СМИ в текстах и был выделен маркер с негативной коннотацией. Им отмечены тексты, несущие в себе собственно агрессивное начало (чаще всего) или его отрицание. Среди устойчивых политических понятий, постоянно появляющихся в медийном поле, однозначно символизирующих зло и негативизм, был выделен концепт «русофобия». Русофobia понимается как поддерживаемый в медиа концепт пропаганды, которым на уровне массового сознания объясняются причины негативного

отношения стран и народов к России; поддерживается за счет эксплуатации этнокультурных предрассудков, а также стереотипов «массовой культуры». Воспринимая тексты с этим маркером, читатель / зритель непроизвольно встречается с символом агрессий, негативное значение которого скрыто воздействует на него, после чего в сознании респондента коннотация маркера переносится на медиа вообще.

По состоянию на время проведения опроса в декабре 2017 г. в интернет-версиях федеральных газет («Известия», «Литературная газета», «Независимая газета», «Новая газета») и двух интернет-изданиях («Газета.ru», «Лента.ru») с помощью поисковых систем этих СМИ были обнаружены, потом систематизированы тексты, содержащие в себе концепт «русофобия» (1833). В частности, среди них были выделены тексты за счет уточнения поискового запроса – «Польша русофobia» – 269 публикаций. Для дальнейшего анализа в обработку был взят каждый десятый текст из всей совокупности.

Для установления устойчивости полученных результатов спустя полтора года процедура была повторена. Ее результаты позволили установить, что динамика появления в СМИ концепта «русофобия» интенсифицировалась (рис. 1). Если общее число текстов с этим маркером до декабря 2017 г. было менее двух тысяч, то за последующие полтора года возросло до 2322, т.е. прирост составил 26,7%. Тенденция особенно заметна для СМИ со значительной историей вопроса. Так, в «Независимой газете» первое упоминание русофобии датируется 1999 г. (*Айрапетова Н.* Второй правозащитной революции в России не будет), и к декабрю 2017 г. число публикаций с этим концептом составило 630, но за последующие полтора года к ним прибавились еще 74 текста. Учет распределения по датам публикаций с концептом «русофобия» позволил заключить, что их появление в текстах главным образом приходится на период с 2015 по 2019 г. Аналогично выглядят результаты и по другим взятым в выборку изданиям.

Выборка предусматривала возможность определить «глубину процесса»: поисковая система газеты / сетевого издания, показывая результаты запроса, определяла и дату первой публикации с маркером «русофобия» (табл. 2). Максимальную «глубину процесса» показали «Независимая газета» (10.11.1999) и «Известия» (23.12.2001). Появление маркера «русофобия» в публицистике этих лет, во-первых, сигнализирует о начале возвращения России в большую мировую политику; во-вторых, о реакции на это со стороны других держав; в-третьих, свидетельствует о возросшей в российском общественном мнении подозрительности по отношению к западным партнерам; в-четвертых, указывает на СМИ в качестве носителей агрессивного контента. Однако наличие в этих СМИ концепта «русофобия» неоднозначно, находится в диапазоне от обозначения реального неприятия общественным мнением другой страны образов России и русской культуры до спекулятивного применения термина в полемике при отсутствии других аргументов.

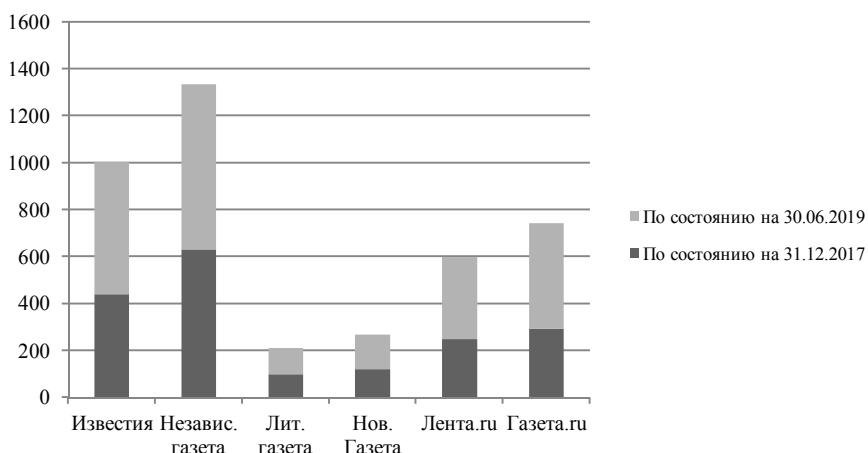


Рис. 1. Динамика применения маркера «русофобия» в СМИ
(первое упоминание в «Независимой газете» 10.11.1999)

Таблица 2

Издание	Первое появление маркера в издании	
	Концепт «русофобия»	Концепт «Польша русофобия»
<i>Известия</i>	2001, 23 дек.	2003, 9 сент.
<i>Независимая газета</i>	1999, 10 нояб.	2000, 4 июля
<i>Литературная газета</i>	2008, 9 апр.	2008, 6 авг.
<i>Новая газета</i>	2004, 11 марта	2005, 18 авг.
<i>Лента.ru</i>	2005, 1 июля	2008, 24 окт.
<i>Газета.ru</i>	2003, 5 марта	2004, 26 мая

Так, в «Известиях» отмечается, что ситуация в Польше вокруг сноса памятника герою Великой Отечественной войны генералу Черняховскому «демонстрирует неуважение к русскому народу», что «русофобия на местном уровне продолжает культивироваться» [18]. Публицист «Независимой газеты», анализируя историю XX в., приходит к выводу, что отмечаемый в России День Победы – «заноза в глазу русофоба» [19]. С Днем Победы сопоставляют русофобию в Польше и публицисты «Литературной газеты». В Польше, полагают они, «уровень русофобии зашкаливает» [20]. Более осторожна позиция «Газеты.ru»: «...если говорить об отношении поляков к russkим, то оно скорее нейтральное, чем плохое или хорошее. Каждый житель Польши считает, что Советский Союз захватил их страну после войны, но зла на современную Россию никто не держит» [21]. Заметно отличается позиция «Новой газеты», ее авторы считают опасным использовать понятия «русофобия», «русофоб», «русофобский» из-за их «культурного, этнического оттенка», отчего эти понятия охотно применяют пропагандисты российской власти: «...бессовестное чиновничество именует себя патриотами, а своих болеющих за Родину оппонентов – русофобами» [22].

Интерпретируя полученные результаты опроса, нельзя не учитывать возраст респондентов, впечатления которых о российских медиа складывались на протяжении трех – максимум четырех лет до опроса (2017, декабрь). И потому впечатление студентов о доминировании агрессивности в российских СМИ не выглядит случайным: самое значительное число публикаций с концептом «русофобия», по данным на 31.12.2017, в «Известиях» и «Независимой газете» – 24,1 и 34,4% от совокупности взятых в обработку текстов; доля интернет-СМИ («Лента.ru» и «Газета.ru») ниже – 13,5 и 16,0%. На июнь 2019 г. картина аналогичная: 24,2 и 30,3% («Известия» и «Независимая газета») 15 и 19,4% («Лента.ru» и «Газета.ru»). При этом следует учесть фактор присутствия всех изученных нами изданий в сетевой среде, из которой, прежде всего, черпают информацию принявшие участие в исследовании студенты – 68,5% опрошенных (аналогичные показатели и в результатах изучения студенческой аудитории в Сербии и Польше).

Взятые в обработку российские издания были проанализированы и в контексте уточняющего запроса «Польша русофobia». Безусловно, число его упоминаний значительно ниже – всего 271 случай был зафиксирован в период с октября 1999 по июнь 2019 г. В лидерах – «Независимая газета» и «Известия» (110 и 83). «Литературная газета» – еженедельное издание – тем не менее оказалась к ним ближе всего – 52 текста. Далее среди традиционных изданий надо назвать «Новую газету» (25). Интернет-СМИ также показали активность в этом направлении: «Лента.ru» (31) и «Газета.ru» (89 текстов). Полученные результаты интерпретируются как показатели динамики выраженной по «польскому вопросу» агрессивности медиа в 2015–2019 гг.

Заключение

Изучение коммуникативных агрессий позволяет углубить понимание качественно нового состояния общественного сознания, возникшего за счет активного включения в информационные процессы социальных страт, ранее бывших только объектами медийного воздействия. Конечно, активированные страты по-прежнему остаются под влиянием СМИ, хотя все менее предсказуемы их спонтанные реакции на те или иные медиасобытия.

Анализ медийного стереотипа «русофобия» указывает на опасность его применения в пропаганде в целом и медийных текстах в частности. Концепт обладает отчетливо выраженной негативной коннотацией. Некритически воспринимаемый, он может вызывать агрессивные реакции аудитории СМИ. Анализ употребления концепта «русофобия» в средствах массовой информации показывает, что сложившаяся динамика его применения носит устойчивый характер, следовательно, продолжает оказывать негативное воздействие на аудиторию, поддерживая, во-первых, ее впечатление в агрессивности СМИ при освещении вопросов политики и, во-вторых, подталкивая аудиторию к агрессивному информационному обмену.

Сегодня Интернет стал важнейшим условием трансформации информационной картины мира, в результате радикально меняет подход аудитории СМИ к восприятию медиатекстов, и поэтому столь же разительно должны меняться методы политической пропаганды. Так, использование в политических текстах, распространяемых по медиаканалам, символов и стереотипов с негативной коннотацией следует минимизировать. Должны меняться и подходы к оценке самих СМИ – как традиционных, так и функционирующих в сетевой среде. К этому ведут, в частности, возможности аудитории сразу, вслед за актом восприятия текста в Интернете, публично реагировать на его содержание, и эта реакция может значительно изменять восприятие текста последующими его читателями / зрителями. Заметно большее значение приобретают смысловые стереотипы текстов, а их восприятие в аудитории становится все менее рациональным, все более эмоциональным. Так и случилось с концептом «русофобия». Его культтивация в медиа в качестве стереотипа создает предпосылки к наращиванию агрессивного стиля ведения политической полемики как метода полномасштабных коммуникативных агрессий, а также к переносу агрессивных интенций СМИ в политическое сознание общества.

Литература

1. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления. М. : Изд-во Моск. ун-та : Проспект, 2015.
2. Кин Дж. Демократия и декаданс медиа / пер. с англ. М. : ИД ВШЭ, 2015.
3. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М. : Аспект Пресс, 2004.
4. Бурдье П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. М. : Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Ин-т экспериментальной социологии, 2002. 159 с.
5. Sidorow W. Пролегомены к ценностному анализу коммуникативных агрессий XXI века // Rocznik Prasoznawczy. Rok X/2016. S. 41–54.
6. Sidorov V., Ivanyan R., Kurushkin S., Nigmatullina K. Communicative Aggression in the Russian Media Sphere: Background and Manifestations // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol 9 (36). DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i36/102032
7. Сидоров В. Коммуникативные агрессии современности: предтечи и состояние // Век информации : Медиа в современном мире. Петербургские чтения : материалы 56-го международного форума, 13–14 апреля 2017 г. / отв. ред. В.В. Васильева. 2017. № 2 : в 2 т. СПб., 2017. Т. 1. С. 165–167.
8. Сидоров В.А. Коммуникативные агрессии XXI века: определение и анализ предпосылок // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2018. № 2. С. 300–311.
9. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / пер. с нем. СПб. : Наука, 2000.
10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. М. : АСТ, 2003.
11. Грецкий И.В. Российско-польские отношения на современном этапе // Вестник СПбГУ. 2013. Сер. 6: Политология, Междунар. отношения. Вып. 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/rossiysko-pol'skie-otnosheniya-na-sovremennom-etape> (дата обращения: 02.05.2019).
12. Стегний Петр, Чрезвычайный и Полномочный Посол России. Польша ведет отношения с Россией к опасной черте // Российский Совет по международным делам. 2017. URL: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/polsha-vedet>

otnosheniya-s-rossiey-k-opasnoy-cherte/?sphrase_id=11929284 (дата обращения: 02.06.2019).

13. *Талага Анджей (Andrzej Talaga)*. Кремль стал партнером, и Варшава очень переживает // *Rzeczpospolita*. 2018. 10 мая. URL: <https://inosmi.ru/politic/20180510/242194627.html> (дата обращения: 02.06.2019).

14. *Быков И.А., Гладченко И.А.* Communicative aggression in Russia: analysis of opinion of future politicians and journalists // Central Russian Journal of Social Sciences. 2018. Vol. 13, is. 1.

15. *Щербинина Ю.В.* Русский язык: Речевая агрессия и пути ее преодоления : учеб. пособие. М. : Флинта : Наука, 2004.

16. *Россия и Польша глазами молодёжи: восприятие друга друга, представления о политике, культуре и религии / А.А. Киреев [и др.] ; общ. ред. Д.В. Кузнецов*. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2016.

17. *Кармин А.С.* Интуиция: Философские концепции и научное исследование. СПб. : Наука, 2011.

18. *Малай Е., Рункевич Д.* Депутаты просят вывезти памятник Черняховскому из Польши в Россию // *Известия*. 2014. 10 февр. URL: (дата обращения: 14.05.2019).

19. *Малевич И.С.* День Победы – заноза в глазу русофоба // Независимая газета. 2014. 26 апр. URL: http://nvo.ng.ru/realty/2013-04-26/10_victory_day.html (дата обращения: 14.05.2019).

20. *Вайнштейн С.* Освободителям вход воспрещен // Литературная газета. 2015. № 3–4. URL: http://www.lgz.ru/article/-3-4-6494-28-01-2015/osvoboditelyam-vkhod-vospreshchyen/?sphrase_id=1750074 (дата обращения: 14.05.2019).

21. *Рыжкова А.* Поляки считают, что Советский Союз захватил их страну // Газета.ru. 2016. 9 окт. URL: https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2016/10/a_10238675.shtml (дата обращения: 14.05.2019).

22. *Троицкий Артемий.* Новое старое слово. Почему «антисоветчиком» быть – почтенно, а «русофобом» – недопустимо и унизительно // Новая газета. 2017. № 95. URL: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/30/73642-novoe-staroe-slovo> (дата обращения: 14.05.2019).

Communicative Aggressions and Negative Concepts of Propaganda

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 66. 318–331. DOI: 10.17223/19986645/66/17

Viktor A. Sidorov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: v.sidorov@spbu.ru

Keywords: communicative aggressions, media, mass-media, Russophobia, public consciousness, students, information wars, Internet, Russian-Polish relations.

The article develops the results of studies of communicative aggressions, which are understood as the property of conflictogenic media discourses of the mass society. The actualisation of the problem is determined by the intensification of communicative aggressions in the media of the countries and of the world community as a whole. Aggressive intentions of the media can resonate with the sentiments of the media audience; that is why manifestations of aggressiveness in society sharply increase, or a critical attitude towards the media grows in it. The study is based on the results of an international project of researchers of Saint Petersburg State University (Russia) and the Adam Mickiewicz University (Poland), which analysed the fragment of consciousness of the media audience represented by students. The analysis of their ideas about the degree of media aggressiveness allows assessing the conflict in the intercultural environment in the context of Polish-Russian relations. The study aims to analyse the aggressive intentions of the media and the students' sentiments they formed, and reasons for the growth of the ideas about media aggressiveness. The analysis of the role of the stereotype “Russophobia” (as arousing aggressiveness in the audience and in

the media) the media use determines the scientific significance of the study. The conclusions of the article are based on the results of surveys of the youth audience, on series of focused interviews, on the content analysis of publications in online versions of federal Russian newspapers and in online publications on relations between Russia and Poland. The fundamental difference of communicative aggressions from previous forms of information wars is determined by the participation of not only media actors, but also the mass society as a whole. An event covered by the media becomes aggressive as a result of not only the work of the media, but also the involvement of the audience. The audience's perception of aggressive intentions in the media is intuitive and needs to be substantiated; therefore a corpus of media texts (1999–2019) with signs of aggressiveness is compiled in the study using the "Russophobia" marker. However, modern students as an audience do not perceive concepts promoted by the media directly, they tend to assess information critically. In this connection, the study came to the following conclusions: (1) there are opposite tendencies in the media and in their student audience; (2) there is a danger of an excessive usage of concepts with a sharply negative connotation because these concepts can cause aggressive reactions in society in case of escalations of political conflicts. In this context, the semantic stereotypes of texts which the audience perceives less rationally and more emotionally gain greater significance.

References

1. Volodenkov, S.V. (2015) *Internet-kommunikatsii v global'nom prostranstve sovremennoogo politicheskogo upravleniya* [Internet Communications in the Global Space of Modern Political Governance]. Moscow: Moscow State University; Prospekt.
2. Keane, J. (2015) *Demokratiya i dekadans media* [Democracy and Media Decadence]. Translated from English. Moscow: Higher School of Economics.
3. Webster, F.V. (2004) *Teorii informatsionnogo obshchestva* [Theories of the Information Society]. Translated from English. Moscow: Aspekt Press.
4. Bourdieu, P. (2002) *O televizii i zhurnalistike* [On Television and Journalism]. Translated from French. Moscow: Fond nauchnykh issledovaniy "Pragmatika kul'tury", Inte eksperimental'noy sotsiologii.
5. Sidorow, W. (2016) Introduction to value based analyses of communicative aggressions of 21st century. *Rocznik Prasoznawczy*. 10. pp. 41–54. (In Russian).
6. Sidorov, V. et al. (2016) Communicative Aggression in the Russian Media Sphere: Background and Manifestations. *Indian Journal of Science and Technology*. 9 (36). DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i36/102032
7. Sidorov, V. (2017) [Communicative aggression of the present: forerunners and state]. *Vek informatsii. Media v sovremennom mire. Peterburgskie chteniya* [Age of information. Media in the modern world. Petersburg readings]. Proceedings of the 56th International Forum. Saint Petersburg. 13–14 April 2017. Vol. 2 (1). Saint Petersburg: Saint Petersburg State University. pp. 165–167. (In Russian).
8. Sidorov, V.A. (2018) Communicative aggressions of the 21st century: Definition and analysis of the prerequisites. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literature – Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature*. 2. pp. 300–311. (In Russian). DOI: 10.21638/11701/spbu09.2018.212
9. Habermas, J. (2000) *Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deystvie* [Moral Consciousness and Communicative Action]. Translated from German. Saint Petersburg: Nauka.
10. Huntington, S.P. (2003) *Stolknovenie tsivilizatsiy* [Clash of Civilisations]. Translated from English. Moscow: AST.
11. Gretskiy, I.V. (2013) Contemporary Russian-Polish relations. *Vestnik SPbGU. Ser. 6. Politologiya, Mezhdunar. Otnosheniya – Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations*. 3. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/v/rossiysko-polskie-otnosheniya-na-sovremennoem-etape>. (Accessed: 02.05.2019). (In Russian).

12. Stegniy, P. (2017). Pol'sha vedet otnosheniya s Rossiey k opasnoy cherte [Poland leads relations with Russia to a dangerous line]. *Rossiyskiy Sovet po mezhdunar delam* [Russian International Affairs Council]. [Online]. Available from: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/polsha-vedet-otnosheniya-s-rossiey-k-opasnoy-cherte/?sphrase_id=11929284. (Accessed: 02.06.2019).
13. Talaga, A. (2018) Kreml' stal partnerom, i Varshava ochen' perezhivaet [The Kremlin has become a partner, and Warsaw is very worried] *Rzeczpospolita*. [Online] Available from: <https://inosmi.ru/politic/20180510/242194627.html>. (Accessed: 02.06.2019).
14. Bykov, I.A. & Gladchenko, I.A. (2018) Communicative aggression in Russia: analysis of opinion of future politicians and journalists. *Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk – Central Russian Journal of Social Sciences*. 1 (13). pp. 94–100. (In Russian). DOI: 10.22394/2071-2367-2018-13-1-94-100
15. Shcherbinina, Yu.V. (2004) *Russkiy jazyk: Rechevaya agressiya i puti ee preodoleniya* [Russian Language: Speech aggression and ways to overcome it]. Moscow: Flinta: Nauka.
16. Kuznetsov, D.V. (ed.) (2016) *Rossiya i Pol'sha glazami molodezhi: vospriyatie drug druga, predstavleniya o politike, kulture i religii* [Russia and Poland through the Eyes of Youth: Perception of each other, ideas about politics, culture and religion]. Blagoveshchensk: Blagoveshchensk State Pedagogical University.
17. Karmin, A.S. (2011) *Intuitsiya. Filosofskie kontseptsii i nauchnoe issledovanie* [Intuition. Philosophical Concepts and Scientific Research]. Saint Petersburg: Nauka.
18. Malay, E. & Runkevich, D. (2014) Deputaty proseyat vyvesti pamyatnik Chernyakhovskomu iz Pol'shi v Rossiyu [Deputies ask to take out the monument to Chernyakhovsky from Poland to Russia]. *Izvestiya*. 10th February. [Online] Available from: <https://iz.ru/news/565258>. (Accessed: 14.05.2019).
19. Malevich, I.S. (2014) Den' Pobedy – zanoza v glazu rusofoba [Victory Day is a thorn in the eye of a Russophobe]. *Nezavisimaya gazeta*. 26th April. [Online] Available from: http://nvo.ng.ru/realty/2013-04-26/10_victory_day.html. (Accessed: 14.05.2019).
20. Vaynshteyn, S. (2015) Osvoboditelyam vkhod vosprehshchen [No entrance for liberators]. *Literaturnaya gazeta*. 3–4. 28th January. [Online] Available from: http://www.lgz.ru/article/-3-4-6494-28-01-2015/osvoboditelyam-vkhod-vospreshchheny/?sphrase_id=1750074. (Accessed: 14.05.2019).
21. Ryzhkova, A. (2016) Polyaki schitayut, chto Sovetskiy Soyuz zakhvatilikh stranu [Poles believe that the Soviet Union seized their country]. *Gazeta.ru*. 9th October. [Online] Available from: https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2016/10/a_10238675.shtml. (Accessed: 14.05.2019).
22. Troitskiy, A. (2017) Novoe staroe slovo. Pochemu "antisovetchikom" byt' – pochetno, a "rusofobom" – nedopustimo i unizitel'no [New old word. Why being "anti-Soviet" is honorable and being "Russophobe" is unacceptable and humiliating]. *Novaya gazeta*. 95. [Online] Available from: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/30/73642-novoe-staroe-slovo>. (Accessed: 14.05.2019).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АГРАТИН Андрей Евгеньевич – канд. филол. наук, науч. сотр. Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва); ст. педагог кафедры гуманитарных и естественных наук Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва).

E-mail: andrej-agratin@mail.ru

АНДРЕЕВА Светлана Леонидовна – канд. филол. наук, доцент кафедры педагогического образования и документоведения Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

E-mail: 216zamsv@mail.ru

БЕДРИКОВА Майя Леонидовна – канд. филол. наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

E-mail: mlbedrikova@gmail.com

БОКАРЕВ Алексей Сергеевич – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры русской литературы Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

E-mail: asbokarev@mail.ru

ЖДАНОВА Елена Васильевна – соискатель кафедры русской и зарубежной литературы Иркутского государственного университета.

E-mail: princess_38rus@inbox.ru

ЖИЛЯКОВА Наталья Вениаминовна – д-р филол. наук, зав. кафедрой теории и практики журналистики Томского государственного университета.

E-mail: retama@yandex.ru

ЗАВЬЯЛОВ Виктор Николаевич – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и издательского дела Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск).

E-mail: victorzoff@list.ru

ЗИМИНА Евгения Витальевна – канд. экон. наук, доцент кафедры романо-германских языков Костромского государственного университета.

E-mail: ezimina@rambler.ru

ИВАНЦОВА Екатерина Вадимовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета.

E-mail: ekivancova@yandex.ru

КАЛИТКИНА Галина Васильевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета.

E-mail: dasty2@yandex.ru

КАРАБЫКОВ Антон Владимирович – д-р филос. наук, канд. филол. наук, профессор кафедры философии естественно-научного профиля Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь).

E-mail: meavox@mail.ru

КРЮЧКОВА Надежда Владимировна – д-р филол. наук, профессор кафедры языковой подготовки Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского (г. Владивосток).

E-mail: kryuchkovanv@yandex.ru

КРЮЧКОВА Ольга Юрьевна – д-р филол. наук, зав. кафедрой теории, истории языка и прикладной лингвистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

E-mail: vpks@rambler.ru

МАЗУРОВ Александр Евгеньевич – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: rumatamonteg@gmail.com

МЕЛЬНИКОВА Софья Владимировна – канд. филол. наук, ученый секретарь Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского; доцент кафедры русской и зарубежной литературы Иркутского государственного университета.

E-mail: memuaristika@yandex.ru

МИШАНКИНА Наталья Александровна – д-р филол. наук, профессор отделения русского языка Томского политехнического университета; профессор кафедры гуманистических проблем информатики Томского государственного университета.

E-mail: mna@tpu.ru

МЫЗНИКОВА Янина Валерьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета.

E-mail: janinam@mail.ru

НОРМАНСКАЯ Юлия Викторовна – д-р филол. наук, зав. лабораторией «Лингвистические платформы» Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (г. Москва); вед. науч. сотр. отдела урало-алтайских языков Института языкознания Российской академии наук (г. Москва).

E-mail: julianor@mail.ru

САРКИСЯН Мариана Самвеловна – канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии Ереванского государственного университета (Армения).

E-mail: marianasargsyan@ysu.am / mariana.sargsyan80@gmail.com

СИДОРОВ Виктор Александрович – д-р филос. наук, профессор кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.

E-mail: v.sidorov@spbu.ru

СИКИМИЧ Биљана – PhD, гл. науч. сотр. Института балканистики Сербской академии наук и искусств (г. Белград, Сербия).

E-mail: Biljana.Sikimic@bi.sanu.ac.rs

СИЛАНТЬЕВ Игорь Витальевич – д-р филол. наук, зав. сектором литературоведения Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: silantev@philology.nsc.ru

СОБОЛЕВ Андрей Николаевич – д-р филол. наук, гл. науч. сотр. отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных исследований Института лингвистических исследований Российской академии наук (г. Санкт-Петербург).
E-mail: sobolev@staff.uni-marburg.de

ЧЕРНЫШ Ольга Андреевна – эксперт Центра по работе со студентами Томского политехнического университета.

E-mail: chernyshoa@tpu.ru

ШАСТИНА Татьяна Петровна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Центра развития науки и инноваций Горно-Алтайского государственного университета.

E-mail: tshliteratura@mail.ru

ШАТИН Юрий Васильевич – д-р филол. наук, гл. науч. сотр. сектора литературоведения Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: shatin08@rambler.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер serialного издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединенном каталоге «Пресса России».

Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформлению научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2020. № 66

Редактор Т.В. Зелева

Редактор-переводчик В.В. Кашпур

Оригинал-макет А.И. Лелоюр

Дизайн обложки Л.Д. Кривцова

Подписано в печать 26.08.2020 г. Формат 70×100 $\frac{1}{16}$.

Печ. л. 21; усл. печ. л. 19,5. Цена свободная.

Тираж 50 экз. Заказ № 4396.

Дата выхода в свет 11.09.2020 г.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru